Рубен Сафаров

Усто и эмир



Светлой памяти любимого сына Аркадия, который вдохновил на эту работу, но не увидел ее завершения.



...Пути тиранов и гениев
подчас перекрещиваются,
но каждому из них
предопределена
судьбой своя дорога.

Р. САФАРОВ

УСТО И ЭМИР

Роман

Ташкент
Издательство литературы и искусства
имени Гафура Гуляма
1985

Р
С21

С $\frac{4702010200-66}{М.352(04)-85}$ 51—85



Часть первая

Тебе, о благословенный аллахом путник, идущему с неуемной жаждой видеть и познавать, остался всего один переход до великой Бухары. Бухара-и-Шериф, священной и благородной Бухары. Один переход и ты войдешь в сказку. Великую Сказку Востока.

Привет тебе и поклон, благородный путник! Не пресытился ли ты видениями волшебной Индии, яркой Испании, приветливой Франции, респектабельного Петербурга? Не пройдешь ли с холодным сердцем мимо глинобитных твердынь Бухары, ее базаров и площадей, минаретов и медресе, ее чайхан, улочек ремесленников и дворцов богачей? Пусть не обманут тебя величие богатства и нищета бедности. В каждой далекой или близкой стране есть одна непреходящая, вечная ценность — душа ее народа. Прикоснись к ней, проникнись ее болями и чаяниями, не испугайся ее падения, не усмехнись высокомерно великим взлетам ее — и ты продолжишь свой путь, став еще богаче духом и чище помыслами. Ибо ты унесешь в своем сердце блеск глаз человека, который преломил с тобой свой хлеб и разделил свой ночлег в душной чайхане, переполненной блохами и сказками, стоном дутара и песней мардикера. И да не обманет тебя величие эмира и его беспредельная власть, ибо

она тоже в воле провидения. И она имеет конец, и нет ничего вечного под луной, кроме народа, на котором держится все земное.

Еще несколько часов по этой пыльной дороге, и ты у цели. Уже видны в знойном мареве минареты и стены города, они уже овладели твоим умом и сердцем, они уже властно и неукротимо влекут тебя к себе. И ты невольно ускоряешь свой шаг. Не уставать тебе, скорее же, скорее, путник! И ты окунешься в шум и гвалт большого бухарского базара, в движущуюся и орущую толпу лепешечников, водоносов, горшечников, седельников, кузнецов, чеканщиков, торговцев коврами и попонами, пройдешь мимо бесчисленных гор арбузов и дынь, корзин с виноградом и персиками и еще десятков неведомых тебе плодов этой земли, мимо конюшен и харчевен, мимо менял и гадальщиков, мимо слепых и увечных, тянущих к тебе руки за подаянием. Здесь продают и покупают, обворовывают простака и обманывают мудреца. Мимо же, мимо! Найди укромную,— богатая не для тебя!— тихую чайхану на берегу тенистого хауза. Присядь у воды, омой руки и лицо после дальней дороги, попроси у веселого и неутомимого чайханщика чайник горячего душистого напитка, отпей несколько глотков, помолчи... проникнись...

Бухара-и-Шериф... Самое начало XX века по исчислению иноверных. Еще спит Восток, он еще не проснулся. Не спутай же время, о гость Бухары. Ты пришел, ты слушаешь. Смотри и запоминай.

Глава I

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ

Повелитель правоверных, его высочество, благородный могущественный правитель, прибежище халифата, эмир Бухары и всех мусульман, генерал-адъютант Саид Алимхан вышел из царских аппартаментов стремительной, упругой походкой. По случаю приема у своего названого брата — царя России, одет он в белый, шитый золотом парадный мундир. Крепко сбитый, чуть выше среднего роста, красивое круглое лицо, обрамленное черной, как смоль, бородой и густыми усами непроницаемо-приветливо, но в глазах удерживаемые тщательно вымуштрованной волей отблески гнева.

Аудиенция оказалась бесполезной. Он, всесильный восточный владыка, эмир бухарский, вернейший друг русского престола, сегодня не нашел с царем общего языка. Бесили беспечность и легкомысленное отношение к его предупреждениям, нежелание понять, что он по-братски, бескорыстно заботится о благе России, пытаясь убедить в опасности революционных волнений. Ему-то, эмиру, революция ничем не грозила, отзвуки событий 1905-го года почти не докатились до его столицы и эмирата, свой народ он держал в рабском повиновении.

Да, слава аллаху, в его эмирате пока все спокойно.

Хотя «спокойно» тут не совсем точно. Нет, не так уж и спокойно, чтобы быть беспечным. Разве не в его эмирате все чаще и чаще происходят беспорядки и восстания? Разве не было бунта в Денау, Кермине, Гиссарском и других бекствах? А восстание в Старой Бухаре — оплоте мусульман земли! Настоящая резня, сотни жертв... Чтобы утихомирить толпу, пришлось удалить из Бухары кушбеги и некоторых чиновников.

А ропот недовольных! Чего только не говорят про него и его приближенных. И то, что они похищают огонь из очага вдов, из благотворительных фондов зерно, и все это обращают на потребу своему брюху и разврату. А от слов, как правило, народ переходит к делам. Вот и получается, что то тут, то там люди хватаются за топоры и кетмени, покушаются на власть.

Выйдя из дворца, он бросился в стоящий у подъезда мотор, предупредительный адъютант накинул ему на плечи щегольскую белую бурку.

Улицы северной столицы российской империи в этот вечерний час полны нарядной гуляющей публики. Обычно веселый и любопытный Алимхан на сей раз оставался замкнутым и суровым.

Роль просвещенного монарха,- думал он, проезжая по каменным мостовым Петербурга, не в том, чтобы потакать неуемным желаниям толпы, надо держать ее в строгом повиновении. Это вовсе не означает, что он, Алимхан, против просвещения, против образования, против грамоты. Нет, и еще раз нет. Но и образование, и просвещение, и все высокие достижения человеческой культуры должны получать достойные, те, кому положено. А если его слуга, раб по сути дела, не ушел дальше удовлетворения своих низменных потребностей, то давать ему блага цивилизации просто нельзя, даже вредно. Может ли ограниченный ум дехканина, чайрикера,

ремесленника понять великие творения Микеланджело или изысканную поэтику Петрарки? Точно также и со свободой. Да разве он, эмир благословенной Бухары, не знает ей цену? Но дай ту же свободу простолюдину, и он будет только удовлетворять свой желудок да спать в тени. Нет, время революций для империи еще не доспело. Даже французская революция, революция самой прогрессивной страны Европы, оказалась преждевременной. Неужели русский мужик, неуклюжий, как медведь, ко всему безразличный, достоин свобод, культуры, просвещения?

Чем ближе был особняк, приобретенный на случай наездов в северную столицу, тем слабее становились гнев и раздражение эмира и уже только иронические складки у рта да блеск больших черных глаз носили следы его недавней вспышки. Царь испугался предложения Алимхана ввести строгие карательные меры для борьбы с революцией. Виселица и топор — вот что может спасти империю. Но царь оглядывается на Европу, что, дескать, скажет она, хотя и в самой Европе не все тихо и гладко. «Мы — скифы», — сказал русский поэт Блок. Пусть так, хотя и Европа не может гордиться казнью королевы Антуанетты. Так и действовать нужно, как скифы. Эмир предложил царю два полка сарбазов. Они прошли бы со своими кривыми, острыми саблями по крамольным гнездам и пустили кровь. И эта кровь стала бы целительной для разгоряченных голов. Но царь отказался. Хорошо, пусть отказывается, но трон от этого не станет прочнее.

Свой же трон эмир сумеет отстоять, и пусть говорят о варварстве, но ведь именно жестокостью законов эмирата трон продержался столь долго. Его законы жестоки, но иначе и нельзя. Иначе его эмират придет в упадок, зачахнут ремесла, порастут сорняками земли, хаос, голод и разруха придут в его собственное царство.

Алимхан поиграл тонкими ножнами узкой турецкой сабли, которую надел по случаю приема у царя. Любое оружие при аудиенции должно снимать, и эмир отдавал оружие адъютантам, а сейчас снова прицепил к отделанной бриллиантами портупее. Да, пока сабля и топор — опора любого прочного царства, и он без жалости ими воспользуется, если его короне будет хоть что-то угрожать. Он хорошо знает, как держать народ в повиновении. Всякую крамолу нужно выжигать огнем и мечом,

рубить топором, топить в горящей смоле, тогда появится священный трепет перед властью, перед ее носителем.

Мотор остановился у особняка. Адъютант предупредительно распахнул перед ним дверцу. Лакей склонился у подъезда. Здесь эмир держал европейскую прислугу, чтобы не возбуждать нездорового любопытства петербуржцев к восточной экзотике.

— Вас ждет госпожа Ксанинская, ваше высочество,— тихо доложил секретарь.

Эмир кивнул:

— Передайте графине, что я буду в ее распоряжении через полчаса.

— Вам звонил князь Юсупов, ваше высочество,— продолжал секретарь.

— Соедините меня с ним, как только поднимусь к себе,— распорядился эмир и, скинув бурку на руки прислуге, легко взбежал на второй этаж, где были его спальня и кабинет, кинулся в мягкое кресло. Он чувствовал в себе большую силу и, если всевышнему было бы угодно даровать ему российский престол, он бы справился, справился со смутьянами и революционерами. Он понимал, что здесь не будет понят. Иной народ, иные боги. Но силы и энергии у него хватило бы. Почему же император, его друг и брат, так невнимательно слушал его горячую речь, не согласился с доводами?

Раздался тихий сигнал, эмир поднял трубку.

— Приветствую вас, благородный повелитель Бухары!— услышал он веселый голос светлейшего князя Юсупова.— Я ищу вас по всему Петербургу с самого утра. Где вы проводите так весело время?

— Простите, князь, но я был на аудиенции у государя императора,— Алимхан не позволил себе принять фривольный тон, когда дело касалось его русского брата.

— Простите, ваше высочество, и поздравляю вас,— уважительно тут же ответил князь, но в его тоне эмиру послышалась ироническая нотка. Об отношении князя Юсупова ко многим поступкам государя ходили по столице остроумные анекдоты.

— Куда вы еще намерены направиться сегодня, эмир?— продолжал князь.

— Очень сожалею, но мне пора собираться в обратный путь. Сегодня я провожу вечер с графиней Ксанинской и ее друзьями, что им было давно обещано. Но я

заверяю вас, что перед отъездом мы с вами обязательно встретимся.

— А что вас торопит в обратный путь?— не унимался Юсупов.

— О, князь! У повелителей всегда есть заботы, которые сами ими повелевают,—уже в тон иронизировал эмир.— Мои бедные подданные требуют сейчас моего присутствия именно дома. Итак, я сообщу вам, когда мы с вами проведем мальчишник, князь.

— Эмир, мальчишник устраивают перед женитьбой. Вам, мои шер, его нужно было бы устроить раз двести,— намекнул на любовные похождения своего друга Юсупов.

Эмир громко рассмеялся, перекладывая телефонную трубку из одной руки в другую. В это время парикмахер приводил в порядок его бороду и усы, а маникюрша — ногти. За своей внешностью эмир следил тщательно, в соответствие с цитатой из Пушкина, которую любил повторять: «Быть можно дельным человеком и помнить о красе ногтей».

Эмир дружил с князем Юсуповым еще с Пажеского корпуса, в котором они вместе учились, немало веселых и не всегда невинных шалостей числилось за ними и в Париже, и здесь, в Петербурге. Им было что вспомнить. Но Алимхан сегодняшний вечер обещал Наталье Ксанинской, которая не была никакой графиней, но так счел нужным называть ее эмир.

В это время Наталья Ксанинская в одной из комнат, отделанной в мавританском стиле, любовалась своим отображением в серебряном зеркале. На ней была дорогая шапка из соболя, увенчанная большим бриллиантом — подарок Алимхана, шелковое, почти прозрачное платье, облегавшее стройную фигуру. Довольная собой, она опустилась на ковер, удобно устроилась на мягких подушках и отпила глоток гранатового сока.

Алимхан вошел уже переодетый в шитый золотом халат и легкие туфли, опустился на ковер около Натали.

— Сандро, мои шер, вы были так долго! Ваша бедная Натали чуть не умерла от тоски и скуки!— капризно выпятив нижнюю губку, сказала по-французски Натали.

«Кого же она сейчас играет? Какую роль?»— неприязненно подумал Алимхан: его раздражение от встречи с царем уже было совсем улегшееся после поездки по городу и разговора с князем Юсуповым неожиданно вспых-

нуло с новой силой. Но бухарский эмир не зря был известен в северной столице как блестящий царедворец и утонченный ловелас, заученная улыбка тронула его губы, он поцеловал кончики пальцев Натали, ответил тоже по-французски:

— О моя пери! Неужели вы не знаете, где я был! Почему же вы так сурово судите меня?

— Как выглядит государь? Как его здоровье? — томно спросила Натали, рассматривая крупный изумруд в своем перстне и не пытаясь скрыть полного безразличия к самочувствию царя.

— О, Натали, он выглядит превосходно, — Алимхан понимал, что говорить с Натали о своем разговоре с царем, о своем раздражении излишне — эта красавица слишком далека от его забот. Но [illegible] эмир и не обольщался на этот счет, у нее достаточно иных достоинств.

— Моя прелесть, вы готовы [illegible] эмир.

— Сандро, милый, директор [illegible] против моей поездки в ваш край, — [illegible] — Он считает, что будущий сезон в театре [illegible] отсутствия может оказаться под угрозой [illegible]

Эмир дернул за шелковый шнур [illegible] тaря.

— Я просил уладить дело с [illegible] рского театра. Что вы сделали по [illegible] И где, наконец, художники и граверы? Я [illegible] ом, — в тихом голосе эмира прозвучали [illegible]

— Петр Федорович изволили просить вас о личном свидании, ваше высочество. Художников и граверов я пригласил на восемь часов, — доложил секретарь.

— Хорошо, мы ждем, можете идти.

Эмир во время разговора с секретарем не отпускал руки Натали, легонько поглаживал ее.

— Нас всегда раздражает, моя прелесть, — устало улыбнулся эмир, — плохая исполнительность придворных в Европе. У меня в доме за малейшую оплошность им крепко достается.

Наталья Ксанинская слышала о жестокости этого современного восточного варвара, но только сейчас, увидев оскал его мелких белых зубов, впервые подумала, что в этих светских сплетнях не так уж много вымысла. Впрочем, Алимхан тут же одарил ее поцелуем, погладил по щеке:

— Моя нежная пери, вы просто чудо. Смело соглашайтесь ехать в Бухару, клянусь, не пожалеете.

В восемь вечера эмира ждали директор императорского театра Петр Федорович Новозванов и трое художников.

— Мой дорогой,— с легким парижским прононсом говорил эмир, похаживая мягкими кошачьими шагами по кабинету,— мы пригласили в свои убогие владения актрису вашего театра Натали Ксанинскую. Думаю, что в этом нет ничего предосудительного? Тем не менее, возникают какие-то обстоятельства, препятствующие моему желанию. Вы не хотите что-либо сказать по этому поводу?

«Боже мой, как же его называть-то,— терзался Петр Федорович.— Ваше превосходительство, как генерала? Ваше высочество, как престолодержателя? Или господин Алимхан, как цивильного человека?»

— Видите ли,— Петр Федорович замешкался, так и не найдя нужного варианта,— театр всегда держится на одном, максимум двух актерах. От них зависит целый театральный сезон, в конце концов, благосуществование всей труппы...

— В любом случае, господин Новозванов,— прервал его эмир,— мое приглашение остается в силе. И я смею верить, что некоторая компенсация за ваши будущие неприятности уместна,— он протянул директору чек на десять тысяч.— Труппа, я убежден, будет благодарна вам за вашу сговорчивость.

Патрон Александринского театра, конечно, преувеличивал значение Ксанинской. Да, Натали не была заурядной актрисой. Она прекрасно исполняла водевильные, комедийные и трагические роли, недурно пела, но Александринский театр держался, конечно же, не на Ксанинской. В Петре Федоровиче говорило уязвленное самолюбие.

Уже сидя в своей пролетке на обратном пути, директор возмущался беззастенчивостью и наглостью восточного деспота; но, негодуя, он все-таки понимал все свое бессилие перед богатством и могуществом этого человека. Как человек искусства, Петр Федорович исповедовал бескорыстное служение ему, но как человек своего времени, он понимал всю бесплодность негодования перед власть предержащими и перед их деньгами. Он не мог осуждать это увлечение Натали, но и ей следовало бы быть осмотрительней, ведь искусство не прощает такого легкомысленного отношения к себе. Хотя, зная безмерно трудный путь Натали к признанию, он вполне понимал,

что у бедняжки закружилась головка от той роскоши, которой окружил ее этот властелин. И Петру Федоровичу, ничего не оставалось, как, огорченно вздохнув, разгладить чек и спрятать его во внутренний карман.

А эмиру уже представляли художников. Федор Гаврилович Сидоров, архитектор и оформитель многих особняков в Петербурге, гравер и резчик по дереву Самойлов и мастер стенной росписи отец Питирим, который реставрировал собор святого Петра. Все люди с именами, их труд стоит многих денег.

— Мне хочется возродить загородную резиденцию бухарских эмиров Мохи-Хосу. Некоторое представление о ней дадут вам эти фотографии, прошу Вас. Но резиденция ветшает, ее оформление и планировка отдают архаизмом. Вы знаете, что новые веяния в архитектуре и искусстве не чужды и нам. Конечно, мы могли бы создать что-то вроде Лувра или Петродворца, но они идут вразрез с нашими традициями и не будут поняты друзьями и подданными. Мне хочется создать нечто среднее между традиционным загородным домом в стиле бухарских построек, европейским рококо и готикой. Хочу заранее предупредить, что строительный материал у нас очень своеобразный — глина. Другие материалы будут применены только для отделки. И дело не в стоимости,— мы бы тут не остановились ни перед чем — а в том, что в нашем климате все иное не годится. Я хочу предложить вам заказ на оформление этого дворца.

Эмир внимательно посмотрел на собравшихся.

— Ваше высочество, кто будет вести строительные работы?— спросил величественный Сидоров, и его голос был утомленным и чуточку капризным, как у всякой избалованной знаменитости.

— Строителей мы найдем у себя в Бухаре, это вас не должно беспокоить, господа,— эмир пытался держаться с людьми искусства по возможности демократично.

— Как вы есть лицо царской фамилии, я просил бы господина ...э... эмира,— подал голос отец Питирим,— меня освободить. Как я есть лицо, посвященное в таинства церкви, мне невозможно взять на душу грех и оформлять святилища иной веры.

Если бы эмир был в ином окружении, он бы расхохотался в лицо этому чудаку. Какая иная вера? Это для тех, кто там, внизу, а им, людям мыслящим высшими категориями, следует относиться терпимее к таким проблемам и думать о вознаграждении да создании благо-

приятных условий для работы. Но Питирим оказался из тех упрямых святых отцов, которые во имя веры способны взяться и за меч.

Эмир обернулся к секретарю:

— Проводите господина Питиримова.

В глазах владыки блеснуло презрение. Он не любил упрямцев. Отец Питирим поклонился и вышел вслед за секретарем.

— Ваше высочество, должен признаться что я очень плохо знаю искусство Востока, оно настолько колоритно и своеобразно, что вряд ли смогу уяснить так сразу его особенности,— откровенно признался Самойлов, худощавый брюнет с интеллигентской бородкой.

— Вопросы вероисповедания, надеюсь, вам не мешают?— прищурился эмир.

— Я могу выполнить только отдельные ваши заказы, но взяться за оформление всего дворца, увы, не в силах,— признался с явным огорчением художник.

— Ценю вашу откровенность. Вы получите список моих отдельных заказов,— эмир подчеркнул слово «отдельных».— Оставьте секретарю ваш телефон.

— Вы только правильно поймите. Ваше высочество,— жеманно продолжал Сидоров,— но мы можем дать вам лишь самые общие рекомендации. Ведь что для нас искусство Востока? Терра инкогнита, так сказать. Мы еще только-только начинаем знакомиться с ним благодаря таким монархам, как вы Что для нас Багдад, Стамбул, Самарканд, Бухара? Мы с трудом верим, что там живут такие же люди, как и мы. Издали все так сказочно, таинственно, увлекательно! А что мы знаем о традициях, приемах? Согласитесь, если отбросить подоплеку, выдвинутую отцом Питиримом, он в чем-то прав. Ведь у вас все-все иное. Не поймите меня превратно, я не отказываюсь от вашего столь лестного предложения, но я смог бы дать рекомендации только самого общего характера на основе моих скромных знаний об отделке европейских дворцов и наших российских хором. Но только самых общих! Ведь у нас с вами даже геометрия жилищ совершенно разная, не говоря уж об оформлений.

Алимхан задумчиво теребил бороду. Он не привык получать отказы,. хотя и в такой лестной форме. Но, джинн его испепели, этот сытый господин в чем-то прав. С таким же основанием эмир мог бы настаивать на помощи французских отделочников. И они ведь смогли бы

сделать ему дворец только во французском стиле, но все это не то, не то.

— Благодарю вас за откровенность, Федор Гаврилович.

Художники откланялись. Алимхан смотрел им вслед, прикусив губу. А ведь его затея полностью сорвалась. В разной форме ему отказали в сотрудничестве, не разделили его идею. И даже если они каждый по-своему правы, все равно он получил вежливый отказ, и это не в его правилах. Ну что ж в Бухаре уже давно работают русские инженеры Сакович и Марголис. Да и своих мастеров достаточно. Посмотрим, что выйдет без помощи этих тузов.

Нужно было готовиться к отъезду. Алимхан вызвал секретаря и потребовал отчет о подготовке. На какой день и час заказан поезд, готовы ли [illegible] сделаны ли соответствующие покупки

Тот же с бесцветным голосом [illegible] доложил: поезд будет готов через два дня [illegible] отделывается в соответствии с указаниями, [illegible] уже на местах, маршрут и время отработали.

«Как машина, бездушная машина этот [illegible]», — подумал Алимхан и почему-то не смог [illegible] его имени. Кто он, что он думает о своей работе и о своем господине? Да, его рекомендовал князь Юсупов, это эмир помнил, но ничего другого о нем не знал.

— Вы раньше служили у князя? — спросил он непонятно для чего.

— Нет, я у вашего высочества после университета, — так же бесстрастно сообщил секретарь.

А ведь из таких людей, подумал эмир, и получаются самые талантливые, самые умные шпионы, которые прислуживают одним, а работают на других. Но эмир пока не видел, кто бы мог подставить ему своего шпиона.

— Вы довольны своей службой у меня? — отрывисто спросил эмир.

На обычно бесстрастном лице секретаря отразилось крайнее изумление.

— Я очень дорожу вашим доверием, ваше высочество, — пробормотал он растерянно.

И Алимхан вспомнил его имя: Парамонов Сергей Петрович. Кому вот только он служит, на кого шпионит?

— Благодарю вас, можете идти, — отпустил его эмир.

С ним часто случается такое, начинает душить непонятная самому себе злость. Будь этот придворный там, в

Бухаре, он бы бросил его в зиндан, хотя, откровенно говоря, никакой вины за ним пока не знает, но здесь ему приходится сдерживаться. Царь не простил бы ему такой выходки.

Эмир направился в покои Натали. Это балованное дитя скривило капризное личико:

— Ты чем-то расстроен, Сандро?

— Так, маленькие неприятности.

— Так скажи, скажи своей Натали! Может, она развеет тучи на твоем благородном челе?

— Ах, моя радость, все это пустое. Я хотел, чтобы в моей новой загородной резиденции работали русские художники, но они испугались моего предложения.

— И ты откажешься от своей идеи?

— Милая, эмир бухарский умеет добиваться своей цели. Неужели ты думаешь, что я отступлю?

— Как это здорово! — Натали в восхищении захлопала в ладоши.

Два дня спустя небольшой состав из пяти вагонов уже катил на восток. Эмир, как и обещал, провел вечер с друзьями беззаботной юности, и князь Юсупов решил проводить друга до Москвы.

За окном ночь, в поезде все спят, прислуживает только один лакей.

— Вы говорите революция, дорогой Алимхан. С революцией, слава богу, сами управимся. Войной пахнет, мон шер, войной. Германский кайзер набрал силу, Британия укрепляет флот. Нет, не революции нужно бояться сейчас, а войны. Мы еще не оправились после Цусимы и Мукдена, у нас еще синяки не прошли. Бедная Россия ослаблена, нет личности во главе армии. Да и что наша армия? Стадо мужиков. Среди офицеров упадок настроений, на события смотрят вприщур. Ведь они-то знают, кто проиграл войну на Дальнем Востоке. Вас, может быть, война и не коснется, ваших людей в армию не берут, вы далеко от Европы, а наши западные области пострадают изрядно. Я понимаю, Алимхан, вы близки, вы даже считаетесь другом государя, и вам неприятно слышать то, что я говорю, но и двор прогнивает, всюду германские шпионы. Вот о чем душа болит у настоящих патриотов России, а мы... мы чужие народу, мы ведь чужаки для русского мужика, мужик нас никогда не поймет.

Алимхан слушал друга внимательно, но не соглашался с ним:

— Мой дорогой, вы преувеличиваете опасность войны. Европа на войну не пойдет, это слишком рискованно для всех. Русская армия сильна, и противник это понимает. Я вижу опасность для империи именно в революции, в тех брожениях, которыми охвачены ваши промышленные центры, и вот тут император не поддержал меня, не захотел понять. Если эту скверну выжечь огнем, тогда никакой внешний враг России не будет страшен. В этом, и только в этом я вижу главную опасность. Конечно, пятый год не прошел бесследно, я понимаю, но и это поражение стало забываться, бездарных генералов отстранили.

— Я верю только в сильную личность, в национального героя, какими были Суворов, Кутузов, им армия верила. Сейчас такой личности во главе армии нет, а стало быть, нет и надежды на победу...

Многим, хорошо знающим этих великосветских повес, их разговор показался бы по меньшей мере странным. Уж им-то, находящимся на самом верху общественной и государственной пирамиды, казалось, не о чем беспокоиться и не за что тревожиться. Один из них безмерно, даже сказочно, богат и независим, владеет многими дворцами, усадьбами, обставленными с баснословной роскошью, второй является полновластным правителем большого и богатого края, волен распоряжаться жизнью и смертью своих верноподданных, влиятельнейший правитель Востока. И все же их волновали проблемы Российской империи, и в самом этом факте было что-то тревожное, пугающее.

— Нет, дорогой Сандро, вы недолго были на этот раз в столице,— продолжал негромко князь Юсупов.— Буржуа, утонченные интеллигенты, даже высший свет охвачены безумием. Всеобщее увлечение мистикой, оккультными сеансами спиритизма, кокаином и чревоугодием неспроста, это концом света пахнет. Так называемые патриоты только тем и занимаются, что болтают. Они страшно много говорят, но действовать не решаются. Государственная Дума представляет собой говорильню, неспособную управлять государством, разночинцы требуют места под солнцем, вспоминают декабристов и грозят террором. А мужик почесывает бока и затылок, ворочается по ночам и думает, думает. Думает и молчит. О чем молчит, что думает — нам знать не дано, но когда он поднимется, возьмет топор или вилы и заговорит, многие содрогнутся, многие головы полетят.

— Я говорил государю, пришлю две тысячи своих сарбазов, говорил! Они прошлись бы по гнездам крамолы, поснимали головы непокорным, и умолкли бы недовольные, но мне показалось, что я вижу в его глазах страх. Страх перед толпой, быдлом. Так называют у вас народ, я не ошибся? Народ, который так любят ваши разночинцы, только толпа, которая считается с плетью и плахой, а царь не решается проявить твердость. Я предлагал ему выход, но он только крутил ус и покачивал головой.

Эта беседа двух приближенных к престолу вельмож отражала состояние, которым все больше и больше пропитывалось российское общество в предчувствии больших перемен. Еще нет ничего конкретного, а смутная тревога нарастает. Так бывает, когда чисто и беззаботно голубое небо, и лишь легкий ветерок колышет ветви деревьев, а электричество в атмосфере все накапливается и накапливается, и все живое испытывает необъяснимую тревогу в преддверии грозы, которой пока не видно и не слышно, но там далеко-далеко за горизонтом чувствуется ее приближение.

Через сутки князь Юсупов сошел в Москве, а курьерский понесся дальше по бедным русским равнинам. Друзья расстались сердечно, но не так беззаботно, как это случалось с ними ранее.

Эмир спешил в Бухару, и поезд нигде не останавливался подолгу.

Натали уже порой жалела о своем решении ехать в далекие азиатские степи. Ее настроение заметно менялось. Горничная Глаша, женщина лет сорока, из неудавшихся провинциальных актрис, приносила все более тревожные новости.

— Все в поезде теперь одеты как арапы, нашенского и не увидишь. Сегодня поезд встречали степняки в бараньих шапках и что-то кричали.

В Ташкенте задержались всего на день. Алимхан сделал визиты наместнику, генерал-губернатору и еще двум-трем официальным лицам и снова продолжил свой путь. Натали даже не покидала вагона, и хотя среди ташкентцев было много поклонников ее таланта, от встреч с ними она отказалась, пообещав быть на обратном пути.

Утро только позолотило тополя, когда поезд остановился на станции Каган. Эмир вышел в своем парадном наряде. Халат из черного бархата с красными полосами, идущими сверху вниз, был перетянут широким золотым

розет. На груди — ордена. Погоны, золотые пуговицы, тонкий ремень, перекинутый через плечо, поддерживал длинный, отделанный драгоценными камнями клинок. Невысокий белый стоячий воротник, белые манжеты — все это выглядело нарядно и броско.

«Хвала нашему эмиру», «Да здравствует падишах»,— сотни людей приветствовали повелителя Бухары.

Эмир внимательно осмотрел площадь, глаза его затуманились, он чуть слышно, ни к кому не обращаясь, произнес:

— Ассалом аллейкум.

Афганские всадники — личная охрана, плотным кольцом окружили Алимхана. Эмир гордился своими джигитами. Каждый из двухсот его телохранителей был как на подбор: крепок, суров, исполнителен. Было у них еще одно, самое важное для правителя качество: Личная охрана была составлена из наемных лиц. Так надежнее. Если в охранники взять местных людей, те, поди знай, вдруг среди них или их родственников есть враги трона. А эти не подведут. Они знают только его, эмира, от него получают жалованье, ему преданы, готовы за него броситься хоть в огонь, хоть в воду. А как держатся в седле — одно загляденье! Алимхан недобро ухмыльнулся, заметив восхищенный взгляд Ксанинской. Но тут уже несмотря на европейское образование, говорил восточный мужчина.

Эмиру и его гостье был подан экипаж. Алимхан в последнее время редко садился в седло, предпочитая фаэтон, купленный в Париже.

Бухара встает из марева всегда неожиданно и величественно. Ее мощные городские стены, высокие минареты, монументальные медресе возникли как по мановению волшебной палочки.

— Господи, ведь они как с неба упали на вашу землю,— шумно выражала свой восторг Натали Ксанинская, никогда не видевшая восточных городов.

— Радость моя, бухарская гостеприимная земля у ваших ног,— эмир сделал широкий жест рукой.

Фаэтон, окруженный эскортом, катил по бухарским улицам. Со всех сторон то и дело слышалось: «Эмир!» «Эмир!»

А взгляд Натали задержался на высоченном минарете, который она заметила, еще подъезжая к Бухаре. Не минарет, а загляденье. Строг, величав, монументален.

Он виден издалека, с какой бы из четырех сторон ни приближался к городу.

— Это минарет Калян,— объяснил эмир своей спутнице.— Отсюда по пятницам почти с 50-метровой высоты азанчи призывают верующих на молитву. Когда-то, шесть-семь веков назад, а может быть, и больше, минарет служил дозорной вышкой. Здесь мы, эмиры, совершали публичную казнь: сбрасывали на мостовую осужденных. Поэтому у этой башни есть и другое название —«Башня смерти».

— Мрачное название,— согласилась Ксанинская.— Да и сама казнь страшная. А минарет великолепен. Какой он стройный, гордый...

Процессия между тем приближалась к цитадели эмирата — Арку.

Красив и величествен бухарский Арк. Почти на два десятка метров возвышается он над площадью Регистан. Круто обрывающиеся склоны холма, высокие и широкие стены отделяют эту крепость кажется от всего мира, предоставляя простому люду строить самые различные догадки о жизни тех, кто живет в ней.

Вот уже полторы тысячи лет здесь находится резиденция повелителя края — обширного и густонаселенного, чьи жители знают толк в земледелии и выращивании скота. В Арке находится дворец эмира и помещения его визирей, казна и монетный двор, мечети и тюрьмы, арсенал оружия и гарем.

Жизнь в Арке идет по своим законам, их не нарушал ни один правитель. Безвыездно живут в крепости мать и жены эмира, женщины гарема. Под особым присмотром находятся братья и другие родственники — так спокойнее за власть, за свою жизнь.

Постоянно проживает здесь верхний кушбеги —«кули-кушбеги», или «кушбеги-боло»,— правящий всей страной от имени эмира. Также безотлучно находится в Арке начальник тайной полиции —«тупчибоши».

От утреннего намаза «бомдод» и до вечернего «шан» находятся здесь чиновники и писцы, служащие тупчибоши, ювелиры, музыканты, истопники, плотники, штукатуры и водоносы.

Жарко, душно летом в Арке. Всего на четырех гектарах его территория, вылизанная, вычищенная, без единого кустика, деревца. Впрочем, есть в Арке садик «Гулзори чорчаман» («Лужайка четырех цветников»), где владыка прогуливается с обитательницами гарема

и он наблюдает вместе с ними, как большое колесо — «чархи фолок» — поднимает воду из хауза, что вырыт у стен Арка специально для полива.

Саид Алимхан, как и его отец, не любил жить в Арке и старался больше находиться в загородных резиденциях. Но это не меняло существа дела — бухарский Арк, стройный и величественный, по-прежнему олицетворял собой средоточие власти, сюда стекались все нити управления государством.

Экипаж подъезжал к цитадели бухарских властелинов. Массивные, ладно сработанные ворота медленно распахнулись. Служители, встречавшие своего повелителя, согнулись в низком поклоне, сложив руки на животе. Кто-то звонко выкрикнул: «Хвала нашему падишаху!». За ним другой: «Слава его высочеству, повелителю верующих и имаму всех мусульман, счастливому государю Саиду Алимхану, борцу за веру, да продлит аллах его царство навеки!». Эмир благодарно приложил руку к сердцу.

Экипаж вкатил в Арк, оставив на площади конную охрану — по установившейся испокон веков традиции только эмир мог въезжать во дворец, все остальные должны ходить пешком.

Глава II

ПОСВЯЩЕНИЕ В МАСТЕРА

Дядя Нишан усадил племянника против себя:

— Вот что я хочу тебе сказать, мальчик. Ты сын моего брата усто Ахмада, но аллаху было угодно призвать его к себе, и он из мира бренного ушел в мир вечности, оставив у всех нас рану глубокой скорби. И вот что я решил: ты будешь моим сыном и учеником, а когда станешь мастером, я отдам тебе в жены свою дочь и оставлю тебе в наследство и этот дом, и сад, и все, что есть в доме.

Смерть отца, знаменитого усто Ахмада, была большим ударом для Ширина. Под руководством отца он не только научился читать и писать, но и стал приобщаться к делу — строить. Много в Бухаре домов, возведенных руками усто Ахмада. Мечтал и Ширин стать меъмором-строителем, оставить в Бухаре дома собственной работы. А вот теперь он сирота, с матерью он не видится, отец

расстался с ней, когда Ширин был совсем маленьким, теперь кроме дяди Нишана нет у него никого.

— Слушай и вникай, сынок. Наш предок родом из Аравии, был очень грамотный, образованный человек. Сейчас, когда прошло столько лет, трудно сказать, почему он покинул Аравию и переехал сюда, в Бухару. Может быть, поссорился с правителями той страны, может быть, был просто приглашен бухарскими эмирами, не знаю. Это был великий зодчий, и сейчас в Бухаре есть дома, которые он построил по заказам горожан. Он получил титул мирзы, а это высокий титул, и он передается потомкам. Я тебе еще покажу дома, построенные нашим предком мирзой Абдурахимом. Многие из них уже обветшали, хотя и сейчас в них чувствуется рука мастера. Два твоих деда были также меъморами, усто Фузаил и усто Насыр — люди в Бухаре известные, они-то и передали нам искусство строить дома для людей.

— Мне отец рассказывал о них, — вставил слово Ширин.— И показывал их постройки.

— Это хорошо,— кивнул головой дядя,— тебе надо подробно знать дела всех своих предков. Только старайся понять принципы строительства домов. Может быть, будешь еще и дворцы строить, но строить дома для людей тоже очень важно, да. Человеку нужен дом, сад, арык со свежей водой, тогда он чувствует себя спокойно. Без дома у человека не будет семьи, детей, он не будет счастливым. Поэтому мы, строители, должны делать жилище легким, прохладным летом, теплым зимой, удобным для всех, кто живет в этом доме. О, сынок, каждый дом — это новая песня меъмора, у настоящего мастера не бывает двух одинаковых домов, хотя от принятых традиций нам отходить нельзя.

Долго говорил дядя о назначении строителя в этом мире. Был он ласков, добр. А под конец сказал:

— Ты умный мальчик, многое успел перенять от отца, но тебе еще долго учиться, чтобы стать настоящим мастером-устозом. Будешь учиться у меня, пока мастера не примут тебя в свой круг.

Больших мастеров в Бухаре наперечет, их знали в лицо, с ними почтительно здоровались на улицах, желали крепкого здоровья и многих лет, им уступали лучшие места в мечетях и чайханах. Получить в строители своего дома мастера было почетно и трудно. Разные это мастера: один по кладке, другой по резьбе по дереву или ганчу, были мастера обставлять интерьер, другие

так располагали комнаты, так разбивали сад, что хозяева домов не могли нахвалиться устозами. И не всегда, надо сказать, истинный мастер отмечен милостями эмира. Чаще наоборот. Главное, чтобы Бухара считала, что это — Усто. У Ширина кружилась голова от сладостной мечты самому стать мастером. Слова дяди бальзамом ложились на сердце подростка. В нем горело неукротимое желание строить дома и храмы, мечети и минареты. Конечно, он еще многого не знает, еще предстоит постичь и освоить многие премудрости и секреты. Но Ширин не боялся ничего, он хотел стать строителем. Так же, как был им его отец и отец отца.

— Ты будешь жить у меня, мальчик, и постигать искусство меъмора вместе с другими учениками. Ваш дом мы можем продать, и у тебя будут свои деньги, а когда станешь взрослым, все это, — дядя повел рукой вокруг себя,— станет твоим. Зачем тебе лишний дом?

Ширин был согласен с дядей Нишаном. Ну зачем будущему усто лишний дом? А деньги ему будут постоянно нужны. Кроме того, он сейчас должен неотлучно жить у дяди, чтобы прилежно учиться, стать настоящим меъмором.

На второй день дядя повел племянника знакомить со своими учениками. Они жили тут же, при доме. Четыре парня, почти ровесники Ширина, почтительно встали, когда вошел усто.

— Вот мои ученики, Ширин. Этого зовут Сафар, это Адис, это Рахим, а это Акрам.

Парнишки стояли и от смущения стирали подсыхающую глину с пальцев.

— А это мой племянник Ширин, сын моего брата усто Ахмада. Он будет жить и учиться с вами.

И Ширин остался здесь на несколько лет.

Трудно было ему среди этих ребят. Сдружиться так и не удалось, освоиться — далеко не сразу. Между учениками воцарился дух угодничества перед дядей Нишаном, каждый старался задобрить его, расположить к себе. Ширина встретили холодно, заранее видя в нем серьезного соперника, хотя дядя на занятиях не выделял племянника, спрашивал с него урок так же строго, как с остальных.

Нишан сам вел занятия по строительному делу, и оно оказалось очень сложным. Разве достаточно возвести стены и покрыть крышей? Целыми часами подростки вычерчивали планы домов, занимались приготовлением

глины и кирпича, выкладывали арки и башни. Также тщательно они вычерчивали геометрические орнаменты, которыми украшал свое жилище каждый уважающий себя бухарец.

Украшения размещались в домах везде. Затейливый узор резных ворот сразу говорил прохожему или гостю о достатке хозяина. Украшались фасад, окна, все двери внутри, ниши для постели и посуды, потолки и даже полы. По нескольку часов в день ребята сидели над кусками картона и вычерчивали с помощью циркулей, линеек и различных лекал орнаменты.

В молчании проводить целые дни нелегко, и ученики, вначале стесняясь друг друга, а потом все смелее и жарче говорили о своем ремесле.

— Было время,— начал Сафар, старший из них и самый серьезный,— когда украшали стены и потолки фигурами людей и животных, изображали виноградную лозу, ветку граната или [illegible]. Почему мы теперь лишены такой возможности? Каким бы ни был орнамент, без этих картин — он как не живой.

И потихоньку от учителя и товарищей Сафар рисовал на листах картона людей и сказочных животных. Ширин же считал, что и средствами орнамента можно добиться многого и со всем старанием постигал его гармонию.

Наверное, на какой-то стадии орнамент был мертвым, не одушевленным творческим горением мастера, но с веками стал усложняться, становиться произведением искусства. Он как бы обрел вторую жизнь, и вот эту вторую жизнь старался постичь Ширин. Орнамент зазвучал под его рукой, как сложная и диковинная музыка, но дядя был скуп на похвалы.

— Мухаммед, пророк,— поучал дядя Нишан,— запретил изображать живое, потому что живое способен создавать один лишь аллах. Человек, посягнувший на волю аллаха, способен возгордиться и посчитать себя равным аллаху. Но это идет от шайтана!

Дядя даже испуганно дул себе на плечи, чтобы отогнать скверну крамольных мыслей, и продолжал:

— Ширин, никогда не пытайся изображать живое, иначе большие невзгоды будут твоим уделом, тебя проклянут в мечети, засадят в зиндан, побьют на площади или даже предадут казни. Может быть, в странах неверных и делают такие рисунки, но нам, мусульманам, следует постоянно помнить веления корана. Рисунок

должен отображать сложность жизни, неисчислимость силы и воли аллаха, могущество его мысли, только орнамент может отобразить все эти сути, ибо суть не одна, и каждая из них заложена в росписи.

Жилось Ширину трудно, ведь он был племянником и учеником одновременно, а когда в доме живет родственник, он обязан делить все заботы семьи, приютившей его. Ширин вставал раньше остальных, заготавливал воду, ставил кумган, ходил на базар за лепешками и фруктами, поливал огород и сад. Много забот появилось с переходом в дом дяди. Но он покорно сносил тяготы сиротства.

Однажды его вызвали за ворота дома. Какая-то женщина обняла его за плечо дрожащей от волнения рукой, вытянутой из-под паранджи.

— Здравствуй, сынок, вот пришла навестить тебя, узнать о твоем здоровье. Я твоя мать.

— Почему же вы не войдете в дом? — разволновался Ширин.

— Дядя Нишан запретил мне навещать тебя, а сердце не выдерживает, зовет к тебе.

Мать и сын отошли подальше от дома.

— Как же вы живете? Где? — торопился с вопросами Ширин.

— Я живу у дальних родственников, зарабатываю, как могу, на хлеб. Я колю миндаль и косточки урюка и сдаю их торговцам сладостями. Твой отец почти ничего не выделил мне при разводе, вот и приходится зарабатывать себе на пропитание. Только глаза уже стали слабы и здоровье подводит. Да ты не огорчайся, сынок, мне ничего не надо. А ты должен учиться. Дядя Нишан хороший мастер, ты у него многому научишься, сынок. Мне рассказывали, что он хвалил тебя другим мастерам. А это тебе гостинец от меня. Тут лепешки, халва, миндаль, кушай на здоровье.

Спазмы перехватили горло юноши. Его родная мать, родившая его, вынуждена скитаться и зарабатывать себе на жизнь.

— Мама, я продал дом отца. Я отдам вам деньги. Отец несправедливо обошелся с вами. А мне ничего не нужно. Я сыт, дядя одевает меня. Да и зарабатываю изредка, мои рисунки уже покупают.

Мать долго отказывалась от этих денег, но сын настоял, и через несколько дней они встретились на городском базаре, где Ширин передал все свои деньги матери.

Снова она пыталась отказаться, но Ширин сказал, что бросит учение у дяди Нишана и пойдет на стройку подсобником к любому мастеру. Угроза подействовала, мать деньги взяла, и они договорились изредка встречаться здесь, на рынке, ведь Ширин почти каждый день покупает продукты.

На другой день дядя Нишан позвал Ширина к себе. За низкой хан-тахтой, уставленной яствами, сидел, разомлевший от зноя и усталости, дядя. Был он спокоен и доброжелателен.

— Садись, садись, сынок. Вот бери, угощайся. Что ты успел сделать сегодня? Нарисовал два орнамента? И сделал заготовку для ганчевой доски? И еще перенес контур? Ты старательно работаешь, мальчик. Скоро тебе быть мастером, скоро.

Ширин молчал, не понимая, куда клонит разговор дядя.

— Я слышал, ты виделся с матерью? Я бы не хотел, чтобы это повторилось

— Она родила меня на свет,— тихо ответил Ширин.

— И еще я слышал, что ты отдал ей все деньги.

— Мне стыдно, что моя мать живет на подачки торговцев, на которых она должна работать за гроши целыми днями.

Ширин знал, что дядя не терпит прекословия, что сейчас решается его судьба как мастера, но отказаться от матери он не мог.

— Ты скоро будешь мастером,— продолжал дядя,— тебе надо будет жениться, но для этого нужны деньги, и немалые, а ты все отдал матери. Ты не думаешь о себе и о своей будущей жене. Конечно, как мастер, ты способен будешь хорошо зарабатывать, но разве лишним был бы небольшой запас?

— Я заработаю, у меня есть руки,— не уступал Ширин.

Дядя понимал лучше всех других, что есть у этого мальчика нечто более дорогое, чем просто руки — его талант. Ширин уже и сейчас оставил позади остальных учеников, и дядя Нишан от самого себя не скрывал, что его племянник скоро обгонит и его, признанного бухарского усто. И это богатство дядя хотел приберечь для своей дочери. Поэтому сейчас он ограничился только краткими наставлениями, не стал корить и ругать его. Зачем обострять отношения с будущим мужем своей

дочери? Кроме того, заботливый сын станет и заботливым мужем, а дядя хотел своей дочери счастья.

Беда грянула неожиданно. Откуда дядя Нишан узнал о рисунках Сафара, догадаться было невозможно. Но рисунки попали к дяде и поднялся страшный скандал. Он собрал всех своих учеников.

— Я не знаю, как могла прийти мысль нарушить установления корана, только Сафар нарушил их. Мало того, что ему никогда не стать мастером, еще и мне грозят немалые беды. Могут обвинить меня, что я насаждаю неверие среди своих учеников, и меня лишат не только звания мастера, но и титула мирзы, который носит наш род вот уже три поколения. Ты, Сафар, должен немедленно покинуть мой дом, но до этого ты сожжешь на костре свои богопротивные картинки. Ты никогда больше не посмеешь приблизиться к воротам моего дома. А остальные, когда будут в мечети завтра же утром должны попытаться умилостивить всемогущего и всесильного аллаха за прегрешения, [illegible] умолчали о многогрешном занятии своего друга [illegible], вы будете поститься пять дней.

Сафар тут же во дворе сжег свои рисунки и исчез. Разгневанный дядя закрылся в своих комнатах, а ученики теперь не смели смотреть друг другу в глаза. Ведь каждого из них можно было заподозрить в доносе, из за которого пострадал Сафар.

Молчание надолго поселилось в этом доме. Уже не стало слышно шуток, веселых голосов учеников, дядя был суров и замкнут. Он давал все больше и больше заданий, теперь все работали на строительстве дома купца Ибраима: выкладывали купола, возводили стрельчатые башенки, выводили арки над дверями, а черчение так и осталось ежедневным многочасовым занятием. К осени дядя объявил: нужно готовиться к посвящению в мастера. Работы теперь прибавилось еще больше, парни почти не поднимали головы от рабочих столов. Кончалась для них пора ученичества, впереди самостоятельная жизнь.

Первым посвящался в мастера Адис. На этот день дядя Нишан пригласил к себе в дом наиболее известных и почитаемых меъморов — устозов. Готовился пышный обед, были приглашены два повара, которые уже с утра занялись стряпней. В большом котле варился плов, жарились на шампурах шашлыки. Сам Адис накупил доро-

гих подарков для учителя и двух-трех самых уважаемых мастеров. Около четырех часов пришли музыканты, и звуки карная понеслись над священными площадями и улицами Бухары. Любопытные, каких здесь всегда предостаточно, стекались к дому усто Нишана, чтобы самим увидеть редкое событие на улице мастеров.

Все ученики усто Нишана и наиболее способные ученики других мастеров чинно сидели поодаль, чтобы не мешать торжеству. Стали появляться приглашенные. Они подъезжали на повозках или верхом, в зависимости от достатка и общественного положения. Кроме мастеров приглашались городской казий, мулла соседней мечети, богатые купцы и чиновники из бухарской знати. Это делалось еще и для того, чтобы новый мастер мог получить почетный заказ.

Усто Нишан сидел между мастерами, попивал чай, когда ответственный за церемонию мастер Хамид вывел из дома Адиса, одетого в праздничные наряды. За ним друзья вынесли завернутые в платки подарки. Адис, уже сложившийся мужчина с черной бородкой, обратился к гостям.

— Уважаемые и почтенные мастера и вы, усто Нишан! Много дней я внимал каждому слову учителя, следовал его советам и трудился ежедневно, не забывая возносить слова благодарности аллаху, всемогущему и всемилостивому, за то, что даровал мне в наставники такого почтенного и мудрого человека, как усто Нишан Я хочу отблагодарить всенародно моего дорогого учителя и прошу его всегда считать меня своим учеником. А если уважаемые и достопочтенные гости посчитают меня достойным своего учителя, то прошу считать членом цеха мастеров бухарских!

Старейшина цеха семидесятилетний усто Мумин обратился к присутствующим:

— Считают ли почтенные мастера ученика Адиса достаточно подготовленным и зрелым, и находят ли они возможным дать свое согласие на присвоение Адису звания мастера?

Мастера степенно кивают головами в знак согласия считать Адиса своим коллегой.

Адис раскладывает перед Нишаном праздничную одежду и обувь, целует мастеру полу халата.

Усто Нишан встает со своего места. Сейчас он олицетворяет собой святого хазрата Ибрагима, покровителя меъморов. Он выходит на середину двора, опоясыва-

от Адиса парамандом*, берет с подноса тешу и андаву, и вкладывает их за пояс ученика. Затем совершает благословение, как сделал это, по преданию, святой хазрат, посвящая в мастера первого усто Бухары. Усто Нишан обнимает своего ученика. Адис теперь считается мастером и имеет почетное право ходить по городу с тешой за поясом.

Серьезность обряда, его торжественность настраивали всех присутствующих на возвышенный лад. Один за другим поднимались старые мастера, говорили высокие слова о предназначении мастера, о его долге делать жизнь людей красивой и праздничной. Слушали их со вниманием. Снова взял слово старейшина цеха усто Мумин, на сей раз он начал свою речь не совсем обычно.

— О почтенные мастера Бухары и вы, уважаемый и почтенный усто Нишан! Мы должны перед аллахом и людьми Бухары выбирать себе учеников среди наиболее способных и достойных юношей и делать из них мастеров. Но разве мы забыли старый обычай, завещанный нам святым хазратом Ибрагимом? Если меъмором становится сын меъмора, то он без посвящения получает звание устоза и принимается в наш цех! По достижении нужного мастерства он без посвящения получает из наших рук тешу и андаву. Скажите вы, о почтенный усто Нишан, есть ли среди ваших учеников юноша, отец которого был бухарским мастером? А может быть, даже его дед и прадед были бухарскими строителями?

Усто Нишан растерялся.

— Да, да, о великомудрый усто Мумин. Есть у меня ученик, сын, внук и правнук бухарских мастеров, это Ширин, мой племянник. Но я не смел представить его вам.

— Старателен ли он? Прилежен ли в учении? Чтит ли своего учителя и дело, которому обучался у вас, усто Нишан?

— Да, почтенный Мумин, он и старателен, и прилежен в науках, он почитал меня как своего учителя.

— Подойди же ко мне, сын Ахмада, внук Насыра! — потребовал старейшина.

В смятении и растерянности подошел Ширин к старейшине, одно слово которого вызывало трепет не только учеников, но даже почтенных мастеров.

---

* Здесь и далее см. «Пояснительный словарь».

— Достоин ли он, о усто Нишан, принять высокое звание меъмора и усто?

— Достоин, о мудрый Мумин...

— Вот тебе, славный юноша, теша и андава! Ты по рождению мастер, владей же этими почетными знаками меъмора с честью! — Старейший мастер Бухары передал Ширину знаки строителя и мастера.

Это происшествие, не предусмотренное программой праздника, поразило многих присутствующих, ведь Ширина сегодня представлять не намечалось. Старики взволнованно говорили о великих традициях святого хазрата Ибрагима, которые стали, к сожалению, забываться. Ученики завидовали Ширину, который так неожиданно стал мастером, а сам Ширин растроганно благодарил собравшихся за столь неожиданную честь и доверие.

Призывно звучат карнаи над Бухарой, возвещают городу о рождении двух мастеров. Ошпазы и чайханщики разносят гостям плов и душистый чай. Большой, большой это праздник — приход в мир сразу двух мастеров, готовых строить, а строить — самое главное назначение человека.

Важный казий, Кари[illegible]бай, величественно покачивая головой в дорогой чалме, говорит, стараясь придать своим словам силу особой значимости:

— В счастливый день вы принимаете в свой цех мастеров. Скоро наш солнцеподобный эмир будет возводить новый дворец в Кермине. Будут для вас большие и почетные заказы, устозы.

Известный своими торговыми связями с Багдадом, Тебризом, Москвой купец Абду-Кадырбай поднял руку, прося слова.

— Слушайте меня, мастера Бухары! Пока наш светлейший и мудрейший эмир Ахадхан соблаговолит начать возведение своих, подобных небесам, дворцов, прошу дать мне совет. Я хочу построить в Бухаре второй свой дом. Да, прошу дать мне совет, кому из мастеров поручить этот заказ?

— Послушайте, уважаемый Абду-Кадырбай, мой почтительный совет, — ответил ему усто Мумин. — Если вы хотите построить нечто достойное вашего сана, берите к себе молодого усто Ширина. Я видел его чертежи, видел его отделку в строительстве домов, которые возводил наш почтенный усто Нишан. Берите, и вы не ошибетесь!

Предусмотрительный Абду-Кадырбай заранее разузнал о наиболее способном ученике усто Нишана, сам ви-

дел его чертежи и их воплощение, но спросил сейчас, что-бы подольстить мастерам и не обидеть их своим смелым решением передать важное дело строительства дома еще никому не известному усто Ширину.

— Тогда я, если на то будет согласие уважаемых мастеров, передаю заказ усто Ширину!

Праздник продолжался, а Ширин, польщенный таким подарком в день своего посвящения, не мог найти подходящих слов, чтобы благодарить Абду-Кадырбая, не мог прийти в себя. В его жизни произошел такой поворот, события приняли такое направление, что уже завтра с утра ему нужно жить совсем по-[illegible]. Теперь он не ученик, он меъмор, вот у него [illegible], он получил завидный заказ от человека с размахом. Абду-Кадырбаю нужен дом, который поразил бы [illegible] бухарца, но не настолько роскошный, чтобы [illegible] эмир. Старый Ахадхан завистлив и злобен [illegible] Абду-Кадырбаю, если его дом будет [illegible] Мохи-Хосы. Эту ситораи построили [illegible] Ахадхан сам был молод. Ширин хорошо [illegible] ее уже отошедший к всевышнему усто [illegible]. Но ситораи Мохи-Хоса устарела. Да, [illegible] был смел, дерзок по мысли, но сам эмир [illegible] мешал зодчему.

Теперь эмир стар, а его власть [illegible] беспредельна. И никто не посмеет пойти против его воли. Поэтому в планировке дома Абду-Кадырбая должна быть прежде всего сдержанность. Не дать размахнуться руке и воображению, не преступить запретного, не подняться выше эмирских башен и дворцов.

И когда отгремели карнаи, Ширин засел за чертежи. Два месяца он работал в полном одиночестве. Никто не мог знать, чем заняты его мысли, никто не видел его набросков, свою мастерскую он запирал, когда уходил. Абду-Кадырбай был уверен, что Ширин занят только его заказом, поэтому не торопил и не мешал. Было ли это уважительным, тактичным отношением к художнику или обыкновенной занятостью торгового человека? Трудно сказать, главное сейчас для Ширина показать всем и доказать самому себе, на что он способен. Главное — работа...

Что же могло произойти с человеком, жизненный путь которого начался под такой счастливой звездой,

когда все будущее для него было таким же блестящим, как след колесницы аллаха на небе?

Почему в день приезда молодого эмира Алимхана из Петербурга в Бухару этот человек стоял на обочине каганской дороги с ятаганом в руке в числе прочих солдат-сарбазов, охраняя путь эмира к Арку? Что могло с ним произойти?

Сарбаз Ширин обладал цепким, точным, наметанным глазом, он хорошо рассмотрел коней, коляску эмира, его самого, облеченного немыслимой властью над подданными, и его гостью, женщину с белым тонким лицом. Конвой из двухсот всадников мчался следом за коляской и сразу закрыл ее от Ширина. Десятский велел сарбазам разойтись по домам. Ширин вздохнул и поплелся к себе в бедную свою конуру, которую снимал за гроши. Лицо эмира показалось ему озабоченным. Но какое дело до настроения власть предержащих бедному сарбазу? Их разделяет такая же пропасть, какая отделила небо от земли, землю от солнца и солнце от остальных звезд. Прах ты есть, прахом и останешься.

Усто мирзо Ширин сын Ахмада был в это время простым пехотинцем в армии эмира.

Глава III

ПЕРВОЕ ТВОРЕНИЕ

Есть произведения, о которых говорят только после смерти творца. Страшна судьба их создателя: при жизни он гоним, его имя никому не известно, его произведения никем из современников не приняты и даже презираемы.

Ну, а тот, кто понят при жизни и даже почитаем? О его произведениях говорят еще до окончания работы, они становятся гордостью земляков, и все-таки судьба творца от этого не легче. Завистники плетут вокруг его имени небылицы, клеветники рассказывают о [illegible] менных чертах его натуры и даже о связи с дьяволом, что сам создатель, будь он ближе к этой подлой стороне земного существования, ужаснулся бы и уничтожил свои труды. Серая будничность не приемлет гения, унижает его, исторгает из своей среды или старается принизить значение его созданий, сильные мира проявляют жестокость и учиняют расправу, дабы стереть из памяти

ти людей не только имя подвижника и Мастера, но, будь их воля, и само творение его.

Ширин получил от Абду-Кадырбая полную свободу действий и право делать все расходы на производство работ. Ширин знал, что такую свободу предоставляют мастерам, уже зарекомендовавшим себя не одним творением. Правда, у Ширина уже есть дом Абдуллабека в гузаре Арабон, есть дом Ниязи Пуст в гузаре Кумуркуча, второй дом Джурабека в гузаре Пишанир. Молод, молод тогда был — всего 22 года! — не был посвящен в мастера и считалось, что дома строил дядя Нишан. И вот Абду-Кадырбай отдает подряд молодому,—28 лет для мастера не возраст,— меъмору Ширину

Ширин провел несколько дней на участке, купленном Кадырбаем в гузаре Джуйбар. Ходил, прикидывал что-то в уме, останавливался на соседних улицах, изучал дома прилегающих участков. Он даже набросал эскиз, на котором отобразил прилегающие дома и сады, а уж потом делал вариант за вариантом, прикидывал планировку участка.

— Ты хочешь, мастер, чтобы мой дом резко выделялся среди окружающих?— спросил Кадырбай, заехавший вручить Ширину деньги на первичные расходы.

— Если один зуб во рту будет длиннее других, его хозяин не сможет рта закрыть,— ответил Ширин.

— Что же ты задумал, меъмор?

— Чтобы ваш дом, уважаемый Абду-Кадырбай, стал частью целого, ведь целое исправить мне уже не дано. Он должен стать единой частью окрестности, хозяин.

Они сидели под старым тутовником на небольшом коврике за чаем. Перед ними лежал еще весь в бурьяне и буграх участок, на котором предстояло разбить сад.

— К дому следует сделать удобный и простой подъезд, ибо если сделать его сложным и извилистым, то к вам лишний раз не приедут гости. Через ваш сад и двор должна всегда идти вода не в ущерб соседям. Сам дом будет, конечно, закрыт забором, но забор не должен напоминать глухую тюрьму, а разжигать интерес. И крыша вашего дома должна быть расположена так, чтобы вы на ней не только отдыхали после трудного дня, но и могли любоваться окрестностями.

Высокого роста, сильный, крепко сложенный, энергичный Кадырбай был полной противоположностью маленькому, щуплому, худощавому мастеру. Он громко рассмеялся, обнажая белые крепкие зубы:

— Как ты мог так верно понять мои желания?

— Только глядя на вас, только глядя на вас, Кадыр-бай-ака! — также весело отозвался Ширин.

— Хош, у меня к тебе вопросов больше не будет, тут ты хозяин, — повел рукой вокруг себя Абду-Кадырбай и поднялся. — Делай так, как задумал.

Нужно ли объяснять, как возникло это взаимопонимание? Купец поверил ясному, одухотворенному взгляду, в котором светились вдохновение, полет мысли и мечты.

В последующие дни действия Ширина были вовсе странными. Он бродил по городу и присматривался. Во многих частях города шло строительство, и Ширин смотрел за работой. Он искал. Мечта уже была, но исполнить ее один он не мог, нужны были исполнители.

В проулке огородников у Каршинских ворот усто по непонятной причине задержался долго. Что могло остановить его внимание?

Могучий седой старик в белой чистой рубахе и двое его сыновей, оголенных по пояс, кетменями рыхлили землю под огород. Стояла середина лета, первый урожай уже снят, но отец с сыновьями заново вскапывал землю под второй урожай. Методически взлетали вверх тяжелые кетмени, резко обрушивались вниз, отваливая большие комки сухой земли. Но затем начиналось самое важное: они тыльной стороной кетменя тщательно и даже медлительно разбивали каждый ком земли, растирая ее почти в порошок, рыхлили ее так, что можно было без труда наметить арычки для воды. И делалась эта нелегкая работа под палящим солнцем столь вдохновенно, с таким усердием, что Ширин простоял непростительно долго для случайного прохожего. А когда все трое одновременно сделали перерыв, чтобы отпить по глотку чаю, подошел к ним:

— Салам алейкум, почтенные труженики, хорманг!

— Рахмат, рахмат, почтенный бездельник, — ответил старик с лукавой искринкой в глазах под седыми густыми бровями. — Пока твоя голова нагревалась под солнцем, ты мог сделать одну газы огорода. Присаживайся к нам, прохожий, отдохни и ты.

— Скажите мне, почтенный, ваше имя, — попросил Ширин, принимая пиалу.

— Мое имя знает на этой улице любой. Зовут меня Абдурахим, а это мои сыновья Садык и Тимур.

— Объясните мне, почему вы так долго рыхлите землю?— спросил Ширин.

Старик вздохнул:

— Слишком часто объясняю я это даже своим соседям. Вскопать землю можно и омачем на быках, но земля будет рваной, и брошенное в нее зерно будет лежать между комками, а ложиться ему следует в пуховую постель. Земля наша жестковата от солнца, вот я и измельчаю ее. И когда пущу воду, каждая крупинка земли пропитается влагой и будет кормить [illegible], и ни одно из них не останется без воды, и я получу [illegible].

— Вы чем еще занимаетесь, кроме [illegible] спросил Ширин.

— А ты считаешь, что здесь я не [illegible] вопросом на вопрос ответил старик.

— Нет, я так не считаю, но [illegible] руки и руки ваших сыновей,— еще не [illegible] заметил Ширин.

— Что же ты с ними будешь [illegible]

— Вы мне разрыхлите землю [illegible] потом еще потребуется много [illegible]

— Ты собрался строить дом, [illegible] понял старик,— да кто же ты?

— Меня зовут усто Ширин.

— Ну, что ты меъмор, я [illegible] кивнул старик,— но чтобы меня отыскал [illegible] Ширин, не ожидал. Оббо! Какая же для [illegible]! Что же ты предлагаешь?

— Идти ко мне работать, в оплате я не обижу ни вас, ни ваших сыновей.

— Хорошо, пройдем в дом, поговорим там обстоятельно. О таком говорить на улице неприлично. Работа должна обсуждаться спокойно.

В доме было все так же чисто, прибрано, аккуратно, как и на огороде. Каждый инструмент лежал на своем месте, двор выметен и полит, ухожен каждый куст роз, все радовало порядком и степенностью. Устроились на айване.

— Говори, усто Ширин. Мы знаем о тебе, что же ты затеял строить?

Старик разлил чай, сыновья принесли фрукты и лепешки.

— Я получил заказ Абду-Кадырбая на новый дом, и мне нужно спланировать сад, дом, арыки, а потом уже выложить стены и поставить крышу. И сад, и цветники я

буду засаживать сам. Согласны ли вы помочь мне, о почтенный Абдурахим-ата?

Абдурахиму пришлось по душе, что усто Ширин не покупает руки, как это делают высокомерные подрядчики, а просит о помощи.

— Кто же откажет усто Ширину, сыну почтенного Ахмада?— улыбнулся старик.— Когда и куда мы должны прийти?

Уже на второй день Абдурахим с сыновьями и со своим инструментом были на участке Абду-Кадырбая.

— Вот здесь,— показал Ширин,— будет дом. А вы сами посмотрите землю, где, по-вашему, будут сад, цветники, арыки.

Прищуренным глазом старик осматривался, но своего мнения пока не высказывал:

— Когда я должен ответить?

— Не очень спешите, но и не тяните,— только и сказал усто.

На несколько дней Ширин исчез. Все тем же цепким взглядом всматривался он в бурлящую жизнь Бухары, выискивая, выбирая то, что ему нужно.

В чайхане недалеко от базара его внимание привлек бродячий музыкант думбирачи. Он играл, не глядя на посетителей чайханы, не выпрашивая подаяния, он просто играл. Но в его игре было столько живого огня, столько радости и печали, что вряд ли кто занятый своими бедами и заботами мог остаться равнодушным. Был он не стар, но одет крайне бедно даже для бродячего музыканта, комья ваты торчали из его халата.

— Скажи, почему ты не просишь подаяния, а только играешь?— присел около него Ширин.

— А ты сам чего-нибудь просишь? Ты строишь, и люди благодарны тебе,— озорно блеснул глазами бродяга.

— Откуда ты меня знаешь?— удивился Ширин.

— В Бухаре известен каждый житель,— уклонился от ответа озорник.

— А что ты еще умеешь, певец?

— От моих шуток поднимаются крыши чайхан и рябь идет по поверхности хаузов!

— Так крепки твои шутки?

— Так громок от них смех!

— Но мне этого мало.

— Я могу готовить чай по-кокандски, по-ташкентски, по-фергански. Что тебе еще?

— Пожалуй, достаточно, идем за мной.

Так надолго рядом с Ширином оказался весельчак Закирджан.

Плут, музыкант и игрок, он старался не вспоминать о запретах корана, не хотел признавать никаких ограничений, бродил от города к городу, и часто уходил из города не по своей воле. Стражники неохотно пускали его через городские ворота, заранее уверенные, что скоро придется самим же искать и выдворять, но в душе довольные, что вот и к ним пожаловал Закир-певец.

Но Ширин больше всего был занят поисками строителей, настоящих строителей. И одного нашел в совсем неожиданном месте, в армянском квартале. Строился не мусульманский дом, глаз Ширина тут не мог ошибиться. Поразила хватка. Кладка шла посуху, без связующего материала, но действия строителя были настолько сноровисты, ладны и расчетливы, что Ширин сразу оценил его. А ведь выкладывался низкий забор из обломков камня.

— Зачем ты кладешь камень вместо глины? — спросил Ширин.

— У нас принято обкладывать камнем кладбища,— ответил тощий, жилистый армянин, не слезая с забора.— Тут будет захоронение.

— А дом? Как бы ты выкладывал дом?

— Не больше трех рядов в день и по раствору.

— А почему?

— Если класть больше, то тяжесть рядов будет выдавливать раствор и связи ослабнут.

— Сойди на землю, мне нужно поговорить с тобой.

Ашот хорошо знал местные языки, и они прекрасно поняли друг друга. Замысел мастера Ашот понял сразу: верх дома должен быть таким же прочным, как и низ стены, но легче, потому что наверху добавится лепка.

— Тогда я буду класть ее медленнее, два ряда в день. Тебе это покажется мало, и ты будешь покрикивать на меня,— усомнился Ашот.

— Я сам буду там каждый час,— заверил Ширин.

Пока Ширин бродил по городу, на участке изменилось многое. Старик Абдурахим соорудил чайла для жилья и кухни, провел временный арык, чтобы не бегать далеко по воду.

— Мы не можем уходить домой каждый день, а потом по утрам идти сюда,— пояснил старик.— Мы должны быть на месте работы все время, только один раз в не-

делю мы будем уходить поливать и пропалывать свои огороды, да в мечеть.

— Мы тоже будем жить здесь, потому что вечером нужно проверить кладку, и если нужно, то разобрать ее,— поддержал старика Ашот, который с четырьмя кладчиками уже был на месте.

Весело и дружно началась работа. А когда становилось грустно, Закирджан, оставив самовар и очаг, брался за инструмент. Наступала жара, все прятались под навесы и отдыхали. Подходил вечер — и вокруг костра собирались мастеровые, шутили, смеялись, слушали музыку Закира, просто расслаблялись и смотрели на звездное небо. Ашот уже формовал кирпичи по указаниям Ширина, готовил ямы для глины Абдурахим с сыновьями, а Ширин все вымерял аршином участок, чертил и заново перечерчивал планы.

Он поставит в доме толстые стены, ибо через них не проникнет жара летом и не уйдет тепло зимой. Поставит он и печь для обогрева, хотя будут и сандалы. Однообразие — враг мастерства и творчества, и Ширин в окостеневших канонах искал своеобразия, искал те щели, сквозь которые в традиционализме можно найти выход оригинальности.

Кто из простых смертных знает, что такое вдохновение? Природа творчества в одиночестве. Когда утихает шумная и всегда немного озабоченная Бухара и тишина нисходит на мир, творец остается один со своими идеями. Но секунды озарения редки, как след от упавшей звезды в светлом небе Бухары. Им, этим счастливым мгновениям, сопутствует постоянный, неустанный труд. Да, талант нужен каждому мастеру, но без труда не жди от него плодов — он сродни пустоцвету. Только труд делает огород старого Абдурахима плодоносящим и радующим глазом. Только труд помог знатоку камня Ашоту выложить такую ограду армянского кладбища, что люди других вероисповеданий ходили любоваться этой оградой, потому что камень на месте последнего прибежища уставших печалился и грустил. Домбра бездельника Закира делала с людьми чудеса, потому что этот бродяга — Мастер.

Ширин, решив с Абдурахимом, где разбить цветник и сад, теперь выбирал место для каждого дерева. И одного пока желала его душа, его мысль. Он представлял дом только как объем, еще ничем не наполненный. Но он сознательно, а иногда усилием воли отодвигал работу

над проектом дома, ибо если он только на час усядется за эту работу, то больше не оторвется. Чистый лист давно приколот к доске, калам уже давно скучает по руке хозяина, а тот только изредка косится на чистый лист, чувствуя его притяжение, желая заполнить его белизну и даже боясь ее.

Работа над садом была отдыхом, наслаждением, дом — мукой и тяжестью. Но в этот вечер он отложил план сада. Дом! Он вдруг привиделся мастеру сразу, весь, во всем своем величии и прост[illegible] [illegible] представлялись внутреннему [illegible] он чувствовал, что все это не то. [illegible] зу — вот то, что искал! Виде[illegible] будущей мелодии. Рука испол[illegible] сти подрагивает над струной, [illegible] нуться домбры. Но вот, словно [illegible] ет пальцы он на струны — и [illegible] чем говорит струна, что [illegible] или чем-заставит плакать сердце?

Люди еще не спали. Закир [illegible] тавливая продукты к завтраку.

— Ты чего не спишь, Закир?

— Ты создаешь свое, а я свое, и то [illegible] сна, усто.

— Откуда ты знаешь, чем [illegible]?

— Если бы ты тосковал о женщине, ты [illegible] бы к женщине. Если бы хотел вина, то [illegible] пил бы вино. Если бы хотел видеть друзей, то сейчас [illegible] в их кругу. Но если ты один и не находишь себе покоя и не идешь к женщине, не пьешь вино и не болтаешь с друзьями, то ты творишь.

— Ты кто, шайтан, что видишь все? — улыбнулся мастер.

— А почему ты думаешь, что я не шайтан? Я тоже не сплю и тоже не иду в названные места. Мир распахнут для души Закира, а он сидит на этом пустыре около тебя. Закир бездельник? Да, но я смотрю на тебя, и читаю в твоей душе. Я твоя совесть. Дом? К тебе пришел твой дом?

— Да. Но откуда ты знаешь?

— Тогда иди к нему и не нюхай запаха кизяка и кислого теста. Думая о небесном, ты сам должен быть ближе к небу. Иди...

И с ним произошло невероятное, неведомое дедам и прадедам. Он сначала строили дом,— хотя поначалу на

бумаге! — а все остальное лепили к главному замыслу. Ширин увидел вначале ворота дома. Они были, пожалуй, типичными для бухарской знати, но он видел не только их резьбу, медные украшения в виде заклепок, но и их пропорции. Двери, что в них? Но уже они должны звать, и усто Ширин взялся за чертежи.

Руки его, познавшие труд чертежника, сродни рукам золотошвеев, им подвластны малейшие завитки фантазии. Он сам будет делать всю резьбу. Но какую?

И снова усто Ширин пошел в свои странствия по Бухаре.

Тесна, страшно тесна Бухара! Зловонные запахи сопровождают путника на узких улицах города. Кладбища размещаются вперемежку с жилыми домами, и в их сагона видны кости и остатки погребальных одежд. Это уже прах вечности, и никакого священного трепета они не вызывают. Мирзо Ширин, живший в благоустроенных гузарах, редко бывал в этих местах. Да и возможно ли знать всю Бухару? Это Вавилон, густо замешанный на мечетях, базарах, караван-сараях, махалля и европейских кварталах, и только гузар Кози Нуриддин Ширин обходит стороной: это убежище убогих, махау, песхо. Что тут может сказать глазу? И Ширин выбирается в Пухтафабон, а затем идет в центр города.

Из-за поворота показалось шествие каландаров. Около сорока дервишей выкрикивали изречения из корана и клянчили пожертвования у встречных. Большой гнев может обрушиться с самой неожиданной стороны на того, кто не воздаст мзду во имя ислама. Бобои каландар покосился на усто Ширина, но распознав в нем меъмора, отвел глаза. Тем не менее Ширину пришлось отдать несколько танга подскочившему к нему дервишу. Тот бросил монеты в свою чуби чормагз, потряс перед лицом Ширина табарча и нахально подмигнул ему.

Ширин побрел дальше, но настроение было испорчено. Краем глаза он еще видел, как бобои каландар постучал своим змеевидным посохом у двери дукона, требуя подношения у хозяина.

Все привычно и много раз видено. Так было в Бухаре, так и будет. И все же тревога не проходила. Ширин знал, что в обстановке всеобщего шпионажа и доносов даже малейшая оплошность может повлечь за собой неисчислимые беды. Поэтому-то и было у него на душе скверно после встречи с каландарами, ведь они-то и слы-

ли первыми шпионами. Не случайно сейчас торговцы выбегали навстречу бобои каландару с щедрыми дарами. Не приведи аллах обидеть каландаров! И торговля может вдруг захиреть, и сам хозяин может оказаться в эмирском зиндане. Такова власть, незримая, необъяснимая, но очень страшная, у этих одетых в лохмотья юродствующих поборников ислама.

Много гадости и разврата, низости и позора собирают в себе деспотические царства. Лесть и взятки, подкупы и извращения кроются за пурпурами государей и молитвами служителей всевышнего. Гнусная ложь стоит за каждым троном, гнусная ложь и много крови. Кому же печься о благе народа? Кто поможет ему, прозябающему в темноте и нищете, обворованному и обманутому, обложенному немыслимыми налогами и [illegible], ему, униженному до последней крайности, кто поможет ему, если не он сам? Проснувшись, расправит он свои могучие плечи, и закачаются троны и государства, полетят короны и закатятся престолы. Но как и [illegible] произойдет? Как и когда?

Усто Ширин остановился у Регистана. Он, зодчий, всегда склонял голову перед великими творениями, созданными здесь.

Выходя из дома сегодня утром, он собирался было посетить свои первые постройки в гузарах [illegible], Кумуркуча, Ишаппир. Но теперь ему не захотелось идти к ним, своим первенцам. И не мог вначале понять, почему. А потом понял. Эти три дома он делал все-таки под наблюдением усто Нишана, придавленный его авторитетом, скованный его привычками. Нет, свой первый по-настоящему самостоятельный дом он сделает, не следуя за чужой рукой. И именно поэтому он пришел сюда, на Регистан.

Он всматривался в башни и порталы Арка, в однотипные, но такие разные фасады медресе Доруш Шифо и Бозори Гусфанд, неспешно шел вдоль хонако Нодир Девонбеги и Ляби-хауза, снова оказывался около медресе Назар Элчи и Кукалдош. Их много на Регистане, этих медресе. Медресе Хурджин и Домулло Шер, Кози Латиф Абдунатбой. И тем большим контрастом с этим великолепием площади были нищета лавчонок и драные навесы менял, целые скопища кали, которые, потеряв всякий стыд, вымаливали, выклянчивали подаяния прямо против эмирского Арка. Высунув красный язык, строя рожи и угрожая плешивостью, они шли за Ширином

группой человек десять и громко говорили непристойности.

С кали спорить нельзя, оговариваться напрасно. Они поднимут вой на всю площадь, начнут поносить горожанина, и никто не осмелится осадить их, прикрикнуть. Ширин бросил им несколько танга, и кали, урча, снова заползли под нары торговцев, откуда их нельзя было никак выкурить даже эмирским сарбазам. Стоило начать такую облаву, и невообразимый вой и гвалт поднимался на Регистане, тут же подхватывался воплями кали в тузаре Чорсу, а вскоре весь город уже охвачен подлинной паникой. И власти поэтому старались не трогать этот гнойник, тем более что некоторые из кали пользовались такой тайной властью, что даже высокие сановники Бухары старались задобрить их.

Ширин обходил эти подводные для каждого бухарца опасности, занятый своими тревогами.

Какая сила поднимала созидателя на воздвижение этих величественных сооружений, призванных стоять века? Как должна была воспарить мысль зодчего, чтобы он дерзновенной рукой творил эту красоту? Величие Каляна, мечети Калон стали величием их создателей. Но одно угнетало Ширина: слишком мало светлых тонов в облицовке этих дворцов. Даже синева майолики не привносила простора в громаду этих бастионов веры. И что он должен сделать, простой меъмор, чтобы выразить свое мироощущение в облике самого обыкновенного дома, каких в Бухаре не счесть?

Вернулся он совершенно измученный, упал на подстилку и спал как убитый. Закир несколько раз подходил, чтобы разбудить его к ужину, но старый Абдурахим не разрешил:

— Он искал ногами то, что другие ищут языком. Не мешай ему.

Во сне Ширину приснилась музыка. Божественные звуки исходили прямо от звезд, и к этим звездам рвалась его тленная душа в поисках вечных истин: что есть жизнь и смерть, что есть смерть и бессмертие, для чего мы приходим в этот мир и почему уходим, почти не оставляя чекана на лике времени, где всему начало и должен ли быть конец всему живому. Он стонал и метался во сне, и озабоченный Закир даже почел его больным и хотел посылать за табибом, чтобы пустить кровь, но под утро Ширин проснулся сам, попросил чаю. А вскоре он уже сидел за чертежами.

Тот же неугомонный Закир позвал его к дастархану, но Ширин его не слышал. Закир попытался еще раз, но тогда вмешался Ашот:

— Не мешай мастеру. Он болен болезнью великих.

Усто Нишан в эти дни решил навестить своего ученика и будущего зятя. Легкая арба со всезнающим погонщиком привезла его в гузар Джуйбар. Двое внимательных подмастерьев, каким был недавно и сам Ширин, бережно поддерживали под локоть учителя, когда он сходил на землю.

— Усто, усто, к вам гость, — [illegible] ный Закир.

За работой Ширин чуть не пропустил [illegible] усто Нишана, и если бы еще замешкался [illegible] обидеть будущего тестя.

Не в правилах солидных людей [illegible] беседу сразу о главном. Говорили о погоде, [illegible] лавках и событиях в городе.

— Вчера били палками двух [illegible],— рассказывал Нишан,— и поделом, скажу [illegible]. Уважаемые люди наживают добро [illegible], а эти проклятые воры наносят такой [illegible]!

— Что же украли эти презренные [illegible]? — для вежливости уточнил Ширин.

— Один украл двадцать танга из пояса [illegible] продавца воды, а второй три лепешки у лепешечника! — поджал губу Нишан.— Вот и получили по тридцать девять ударов, а потом их бросили в зиндан.

— Поистине безгранична доброта эмира, — непонятно отозвался Ширин.

Усто Нишан нахмурился: эти слова Ширина показались ему дерзкими.

— Покажи мне свои планы, — потребовал учитель, и Ширин расстелил чертежи.

Усто Нишан долго и молча рассматривал их, потом походил по участку. Ширин также молча следовал за ним. Потом снова сидели за чаем.

— Я не понимаю,— наконец начал усто Нишан,— почему ты дом делаешь необычным. Ты понимаешь, сам Джуйбар-гузар связан с выходцами из Персии, здесь живут богатые купцы, они повязаны джуйбарскими шейхами, это ясно. Они позволяли в своих жилищах шамали. Но ты-то истинный мусульманин. Зачем столько украшений на внешних сторонах дома? Почему портал

над дверью ты рисуешь таким нарядным? Хорошо, ворота у тебя широки и светлы, хотя по обычаям они строятся уже, но скажи, где ты видел такие высокие и широкие окна? И зачем в доме столько лишних комнат? И почему парадная стена в мехмонхоне так изукрашена узорами? Скромность должна лежать в основе любого мирского строения. Что будет, если каждый дом в Бухаре станет наряднее и краше, чем мечети и медресе? Ничто не должно соперничать с величием аллаха, только он средоточие всего великого...

Дядя посетовал и на то, что Ширин взял на работу армян, а не мусульман.

— Но они искусные кладчики, домулло. И они, как никто, умеют работать с резным камнем.

— Не знаю, Ширин, что тебе скажет ишан мечети Джуйбар, достопочтенный мулла Джафар, не знаю.

Мечеть гузара Джуйбар, одна из самых богатых гузарских мечетей в городе, красовалась неподалеку своими могучими порталами и фасадом. Ширин боязливо покосился в ее сторону. Он знал всесильную власть шейхов и имамов. Сам эмир, амир-аль-мумин, опасался идти против мечети и служителей аллаха.

Тяжелые предчувствия теснили грудь усто Нишана, когда он покидал стройку. Откуда столько непокорности и своеволия в его тщедушном, худосочном племяннике и ученике? Как он осмеливается идти против традиций и устоев веры? Сам усто Нишан был истовым мусульманином и свято чтил все установления шариата.

— Аллах акбар! Аллах акбар!— огорченно шептал начальные слова молитвы старый мастер, раскачиваясь в арбе, с трудом преодолевающей неровности дороги.— аллах великий и милостивый...

Ишан Джафар наложил на усто Ширина три дня поста и вменил, кроме пяти обязательных полных молитв, произносить еще две дополнительных, а также внести в вакф мечети пятьдесят таньга.

Азан муэдзина с минарета мечети Джуйбар раньше не очень беспокоил Ширина. Теперь он три дня кряду слушал эти призывы:

— Аллах акбар! Свидетельствую, что нет божества, кроме аллаха, свидетельствую, что Мухаммед — посланник аллаха. Спешите на молитву! Спешите к спасению! Спешите к доброму делу! Нет божества, кроме аллаха, и Мухаммед — посланник аллаха!..

Эти пронзительные, протяжные слова разносились далеко окрест, и все спешили к молитве, опасливо поглядывая вокруг,— кто знает, откуда на тебя устремлен взгляд доносчика и шпиона, ишана или шейха? Ширин становился лицом к кибле и произносил:

— О бог, пошли милость своим рабам Твой покорный слуга, грешник, пришел к порогу твоего дома, ты говоришь, что благодетель прощает грешника, ты есть благодетель. Пошли свою милость М[illegible] и его семейству...

Пять раз в день, пять раз. С[illegible], совершать собственно молитву — кир[illegible] такбир — обращение «аллах акбар», сал[illegible]. А чертежи не ждут, и рабочие сте[illegible] не ждут ящики для ганчевых плит. Уход[illegible] время!

Не имеет права добрый мусу[illegible] оплошность при совершении молитвы, дол[illegible], что находится перед лицом самого бога, и [illegible] может отвлекаться ничем мирским, иначе молитва считается недействительной.

— Аллах акбар, аллах акбар,— не[illegible] шепчет Ширин, отгоняя греховные мысли. Дум[illegible] только о боге, только молиться! Говорят, что од[illegible] у одного из пророков во время молитвы вытащ[illegible] из [illegible] занозу, а он даже внимания не обратил. Конечно, пророк есть пророк, но какой же правоверный вытас[illegible] ему занозу во время молитвы?

Ширин испуганно озирается, падает ниц. Шайтан бы побрал эту занозу!

Вот еще и шайтана вспомнил во время молитвы! Оббо!

— Аллах акбар, аллах акбар,— он окончательно запутался с молитвой.

— Молись, молись, усто Ширин!— насмешливо шепчет лукавый Закир,— и аллах дарует тебе милость ходить с шишками на лбу!

Говорят в народе, что если Самарканд — лик Земли, то Бухара — ее сердце. Откуда же в Бухаре столько верующих и молящихся так истово, так благочестиво? Все в руках твоих, всемогущий, все в твоих руках.

К осени дом бая Абду-Кадыра был готов.

Глава IV

ЗИНДАН

Бай Абду-Кадыр пышно отпраздновал большое событие — завершение строительства дома в гузаре Джуйбар. Множество именитых бухарцев побывало на торжестве, и каждый придирчиво осматривал искусно поставленный дом, любовно разбитый сад, и проложенные арыки, и всю обнесенную забором усадьбу. Абду-Кадырбай жмурился от удовольствия, показывая дом гостям. Тут было чем восхититься, все изящно, тонко, а за этим смотрелось не пышное, безвкусное, но подлинное богатство хозяина. Гости цокали языками, говорили восторженно «якши», «хоп», а бай неизменно повторял имя усто Ширина, своего большого друга и утонченного мастера, достойного возводить самые значительные строения в благородной Бухаре.

Абду-Кадыр был очень богатым человеком и щедро одарил усто Ширина, усто Абдурахима и мастера Ашота. Кроме обычной платы, каждый работавший на строительстве, до последнего землекопа, получил от бая по халату и узелку со сладостями и угощениями. Закирджан долго примерял новый богатый халат, поясной платок и кауши, потом съязвил:

— Можно целый год петь в чайхане босяком, и все равно не заработаешь даже один такой платок, не говоря уже о халате и каушах.

В тот же вечер он продал на базаре подарки бая, а деньги прокутил в харчевне с бродягами и попрошайками. Такой это был человек, и усто Ширин даже не пытался читать ему правоучения. Бродяга и острослов, Закирждан не признавал никакой собственности, кроме своей домбры да драного халата, начиненного блохами.

Ишан мечети Джуйбар сам прочитал молитву во славу благоправия и процветания этого дома. Теперь он сидел в числе самых именитых гостей во главе застолья, ел плов, запивал его чаем, даже участвовал в аския, но тот, на ком останавливался его взгляд, чувствовал себя неуютно. Задумчивым, каким-то затуманенным взором он долго рассматривал усто Ширина. Этот маленький мастер уже давно чем-то тревожил имама Джафара.

В группе мастеров, также приглашенных баем Абду-Кадыром выделяется высокий, с усталыми глазами усто

Ибрагим Хафиз, сын известного мухандиса и меъмора Абу Хафиза, который прославился своей садовой архитектурой в Ширбудуне, в Намазгохе и около Самаркандских ворот. Усто Ибрагим сидел в ряду других мастеров и немного печально наблюдал за своим еще молодым собратом по цеху.

Ведь это еще хорошо, что Абду-Кадырбай может оценить прекрасное и воздать должное таланту мастера, сажает его рядом с собой и гордится своим открытием такого усто, как Ширин. Далеко не [illegible] способен так искренне покровительствовать мастерам, а ведь усто Ибрагим помнит случаи, когда мастера угощали вместе со слугами на заднем дворике, имени его не упоминали, и славословили бая, только [illegible] чужой талант. Знал Ибрагим, что слава, осеняющая своим крылом усто Ширина, может вызвать зависть других мастеров, менее талантливых [illegible], и тогда его участь будет поистине горька: для зависти и наветов, для черной молвы в священной Бухаре широкий простор. Оттого так печален взгляд усто Ибрагима.

— Во славу аллаха, не уставать вам, усто Ширин, — выбирает момент усто Ибрагим, когда Ширин оказывается рядом.

— Во славу аллаха, рад вас видеть здесь, усто, — отзывается откровенно счастливый Ширин.

— На Вас снизошло благоденствие, дорогой Ширин, но не забывайте и о сатане, который не дремлет, — негромко говорит Ибрагим.

— Спасибо, спасибо за предупреждение, — также негромко отзывается Ширин и заметно сникает: он понимает, о чем говорит Ибрагим. Нельзя в Бухаре показываться на людях слишком счастливым и удачливым, это может вызвать озлобление неудачливых и обиженных.

А пир продолжался. Ширин попросил разрешения своего благодетеля пересесть в круг мастеров. Бай благодушно улыбается:

— Конечно, друг мой, но и в том созвездии вы будете первым среди первых.

Здесь, в кругу мастеров, идет негромкая беседа прославленных знатоков ремесла. Вот сидит степенный и немногословный усто Ходжи Сапур, знаменитый резчик по дереву. А вот группа ганчкоров: усто Абдурахман, сосед по гузару усто Остон Джуйборы, усто Мирали, Кори-Чуби, Нурилло. У каждого уже есть славные дела, дома и дворцы, несущие отблеск их таланта.

Крепкие это мастера, прорвавшие косность учения в медресе, поднявшиеся выше застывших канонов. То, что они получили от дедов и прадедов, уже не соответствовало уровню, которого достигли мастера Каира и Стамбула, Багдада и Тебриза. Шариат и коран душили их, и тем более удивительны их многотерпение и тяжкий труд, их творения, которыми они продолжают изумлять мир.

Все они не отмечены высокими придворными званиями, при эмирском дворе в милости льстецы и мздоимцы, воры и обманщики, им-то и раздаются звания и награды. Эти же творцы подлинного величия Бухары в большинстве носят звания караулбеков, и только очень немногие стали мирохурами. Эмир Ахадхан любит красоту, но людей, ее сотворяющих, не замечает, считает своими рабами.

Постепенно стихал праздник, разъезжались гости. Ширина на прощание обнял дядя Нишан, который тоже был в числе приглашенных:

— Ширин, сынок,— нам пора поговорить о желаемом и необходимом. Моя дочь Махсура уже готова стать женой, а ты обрел силу, чтобы содержать жену и детей. Да свершится воля аллаха!

— Да свершится... Завтра я буду у вас, дядя Нишан,— заверил Ширин.

Прекрасная осенняя ночь плывет над священной Бухарой. Она темна и немного душна, дыхание близкой пустыни ощущается и в этот поздний час. Крупные яркие звезды движутся по небосклону, складываясь в созвездия. И ярче прочих сияет над миром Большой Ковш, которым виночерпий угощает праведников в загробном мире. Благостная ночь, благословенная ночь!

Бай Абду-Кадыр попросил остаться всех, кто строил ему этот дом, до последнего землекопа.

Еще раз поблагодарив строителей, бай Абду-Кадыр приказал заново подать угощения и сам сел за дастархан.

— Усто Ширин, я хотел бы высказать одну просьбу,— говорит бай, отпивая глоток вина. Чаша с вином в руке и усто Ширина.

Великий грех вершится сейчас: правоверные пьют вино. Ведь сказано же: «О вы, которые уверовали! Не приближайтесь к молитве, когда пьяны». И еще: «Вино является явным корнем и источником грехов, и кто выпил вино, теряет рассудок. Он не знает бога, не свобо-

ден от грехов, никого не уважает, не признает прав родных и близких, не отворачивается от явно дурных поступков. Его тело покидает дух веры и благочестия, остается в нем дух мерзости и порочности, который далек от милости бога. Его будут проклинать бог, ангелы, пророки и правоверные. Сорок дней его молитва не будет принята. В день страшного суда лицо его будет черным, язык будет висеть изо рта, слюна стекать на его грудь. От жажды поднимется вопль из его груди».

Бай Абду-Кадыр попивал вино маленькими глотками, смакуя его со знанием дела. Усто Ширин тоже пробовал раньше втайне зелье дьявола, но вот так, в открытую, пил впервые.

— Усто Ширин, я прошу вас подарить мне все чертежи, по которым вы строили мой дом. Уверяю вас, они займут достойное место в моей кутубхоне. Если не можете подарить, продайте, я за ценой не постою,— ласково уговаривал бай Абду-Кадыр.

— Оббо, какие слова о ничтожных клочках бумаги! Заберите их, второй раз по ним работать не смогу, два одинаковых дома строить нельзя. А хороший напиток это вино. Скажите, бай, почему так получается? Магомет запрещает пить вино, но не запрещает делать его, не запрещает торговать вином, выращивать лозу? Я вот не могу понять, для чего запрещать одно, если разрешать другое?— посмеивался счастливый Ширин, наслаждаясь ароматом напитка.

Абду-Кадырбай скосил глаз. Не слышит ли кто из слуг? Ведь это приглашенные подавальщики, кто их знает, кто они такие.

Наутро Ширин забыл свои насмешливые слова в отношении запретов на вино, но просьбу о чертежах помнил и собрал все листки, передал их Абду-Кадырбаю. Тот растроганно благодарил, а Ширин отправился в дом дяди.

Дядя встретил Ширина уважительно, провел его на айван, усадил, расспросив о здоровье и делах, заговорил о главном:

— Когда умер мой брат и твой отец, я взял тебя к себе в ученики и обещал отдать тебе в жены свою дочь, как только ты станешь мастером. Сейчас ты мастер, тебя признают и другие мастера, и заказчики. Остается только по обычаю отпраздновать свадьбу, Ширин, как ты считаешь?

Свою будущую жену Ширин, конечно, видел, раз жил в этом доме, мелькала нескладная девчонка в проемах двери и тут же исчезала. Строгости в доме дяди были большие. И вот теперь ему предстоит быть хозяином и повелителем той девчонки, хотя он ее совсем не знал.

Его волнение было вполне понятным и объяснимым: у какого джигита при мысли о юной пери не прильет кровь к лицу? А дядя, как назло, бормочет о каких-то бумагах, о договоре, о деньгах?

— Да, Ширин, сынок, все должно быть сделано, как и следует порядочным мусульманам. Мы должны оговорить, что должно принадлежать в доме тебе, а что Махсуре. Ведь всякое может в жизни случиться, а ей необходимо владеть каким-то имуществом, чтобы жить безбедно...

Да, стар уже дядя, совсем бела его борода, голова уже трясется, но ум ценок и ясен, как и прежде. И его деловитость сейчас впервые раздражала Ширина. Ну следует оформить договор, так надо идти к казию и оформлять договор, зачем об этом много говорить? Сейчас нужно решить все вопросы о тое, о приглашенных, которых предстоит заранее оповестить, нужно произвести необходимые для свадьбы покупки. А свадьба будет большой и богатой, ведь денег, полученных от купца Абду-Кадырбая, хватит с лихвой.

— Да, а эти деньги ты можешь оставить мне, Ширин,— тут же подхватил мысль Ширина дядя.— Я сам и займусь покупками к свадьбе, это ты правильно сказал, сынок.

Ширин выложил дяде все деньги, оставив себе на мелкие расходы небольшую сумму.

Уже дважды постучали в ворота, а они, занятые разговорами, не слышали стука, и только на крики с улицы дядя поднял голову от денег:

— Кто-то пришел к нам, пойди посмотри, Ширин.

«Да, скоро, скоро он станет семейным человеком, а это придаст больше уважения мусульманину,— радостно думал Ширин, направляясь к воротам.— И ему, мастеру, это придаст солидности перед заказчиками, ведь любой из них больше тебе доверяет, если у тебя есть жена, дом, семья, как и подобает солидному человеку».

Каково же было удивление Ширина, когда, открыв калитку, он увидел двух стражников.

— Что вам нужно в нашем доме, о почтенные?— спросил еще с улыбкой Ширин.

— Нам нужен вероотступник и распутник усто Ширин сын Ахмада,— строго сказал старший из стражников.— Это ты и есть, идем с нами.

— Вы что-то напутали, почтенные стражи закона,— недоуменно ответил Ширин.— Зачем я мог бы вам понадобиться, и почему вы называете меня вероотступником и распутником?

— Если будешь много говорить, то получишь хороший удар древком,— с угрозой сказал старший и потребовал идти немедленно за ними.

На шум у ворот вышел и дядя, но ему никто ничего не объяснил, не дали сказать ни слова и Ширину, и вскоре дядя недоуменно смотрел вслед своему племяннику, который уходил по улице в сопровождении двух стражников.

В благословенной Бухаре вовсе не диво, когда стражники волокли по улицам провинившегося. Такое зрелище не собирало зевак. Напротив, каждый житель Бухары старался скорее укрыться за воротами, за дувалами, дабы не навлечь на себя гнев или хотя бы внимание этих стражей закона. Вымирали улицы, площади, лавочники спешили опустить циновки над своими прилавками. Даже собаки прятались в подворотнях, потому что и им могло перепасть по ребрам древком копья этих жестоких людей.

Ширин шел между двумя стражниками, опустив голову. Он никак не мог понять, по какому навету явились они, не мог вспомнить за собой такой провинности, за которую его следовало бы с позором тащить к казию. Это эмирский суд вершится на площади при стечении множества народа, а казию дано право судить у себя дома.

Казий Махмуд вышел на айван в белом длинном халате и такой же чалме, что должно было свидетельствовать о чистоте его помыслов и деяний перед аллахом.

— Скажи, о презренный, исполненный грехов и мерзостей Ширин, сын Ахмада, способен ли ты уплатить суду за его праведность?

— Да, да, о мудрейший казий,— заторопился Ширин и стал искать деньги в карманах, но никаких денег у него не оказалось, а стражники с безразличными ли-

нами отвернулись, ведь вопрос о деньгах Ширина их уж никак не касался.

— Я... я внесу потом, мудрейший,— залепетал Ширин, понимая, что говорить о том, что его обчистили стражники не только бесполезно, но и опасно.

— Потом?— поджал губы казий.— Тогда скажи мне, о презренный, знаешь ли о том, что шариат запрещает мусульманину пить вино и богохульствовать?

Похолодело сердце Ширина. Вчера он пил вино у купца Абду-Кадырбая, и сегодня это уже известно казию.

— Да, мне это известно,— прошептал ошарашенный Ширин.

— Как же ты смел, ничтожный червь, нарушить запреты пророка?— грозно спросил казий.

Кто в Бухаре не знает, что блюстители законов, владыки, сановники и сам эмир не очень-то страшатся духа мерзости и [illegible], проклятия бога, ангелов и пророков, проводя дни в грехе, прелюбодеяниях и потреблении спиртного. [illegible] самого казия не говорил об его усердии в [illegible]. Но какой закон, какие заветы пророка касаются их, облеченных властью? Простой же смертный, уличенный в грехе, будет наказан со всей жестокостью, установленной шариатом.

Приговор был коротким: девятнадцать ударов плетью,— девятнадцать дурра,— и зиндан в ожидании решения кази-калона.

Казий учел то обстоятельство, что Ширин был все-таки мирзой по наследию, и сам поэтому вынести окончательное решение не имел права.

Стражники потащили Ширина к месту экзекуции. Возле Тима Абдуллохана уже собралась немалая толпа осужденных, приведенных из разных гузаров с приговорами своих казиев.

Совсем недавно Ширин ходил около величественных стен Тима Абдуллохана, стараясь постичь тайны его архитектуры, а теперь униженный, придавленный безжалостной рукой закона, стоял на площади с завязанными за спину руками. Непокрытую обритую голову пекло нещадно. Обессиленный, истомленный жаждой, он едва заметил вдалеке дядю, но даже знака подать не мог.

Вот на площадь вышел раис и имам Тима Абдуллохана, оба в богатых халатах и чалмах.

Мучительна и тягостна процедура экзекуции. К каждому осужденному подходит имам и требует сказать символ веры, формулу калима. Ширин поспешно прочитал молитву: «Алла иль алла, Мухаммад рахмон алла». Раис и два даррадаста-экзекутора отводят Ширина к месту наказания. Его валят на землю, сдирают одежды. Два хальфа-счетчика становятся по обе стороны от осужденного: аллах грозен, но справедлив, ни одного удара больше или меньше причитающегося не должно пасть на его тело. Дуррадасты взялись за плети из бычьей кожи.

— Во имя аллаха,— произносит раис, и тут же первый удар ожег, врезался, разорвал тело до самой кости, горячая кровь омочила плеть.

— Два... Три... Четыре...— сквозь туман слышал Ширин голоса хальфов.

Глава V

СУД НА ПЛОЩАДИ

Абду-Кадырбай искал пути к эмиру, чтобы хоть как-то облегчить судьбу усто Ширина. Было не просто попасть на прием с прошением: придворные, от которых это зависело, брали за аудиенцию у эмира немалые суммы.

Одним из самых популярных коммерсантов Бухары в это время слыл Латиф-ходжи, человек не только истовый в вопросах ислама, но и просвещенный. Через своих компаньонов Абду-Кадырбай добился свидания с Латифом-ходжи. Встреча состоялась в его загородном дворце в один из теплых осенних вечеров, когда синие сумерки опускались на священные стены Бухары и запутывались в садах.

— Прошу вас, садитесь, уважаемый Абду-Кадырбай,— встретил гостя Латиф-ходжи в летней беседке, где на дастархане уже были приготовлены чай и угощения,— я слышал о вас и рад, что наши молодые бухарские купцы видят правильные пути торговли. Угощайтесь, прошу вас.

Сам Латиф-ходжи был строгих моральных правил, четко соблюдал мусульманские установления и при

всем своем богатстве вел размеренный образ жизни. Вина не употреблял и гостям не предлагал, исполняя предначертания пророка, хотя все это совмещалось в нем с широтой взглядов. Огромный риск говорить с таким человеком о деле усто Ширина, но Абду-Кадырбай знал, на что шел. Когда были обговорены светские и торговые дела, Абду-Кадырбай заговорил о том, что его больше всего сейчас волновало.

— Я слышал об этом мастере и о его деле,— сухо заметил Латиф-ходжи.

— Поймите меня, ходжи, усто Ширин не гуляка и не пьяница, именно в нем я вижу будущее величие меъморов Бухары. Ширин может уже сейчас возвести любую мечеть, медресе, минарет, он способен построить любой светский дворец, и все это будет необыкновенно, и в лучших традициях Бухары, Самарканда, Хивы, Коканда и других городов.

Латиф-ходжи слушал все внимательнее и заинтересованнее, на что и рассчитывал Абду-Кадырбай. По своим торговым делам он бывал не только в России, но поездил по Европе, добрался до Англии, его библиотека была самой обширной в Бухаре. Ходжи знал архитектуру не только Италии, Греции, Венеции, но и Багдада, Стамбула, Измира и был приверженцем своей культуры во всем, как истинный ходжи, человек, совершивший хадж в Мекку и исповедующий ислам как духовную основу Востока, хорошо знающий коран, историю мусульманства и восточных стран. Именно на этих чувствах рассчитывал сыграть прозорливый купец.

— Но откуда у вас такое убеждение, уважаемый?— все еще настороженно спросил ходжи.

И тогда Абду-Кадырбай показал чертежи Ширина.

— Это же шатры, гирихи, купола мечетей,— со знанием дела рассматривал чертежи Латиф-ходжи

— Это украшения, сделанные усто Ширином в моем новом доме,— скромно поправил купец. Теперь Латиф-ходжи внимательно посмотрел в лицо гостя.

— Конечно, масштабы иные, но суть та же,— скромно продолжил Абду-Кадырбай.

Не скрывая своей заинтересованности, ходжи расспрашивал о мастере, о его родословной. Оказалось, ходжи знал имена отца и деда Ширина, и теперь в его голосе звучало явное расположение.

— Терять такого мастера из-за юношеской, пусть серьезной ошибки молодости, мы вряд ли имеем право,

если нам дорога Бухара,— с оттенком просьбы закончил купец.

— Вина его велика, уважаемый,— медленно заговорил ходжи, обдумывая каждое слово,— за нее расплачиваются зинданом. Кстати, вы слышали, что наш светлейший эмир намерен закрыть зиндан, потому что Запад косится на нас как на дикарей? По крайней мере, пожизненная тюрьма ему обеспечена. Однако вы правы, такой мастер рождается не каждый год, и нам предстоит убедить в этом эмира. Но вы же знаете, как медленно у нас решаются все дела и как нелегко будет попасть к эмиру. А судьбу усто Ширина теперь сможет изменить только сам эмир.

Сердце купца Абду-Кадырбая ликовало: склонить на свою сторону такого влиятельного человека, как Латиф-ходжи это почти наполовину решить проблему спасения мастера. Провожая гостя, Латиф-ходжи сказал об этом.

— Очень хорошо, что с этим вопросом вы обратились ко мне, ведь мы вторгаемся в сферу казиев, а они не любят, когда даже муллы и имамы вмешиваются в их дела. А попробуй с ними потягаться! Напрасный труд. К сожалению, очень часто вот эти преграды мешают нам правильно решать многие дела, которые еще больше возвеличили бы Бухару, весь исламский мир.

Они распрощались как добрые друзья, и ходжи обещал сообщить, как только будет что-то обнадеживающее.

Уже ночь укутала улички Бухары, когда купец возвращался в свой гузар, слуга с фонарем ехал впереди, освещая путь. Сердце Абду-Кадырбая было исполнено надежды спасти способного юношу, в беде которого отчасти повинен и он сам. И только одна мысль не давала покоя: кто мог донести, что в тот вечер усто Ширин пил вино? Неужели среди его собственных слуг есть тайный шпион?

Абдуллахад Бахадыр хан, эмир бухарский был человеком мягким, незлобивым, делами государства занимался мало, все передоверив кушбеги. Он не любил жить в Бухаре, бывал здесь крайне редко, сделав основной своей резиденцией Кермине. Понимая всю важность торговли, которая в Бухаре зачахла с замиранием караванных путей, Ахадхан в 1906 году поехал в

Москву знакомиться с торговыми делами московских купцов. С постройкой железной дороги обмен товарами пошел бойко. Доверенные люди закупали в России белую жесть, материалы для изготовления кружек, чайников, подносов. В Бухаре открыли множество дуконов-мастерских, и отправляли готовую посуду во многие города России. В последние годы в Бухару зачастили люди не только из России, но и из ряда стран Европы и даже из-за океана. Они открыли для себя новый, благодатный рынок, а эмир всячески радел о развитии торговли, в чем его напутствовал и сам русский царь. Иностранные гости закупали здесь восточные ковры, посуду, ткани, шелк, фрукты, а главное — хлопок, каракуль, породистых коней, шерсть. Все это способствовало не только пополнению казны, но и развитию самой Бухары. Так, одна только Голландия готова была покрыть всю потребность в [illegible], что было немаловажно для развития земледелия.

Как человек умный и хитрый, эмир, например, хорошо понимал, что невозможно хоть чуточку изменить устоявшиеся обычаи и традиции эмирата, что только наличие невольничьего рынка в Бухаре может отвратить от него всех будущих купцов и дипломатов, потому что во всем мире рабство отменено. И он пошел на эту меру.

Пойостан — невольничий рынок Бухары — пожалуй, самое мрачное место города. Юные невольницы, молодые и сильные юноши, годные для работы на каменоломнях или для службы в качестве личной охраны, мастера самых разных специальностей, мальчики-бача для услаждения извращенной знати — завозились сюда в основном персидскими и иракскими купцами. Одним указом здесь не обойтись. К тому же и для самого эмира отсюда поставлялся «товар».

— Как нам успокоить недовольных купцов Пойостана?— спрашивал Ахадхан своих приближенных.— Ведь купцы все еще закупают для нас товар, они вложили в это дело большие капиталы. Не могу же я им возмещать их убытки!

Приближенные знали, что Ахадхан, при всем размахе дел, на деньги скуп, а возмещать убытки каких-то купцов он вообще почтет для себя унижением, купцы сами платят ему немалую дань за обороты.

— Да позволит мне светлейший эмир сказать слово,— заговорил кушбеги.— Не ущемляя интересов этих

торговцев, можно ограничивать их приезд с товаром не далее Термеза или Карши.

Мысль пришлась по душе эмиру. Один кивок головы — и вскоре целый отряд кетменщиков во главе с караулбеги сносил навесы, караван-сараи, торговые ряды Пойостана. Купцы со своим товаром исчезли.

Это событие потрясло старую, ветшающую Бухару. Сотни бухарцев приходили сюда специально посмотреть, как рушится Пойостан, гнойник города, его язва, его позор и клеймо. Простодушные простолюдины воздавали хвалу эмиру за это деяние, в завуалированной форме проклиная и осуждая торговлю людьми. А богатые сластолюбцы только ухмылялись: если понадобится товар, то его можно купить чуть подальше от Бухары, он все равно попадет по назначению. Однако только сам факт сноса Пойостана говорил просвещенному миру о прогрессивности взглядов и устремлений монарха.

Пошумела Бухара, поговорили базары и чайханы, а тут еще одна новость — закрыта навсегда обхона — камера заточения — в самом Арке. Тут не бросишь свою торговлишку и в Арк не побежишь смотреть на это диво, но все базары шумят об этом.

Сразу за воротами Арка, вдоль искривленного каменного прохода к верхним этажам в каменной стене были норы, заделанные железными решетками, в которых содержались наиболее опасные для эмира преступники и его личные враги. Каждый раз, когда эмир въезжал или выезжал из Арка, его враги, прикованные к стене железной цепью, должны были видеть его величие и власть, стонать и выть от ужаса за свою судьбу, бесполезно молить о пощаде или хотя бы о смерти, как об избавлении от такой жизни. Люди там содержались десятками лет, в холодные зимы камень становился ледяным, и узники стонами своими только еще больше доставляли услады мстительным бухарским владыкам.

А теперь, говорят почтенные люди, клетки пусты, решетки раскрыты, замки выброшены. Никто не упрекнет Ахадхана в его жестокости и бесчеловечности! Пусть видят заезжие гости пустые каменные мешки. Да, так было, но теперь этого нет.

— Скоро откроют все тюрьмы,— доверительно говорит один простодушный бухарец другому во тьме гузарской чайханы,— выйдут все невинные и несчастные, вернутся к семьям своим и родным своим.

— Откуда тебе это известно?— поражается второй простодушный бухарец, отставляя пиалу.— Такого никогда не было!

— Эмир будет теперь рубить головы всем казиям, которые посмеют нарушить закон, судить не по совести.

А через полчаса первый простодушный бухарец, под собственные вопли уволакивается сарбазами, а второй бежит домой и долго еще будет сидеть, дрожа от страха, потому что уже наутро первому простодушному казий присудит столько ударов кизиловыми палками, что тот надолго забудет о неверных судах и закрытии всех тюрем... А наказание второму — постоянный ужас, что к казию призовут и его!

И вот и еще одна новость потрясает базары. В зиндане — тюрьме, которая страшнее ада, закрыта яма-кудук, куда бросали [illegible] преступников. Зиндан не снесен, на нем держится власть эмира, а вот ямы нет, и снова брезжит луч надежды бухарцу. Но теперь молчат и первый простодушный и второй, помня, как порадовались они [illegible] обхоны. А в сердце снова закрадывается надежда на лучшее будущее. Не может жить человек без надежды!

Ширин еще в зиндане. Муки физические от холода, голода, от страшных клопов, от вшей, от грязи и нечистот дополняются муками душевными, которые страшнее всего. Он никак не мог понять, кому он мешал и кто донес на него, кому выгодно, чтобы сидел он тут, вместо того, чтобы тихо и мирно продолжать заниматься главным в своей жизни — строить? Эта мысль не давала покоя, но мучила не только она. Ко всем сидящим в зиндане приходили родные, приносили что-то из одежды, еду, хотя и в количествах, строго ограниченных стражей. Дядя Нишан ни разу не пришел к нему. Через родных других заключенных Ширин пытался напомнить дяде о себе, просил прийти к решетке, но его так и не было. Неужели дядя болен или, сохрани аллах, умер?

И вот однажды и его окликнули стражники. Изможденный, весь прах и грязь, подошел он к решетке. Какая-то старуха с седыми нечесаными волосами и в рубище стояла по ту сторону. Стражник, наблюдающий за свиданиями, отошел: что недозволенного могут сказать друг другу эти несчастные?

— Ширин, сынок, это я, твоя мать,— прошелестела слабым голосом старуха. Он припал к решетке, прижался к ней, закрыл глаза. В дни удач, в счастье и в

творческом горении забыл он, что где-то в глубине бухарских трущоб коротает свои последние дни его несчастная мать, ни разу он не вспомнил о ней, не навестил, не передал куска лепешки. А вот она как-то узнала, что ее сын оказался здесь, в беде, и пришла, потому что сердце матери сильнее немощи и старости, сильнее всех владык на свете, светит оно ровно и сильно, как светят крупные звезды на небе Бухары, которые уже так давно не видел Ширин...

— Я тебе вот хлеба принесла, сынок, и кусочек мяса,— протянула она узелок стражнику. Тот брезгливо подцепил его концом копья и передал узнику. Что может передать нищенка этому обреченному?— Дядю Нишана ты не жди, он не придет. Так он сказал другим меъморам. Он сказал, что не может ходить к богохульнику и распутнику...

— Спасибо, мать, спасибо...

— Я буду еще приходить, сынок, пока будут носить ноги. Обо мне не думай, у меня все есть, все хорошо...

Горек хлеб, полученный от полунищей матери, он застревал в горле, слезы капали на лепешку — как же он так мог — забыть о том, кому он обязан самой жизнью. Ну что ж, теперь он будет ждать, ему есть кого ждать, не один он на белом свете. А может, все-таки и дядя появится?

Ширин надеялся увидеть мать или дядю, а к нему пришли старик Абдурахим, Закир и Ашот. Они о чем-то долго спорили со стражниками, но вот спор стих и по громкому чавканью блюстителей порядка Ширин понял, что друзья задобрили их чем-то вкусным.

— Вах, бедный Ширин, вах, как ты исхудал!— горячился Ашот. Вот мы тебе горячий шашлык, сыр и лаваш принесли, покушай, пожалуйста. А вот дядя Абдурахим лепешки теплые тебе передает, а Закир халат тебе захватил. Он, правда, не новый, но очень пригодится.

Ширин никак не мог проглотить комок, что застрял в горле, и чтобы сдержать свои чувства сильно, до боли сцепил зубы. Слезы, как и тогда, в приход матери, душили его:

— Спасибо, друзья, спасибо. Зачем все это... Сами небось...

— Вах,— не унимался Ашот,— он еще о нас думает. Да мы каждую пятницу будем к тебе приходить, как же иначе. Вот увидишь!

— Ашот правду сказал, мы тебя, Ширин, не бросим в беде. Но, даст аллах, разберутся и тебя скоро отпустят к нам, на свободу,— тихо сказал Абдурахим-ата.

Закир, как всегда, заключил философски:

— Зиндан не для тебя, Ширин. Твои руки должны быть в труде, создавать добро. Да, зиндан — не твой удел.

Но Ашот перебил его:

— Зиндан... Какой зиндан. Кто здесь говорит о зиндане. Я вот что думаю, друг любезный, жаль, что ты, Ширин, и твои товарищи не умеют играть в нарды. А то принес бы их вам и играйте себе с утра до вечера.

Грустно улыбался Ширин этим словам: сколько же в этих людях тепла и доброты, что делятся куском мяса и последней лепешкой, пытаются как-то развеять его мрачные мысли и даже развеселить, ведь у самих забот хватает и еще не известно, как отнесутся эмирские прихлебатели к тому, что они здесь появились, как отразится это на их судьбах.

Увлеченный реформами, Ахадхан все чаще призывал в свой дворец в Кермине самых толковых торговых людей Бухары, и получилось так, что одним из первых в числе приглашенных оказался Латиф-ходжи.

— Смогли бы вы, почтенный Латиф-ходжи, построить новые торговые ряды около Ляби-хауза или у Регистана для торговли с другими государствами?

Латиф-ходжи держал не менее десяти магазинов только в самой Бухаре, денег у него достаточно, чтобы за свой счет поставить еще несколько магазинов на Регистане. Это и в его интересах

— Я не смел надеяться на такую милость, о великий повелитель. С вашего благословения я намеревался поставить несколько магазинов в других местах. Но возникли некоторые обстоятельства...— Латиф-ходжи опустил голову.

— Какие причины мешают вам развивать торговлю?— спросил эмир.

— Дело в том, что моего меъмора посадили в зиндан, сейчас трудно найти во всей Бухаре мастера по отделке помещений лучше, чем он.

Прищурил глаза кази-калон. Но Латиф-ходжи, далекий от дворцовых интриг, зато честно радеющий о благе Бухары, выдержал этот взгляд, хотя знал, что нажил себе врага.

— Кто этот меъмор, ходжи? — равнодушно спросил эмир.

— Мирзо Ширин, сын Ахмада, — ходжи сознательно подчеркнул, что Ширин сидит со званием мирзы.

— Мы еще не рассмотрели его дело, — склонил голову кази-калон. Ходжи благодарно поклонился ему, поняв, что при соответствующем вознаграждении судьба Ширина будет решена в самом ближайшем времени.

— Мы подумаем о нем, — эмир дал понять, что аудиенция окончена.

Идешь во дворец — бери кошелек. Знал об этом и Латиф-ходжи. Он не сразу покинул Кермине, а дождался кази-калона. Золотой перстень с бриллиантом на подушечке из розового шелка в коробочке из красного дерева был у него в кармане, и очень скоро эта коробочка перешла в руки кази-калона.

Ходжи откланялся и покинул дворец и в тот же день выехал из Кермине. Наутро слуга на нетерпеливом коне остановился около дома Абду-Кадырбая и передал для хозяина записку, в которой стояло всего два слова: «Ждите вестей».

Абду-Кадырбай прочитал записку, порвал ее, а слуге для его господина передал кожаный кошелек с золотом. Молчаливый слуга тут же исчез.

— Да зачтется мне аллахом всемогущим, всемилостивым, если мастер будет снова на свободе, — прошептал купец.

— Да зачтется мне, — как эхо, отозвалась молитва в другом конце города, в доме одного из благочестивейших ходжи Бухары...

В последние месяцы Ахадхан был озабочен своим Кермине. Столицей эмирата остается, конечно, Бухара. Но этот огромный город не место для отдыха и развлечений, а Кермине — его любимое детище и убежище от мирских забот и тягот. В душе владыки жило стремление создать здесь, где он проводит большую часть своей жизни, нечто гармоничное, единое по замыслу и исполнению. Администрация, правящая в Бухаре, — кушбеги, раисы, муфтии, казии, — ездят сюда на доклады для получения указаний и наставлений, а больше для того, чтобы оставить подарки и деньги, дабы эмир не лишил их доходных мест. Править гузарами, не забывая своего кармана, они умели и без эмира, и чтобы

повелитель не лишил их верных доходов, делились с ним, задабривали.

Эмир Ахадхан среднего роста, но телом крепок, в кости широк, был еще энергичен и подвижен и мог бы даже сойти за хорошего воина, но живот — оплот важности и достоинства — был слишком обширен, хотя это, по понятиям бухарской знати, прибавляло ему авторитета и властности. Лицо эмира скуластое, широкое, несколько проигрывало от резко скошенного подбородка, который казался малым и слишком безвольным. Черные, живо блестящие, широко расставленные глаза, взгляд цепкий, в нем часто вспыхивало недоверие к собеседнику, однако сильного человека не выдерживал, и ускользал куда-то вверх и в сторону. Таких сильных людей владыка [illegible], боялся и при случае мог жестоко расправиться. Именно поэтому публичные казни под стенами Арка [illegible] и не отменены, хотя снесен Пойостан, закрыт [illegible] сундук.

В разговоре [illegible] исполненным глубокого достоинства Латиф-ходжой глаза эмира смотрели вверх и в сторону [illegible] обращался ходжи. Конечно, он исполнил все [illegible] почтительного, но в поведении было что-то самостоятельное, независимое, сильное. Ну, что ж, мы из его просьбы извлечем пользу для себя. По всему видно, солидный куш уже ушел в руки казикалона. Но и мы своего не упустим.

Ахадхан давно оказался в окружении людей бесчестных, корыстолюбивых, интриганов и подлецов. Но он и сам был падок на деньги и дорогие подарки, а из взяток, которыми была пропитана вся бухарская власть, он в открытую получал свою долю.

Праздность правителя — разорение для страны. И хотя эмир сделал немало для развития торговли, дни свои проводил в неге и развлечениях. Мальчики с невольничьего рынка, невольницы, гарем занимали у него немало времени.

И все-таки вздорная, на взгляд кушбеги Бадреддина, мысль застраивать и дальше Кермине не покидала эмира. Пока он только мечтал о таких делах, можно было и не обращать внимания на долгие разговоры о строительстве, но после встречи с Латифом-ходжой мысль эмира пошла по непонятным для кушбеги руслам: он заинтересовался мастерами Бухары. Упоминание имени усто Ширина подстегнуло желания эмира: он потребовал чертежи мастера. Эмир понимал в гео-

метрии, архитектуре, и хотя глубоких знаний ему явно недоставало, охватить и оценить замысел он мог. А уж сообразить, что если судьбой усто Ширина интересуется Латиф-ходжи, значит, это человек способный, одаренный, который может сделать нечто значительное и для него, эмира, совсем нетрудно.

Итак складывалось, что будь Ширин обыкновенным обывателем, он не попал бы в зиндан, а не попав в зиндан, он не оказался бы в поле зрения великих мира сего.

«Вы хотите получить хорошего меъмора, почтенный Латиф-ходжи?— в сладкой послеобеденной дреме думал эмир.— Но и нам, эмиру бухарскому, нужны хорошие мастера. Отрубить голову какому-то мастеру мы всегда успеем, но он нужен и нам самим. Вашу просьбу, почтенный ходжи, мы удовлетворим, и вам не за что будет пенять на своего повелителя, и вы сами сделаете подношение. Но если мастер действительно хорош, то он будет работать у нас, а не у вас! У вас, ходжи, не будет повода считать, что мы, эмир бухарский, обошли вас вниманием, а мы заполучим мастера. К тому же вы, судя по перехваченному взгляду, уже отблагодарили кази-калона...»

Вспомнив о кази-калоне, эмир потребовал его к себе.

— Вы не забыли, о чем просил нас Латиф-ходжи? Мы не можем отказать такому почтенному человеку,— раздражаясь, заговорил эмир.

— Слушаюсь и повинуюсь, светлейший эмир, поистине безгранична ваша доброта,— поклонился кази-калон.

А про себя подумал о том, что вовремя успел отхватить свой куш, которому будет завидовать сам кушбеги и другие придворные. Слава аллаху, на этот раз он их обскакал. А сколько раз они его обставляли самым бессовестным образом!

Сын кушбеги Икрамджан служил гузарским казием. Эту должность для него получил от эмира отец, в расчете на то, что сын не забудет потом о его заботе. И сын не забывал — некая толика доходов сына отходила отцу, который вовсе не считал зазорным получать эту толику из рук сына.

Когда сын принес отцу очередной взнос, Бадреддин попросил его:

— Икрамджан, сынок, у меня есть к тебе поруче-

ние. Это очень важно и для тебя, может последовать эмирская милость.

Икрамджан уже хорошо усвоил уроки отца: хитрить всюду, где только чувствуешь для себя выгоду.

— Слушаю, отец, — почтительно опустил голову гузарский казий.

«А не опасно ли поручать это Икрамджану? — засомневался Бадреддин. — Ведь он, может, давно служит кази-калону, которому тоже носит часть своих доходов, он сам кази и подчинен кази-калону. А люди, стоящие у власти и имеющие огромные богатства, умеют заставить даже родного сына пойти против родителя».

— Мне нужны чертежи бухарского меъмора усто Ширина. У него нет своего дома, жил у дяди, потом по разным временным жилищам. Сын, я не буду говорить о благодарности эмира, я сам отблагодарю тебя, — сказал кушбеги.

«От моих же доходов», — недобро подумал Икрамджан, но перед отцом еще ниже склонил голову. «Что делать, что делать, — лихорадочно думал Икрамджан. — Ведь только час назад мне это же поручение дал кази-калон. Услужи одному, другой будет мстить всю жизнь. И что это за усто Ширин, что за его бумагами устроили такую охоту и обещают многие блага?»

— Хорошо, отец, но это будет стоить немалых денег, — наконец выдавил Икрамджан. Но отец только великодушно махнул рукой: о каких деньгах может быть сейчас речь!

Икрамджан вышел из покоев отца в глубоком раздумьи.

Кази-калон в эти же часы тоже был занят Ширином. Что делать в этой обстановке? Наказать ли примерно и отпустить или же придержать пока в зиндане? И то и другое опасно, ведь эмир может превратно истолковать любой шаг и покарать.

Результатом долгих раздумий кази-калона в бухарском зиндане явилась фигура величественного раиса Холматджана в сопровождении нескольких слуг, которые оделяли кое-кого из узников тряпьем и снедью.

— Подойди сюда и ты, мирзо Ширин, — негромко позвал слуга.

Поправляя рубище, к решетке подошел маленький, щупленький Ширин.

— Все в воле аллаха... Прими и ты, — протянул ему старый халат и сверток с пищей слуга. Раис стоял в от-

дастени и делал вид, что не смотрит в их сторону, а сам мучительно думал, почему кази-калон повелел присмотреть и оделить этого нарушителя порядка. А в какой степени и чем оделить — не сказал. И вот теперь приходится терзаться.

Словно призраки, медленно двигаются темные тени узников по мрачным казематам зиндана. Почувствовав запах съестного, несколько таких теней оказалось рядом с Ширином. Они не просили, не пытались наброситься на его узелок, они только смотрели на него большими от голода глазами. В этих взглядах были и мольба и крик души.

— Подойдите и вкусите,— тихо сказал Ширин.

— Быть тебе в великой милости,— сразу сказал один из призраков, отламывая кусок лепешки и набивая рот кишмишом,— тебе принесли от самого раиса. А раис одаривает милостями только тех, кому предстоит великое снисхождение и прощение.

— Кушайте, пожалуйста,— тихо ответил Ширин.

Через неделю его снова окликнули:

— Мирзо Ширин, приготовьтесь, сегодня эмирский суд на площади Арка, вам предстоит предстать пред глазами самого кази-калона!

Сколько времени прошло за этими глухими толстенными стенами? И кто их возводил, эти мрачные, как ад, трущобы зиндана? Ширин готов проклясть свое ремесло за то, что руками меъмора возведены были эти стены горя и ступени несчастий. И он воздал мысленно молитву аллаху за милость и дал себе клятву никогда, если он когда-нибудь будет строить, не возводить тюрем и узилищ.

Оглашаемые звуками карнаев и сурнаев, проснулись прилегающие улицы, площади, чайханы, базары и дуканы, скопища нищих и чертоги баев. На Арке сегодня необычный день, на площади вершится великий суд! И жаждущие зрелищ ринулись сюда. Не бывает, чтобы, свершив несколько помилований, эмир потом не казнил отступников и смутьянов. Толпа жаждала и того, и другого. Вздыхать облегченно при возвещении о помиловании и стонать от ужаса и любопытства, когда взлетает меч палача. Что-то сегодня будет? Чего ждать? Скорее, скорее на площадь! А ловкие карманщики погрошили поясные платки земляков, лавочные воры следили, какой купчишко в спешке забыл крепко запереть свою дукона, и тут же налетали, растаскивая все, что находи-

лось в ней. Вот кого-то поймали и уже бьют, кто-то орет на всю Бухару...

И все полнится и гудит могучим притоком людских голосов. Если особенно повезет, то они увидят сегодня повелителя, могущественного из могущественных, правящего свою волю над их жизнью и смертью, самого эмира Ахадхана. И как же велико желание лицезреть сильнейших мира сего, даже если завтра над тобой самим вознесется его карающая рука, но сегодня ты готов пасть ниц и славить его, своего владыку...

Ахадхан был неспешен в решении государственных дел, дни эмирских судов становились все реже, и охочие до зрелищ порой не довольны были своим властелином, что давно он не казнил и не миловал оступившихся. Но только первый простодушный бухарец теперь неизвестно где, а второй еще боится выходить со своего двора...

Еще сильнее взревели карнаи, загремели эмирские барабаны. Под эти звуки на площадь стражники вывели узников.

Жуткое зрелище представляли эти развалины, осколки людей, давно утративших всякое подобие человеческого, некоторые из них ждали этого дня по пятнадцать и двадцать лет! Покрытые остатками истлевшей одежды, косматые, со впалыми щеками и горящими глазами, торчащими лопатками и ребрами, с опухшими ногами и руками, все в язвах и болячках,— вот участь нарушивших законы шариата или адата, вызвавших гнев сильных мира сего. Стражники, желая подогреть интерес толпы, колотили узников, хотя ни убегать, ни протестовать эти жалкие существа были не способны. Забилась в толпе чья-то жена или мать, вскрикнул чей-то отец или брат, и толпа взволновалась еще более: на ее глазах разыгрывалась человеческая драма, где не актеры, а подлинные участники показывали всю тщетность жизни и всевластие гибели.

Вот вышли из Арка мирзы, кази, писцы и глашатаи, за ними — сытые и богато одетые, самодовольные и равнодушные, громкоголосые и уверенные в себе, предстали перед народом самые приближенные эмира. Цепь стражников с копьями сразу отделила толпу от правителей, и не жалея ударов, стала расчищать место для исполнения приговора.

В красных шароварах, босиком, голые по пояс, с кривыми тяжелыми мечами в руках предстали перед

людьми палачи. И снова охнула и колыхнулась толпа, в ужасе и радости предвкушая обещанное зрелище. Палачи не выходят, если не предстоит казнь.

И вот стихли на какое-то мгновение, а потом громыхнули с новой силой карнаи, ударили частой дробью барабаны, на специальное возвышение усаживается сам эмир. Толпа рухнула на колени, касаясь лбами земли и вскидывая вверх руки. Стоящие в о[illegible] иностранцы наблюдали всю эту церемонию, словно перед ними возродились из далекого средневековь[illegible] «Тысяча и одной ночи»: варварские обычаи [illegible] у бухарского царя.

Вдруг издевательский [illegible] из толпы. Площадь ахнула.

Чья непокорная, строптивая [illegible] натура каждый раз встречает этим [illegible] бухарских эмиров? Вот уже сколько [illegible] быть, и сотен лет раздается при [illegible] казни петушиный задорный, и[illegible] вый крик. Неужели ужасные казни [illegible] веты так и не сломили мятежный дух Б[illegible] Ка[illegible] еще Насреддин продолжает [illegible] над эмиром? Неужели вся [illegible] чернь так и не покорилась, не [illegible] бе престола и народа, власти и [illegible] Ка[illegible] же силу духа должен [illegible] ный, обманутый темный народ, если в [illegible] эмирского суда вырывается этот издевательский и поб[illegible] ный крик молодого бойцового петуха!

Эмир кивнул головой, в ответ склонились кушбеги, кази-калон и муфтий. Суд начался.

Ширин, безучастный ко всему происходящему, пов[illegible] женный и растоптанный, не поднимал головы. Вот уже кого-то повели к дуррадастам [illegible] порке [illegible] или кизиловых палок, кого-то [illegible] он стоял, и солнце, так любимое им, счастливое сияние которого старался он воплотить в своих творениях, беспощадно палило его непокрытую голову. И только случайно, подняв глаза, увидел он в толпе приближенных эмира купца Абду-Кадырбая. Или взгляд купца так сильно впился в него, что заставил поднять глаза для ответного взгляда? Абду-Кадырбай опустил голову и чуть заметно кивнул. И луч надежды робко блеснул измученному Ширину.

— Мирзо усто Ширин сын Ахмада!— выкликнул

раис при кази-калоне, и стражники вытолкнули из толпы маленького, щуплейшего человека. Гузарский раис почти силой склонил голову коленопреклоненного Ширина к самой земле.

— Раскаялся ли ты, о ничтожный и презренный поживатель вина Ширин, сын Ахмада?— грозно спросил его казий.

— Кланяйся и кайся,— подтолкнул его раис, который, очевидно, был подготовлен кем-то и еще раз ткнул Ширина головой оземь.

— Грешен и каюсь, о пресветлый эмир, повелитель правоверных,— едва выговорил Ширин.

Ахадхан очнулся от обычной созерцательности и впился глазами в тщедушного человечка, низвергнутого перед ним. И это тот самый мастер, из-за которого было столько разговоров при дворце? Да стоит ли он того, ничтожный червь?

Эмир сказал несколько слов кази-калону, тот помедлил, потом спохватился и покорно поклонился эмиру. Видимо, решение эмира было неожиданным даже для него.

— Погрязший в грехе и прелюбодеянии, нарушивший все установления шариата и преступивший запреты самого пророка, мирзо Ширин достоин самой жестокой казни,— наконец выговорил кази-калон, а глашатай возвещал его слова народу.— Но велика милость эмира! Видя истинное раскаяние и внимая милосердию, эмир бухарский присуждает... Здесь кази-калон сделал паузу, рассчитанную на эффект, и при полнейшем молчании толпы продолжил:— ...присуждает Ширина, сына Ахмада к трем неделям поста и отдает его на милость караулбеги в сарбазы! Велика милость эмира!

Сарбаз?.. Свободный, свободный! И вот уже стражники отдают его толпе, которая смыкается за ним. Черная тень смерти только дохнула в лицо Ширина, уже почти потерявшего сознание, но пронеслась мимо. Сарбаз? Это сейчас казалось неимоверным счастьем. Слуги Абду-Кадырбая накинули на него халат и шапку и усадили в повозку, ждавшую неподалеку. Страшная площадь осталась позади.

Недаром кази-калон запнулся, услышав слова эмира при вынесении приговора Ширину, недаром. И он сам, и все остальные, причастные к судьбе мастера, надеялись, что помилование будет полным. Деньги Абду-Кадырбая и Латифа-ходжи хорошо смазали колесницу

эмирской добродетели, и исход дела не вызывал сомнений.

Но эмир посмотрел чертежи Ширина. Их все-таки раздобыл для отца Икрамджан. Пошла мзда от отца сыну, а от сына к некому человеку в доме Абду-Кадырбая, который знал, что чертежи находятся в кутубхоне, и кази Икрамджан за смехотворную сумму получил их. Эмир понял, что этот меъмор будет работать на него, и работать за похлебку и лепешку. И уже на площади принял решение, неожиданное для многих, и для него самого в какой-то степени. Сарбазы солдаты армии эмира, служили пожизненно.

Усто Ширин стал сарбазом эмира.

Глава VI

САРБАЗЫ

Почти месяц провел Ширин вблизи мечети Кукалдош, где ему предстояло каждый день читать по шесть основных и четыре малых молитв, имам строго следил, чтобы провинившийся не просто исполнял предписания, но исполнял их истово, как и надлежит праведному мусульманину.

Пожалуй, тут было не намного легче, чем в зиндане. Даже забившись в худжру, Ширин иногда среди ночи замечал, что за ним следит чей-то пристальный глаз. Он стал нервным, пугливым, осторожным до предела. Во время поста он не имел права встречаться и беседовать с кем бы то ни было. Поэтому он не мог увидеться и с Абду-Кадырбаем, но постоянно получал от него провиант в узелке. Даже записку передать было опасно, имам тут же потребовал бы ее и прочитал. А что за этим последует — трудно сказать.

Однажды к нему привязался кали. Насмешливый и нахальный, он ходил следом за Ширином, предлагал сходить в баню, на базар, потом заговорщицки подмигнув, дыхнул смрадным запахом в лицо:

— Винца хочешь, а? В этой посудине кое-что есть. А, сарбаз? Сарбазы все пьют вино.

Ширин в гневе схватил палку и долго гонялся за плешивым, но тот ловко увертывался, а когда надоело, исчез, выкрикнув на прощанье:

— Эй, ты, сарбаз вшивый!

Кончился этот бесконечный месяц, и Ширин предстал перед караулбеги Холматом, тот долго недоверчиво смотрел на новенького, потом произнес только для себя:

— Куда же мне такого вояку? Да его коза на рогах унесет!

У караулбеги Холмата были солдаты, которые жили в каравансараях. Туда решил отправить начальник и нового сарбаза.

— Будешь жить вот в этой худжре,— указал он на гнилую щель в стене каравансарая.— И не заставляй искать тебя по вечерам, а то...

Караулбеги знал, как попал к нему этот солдат, не знал только, что с ним делать. Такого плюгавого, тщедушного сарбаза он еще не видывал.

Вся служба Ширина пока сводилась к одному: с утра он в составе войска Холмата маршировал по плацу. Эти маршировки были столь же нелепы, сколь и смешны. Никто толком, и караулбеги в том числе, не представлял, как это делается и тем более — для чего. Просто под вопли караулбеги сарбазы топали босыми ногами, поднимая тучи пыли, а потом расходились до следующего утра. Замыкающим в этом строю, конечно же, был Ширин, поэтому и пыли он глотал больше других. Сарбазы находились на самом низу эмирского войска. Почти босяки, они бродили по городу в поисках еды, даже подрабатывали на базарах.

Этот день начался, как всегда, с маршировки. Но сарбазы с утра были в каком-то возбужденном состоянии, причину которого Ширин понять не мог. Строем пошагали в направлении Арка.

Ширин панически боялся этого места, хотя и понимал, что сейчас ему ничто не грозит. В верхней галерее уже сидели кушбеги Бадреддин, лашкарбоши — военный министр при дворе эмира, которого Ширин видел впервые, и саркарда — полковник дунболапуров. Дунболапуры считались привилегированными среди сарбазов, им платили больше жалованья, три раза в неделю они могли быть дома, в семье.

Внизу уже сидели мирзы, со списками и трое писцов. Играл почему-то оркестр. Сарбазы, стоящие рядом с Ширином, не скрывая нетерпения, покрикивали:

— Эй, вы! Поскорее там!

Ширин понял, что идет выплата жалования. Туча ростовщиков уже кружила рядом. Сарбазы все, как правило, повиты долгами по самые уши, и ростовщики спешили получить свое. Многих очередные должники под смех товарищей отталкивали, пытались даже побить, и тогда ростовщик, униженно кланяясь, шел жаловаться лашкарбоши. Но жалоба, как правило, была напрасной. Военному министру нужно было дать взятку, вдвое превышающую долг, только тогда можно было надеяться на его защиту. Хохот и издевательские [illegible] провожали такого жалобщика.

После выдачи денег снова [illegible] потом, все воинство отправилось [illegible] ми воротами Бухары.

Впереди шагали гор[illegible] болапуры во главе со [illegible] четыре юзбоши-сотенные, несколько [illegible]. Затем уже шли второй, третий и [illegible]. Четвертый батальон даже здесь [illegible] насмешки, потому что все они [illegible] ли босоногими или босяками. [illegible] кающим шагал Ширин, кото[illegible] насмешливые бухарцы и при слу[illegible]

— Эй, кичкина! Малыш! Тебе [illegible] приходится!

Ширин не обижался на бух[illegible], кто решит, что при всесильной вла[illegible] его мулл бухарец потерял насмеш[illegible] язык. Нет, выдается минута, и отбро[illegible] нув усталость, бухарец не проч[illegible] смеяться, перекинуться острым сло[illegible] Ходжа Насреддин бродил по бухар[illegible] казничал в чайханах. Вот только [illegible] он сейчас смеяться над Ширином[illegible]

На плацу все войско построи[illegible] стно, а подчас и просто комично выглядела армия бухарского эмира. Она включала в себя [illegible] ский, арабский, шпрбу[illegible] менский полки. Основная масса войск состояла из узбеков, таджиков и туркмен. Кроме того, на службе у эмира были афганцы, индийские сипаи, русские офицеры. Одеты были эти полки, что называется, кто во что горазд. И вооружение у них было самое допотопное. Команды подавались на русском языке: «Ать-два, ать-два, левой, левой!» Вокруг пыль, строй ежеминутно ломаст-

ся из-за команды, солдаты чертыхаются, плюются, не обращая внимания на крик командиров.

От этих подразделений выгодно отличались терский и кубанский полки. Это была конная гвардия эмира. Дело в том, что Ахадхан, а позже Алимхан были произведены в генерал-адъютанты российского императора. Ахадхан был причислен к терскому казачьему войску, а Алимхан — к кубанскому. Отец и сын носили мундиры этих казачьих войск и одели в такие же мундиры свои личные гвардии. Ширин впервые видел отборные эмирские сотни, переодетые в форму русских солдат. Кони роняли в пыль пену. Было жарко. Уже ускакала в свои казармы эмирская гвардия, подняв немыслимую пыль, а сарбазам все еще читали приказ. Ширин только слышал: «Девятнадцать ударов... девять ударов... двадцать девять ударов...»

Наконец он понял, что это приказ о наказаниях. Провинившегося сарбаза бросали на барабан и били палками. Впрочем, не очень усердно, потому что караулбеги, ответственный за экзекуцию, то и дело орал:

— Сильнее, собаки! Еще сильнее, свиньи! Вы жалеете для него палку, тогда не пожалеет вас она!

«Вся Бухара держится на палке»,— думал Ширин, переминаясь с ноги на ногу, когда к нему подошел караулбеги Холмат.

— Сарбаз Ширин, ты получил, кажется, несколько таньга? А тебе известно, что первую получку ты обязан отдать своему караулбеги, а? — ласково пропел Холмат, топорща усы. Ширин молча, как-то безразлично протянул ему свои деньги.

Караулбеги посмотрел на него, потом тише сказал:

— Тебя просили отпустить сегодня твои друзья. Но завтра в шесть утра ты обязан быть в своей худжре, понял? Беги!

Ширин также равнодушно повернулся, пошел по пыльной улице к воротам и вошел в город. Здесь его ждала, оказывается, повозка Абду-Кадырбая.

— Сюда, садитесь вот сюда, мирзо,— заботливо говорил слуга, подкладывая под локоть подушку.— Вам удобно?

Давно, очень давно с Ширином никто так не говорил. Слуга понимающе покачал головой:

— Вы... устали, мирзо?

Здесь его еще называют давно забытым званием мирзы!

— Хозяин ждет вас в чайхане Атамурада, мирзо,— продолжал слуга.— Мы скоро доедем.

Чайхана Атамурада с хаузом перед нею славилась на всю Бухару своими шашлыком и жаренной с луком печейкой. Когда-то Ширин был здесь, но кто теперь помнит об этом?

Через внутренний дворик его провели в прохладную чистую комнату. Здесь сидел Абду-Кадырбай с тремя мужчинами, которых Ширин никогда не видел. Абду-Кадырбай обнял Ширина, усадил рядом:

— Это мои друзья из Коканда — Ш[illegible], М[illegible] и Хасан, вы можете их не опасаться.

— Мне, по-видимому, уже нечего [illegible]ся,— прикрыв глаза, тихо ответил Ширин.

— Мой дорогой друг, мое сердце [illegible], когда я вспоминаю, каким унижениям [illegible]. Но поверьте, я проверил всех своих [illegible] них не мог тогда донести на вас. Есть у меня [illegible], что это сделал один из меъморов, который [illegible] вашим успехам.

— Какая теперь разница, кто донес на меня? Жизнь сломана, а сарбазы служат до смерти, так что я теперь на всю жизнь солдат.

— А что ваш дядя Нишан? Помнится, он собирался отдать за вас свою дочь?

— Я еще не был у дяди, но, кажется, мне там будет оказан не очень теплый прием.

— Послушайте, Ширин, мои друзья — купцы. Они хотели бы сделать вам заказ на чертежи. Вам же сейчас нужны деньги. О вашем мастерстве они много наслышаны.

— От вас, конечно, почтенный Абду-Кадырбай?

— Ну какое это имеет значение? Так вы возьметесь за этот заказ?— уклонился от ответа купец.

— Конечно, ведь мне нужны деньги, сами знаете, какое жалование получают сарбазы.

— А все-таки вам нужно сходить к дяде.

— Раз вы настаиваете, то я зайду. Только нет у меня особого желания видеться с ним,— честно сказал Ширин.

— Так мы можем надеяться, что в срок выполните заказ, усто?— от имени всех спросил Мансур, приятный мужчина почти одних лет с Ширином.

— У меня есть кое-какие чертежи, а остальные сделаю очень быстро.

Почтительно распрощавшись с Ширином, купцы поспешили по своим делам.

Мысль, поданная Абду-Кадырбаем, все больше овладевала Ширином, и в один из дней, отпросившись у караублеги, он отправился к дяде. Раньше можно было нанять повозку, а теперь ему пришлось идти через весь город пешком. Правда, в его кармане лежал аванс, выданный кокандскими купцами, но он решил поберечь деньги, потому что у него в ближайшее время никаких доходов не предвиделось.

Вот знакомые ворота, забор. Ширин постучал, и ученик дяди открыл ему. Ширин вспомнил годы своего ученичества, и теплая волна охватила сердце: сейчас они с дядей обо всем поговорят и все встанет на место.

Дядя Нишан принял племянника в рабочей комнате.

— Тебе можно ходить по городу, Ширин?— спросил дядя настороженно.

— Я же теперь не узник зиндана, а сарбаз, состою в войске эмира,— чуть обиженно ответил Ширин.

— А, да-да,— покачал головой дядя,— но вас же держат в караван-сарае, а оттуда не выпускают.

— Как видите, дядя, меня отпустили.

— Это хорошо, хорошо,— разговор затихал, никто не хотел начинать говорить о главном. Наконец не выдержал Ширин.

— Дядя Нишан, вы когда-то говорили, что отдадите мне в жены свою дочь. Я бы хотел знать...— неуверенно начал Ширин.

— Да-да, говорил, говорил,— покачал утвердительно чалмой дядя,— но с тех пор произошло столько печальных событий.

— Да, но теперь все неприятности позади!— горячо возразил Ширин.

— Как сказать, как сказать,— засомневался дядя.— Ведь ты только сарбаз. А это пожизненно, меъмором тебе уже не быть, это до самой смерти...

— Как я понимаю, вы не хотите отдать за меня свою дочь,— напрямую поставил вопрос Ширин.

— Но как же я могу отдать за тебя свою единственную дочь, если ты будешь жить в караван-сарае или в казарме... Ты пойми меня, Ширин.

— Можно было бы кое-кому заплатить, и меня пустили бы на постой к вам же.

— Что ты! Что ты!— даже руками замахал дядя.— У меня бывают именитые гости, а что они скажут. Да ко мне клиенты перестанут ходить. А дочь? Что станет с ней, если она выйдет замуж за сарбаза. Не обижайся, но не могу же я не думать о ней.

Ширин все понял. Дядя даже не смотрел ему в глаза. Тогда Ширин напомнил ему про деньги, но старик взмахнул руками:

— Какие деньги, мой мальчик? Я все их потратил на то, чтобы вытащить тебя из зиндана!

— Значит, у меня совсем нет денег? Я стал нищим?

— Ну, что я могу поделать, Ширин. Сарб[illegible] жалование, как-нибудь протянешь, а [illegible] тебе аллах, и над тобой засветит со[illegible] [illegible]ся, сынок, уж так сложилась твоя судьба [illegible] но аллаху. Если будет время и желание — [illegible] стим, побеседуем, мы же родственники.

Ничего больше не сказав, Ширин [illegible] и вышел за ворота. Ветер нес по улице [illegible] в глаза пыль. Неспешно шел он по городу, [illegible] знать случившееся. Теперь, после всех [illegible] чему удивлялся. Донос, арест, кража денег [illegible] ми, зиндан, наказание плетьми, перевод в [illegible] — все осталось позади, но все как будто [illegible] к тому, что произошло. Самый близкий [illegible] в Бухаре ни разу даже не появился у [illegible], отказал ему в женитьбе на дочери, [illegible] ил деньги, и немалые, которые [illegible] на свадьбу.

Многое он увидел теперь в другом свете. И [illegible]ное подозрение закралось ему в душу. Если [illegible] не сам, то мог поручить кому-то пойти и донести [illegible] том, что Ширин в тот злополучный вечер [illegible] у купца Абду-Кадырбая, чтобы избавиться от [illegible] и соперника по ремеслу и заполучить все [illegible] деньги. Конечно, дядя уже стар и долго не протянет, [illegible] его дочь будет обеспечена на всю жизнь, а он, Ширин, так и останется сарбазом, будет вести полуголодное существование. Правда, сейчас у него есть небольшая сумма, выданная кокандскими купцами, но даже ее отработать придется с большим трудом, ведь в худжре караван-сарая много не начертишь, да еще если караул-беги увидит его за этим занятием, не преминет отнять «свою» долю. Ведь сарбаз не волен распоряжаться собой, он в полном подчинении всех вышестоящих по должности.

И страшная для мусульманина мысль посетила Ширина: покончить с этой жизнью сразу, чтобы больше не мучиться, не терзаться. Зачем жить? Нет у него ни родных, ни близких, нет любимого дела, одни унижения и беды, обманы и подлости.

Но Ширин был человеком долга и идти на поводу у собственных слабостей не мог, ведь он должен был сделать чертежи. А когда их закончил и передал через Абду-Кадырбая заказчикам, то мрачные мысли понемногу отошли в сторону—жизнь взяла свое. В чертежах Ширин даже немного пофантазировал и сделал план свода дома с отклонением от стандартов, освященных шариатом. Сделал и подумал, что снова может навлечь на себя гнев блюстителей ислама. Но ничего страшнее, чем то, что случилось с ним в последний год, представить уже было невозможно.

И засветилась робкая надежда, что, может быть, эмир заметит его желание строить, и простит невольное прегрешение молодости. Ведь смогли его благодетели убедить эмира вызволить из зиндана. Правда, с немалыми трудностями и расходами но кто знает, может быть, Ахадхан захочет поручить ему какую-нибудь работу. А он, Ширин, тогда постарается, очень постарается.

Близок к истине был в своих мечтах зодчий, только не знал, какими бедами и огорчениями обернется для него милость эмира.

Караулбеги вдруг с утра потребовал, чтобы все его сарбазы подновили обмундирование, привели в порядок оружие, запаслись пищей на несколько недель и сдали эти запасы в обоз, а также имели при себе воду.

— Через три дня выступаем в Кермине!— объявил на очередном смотру на плацу за самаркандскими воротами военный министр.

Надолго покидал Ширин столь дорогую для него Бухару, Бухару, где он познал успех и признание, но и тяжкие унижения и невыносимую боль.

Идти прощаться было не с кем, и он решил найти мать. Она была очень стара и больна. Сколько же счастья светилось в ее уже выцветающих глазах, сколько надежды звучало в ее голосе, когда она пообещала дождаться его возвращения. Но что-то говорило сердцу Ширина, что он видит ее последний раз. Оставив немного денег хозяевам, у которых снимала каморку мать, Ширин поспешил на плац, где войско эмира готовилось к далекому походу.

Глава VII

КЕРМИНЕ

Кермине... Название это не характерно для местных наречий, такого слова нет ни в арабском, ни в таджикском языках. Откуда-то из глубины веков оно пришло, да так и осталось, прижилось.

Кермине расположено вблизи отрогов Нуратинских гор, известных тем, что среди прочих ущелий есть здесь ущелье Сармыш, где на скалах кем-то в далекой древности высечены богопротивные фигуры людей и животных. Среди местных жителей это ущелье известно жуткой славой: молва говорит, что фигуры высекались джиннами и самим дьяволом, дабы совращать правоверных мусульман. Именно поэтому шейх мечети Кермине повелел высечь у входа молитву: «Во имя аллаха [illegible], великого, ни один мусульманин не должен заходить в это ущелье, дабы не сгореть в огне гнева аллаха, которому неугодны эти противные глазу и сердцу изображения».

Поход сарбазов затянулся. Вышли из Бухары пешком, обозы тащились где-то далеко позади. А осенние дожди вконец размыли дороги, на которых увязали даже высокие кокандские арбы с двумя громадными колесами. Начались голод, воровство, болезни. Гнилые сапоги не спасали от сырости, и ноги были всегда мокрыми. Простывали почти все, кроме юзбаши, которые ехали верхом. Ночевали в случайных, чаще всего протекающих, прогнивших сараях. А ведь каждый сарбаз нес довольно внушительный груз, оружие, кое-какую одежду.

Одна сотня сарбазов старалась идти на расстоянии от другой сотни примерно на сутки, потому что кишлаки, встречающиеся на пути, не способны были прокормить сразу около четырех тысяч эмирских воинов, движущихся в сторону Кермине. Базары попросту разграбливались, потому что деньги у многих закончились уже в начале похода. Караулбеги поддерживали порядок в колоннах с помощью плетей. Участились побеги из армии. Во время похода не было возможности разыскивать беглецов.

Ширин изнемогал. Слабый здоровьем вообще, да еще после длительного заключения в зиндане, он часто падал, покрылся коркой язв, которые поразили многих сарбазов — люди не умывались, не меняли грязного белья. Появились вши. Несколько человек умерли, не

выдержав трудностей перехода. Спасало Ширина то, что у него еще водились деньги, полученные от кокандских купцов, и он покупал продукты, смог переменить обувь и теперь хоть ноги были в тепле.

Почти не разговаривали между собой сарбазы, поэтому и товарищей у Ширина не водилось, и только Сухроб-сарбаз, высокий, худой и нескладный, все чаще шел рядом.

Сухроб в сарбазах уже лет двадцать, попал тоже за какую-то провинность, поговаривали даже, что за убийство обидчика, но точно никто не знал. Родные не могли ему помочь, поэтому он жил только на жалование сарбаза, грошовое и нерегулярное. Был он смекалист, немного грамотен, хотя считал грамоту излишней роскошью, особенно для сарбаза.

И Ширин постепенно, на удивление самому себе, рассказал ему историю своей жизни. Узнав о подозрении в предательстве дяди [illegible], Сухроб упрекнул Ширина за безволие:

— Ты мог обратиться в светский суд и дядю заставили бы вернуть тебе хоть бы часть денег.

— Дядя, видимо, считает, что он деньги потратил на меня и что я должен ему за обучение,— возразил Ширин.

— Нет, суд бы это не стал учитывать, ведь ты работал на него. Правда, немного денег пришлось бы передать судьям, но зато дяде бы ты подсыпал перцу в штаны,— мрачно пошутил Сухроб.

Караулбеги Холмат не ко всем сарбазам относился одинаково. Сухроба вроде бы даже уважал, а скорее побаивался, потому что был он прямолинеен, резок, мог при случае и рассчитаться с обидчиком, да и слухи о том, как он оказался в сарбазах, не проходили мимо начальства. Узнав о принадлежности Ширина к цеху мемъморов, Сухроб по собственной инициативе решил поговорить с караулбеги, выбрав для этого время на привале:

— Ты знаешь, караулбеги, что за человек Ширин?

— Человек и человек, сарбаз,— отмахнулся караулбеги.

— Нет, ты послушай. Он мирзо, сын и внук бухарских мемъморов, им покровительствует сам святой [illegible] гим. Его деды усто Фузаил и усто Насыр были [illegible], отец усто Ахмад тоже известный мемъмор, даже старостой цеха был.

— Почему же такой человек оказался среди нас?— не поверил Холмат.

— Видимо, дядя донес на него, чтобы денежки присвоить, а его в зиндан запрятать. Разве такого не бывает?— настойчиво внушал Сухроб.— И сам Ширин уже усто, построил несколько домов в Бухаре, богатых домов, а не каких-то мазанок для бедняков.

— Значит, дядя обворовал его?— наконец понял Холмат.— Бедняга, и вот теперь до смерти будет сарб[illegible], пока не умрет.

— Слушай, Холмат, ты наш караулбеги [illegible] ны тебе, покорен тебе и Ширин, но [illegible] добрее, и аллах зачтет тебе твою доброту. [illegible] случиться, что его заметит сам эмир, ведь [illegible] усто, он станет знатен и богат, тогда [illegible] дет.

Караулбеги был лишен добрых [illegible] сточила этого человека, самого [illegible] венную службу, но он вспомнил [illegible] Ширина, и что-то похожее на сочувствие [illegible] его сердце.

«Что же я могу сделать для него? Че[illegible] мы тут одинаковы»,— задумался караулбеги.

— Хотя бы ношу его сдай в обоз, [illegible] ность побольше отдыхать, меньше [illegible] работы,— попросил Сухроб.

— Тогда тебе и другим достанется [illegible],— не сдавался Холмат.

— А что за работа пока? Дрова собрать, [illegible] стить?— отмахнулся Сухроб. — А [illegible] Кермине, там видно будет. Пока в походе поб[illegible], прошу тебя.

Не часто услышишь такие разговоры от сарбазов, людей ожесточенных, злых, эгоистичных, забывших и думать о ближнем, и разговор Сухроба понравился Холмату.

— Хорошо, я посмотрю,— неопределенно пообещал караулбеги.

Только благодаря некоторым послаблениям Ширин дошел живым до Кермине. Сухроб теперь не отставал от него, как мог заботился о нем.

Кто был сам Сухроб, Ширину так и не удалось узнать, ничего не рассказывал он о себе, но иногда прорывались у него очень страшные слова, и если бы кто-то услышал их и донес, не миновать ему плахи.

— Проклята власть эмира и весь род его проклят. Ничего не бывает вечно под божественной лупой, когда-нибудь покатятся головы его рода и его придворных! Аллах многотерпелив, но столько зла принесли в мир эти люди, что рано или поздно он покарает их. Ты видишь, какие нищие кишлаки на нашем пути, а это ведь подданные эмира, он обязан заботиться о них, как о своих детях,— зло говорил Сухроб, идя рядом с Ширином по раскисшей дороге, поотстав от других.

— Как это может случиться?— оглядывался по сторонам Ширин.— У него столько верных подданных, все эти кушбеги, имамы, баи, муллы они поддерживают его власть своими стараниями. Прошу, прекрати эти разговоры, они погубят тебя.

— Жулики и воры, мздоимцы!— не унимался Сухроб.—Они, как вороны от падали, разлетятся, как только грянет гром возмездия, им своя шкура дорога. Я стоял в карауле при их дворцах, видел, что они творят и как обманывают всех, даже самого эмира. Видишь ли, я высок, меня охотно брали для охраны дворца эмира, выдавали даже одежду. Я стоял у входных ворот и внутри дворца с секирой или мультиком, я молчал, но многое видел. Нет, Ширин, все мы грешны перед аллахом, но эти — больше всех нас. Богатый не может быть праведным, а придворный — тем более.

Впервые за всю свою жизнь Ширин слышал такое. Поначалу было просто интересно, потом стал задумываться над словами своего нового товарища. А разве он сам мало знал о проделках высшей знати? Разве не были известны ему неправедные суды казия? Да будь подобрее дядя и вложи в руку казия некую сумму, тот наверняка смягчил бы ему наказание. Разве не знал Ширин, какие безобразия творятся во дворце эмира? Об этом потихоньку говорит вся Бухара, а гнев аллаха обходит их стороной. Суровы законы шариата, но они суровы только для обездоленных и нищих. А богачи процветают в этом мире, и горько думать, что так было и будет. Страшные это мысли, но раз пробужденные, они уже не покидали его, Ширин снова и снова думал о несовершенстве мира, в котором ему выпало жить.

Медленно стягивалось войско в Кермине. Здесь их размещали в сараях, временных постройках. Брадобреи за небольшую плату наголо обривали запаршивевших сарбазов, потом для них устроили баню и приготовили

обед, а караулбеги получили даже некоторое вознаграждение за этот поход.

Эмир Ахадхан развернул большое строительство в Кермине, именно для этих целей пригнали из Бухары четыре тысячи человек. Место для эмирских услад было выбрано не случайно. Огромные сады и парки, дворцы, уже существующие и строящиеся, свободно и просторно раскинулись на берегу реки в предгорьях, поэтому здесь было летом прохладней, чем в знойной Бухаре. Эмир почти не покидал этот богом благословенный уголок своего царства, всячески украшал и застраивал его. Богналчин и места, прилегающие к будущему дворцу, только благоустраивались. Наступала зима, но строительные работы не прекращались ни на один день, кроме пятницы, когда все ходили молиться в мечеть.

В общей сумятице по устройству на новом месте совсем было забыли о Ширине. Но когда все понемногу начало определяться и ясно стало, что оставаться тут надолго, караулбеги Холмат, помня разговор с Сухробом, вызвал Ширина, расспросил о работе по строительству домов в Бухаре, о его мастерстве.

— Все это облегчит твою судьбу, Ширин, — сказал Холмат.— Всем остальным достанется самая черная работа, возить издалека глину и песок, лепить кирпичи, подносить мастерам. Ты же найди сейчас усто Камила Фазиля. Он спрашивал о тебе. Найдешь его в Богналчине, он работает там

Усто Камил Фазиль, высокий благообразный старик, встретил Ширина суровым взглядом:

— Это ты сын усто Ахмада и внук усто Насыра?

— Это я, усто.

— Да, велик твой грех перед памятью таких достойных людей, и твои мучения в нынешнем дне не искупят твоей вины и тебе еще предстоит предстать перед аллахом, неся свою голову в руках. Скажи мне, ты где сейчас работаешь и что там делаешь?

— Я работаю на чорбоги Мирзо, усто

— И что ты там делаешь?

— Я кладу стены, усто.

— Какой позор! Какой позор! Твой отец еще раз бы умер от позора, что его сын, меъмор, кладет стены, как простой каменщик. Покажи руки!

Руки давно беспокоили Ширина. На леденящем ветру работать с холодным раствором было мучительно, руки стали сначала красными, потом начали чернеть и

трескаться. Он показал руки усто Камилу. Тот долго их рассматривал и качал головой:

— И это руки меъмора, который построил такой дом для Абду-Кадырбая!

— Вы и это знаете, усто?— поразился Ширин.

— Мы все знаем о посвященных в зодчие, что бы с ними не случилось. Ты можешь лишиться кистей рук, у тебя может начаться гангрена, от которой нет спасения и люди гибнут. К лекарям простым сарбазам обращаться запрещено, ты это знаешь. Поживи несколько дней вот в этой худжре. Мой слуга принесет тебе гусиного и бараньего жира, мажь свои руки и постоянно молись аллаху. Если он спасет тебя, я оставлю тебя у себя.

Суровый старик прислал в худжру Ширина одеяла, теплый халат и новые сапоги. А Камил в это время, надев новый халат, отправился к караулбеги Хафизу, который вел здесь строительные работы, и к мирохуру Абдурахиму, который руководил всем строительством Богиалчина.

Такого человека, как усто Камил, даже более высокое начальство встречает почтительно, помня о немалых заслугах этого мастера. Сам эмир постоянно интересуется здоровьем старого усто. Поэтому караулбеги Хафиз принял усто Камила с подобающим уважением, усадил его на почетное место и угостил горячим чаем.

Звание караулбеги — караульного начальника — еще мало что говорило, когда дело касалось таких людей, как Хафиз. Никогда он не был сарбазом, не было у него в подчинении солдат эмира, не отбывал он военных повинностей. Это звание часто присваивалось зодчим, инженерам, мастерам резьбы по дереву или ганчу, чтобы как-то возвысить их, хотя на самом деле было унизительным. Но эмир считал, что оказывает этим большую милость своим подчиненным, да и жалование караулбеги получали вполне приличное, чтобы жить здесь, на стройке по-человечески. Им разрешалось иметь слуг, топить очаг. Воинские караулбеги, вроде Холмата, такими льготами от эмира не пользовались, они служили и если могли жить чуточку лучше своих сарбазов, то только отбирая у них часть жалования.

Усто Хафиз считался караулбеги, но его имя, как меъмора, было еще недавно одним из самых прославленных в Бухаре среди зодчих, потом его забрал эмир, и на долгие годы Хафиз был потерян для Бухары,

руководя строительством в Кермине отдельных помещений.

— Знал ли ты усто Ахмада сына Насыра?— сурово спросил усто Камил.— И знаешь ли ты судьбу его нечестивого сына Ширина?

— Я знал усто Ахмада и знаю его сына Ширина, он погрешил против шариата и сурово наказан эмиром, заключен в зиндан.

— Он сейчас здесь, работает простым каменщиком. Я видел его сейчас, на кладке он отморозил руки и может лишиться кистей рук или [illegible]. Но он уже известный мастер, мы обязаны помочь ему. Я хочу взять его к себе на строительство чорбоги Мир[illegible].

Хафиз был моложе усто Камила, но [illegible] это заставляло внимать требованиям старого мастера. Почти все мастера Бухары учились у него, даже мирохур Абдурахим когда-то три года был на [illegible] у Камила, хотя он теперь главный зодчий Кермине и все здесь возводится под его руководством, он бывает у эмира и докладывает о ходе работ сам лично, а не через придворных.

— Но я один таких вопросов не решаю, [illegible] упросить мирохура, усто,— виновато [illegible] старику Хафиз.

— Напомни ходжи Абдурахиму, что я буду обижен, если он не выполнит того, о чем прошу я.

Да, он был таков, старик Камил Фазыл. Не умел склонять голову перед великими мира сего, и с начальниками мог говорить сурово и требовательно, потому что выше мастера Бухара пока не знала, а высоких чинов при таком своем характере он никогда не получит, да и не гонится за ними.

— Я сегодня же поговорю с мирохуром,— пообещал Хафиз.

В тот же вечер он разговаривал с ходжи Абдурахимом о судьбе Ширина.

Абдурахим совершил хадж в Мекку, почитался как ходжи, но богобоязнью не отличался. К истории Ширина отнесся со снисходительным смешком.

— Выпил вина и попался сын Ахмада? С кем не бывает, вот только наказали его слишком сурово. Видно, кто-то упросил кази усадить его подальше под землю, чтоб не мешал. Я слышал о нем от Абду Кадырбая и Латифа-ходжи, но не знал, что он уже в Кермине. Что же, пусть усто Камил забирает его к себе, а я смогу

убедить кази-калона, что это необходимо. Надеюсь, мне голову за него не снимут,— усмехнулся ходжи Абдурахим.

Через несколько дней руки Ширина поджили. Сам усто Камил осмотрел их и снова долго качал головой:

— На всю жизнь ты обречен мучиться со своими руками. Опасайся снова застудить их. А пока становись к станку ганчкора, у тебя должно получиться. Там есть и каган, ты можешь время от времени греть руки.

Так решилась судьба Ширина в Кермине. Его положение сарбаза нисколько не изменилось, он также получал мизерную плату, много работал, и только внимание старика Камила, хотя и суровое, как-то скрашивало его существование. [illegible] они встречались с сарбазом Сухробом [illegible] Ширин был рад иногда подкормить куском [illegible] [illegible] чаем с лепешкой.

— Ты теперь видишь милость своего эмира за ту работу, что делал и [illegible] даже не позволяют разжигать очаг, чтобы [illegible] холодную ночь. Ты знаешь, Ширин, нас [illegible] надолго, на несколько лет. И в таких [illegible] условиях жить несколько лет?

Ширин ужаснулся этой мысли, но сдержал возглас боли. Он не имеет права сетовать на судьбу, ведь он живет в защищенной от ветра и дождя худжре, у него есть чем укрыться и есть чем утолить голод. Нет, после тех несчастий, что он пережил в Бухаре, это казалось ему благодеянием, за которое он обязан благодарить людей, которые вспомнили о нем и избавили от жизни в общем сарае, переполненном блохами и протекающем при дождях. Он избавлен от наказаний плетьми, которые сейчас особенно часто случаются с сарбазами за самые незначительные провинности.

Но если бы он знал, что ему суждено прожить здесь пятнадцать лет — пятнадцать!— работая в угоду жестокому эмиру, он, наверное, проклял бы небо. Пятнадцать лет, вычеркнутых из жизни, на положении раба!

Дворцы и чорбоги Аскаробад, Чармари, Джар, Мирзо, Гуль, Алчин, Салимсултон и Хайрабад выстраивались в одну цепь строений, над которыми корпел усто Ширин, хотя возведенные им дворцы создавали эмиру все более громкую славу. Уже умер старый усто Камил и его заменил сам Ширин, мирохур Абдурахим теперь советовался во всем, что касается художественной от-

делки, только с Ширином, чей вкус все более совершенствовался, а мастерство возрастало год от года. Но когда однажды на веселом пиршестве у эмира мирохур Абдурахим попробовал замолвить словечко за Ширина, эмир, уже в возбужденном состоянии от выпитого, только зло расхохотался:

— Ты просишь за богоотступника Ширина? Он сарбаз и до смерти останется сарбазом! Не говори мне о нем больше, мирохур! Иначе мой гнев против этого пьяницы обернется еще большим наказанием!

Глава VIII

АУДИЕНЦИЯ У ЦАРЯ

Любимый сын Ахадхана и законный его наследник на бухарском престоле заканчивал образование в Европе и России. Его владетельный папаша не жалел для сына средств, хотя знал, что тот гораздо больше внимания уделяет красоткам с Монмартра или из чертогов русского царя. Но разве он не для того рожден, чтобы наслаждаться жизнью? Здесь, в Бухаре, у него, согласно положению бека, уже был гарем, за которым бдительно следила его мать, властная Ишонаим. Она через сводниц узнавала, в какой семье подрастают красивые девочки и угрозами или богатыми подарками заполучала их в гарем сына. Были здесь совсем маленькие девочки в шести, и семи лет, были и четырнадцатилетние,— чуть не старые девы — и всех она держала в строгости и повиновении. Мужчинам, кроме евнухов, вход сюда был запрещен строго-настрого. Ахадхан, зная крутой нрав своей жены, не совался в ее дела, да и бывал он в Бухаре редкими наездами и до ее владений руки не доходили.

Случалось, что девушка, уже переросшая возраст, переставала интересовать Ишонаим и тогда ее отдавали в подарок какому нибудь из царедворцев, и получалось, что бывший ее владелец Алимбек даже не видел эту бывшую свою жену.

В тот год Ахадхан снова собрался в Москву по торговым делам. Сластолюбец и развратник, он вез с собой двух наложниц и трех бача. По пути из Кермине эмир заехал в Бухару. Уже давно он не бывал здесь, и ему

пришлось один день посвятить суду. Эмир спешил с отъездом, поэтому суд был скорым и на редкость жестоким: пять голов пошли на плаху, двух человек оскопили, остальных после порки на площадях отправили в зиндан. Эмир собрал дань со своих подданных, и со счетами в руках подсчитал капитал, с которым едет в Москву. Предстояло подумать о подарках русскому царю, и он решил посоветоваться с Ишонаим.

Ишонаим уже давно не была женой Ахадхана, слишком много у эмира юных, чтобы помнить об этой грузной, пожилой женщине. Но она была неплохим советником, дипломатом, купцом и многие, желавшие добиться каких-то привилегий, действовали через Ишонаим, которая, не забывая своих интересов, строго блюла интересы эмира. Она считалась одной из богатейших женщин Бухары и поговаривали, что даже дает деньги в рост, не стесняясь превышать принятый обычно процент. Эмир усадил жену против себя, сам подал ей чашку китайского чая, который, он это знал, она любила особенно.

— Вы едете в Москву, повелитель? — спросила Ишонаим, когда закончились обычные вопросы о здоровье.

— Да и в Петербург,— подтвердил эмир.

— Много везете с собой товаров на продажу?

— На этот раз немного. Ковры, коней карабаиров, каракуль. Посуду я отправляю с купцами Латифом ходжи и Абду-Кадырбаем, они честнее других, оставляют себе только то, что я им разрешаю.

— Воры, кругом воры, [illegible] особенно доверять нельзя, но эти двое наиболее порядочные,— согласилась Ишонаим.— А много берете с собой денег?

— Почти ничего, у меня там в банках на счету деньги есть, зачем еще везти наличность отсюда?

— Это вы правильно рассудили. Хороший хозяин золото из дома не повезет, а торговать будет на проценты от торговли. Но вам придется сделать подарки многим и даже царю.

— Я хотел бы посоветоваться с тобой о подарке Николаю,— доверительно признался эмир.

— Жаль, не можем послать ему несколько юных пери. У меня есть две-три ягодки,— засмеялась грудным голосом Ишонаим.

«Сводня, обыкновенная сводня. И для меня, и для сына, и хочет стать сводней для русского царя»,— подумал, но не сказал эмир, чтобы не портить отношений с этой женщиной.

— У них это не принято,— укоризненно покачал головой эмир.

— Ну, конечно!— не поверила Ишонаим.—Какой же царь откажется поиграть с юной красавицей, да еще подготовленной нашими хапумами.

— Нет, Ишонаим, у русского царя из-за этого могут быть большие неприятности. Там ведь политические силы, которые сыграют на тайной страсти царя и могут сильно повредить ему,— напомнил эмир.— Но я могу взять этих пери и отвезти твоему сыну Алимбеку. Ему-то политические партии не грозят!

— Старый сластена!— кокетливо погрозила пальцем бывшая жена.— Вы же сами поиграете с ними, а потом оставите где-нибудь в Ташкенте. Нет, вам я их не доверю, приедет сын, ему нужны такие в гареме.

Эмир чертыхнулся про себя за такую несговорчивость, но возражать не стал, хотя прикажи он, и его воля была бы выполнена. Тут идет разговор о собственности сына, а с Алимбеком ему ссориться не с руки, надо быть осмотрительней. Сын уже вырос, он прямой наследник престола, эмир слишком хорошо помнит, что в истории ханств и эмиратов нетерпеливые сыновья часто ускоряли смерть отцов, чтобы самим сесть на отцовский трон, и у Алимбека особенно нежных сыновних чувств уже нет давно. А что стоит нетерпеливому сыну впустить убийцу с кинжалом в покои отца?

— Так что же подарить русскому царю?— продолжил эмир, оставив невеселые мысли.

— Для царицы у меня перстень, которому уже пятьсот лет, в нем бриллиант, из-за которого царица Ходна убила свою дочь Насиму, как гласит легенда.

— Что ты говоришь?— поразился эмир.— Вот это именно подарок царицы царице! Да если изложить эту прекрасную легенду соответствующим образом, царица будет без ума!

— А для самого царя у меня на пастбищах взращены шесть арабских скакунов, на которых будет смотреть вся ваша любимая Европа. Но я за них...

— Хорошо, хорошо, не будем об этом, ты получишь должную сумму сегодня же. Но как я их довезу до Петербурга?

— В вагоне с конями поедут два моих конюха, которых вы не вздумайте оставить в подарок вместе с конями.

В иное время разговор жены о любом мужчине от

хана до конюха мог стоить ей головы, но сейчас беседовали два деловых человека, и если Ишонаим и завела шашни с кем-то, то эмиру теперь до этого дела нет, а хорошего партнера терять он не хотел. Жена все-таки заметила тень огорчения на челе эмира и смягчилась:

— Хорошо, мой повелитель, я пришлю вам двух десятилетних девочек, о них сын пока не знает, только вы их не бросайте на русской стороне, довезите обратно, я прошу вас.

Эмир повеселел, протянул жене золотой перстень, судьбу которого она знать не могла, но которая была не менее интересна. Этот перстень получил кази-калон от Латифа-ходжи за смягчение судьбы какого-то пропойцы Ширина и эмиру пришлось [illegible] ему за это немалую сумму золотом. Ишонаим приняла подарок и спрятала улыбку: этот перстень был ей очень хорошо знаком. Она подарила его Латифу-ходже за то, что он доставил ей партию арабских жеребцов из Аравии и к тому же вместе со сбруями, изготовленными арабскими мастерами. Таким образом, каждый из них знал только часть судьбы перстня, круг которого замкнулся на первой его хозяйке.

Будь у вещей язык, они многое бы смогли рассказать о нравах в покоях великих. Здесь наложницы ласкали своих властелинов и получали за это дорогие подарки, а потом передавали эти подарки евнухам, чтобы те устраивали им свидания с любовниками. Здесь жены получали от мужей деньги сначала за то, что подбирали им с большим вкусом юных наложниц, а потом за то, что сбывали отслуживший товар, совсем еще юный и цветущий, персидским купцам, которые увозили девушек в дальние уголки эмирата и продавали их местным сластолюбцам и прелюбодеям. Вещи умеют молчать. Но не может вечно молчать народ, не может бесконечно терпеть, чтобы им правили растленные и потерявшие облик и все человеческое негодяи, облеченные властью, неизвестно кем им дарованной.

Примерно в это же время в доме для приезжих иностранных купцов голландец ван Хлибер писал своему другу купцу-ганзейцу Бреллю: «Дорогой мой друг, спешу засвидетельствовать Вам свое искреннее и бесконечное уважение, а также сообщить, что я сумел продать ваши чудесные ткани и свои плуги, бороны и мало мне понятные изделия, заказанные самим эмиром под назва-

нием «кетмень». Ваши чудесные ткани проданы по цене даже выше той, которую определили Вы, мой великодушный друг. Ваши деньги я перевел через Русский банк в Бухаре на ваш счет в Берлине. Операции здесь проводятся на редкость быстро и просто. Не вздумайте меня благодарить за совершенную мною выгодную сделку. Надеюсь, что через год вы сами посетите Бухару со своими товарами, а заодно прихватите несколько вагонов и моих железных «игрушек», к которым Европа не имеет интереса, а здесь он на удивление высок. И ваша поездка будет входить в расчеты между нами, столь [illegible] и не и честные. Что же касается нравов, я во избежание [illegible]-ных слов, не принятых между цивилизованными людьми, могу сказать, что они не могут вызвать ничего, кроме омерзения, презрения и брезгливости. И эти нравы царят не только во дворце эмира, но вершатся самим эмиром или с его прямого позволения. Хотя все торговые операции я провел именно с эмиром и его супругой, которая в торговле понимает не меньше вашего доверенного в делах...»

Торговыми делами с эмиром ван Хлибер был действительно очень доволен, но письмо все-таки отдал уезжающему купцу Салатову из Москвы, который взялся передать его по назначению в посольство Голландии, иначе шпионы эмира могли добраться и до письма, и хотя смерть не грозила бы голландскому купцу, но все деловые контакты были бы порваны навсегда. Сам ван Хлибер оставался в Бухаре еще на десять дней, чтобы закупить большую партию каракуля, который ему обещали доставить из дальних гузаров не ранее чем через неделю.

А эмир тем временем наслаждался ласками подаренных ему красавиц, уже забыв о разговоре с женой, и через восемь дней его поезд прибыл в Москву. На перроне его встречал почетный караул во главе с сыном. Эмиру воздавали почти царские почести: он был очень надежным вассалом Николая.

Торговыми делами сын пока не интересовался, он получал от отца чистую прибыль в виде золота и крупных сумм денег на свой счет. Да Ахадхан и не пытался особенно его заинтересовать. Зато охотно посвящал в тайны правления эмиратом. Эти беседы проходили в поздние часы, когда все визиты и приемы уже заканчивались.

— Да, трон — слишком большая тяжесть,— наставлял эмир сына,— и чтобы удержать его, нужны большие силы. Никогда не верь никому. Но особенно бойся льстецов, это самые опасные из приближенных, чаще меняй слуг. Убирай ненадежных безжалостно. Пока ты эмир — твоя власть от аллаха, но упусти ее на минуту, и ты не только потеряешь ее, но или будешь сидеть в зиндане, или, что скорее всего, лишишься головы.. Власть слишком притягательная сила, она не дает покоя многим. Хорошим или плохим ты будешь правителем — у тебя всегда будут завистники в твоем же дворце, под твоей крышей, среди твоих приближенных. Они-то страшнее всего... Крепко, крепко держи власть. Любой владыка силен только тогда, когда не верит никому из приближенных. Ты думаешь, я верю кази-калону или любому раису или имаму? Все [illegible], все воры. Даже самый доверенный тебе [illegible] ищет возможность украсть у тебя побольше [illegible]. Ты должен это понимать, но не кидаться с [illegible] такого прохвоста. Ты смотри, по заслугам ли он [illegible], оплачивает ли тебе честной службой за украденное [illegible] платить ему из своей казны ты никогда не [illegible], иначе твоя казна оскудеет скорее, чем родник в [illegible]. Казни тех, кто крадет не по чину. И еще должен понимать: нас называют варварами за публичные казни. Но ты заметил, кого я казню? Кого-нибудь из простолюдинов и иногда за мизерную вину, которую можно было бы простить. Но своих подданных мы можем только держать в страхе и повиновении через эти казни. Ну еще мы рубим головы мятежникам, которых у нас не меньше, чем в России или во Франции. Мы ведь не ссылаем их, а рубим им головы. А почему? Чтобы молва о таких казнях не затихала, всегда была в памяти народа, которым мы правим. Ведь наш народ темен и безграмотен, его увещеванием не проймешь, честности не научишь, он ленив и многогрешен, так пусть же каждый думает, что и над ним всегда висит карающий меч эмира. Сможешь ли, Алимбек, быть жестоким по холодному расчету ума, а не по характеру? Если сможешь, то твое царствование будет долгим и прочным.

Сын почтительно слушал отца, а сам думал, что он сможет быть жестоким не только по холодному расчету. И такой воли как теперь придворным при нем уже не будет.

Ахадхан плохо разбирался в российских делах, и в эти ночные часы сын посвящал отца в сложности политики.

— Здесь много политических партий. Это совсем не то, что, допустим, верные люди кушбеги или кази-калона. Здесь сходятся в партию по убеждениям. Вот сейчас несколько партий требуют для России свобод.

— Какие могут быть свободы при живом царе?— поражался Ахадхан.— И почему он позволяет, чтобы эти самые партии были?

— Иногда он вынужден пойти на это, а иногда такие партии создаются тайно,— Алимбек терпеливо объяснял отцу, порой стыдясь его недалекости, хотя восхищался его торговой хваткой. Свои дела в Москве он устроил быстро и с немалой для себя выгодой. Он заключил сделки на поставки в Бухару нужных товаров, сам предлагал такие товары, что московские торговые фирмы дрались за них.

Поездка в Петербург носила уже не только деловой и торговый характер, эмир должен обсудить с всесильным русским царем целый ряд политических и военных вопросов. Правда, это были не две равноправные стороны, не два независимых друг от друга государства. Еще в 1868 году русские войска вступили на территорию Бухары, нанеся ей жестокое поражение, и с тех пор эмир стал вассалом царской России. Его лишили права вести сношения с иностранными государствами, оставив независимость только во внутреннем управлении Бухары, но и по этим вопросам властелины Бухары теперь советовались прежде всего с представителями царской власти.

В Кагане, Керках, Чарджуе, Сарае, Термезе и в других местах возникали русские поселения, на которых власть эмира не распространялась. Эмирская армия не могла превышать 10—11 тысяч человек. Сам эмир бухарский был обложен многочисленными пошлинами в пользу русского царя. Через эмират, мимо его столицы проходит рельсовый путь. Он принадлежит русским, ими охраняется.

Да, эмиры Бухары и русские цари не уставали подтверждать друг другу свою дружбу и искреннюю преданность. Четкий русский слог и напыщенная восточная речь могли соперничать в восхвалении монархов, в нерушимости сотрудничества и взаимной поддержки. Но эта полированная гладкость в отношениях была

только на поверхности, подчас для этикета, а там, в глубине, все было куда сложнее.

При эмире находится императорский российский политический агент, фактический губернатор русских поселений в Бухаре. Этот агент представительствует при эмире, а по существу следит за ним. И о каждом его действии сообщает в Ташкент и в Питер.

Кто-то из приближенных эмира посчитал обязанности политического агента. Губернатор, судья, следователь, нотариус, консул, коммерческий агент, дипломат, цензор, жандарм, воинский начальник, кассир, в кассе которого два с половиной миллиона рублей. Да, он еще и гувернер эмира. Многовато получается...

Но эмир знал и другое: русский царь намного сильнее его, он всегда прикроет Бухару, если кто-нибудь посмеет на нее напасть с востока или юга. Царь защитит и в том случае, если один из беков позарится на его, эмира, трон.

Николай, зная о болезненном самолюбии восточного вассала, выстроил на перроне почетный караул, из крепости и с кораблей был дан салют. Тщеславие эмира было утолено с избытком.

Царь встретил эмира в Петродворце с тем радушием, которое обычно больше продумано, нежели официальные, раз навсегда отработанные приемы. Был он в охотничьем костюме, при нем только один адъютант и более никого из свиты. Этим царь показал эмиру, что принимает его по-домашнему, потому что считает своим человеком не только при дворе, но и дома. Не ожидая обычных поклонов и словоизлияний, царь сам подошел к эмиру, и, не дав поклониться, просто пожал ему крепко руку.

Эмир очень любил пышность приемов, весь церемониал, которым сопровождался у него в эмирате прием вассальных ханов. На таких приемах главное — показать все величие эмира и его безграничную власть. Он и сам бывал на официальных приемах русского царя, когда тот, обходя всех присутствующих, только чуть заметно кивал головой, узнавая сановника. И эмир тем более смог оценить по достоинству всю простоту, с которой принял его сейчас царь, хотя о ее продуманности не догадывался.

— Я рад снова видеть вас у себя. Вы приехали как нельзя кстати. Я собирался поохотиться на лис. Мне говорили, что вы, дорогой эмир, сам большой и ловкий

охотник. Не согласились бы принять участие в охоте сегодня к вечеру?

Вот он и настал час великого торжества эмира! Как все-таки дальновидна и прозорлива его старая и уже не нужная ему для любви жена Ишонаим! Как кстати посовестовала она привезти в подарок царю карабаиров!

— Ваше императорское величество, ваше предложение очень лестно для меня. И в знак горячего желания принять участие в вашей охоте хочу показать вам своих коней, которых я привез вашему императорскому величеству.

На площадку перед дворцом вынеслись [illegible] кони, все черной масти, тонкие, с нервно подрагивающими ноздрями, с гордо вскинутыми маленькими головами.

Царь, как и все престолодержатели, искренне считал себя настоящим кавалеристом и знатоком коней. Он удивленно вскинул брови, уважительно склонил голову:

— О, эмир, один вид этих коней говорит о том, что вы — настоящий кавалерист! Благодарю вас, эмир Ахадхан, благодарю!

Эта маленькая слабость царя очень точно объясняет, почему все европейские и российские государи предпочитают изображать себя и на полотнах, и на памятниках на горячем коне: так, по их мнению, они будут казаться потомкам настоящими воинами и рыцарями, хотя при жизни были больше торгашами, менялами и пьяницами. Но ведь памятники переживают дурную славу своих оригиналов!

— Я давно самого высокого мнения о вашем отце, принц Алимбек,— повернул голову к Алимбеку царь,— теперь я узнал в нем еще одну прекрасную черту: он кавалерист и воин, а уже одно это делает эмира эмиром.

Алимбек низко склонил голову:

— Государь, мой отец привез вам этих коней, потому что знал в вас эту страсть к хорошим скакунам и ваше умение сидеть в седле и держать узду!

— Благодарю вас, принц. Вы можете отнести мое приглашение принять участие в охоте и на свой счет.

Охота удалась, их величества загнали двух лисиц, а самое главное — опробовали в деле прекрасных коней. За ужином Николай с довольной улыбкой говорил императрице:

— Вы знаете, наш друг эмир Ахадхан подарил нам прекрасный выезд арабских скакунов...

— Среди которых есть конь, который будет послушен вам, ваше императорское величество,— поклонился эмир царице.

— Благодарю вас, наш дорогой друг,— оценила такт Ахадхана царица.

Алимбек наблюдал за отцом и поражался его умению держаться с достоинством за царским столом. Вот отец всецело завладел вниманием присутствующих:

— Весь Восток кишит легендами, и многие имеют под собой вполне реальную основу. К примеру легенда о царице Ходше или как теперь произносят — Хадиче. Эта была красивая и молодая царица одного восточного государства, от которого теперь осталась только пыль в пустыне, но тогда это было могущественное государство, подданные Хадичи жили в довольстве и благоденствии. Богатства царицы были неисчислимы. И была у нее единственная прекрасная дочь Насима, к которой сватались многие принцы и князья из соседних государств и княжеств. Один из женихов подарил Насиме перстень, который, по преданию украшал руку самого царя Соломона, и обладал этот перстень чудодейственным свойством сохранять вечную молодость и красоту ее обладательницы. Царица узнала о таком подарке и возмечтала им овладеть, чтобы самой оставаться вечно молодой и прекрасной. Всяческими посулами и задабриванием Хадича стала упрашивать дочь Насиму отдать ей этот перстень. Но Насима сама хотела оставаться вечно молодой и прекрасной и отказала матери. Между матерью и дочерью наступила полоса открытой вражды. Дочь все хорошела, и у нее появлялось все больше женихов из самых дальних стран, а мать от зависти стала стареть и чернеть лицом. И тогда мать пробралась ночью в покои дочери и убила ее ударом кинжала. Хадича надела перстень на палец и в тот же миг стала молодой и прекрасной.

Но не знала Хадича, что перстень обладает магической силой: если он не подарен, а украден, то похитителя ждет страшная смерть. Всего несколько минут любовалась Хадича на свое отображение в зеркале в комнате, где лежала ею же убитая дочь Насима.

И вдруг с Хадичей стало происходить невероятное. Проходит она за каждую минуту старела на десять лет. Проходит еще минута, она стареет еще на десять лет. Через пять минут она увидела в зеркале седую старуху с висящими лохмами вместо прекрасных ее волос, зубы почерне-

ли и стали похожими на клыки, рот запал, а на подбородке появились длинные волосы. Свое изображение она видела все хуже и хуже — зрение отказывало ей. И тогда сорвала Хадича перстень и с проклятьем кинула его себе под ноги, а сама замертво упала рядом, потому что ее сердце износилось и остановилось. Когда прибежали слуги, то нашли седую ведьму мертвой около зеркала, а молодую царевну с кинжалом в груди. Один из слуг увидел этот перстень на полу и сказал:

— Да это же перстень нашей молодой госпожи! — и надел Насиме на палец. И снова волшебная сила сделала свое дело: Насима ожила, рана ее затянулась, она поднялась с ложа, увидела мать, мертвую и старую, и воскликнула:

— О горе мне! Я сказала ей только первую часть волшебных сил перстня и забыла сказать о второй его части, о том, что украденный перстень карает вора! Горе мне, я сделала свою родную мать воровкой и погубила ее.

Царицу похоронили на высокой скале в Нуратинских горах, но вскоре люди увидели, что могила пуста, а по ночам бродит в ущельях и на склонах гор чья-то скорбная тень, громко взывает о милосердии к дочери, но Насима даже с помощью волшебного этого перстня не смогла вернуть жизнь и молодость матери, и ее дух и по сей час пугает жителей и путников, которые оказываются вблизи ее пустой могилы.

От поколения к поколению переходил этот перстень, пока не оказался в нашей сокровищнице. Моя мать передала его на хранение мне. Наша великая царица,— обратился эмир к Марии Федоровне,— ты наша мать и наша заступница перед грозным царем! Прими этот перстень, и пусть он сохранит твою молодость и красоту на вечные времена, а если кто похитит его, то умрет страшной смертью Хадичи и его дух будет вечно скитаться между живыми и мертвыми, не зная покоя!

Низко поклонившись, эмир передал перстень в прекрасном футляре царице. В суеверном страхе царица отшатнулась от такого рокового подарка. И тогда вступил Алимбек:

— Ваше императорское величество, ведь это только сказка о старом перстне, не более. Но что ему много многого веков — это правда. Примите же от отца подарок с одной-единственной целью. Когда у вас увидят и спросят, вы расскажите еще одну сказку из «Тысяча и одной

ночи», только и всего! Ведь мы живем сказками, весь Восток погружен в вечный сон и живет только сказками!

Царица не устояла перед соблазном, осторожно взяла перстень и медленно надела его на средний палец. На ее руке он действительно засиял каким-то волшебным светом, словно рассказанная эмиром сказка продолжала жить в этих острых лучах.

— Благодарю вас, дорогой мой!— с чувством сказала царица.— Мне и в самом деле будет приятно рассказывать, глядя на этот чудесный перстень, волшебную сказку о царице Хадиче и ее дочери Насиме!

Когда закончился ужин и эмира с сыном отвели в отведенные им покои, Алимбек с иронической улыбкой сказал отцу:

— Я вроде все знал о вас, не знал только, что вы умеете рассказывать сказки!

— Не глумись!— сердито оборвал эмир сына.— Такую сказку мне рассказывала кормилица, когда мне было всего восемь лет и я еще не входил в свой гарем. А перстень этот... Ну что же, он пришелся кстати, хотя его изготовил полгода назад для Латифа-ходжи заргарнаккош усто Ядгар из дукона на Регистане!

Саид Алимбек проглотил язык. Отец оказался гораздо большим дипломатом, чем он думал. Его простоватость была ничем иным, как хитростью, с которой ему легче было добиться расположения царя и особенно царицы, имевшей неограниченную власть над государем.

— А тебе пора вспомнить о своих обязанностях каршинского хана, мой дорогой наследник!— язвительно заметил эмир.— К зиме приезжай домой и посети Карши, потому что стали плохо поступать налоги и дошло до нас, что там начались волнения дехкан. Делами государства надо заниматься, ты же бек!

По давно установившемуся в эмирате порядку наследник эмира считался каршинским ханом и носил титул бека. Сейчас эмир напомнил об этом своему сыну. Не хотелось бы Алимбеку покидать веселый Петербург, но воли отца он ослушаться не посмел и склонил голову:

— К зиме я буду в Бухаре, отец.

А наутро стало известно, что эмир Бухарский Ахадхан и его сын Алимбек награждены орденами. Сказки, рассказанные при дворе, стоят, оказывается, высоких наград, за которые иные проливали кровь на полях сражений во славу России.

Глава IX

ГАНЧКОРЫ

Руки Ширина утратили чувствительность, пальцы потеряли гибкость, стали крючковатыми. Для зодчего это равносильно смерти. Много часов провел Ширин над чертежной доской, но чертежи уже не имели точности линии и рисунка, как прежде, когда с помощью лекал и циркуля Ширин мог творить чудеса на бумаге, которые потом воплощались в гипсовые бордюры, розетки, целые панно, в сталактиты с кессонами, украшающие жилище. В отчаянии бросал мастер свои чертежные инструменты и кидался лицом в жесткую подушку, влажную от зимних холодов.

Сарбаз Сухроб, еще более похудевший, со шмыгающим носом, приходил в худжру Ширина, разогревал чай, насыпал кишмиша, сухого урюка, т[illegible] лепешки:

— Нужно поесть, Ширин.

Порой Ширин ненавидел этого человека. Тебе не хочется жить, тебе свет не мил, а этот унылый, длинный Сухроб словно не понимает, что случилось, предлагает какой-то ужин.

— Я не буду есть!— кричал на него Ширин.— Уходи отсюда!

— Теперь я вообще не уйду,— спокойно ответил Сухроб.— Сам кази-калон разрешил мне жить с тобой в этой худжре!

— Никто, никто мне здесь не нужен!— кричал Ширин. Но Сухроб спокойно расставлял посуду и разливал душистый чай.

Постепенно Ширин поднимался и, не глядя в глаза Сухробу, начинал есть. Пожалуй, без Сухроба он вообще изнемог бы от голода.

— Нам разрешили завести очаг,— между тем сообщал спокойно Сухроб,— правда, на ночь огонь оставлять все-таки не разрешили, но днем и вечером позволили. Я теперь буду понемногу заготавливать дрова и уголь. Вот бы только проем чем-то завесить, а то ведь улицу мы никогда не натопим.

Случилось же непредвиденное. Сам эмир пожелал увидеть готовое помещение чорбоги. Отделка потолка поразила его. Такую светлую ясность рисунка, такую чи-

стоту и четкость он редко видел при всем богатстве своих дворцов.

— Чья эта работа? Твоя, усто Камил? — обратился эмир к склоненному в поклоне мастеру.

— Нет, господин, я чужих работ не присваиваю,— с достоинством ответил старый мастер.— Это рисунки и работа сарбаза Ширина.

— А!— поразился эмир.— Это тот самый пьяница, которого Латиф-ходжи и Абду-Кадырбай все-таки вызволили из зиндана?

Он хитрил, пресветлый эмир, он хорошо помнил, что сам приказал привести сюда вместе с другими строителями усто Ширина Знал и то, что пьянство Ширина больше раздуто доносчиком, чем было на самом деле.

— Отправьте от меня сарбазу сухого урюка и кишмиша,— повелел он. И прошествовал дальше осматривать дворцы и павильоны, в душе похваливая себя за то, что не поспешил с помилованием усто Ширина. Свободного, его пришлось бы одаривать за работу и платить немалые суммы, как и остальным меъморам, а теперь, когда такой мастер является его сарбазом, можно обойтись горстью кишмиша и урюка да парой лепешек, и все равно это будет цениться, как большая милость эмира, не забывшего своего верноподданного.

Но кази-калон был умным придворным, он не только отослал фрукты и лепешки, но и справился, где и как устроился этот мастер, и тогда усто Камил сообщил, что на строительстве, когда Ширина использовали как простого каменщика, он обморозил руки. Сам немало вкушающий от милости эмира, кази-калон хорошо знал, что эмир, несмотря на свое суровое отношение к сарбазу, жестоко спросит с придворных, если с ним что-то случится и он будет потерян для эмира. Слишком хороши его работы, слишком они точны и ярки, и потерю такого мастера эмир не простит.

Но просить эмира о даровании свободы Ширину было напрасно, это кази-калон знал прекрасно: если можно иметь дармового работника, эмир не согласится отпустить его и нанять за жалованье.

Кази-калон, чтобы не показывать своей особенной озабоченности судьбой простого сарбаза, все-таки узнал, где и как живет Ширин, и повелел поселить с ним кого-то из сарбазов, кто был ближе к нему. Так караулбеги Холмат назвал Сухроба, с которым Ширин вроде бы сдружился еще в походе.

Вот и поселили Сухроба в одной худжре с Шириной, пусть присматривает за ним, и разрешили им разводить очаг, не позже чем до полуночи!

И еще одно сделал прозорливый придворный, он велел прислать Ширину лекаря, но не своего и не дворцового, а найденного на стороне. Было обещано скромное вознаграждение. Но найти сразу такого табиба не удавалось, а придворные лекари даже тайно не решились бы пойти лечить простого сарбаза. За это эмир мог [illegible] карать жестоко.

Караулбеги Холмат мысленно [illegible] в памяти все окрестные кишлаки, но табибы [illegible] резиденцию эмира, потому что [illegible], а получить обвинение в [illegible] никому не хотелось. Случай сам [illegible]. Холмат возвращался домой [illegible], когда ему попался прохожий. Одет он был [illegible], держался с достоинством и [illegible] эмирского караулбеги. По [illegible] на боку Холмат догадался, что [illegible] табиб. Но как он оказался вблизи [illegible]?

— Почтенный, ты что [illegible] резиденции? Или ты хочешь [illegible] светлейшего, великого эмира?— [illegible] спросил Холмат.

В глазах табиба Холмат [illegible] насмешку.

— Неужели ваш великий эмир [illegible], что боится даже прохожего табиба?

Это была уже дерзость, за которую караулбеги должен был схватить прохожего и отвести на пытку к палачу, который узнал бы все тайные помыслы этого грубияна.

— Так что же ты делаешь здесь?— строго спросил Холмат.

— Что тебе нужно от меня, караулбеги?— нисколько не испугавшись, даже несколько высокомерно спросил табиб.— Я иду в Хайрабад, где несколько человек ждут облегчения от страданий, и я иду помочь им.

— И всем ты облегчаешь страдания, табиб?— с надеждой спросил Холмат.

— Нет, не всем. Только бедным, которые, кроме благодарности да молитвы аллаху, другой монеты для платы не держат,— несколько туманно для Холмата ответил табиб.

— А мог бы облегчить страдания простому сарбазу, табиб?

— Я не понимаю тебя, караулбеги? Что означают твои слова — простой сарбаз? И простой сарбаз может быть достойнее кушбеги.

И снова слова этого человека были слишком смелыми, за них можно оказаться посаженным на кол, но что-то в лице странника было настолько властным, что караулбеги, уже утратив всякую напыщенность, стал жаловаться, что пропадает хороший мастер, но он сарбаз эмира, и этим сказано все. А мастер хороший, это все говорят.

— Как его имя?— строго спросил табиб.

— Усто Ширин сын Ахмада,— почти как на плацу отрапортовал Холмат.

— Бедный, куда его забросила судьба,— озабоченно сказал сам себе табиб. — И что с ним случилось?

— Он отморозил руки, и они теперь плохо его слушаются.

— Вот что, караулбеги. Меня ждут больные, и я шел к ним. Завтра утром я буду у вас. Где мне искать Ширина?

— Я встречу вас, вы только скажите...

— Может быть, меня встречать опаснее, чем лечить сарбаза,— усмехнулся и пошел дальше этот странный человек. И Холмат даже пожалел, а не напрасно ли он пригласил к больному Ширину этого подозрительного?

Ночь прошла для караулбеги тревожно, но посоветоваться ему не с кем, и он стал просто ждать утра.

Утром рано табиб уже был на стройке. Он уверенно шел навстречу Холмату, как будто заранее знал дорогу.

В худжре табиб ласково поздоровался с Ширином, присел около него, стал спрашивать... об отце, о дяде Нишане, о его заключении в зиндан.

— Так твои руки использовали для кладки стены? — спросил он наконец, беря руку маленького беспомощного мастера, долго рассматривал ее.— Знай же, Ширин, любое обморожение проходит, если не совсем умерли ткани тела. У тебя они не умерли, но еще долго при малейшем холоде будут мерзнуть и плохо гнуться пальцы. Но ты не падай духом, мастер. Тебе надо много греть руки. Пригодится гусиное или баранье сало, парафин. Ты знаешь, что такое парафин? Да, это вроде воска. Кстати, тебе очень помог бы пчелиный воск.

— Вы, табиб, говорите так, словно я могу достать что-нибудь, кроме глины,— упрекнул Ширин.

— Ну что ж, ты прав,— совсем не обиделся табиб.— Я тебе пока принес немного бараньего сала. Нагревай его до тех пор, пока терпит рука, и прикладывай. А глина... Ты работай с ганчем. Ведь с ганчем можно работать, пока он не остыл, а пока он не остыл, он теплый, даже горячий. Это должно тебе помочь, усто Ширин. Через месяц я еще приду к тебе. Пока же пусть Сухроб греет тебе сало и прикладывает к рукам, а потом обкладывает тряпками, чтобы жир не остывал скоро. Ты понял меня? И береги себя, такие мастера, как ты, нужны не только эмиру, но и Бухаре. А то и всему свету! Мир тебе, мастер!

Табиб попрощался и пошел к дороге, ведущей к кишлакам. Караулбеги едва поспевал за ним и скороговоркой благодарил за лечение, но табиб остановился, увидев усто Камила:

— А, старый мастер, и ты здесь? Здравствуй!

— Здравствуйте, господин,— поклонился усто Камил, и Холмат удивился, что этот непокорный и своенравный старик так уважительно и приветливо здоровается со странным лекарем.

— Вот посмотрел вашего мастера Ширина, усто Камил. Что же вы не побережете таких людей! Их не так уж много рождается в нашей богоизбранной Бухаре. Ты уж переведи его к ганчкорам, усто Камил, и не заставляй работать много, у него руки еще некоторое время будут уставать. Ну, счастья тебе, старый мастер.

— Спасибо, господин, спасибо, обязательно переведу, господин,— повторял усто Камил.

Проводив табиба до дороги, караулбеги вернулся к усто Камилу и спросил, кто же это был.

— Как кто? Ты разве не знаешь его? Это же табиб Фархад! Не слышал? Ну, тогда послушай да помалкивай, как бы тебе за него плетей не всыпали. Это — сын нашего эмира, родной брат Алимбека. Он тоже много учился, но от наследства и от богатства отказался. Он считает, что богатые должны разделить свое богатство между бедными, должны им беспрестанно помогать, а получив знания — учить народ и лечить, если умеют. Богатых он лечить отказывается, а бедным помогает бесплатно. Ведь он старше Алимбека,— совсем понизив голос, продолжал усто,— но отказался от своих прав на престол. Отец не любит строптивого сына и если узнает о его по-

сещении, быть неприятностям. Но он и боится сына, потому что сын прямо говорит, что эмир и Алимбек ведут неправедную жизнь, что они... паразиты на теле народа. И говорит это громко, поэтому эмир старается не встречаться с ним.

— Откуда же он знал, кто такой Ширин и вся его родня, и что он хороший мастер?— весь в сомнениях, спрашивал Холмат.

— Это такой уж человек, он знает все, что происходит в Бухаре и иногда приходит к отцу и требует помиловать какого-нибудь несчастного или отменить казнь. И тогда отец бывает чернее тучи, но делает так, как требует сын. Так говорят,— закончил усто Камил.

Но о посещении табибом Ширина стало известно кази-калону. Он тут же вызвал к себе караулбеги Холмата. Тот, трясясь от страха, рассказал ему все без утайки. Вопреки опасениям Холмата кази-калон был тих и задумчив.

— Так ты так и сделай, переведи к Ширину Сухроба да позволь им разводить очаг и не запрещай лечиться. А как подлечится, поставь усто Ширина к ганчкорам старшим, пусть учит работать да подгоняет лентяев. А Ширину передай вот это, тут двадцать таньга, пусть купит себе съестного,— придворный протянул кошелек.

Холмат в точности исполнил то, что приказано. Теперь от самого кази-калона то и дело для Ширина передавали то продукты,— иногда даже мясо и рис,— то деньги или теплые вещи. Сухробу было прямо приказано ухаживать за мастером. А Холмат, за долгую свою службу прошедший нелегкий путь от сарбаза до караулбеги, никак не мог понять, что против силы и могущества эмира и его придворных есть другая сила, которой они опасаются и даже откровенно боятся.

Но и эмир не забывал о Ширине, правда, по-своему.

— Скажи мне, как работает Ширин сын Ахмада? Не болен ли?— словно между прочим спрашивал эмир своих приближенных.

И те с полным основанием заверяли эмира, что усто Ширин работает, что он здоров, и эмир оставался доволен. Не успели, значит, донести фискалы, что у Ширина побывал табиб Фархад. Или побоялись доносить? Ведь Фархад может прийти к отцу и потребовать ответить, кто ему сообщил о его приходе к больному. Тогда и фискалам не сносить головы.

. Многого из происходящего не знал и не мог знать Ширин. Он стал теперь ганчкором, старшим в бригаде. Он много дней молча следил, как они работают, брал образцы и чертежи, смотрел, думал. Все, все это уже было, если не здесь, так в другом месте, нет ни одного нового рисунка, ни одной свежей линии. Даже неизвестно, когда были сделаны эти чертежи. Да и сам ганч готовился слишком плохо. Усто смотрел, сравнивал, пробовал. Несколько дней он сам готовил ганч в разных пропорциях и соединениях. В [illegible] применяется разный ганч, от этого и вид [illegible], [illegible] отличия были чисто формальными [illegible]. А гармония пряталась [illegible] только ее нужно понять

Ганч — обыкновенн[illegible] строители для более [illegible] в тогда он только [illegible] никакой другой матери[illegible] необходимым элементом декор[illegible]. Там, в бухарских домах [illegible] Ширин применил его по традиции [illegible] мастеров до него. Узор на [illegible] элементов в стиле-гирих. Здесь [illegible] в более обширных масштаб[illegible].

Тез-ганч, обыкновенный [illegible] для несложных узоров и [illegible] человеком только [illegible], на которые смотрят снизу вверх. Гуль-ганч — более дорогой, им распоряжаться нужно [illegible], бережно, не тратя понапрасну там, где можно заменить резной древесиной или тез-ганчем. Но будущее в парадной отделке все-таки за гуль-ганчем. Он [illegible] помола, и Ширин провел сам несколько дней за ручной мельницей, долго потом чихал и сморкался, зато получил такой помол, что приходили смотреть другие ганчкоры, мяли, терли между пальцев и только покачивали головой. Мыслимое ли дело, убивать силы на такой помол? И нужно ли это делать самому усто, когда можно заставить любого поденщика или сарбаза? Усто Ширин помалкивал.

Несмотря ни на что Ширин оставался истовым мусульманином и каждую пятницу непременно был в мечети на большой молитве. Припадая к холодному каменному полу, он возносил горячую мольбу всевыш-

— Помоги мне, о всесильный и всемогущий аллах, понять и найти силу и голос холодного камня, заставить его говорить с людьми на языке твоей правды, высшей правды высшего бога, твоего голоса, о аллах! Помоги мне, немощному и слабому, найти силы преодолеть себя и свои навыки и найти новые, так нужные людям краски холодного камня, который способен говорить, как он говорит в лучших образцах зодчества. Помоги мне, помоги мне, о великий аллах!

Имам протяжно начинает новую суру корана, и все повторяют за ним эти слова на чужом языке, повторяет их и Ширин, потом снова и снова простирается ниц перед Меккой, в сторону которой он молится.

Но бог в самом человеке, и себе молился Ширин, чтобы найти силы для осуществления того, что рвалось из него, но пока не находило выхода.

Глава X

СУДЬБА ТРОНА

Несчастье приходит неожиданно, когда человек совсем не ждет его. Здесь все равны: и простой люд, и великие цари. Кажется, что жизнь человека бесконечна, но не зря высечено арабской вязью на мавзолее султана Исмаила Саманиди: «Смерть все время держалась за полу моего халата, а когда выпустила, я превратился в прах».

Ахадхан с вечера был весел и здоров, проводил время среди своих придворных, потом нежился в объятьях красивой наложницы. В прекрасном расположении духа удалился он в свою опочивальню. В соседних комнатах находились, как всегда, два дежурных махрама. Один из них бодрствует, другой слегка подремывает. На их обязанности лежало отзываться на малейшее желание проснувшегося эмира и тотчас разбудить, если понадобиться, кого-нибудь из спящих здесь же неподалеку: шарбатдора — заведующего питьем кравчего, если эмиру захотелось пить, тахоратхонадора — следящего за чистотой уборной и заготавливающего сосуды для омовения.

В одной из комнат спят одетые, готовые вскочить в любой момент чирогчи, отвечающие за исправность светильников — чирог, горящих всю ночь. Нельзя было

обошлись и без бухчабардора, в распоряжении которого был склад одежды. Эмир мог проснуться с мыслью одарить кого-нибудь из приближенных почетным наградным халатом. Этому всегда придавалось во дворце большое значение, потому что это свидетельствовало об особой милости эмира и откладывать решение такой важности было не принято.

В эту ночь эмиру стало плохо, он захрипел и потерял сознание. Дежурный махрам заметался по дворцу с криками: «Вай дод, вай дод!» Он настолько растерялся, что обратился за помощью к стражникам:

— Именем аллаха, поднимите кого-нибудь из вельмож, повелителю плохо!

А стражники не нашли ничего лучше, как успокоить махрама:

— Побойся аллаха, только вечером повелитель был здоров!

Но махрам продолжал взывать о помощи, и тогда один из стражников, преодолев страх, вошел в спальню кази-калона Бахрамеддина. Казы-калон оделся быстрее, чем при пожаре и почти бегом направился в опочивальню эмира. Слуги и стража глухо шептались по углам, не зная, что и думать. Да поразит нас аллах, а вдруг на эмира совершено покушение? Тогда всем нам грозит смерть. А может, он накануне переиграл с мальчиком или вчера не в меру побаловался с наложницей? Кази-калон ходил из угла в угол, всматривался в лицо повелителя, и только молча кивал головой на все, что ему говорили придворные. Было странно видеть, как этот самоуверенный и важный человек просто растерялся и не знает, как поступить и что делать.

Через несколько часов во дворце появился верхний кушбеги, и все, завидев, невольно сжимались от его взгляда, в котором всегда сквозили подозрительность и суровость.

Кушбеги — дословно начальник лагеря, ставки, иначе — канцлер, премьер-министр. Он управлял Бухарским вилайетом, то есть областью, прилегающей к столице эмирата. Как своего рода премьер-министр, кушбеги с его канцелярией был тем правительственным фокусом, где сходились все поступавшие к эмиру сведения, донесения и жалобы, и откуда исходили все распоряжения и указания центрального правительства. В просторечии этот кушбеги назывался верхним, ибо он проживал в Арке, стоявшем на высоком холме, в отличие от нижнего

кушбеги (верховного закотчи), который жил во дворе, помещавшемся у подножия Арка. Никто не мог догадаться, как кушбеги стало известно о болезни эмира, ведь первый министр не мог ни на один день, ни на один час покидать бухарскую цитадель: так уж заведено испокон веков. Фактически он совершил неслыханное преступление перед эмиром, покинув Арк. Видимо, был у него тайный осведомитель в Кермине, который и сообщил о несчастье, и кушбеги бросился в обитель Ахадхана.

Кушбеги вошел в поко[illegible].

— Говорите!— потребовал он у дворецкого, не обращая ни на кого внимания.

— Эмиру плохо, он потерял сознание. Сейчас у него лекари. Послали за ру[illegible] врачами,— сообщил дворецкий.

Все ясно, понял ку[illegible] уже распорядился кази-калон Бахрамедди[illegible] его решения. Кушбеги прошел в спальню эмира.

Эмир лежал бе[illegible] на широкой кровати под балдахином. Лекарь у[illegible]тил ему кровь, и сейчас медный таз с его кровью [illegible] чувства страха и отвращения.

— Великий министр,— подошел к нему лекарь,— надо чистить желудок эмиру, но я не решаюсь этого делать и никто не решается.

— Делайте, что нужно,— распорядился кушбеги и тут же потребовал, чтобы все, кроме лекарей, покинули опочивальню. Все повиновались. Пока власть кушбеги еще считалась второй после эмира.

Своему слуге кушбеги повелел срочно вызвать сюда чиновника по особым поручениям Калыбека.

— Немедленно на телеграф. Телеграмму Алимбеку в Петербург. Адрес у нас в сейфе. Отправьте лично и покажите мне квитанцию. Сообщите по условленному тексту. Никому во дворце не говорить ничего, всюду выставить самую усиленную охрану, никого не впускать и не выпускать!

По тревоге подняли сарбазов и гвардию. В[illegible] и выходы были немедленно перекрыты. Никого [illegible] покоев не выпускали, расположили прямо здесь. Карауlбеги лично обходили все время посты и докладывали полковникам, которые тут же сообщали кушбеги, что никто выбраться теперь из дворца не может.

Кази-калон Бахрамеддин не находил себе места. Би[illegible]

момент, когда он мог взять всю инициативу в свои руки, но его личная охрана слишком слаба, чтобы перекрыть все входы во дворец.

— О, великий министр Бадреддин,— подошел казикалон к кушбеги,— мне необходимо послать посыльного в Бухару с моим личным поручением. Вы позволите охране выпустить его?

Главный судья пошел на это унижение впервые, они слишком враждовали, эти два самых высоких сановника в эмирате, чтобы просить о чем-то друг друга.

— Нет! И прикажу стрелять, если кто-либо попытается покинуть Кермине,— отрезал кушбеги, давая понять, что не выпустит из дворца даже самого казикалона, если тот попытается его покинуть. Казикалон вынужден был подчиниться железной воле канцлера эмира, который взял на себя всю ответственность за происходящее.

Кушбеги первый понял, что эмир умирает. Нет, не отравление пищей, не временный паралич от переедания или перенаслаждений, это — смерть. Он не лекарь, но стоило ему посмотреть в лицо эмира, он понял, что эмиру уже не подняться. И теперь действовал решительно, последовательно и четко, как и положено. Приедет Алимбек, он рассудит, награждать или казнить визиря, но сейчас он остался во главе государства и иначе поступать не может.

О завещании Ахадхана, по которому после его смерти трон передается Алимбеку, знали. Но были ведь и есть еще претенденты на престол, его младшие и старшие сыновья, которые имели своих сторонников. Были, наконец, беки, которые считали, что Ахадхан, а раньше его отец Муззафархан, нечестным путем захватили власть, и поэтому стояли в открытой оппозиции. Таков был, например, китабский бек Бабабек, человек очень образованный, отлично знающий историю, истый поборник культуры. Это в его бекстве и сейчас действует самый большой книжный базар на Востоке, и даже свой город он назвал Китаб — в знак почитания книги, как главного источника культуры. И хотя муллы требовали сожжения всех книг, да и самого базара в Китабе, справиться с всесильным беком было пока невозможно. В Шахрисабзе сидел Мирза Салимбек, который тоже не был в числе приверженцев эмира. А что если они узнают прежде времени о состоянии эмира и приведут в Бухару свои войска? За город поручиться сейчас никто не может, он на-

поминает пороховую бочку. Стоит только просочиться слухам, и забурлит, зашумит всегда готовая к мятежам столица великого эмирата. Простолюдины могут выйти на улицы и перебить эмирских стражников, а там, кто знает, чем все это кончится. На сарбазов тоже нет никакой надежды. Они послушны, пока все спокойно, а стоит только кому-то бросить слова мятежа, и может выйти из повиновения это воинство.

Нет, нет, тут нужна только твердая рука, чтобы не закачался трон, не рухнула династия, тогда и самому кушбеги будет сохранен статус первого человека после эмира — великого кушбеги, первого министра, канцлера — его по всякому называли приезжие люди, в зависимости от того, из какой страны они прибывали. Но если династия рухнет, его судьба закачается, и многие из зол, исходящих от эмира, будут вменены в вину ему, великому кушбеги. Как этого не понимает кази-калон, которому грозит то же самое? Но убеждать нет времени, и нужно только прочно держать здесь его самого и его людей.

В сопровождении верных телохранителей кушбеги пошел в обход постов. Все сделано по его велению. Охрана стоит всюду. Не только на входах и выходах. Она стоит на аллеях парков, у входов в мечети и павильоны. Как это называется у европейцев? Ах, да! Осадное положение. Пусть в Кермине будет осадное положение. Он ответит за это перед эмиром, если тот встанет, и перед Алимбеком, если тот вступит на престол. Ответит за то, что ночью, загнав нескольких лошадей, он оставил Арк, что было равносильно нарушению корана, что у дверей всех родичей эмира поставил вооруженную охрану, запретив показываться на улице. Ответит за все. Но вначале надо сделать так, чтобы не была потеряна власть. А там разберемся.

— Каждого, кто не только пустит ложный слух, но даже задаст ненужный вопрос — в тюрьму. Невзирая на положение,— приказал кушбеги военному министру. Тот немедленно отдал такое приказание.

— Господин министр,— подошел к нему дворецкий,— кази-калон, а вместе с ним и главный имам требуют, чтобы послали за Ишонаимхапум. Она должна быть здесь, считают они.

— Не выпускать жену эмира из бухарского Арка, в Бухару ничего не сообщать. За кази-калоном установить наблюдение,— приказал верхний кушбеги.

Вернулся со станции железной дороги Кадыбек, протянул копию телеграммы и «квитансу». Кушбеги прочитал: «Наследника немедленно призывает в Бухару отец по делам наследства». Молодец, Кадыбек, сообщил так, что никто не поймет ничего, а Алимбек выедет тотчас. Так условлено.

— Где телеграфист, который отправлял депешу?— спросил кушбеги.

— Пошел домой спать,— ответил Кадыбек.

— Поставить у дома охрану, взять под домашний арест и отправить ему подарок,— распорядился кушбеги.

— Но он русский служащий, господин,— напомнил Кадыбек.

— Я сам объясню русской администрации,— бросил мимоходом кушбеги.

Тревожные мысли не давали покоя могущественному царедворцу. Каков окажется молодой бек в роли эмира? Будет ли богатым и сильным царство, крепка ли рука властителя? Или развращенный дьявольским влиянием Европы он пустит по ветру все собранное и укрепленное отцом и его ближайшими министрами? Ведь Алим-хан ведет там довольно легкомысленную жизнь, недостойную мусульманина и наследника бухарского трона, о чем даже сюда долетают слухи.

Все замерло в Кермине. Никто ничего не знал. Бухара и ханство жили спокойно. И только из Петербурга несся без остановок поезд из трех вагонов, выделенный императором. Подставные паровозы прицеплялись в считанные минуты, и поезд летел дальше. Зеленые светофоры загорались на всем его пути.

Алимбек особенно не кручинился по поводу болезни отца. Они никогда не были по-настоящему близки, и переход отца в лучший из миров оставался только вопросом времени. К принятию власти Алимбек давно готов. Вот только бы застать отца живым. Текст телеграммы был заранее обусловлен, этот текст говорил, что отец тяжело болен. Если бы он уже умер, был бы совсем другой текст.

Ему надо успеть, пока отец жив. Слишком многое грозит Алимбеку. Спокоен он только за старшего брата Фархада. Тот стал блаженным, юродивым, табибом и демонстративно отказался от всяких претензий на престол. Но мало ли кто еще позарится на завидное место эмира бухарского! Милая мамочка Ишонаим тоже не

прочь усадить на трон более покладистого сына, чем Алимбек. Ее опасаться нужно пуще всего. Она политик и только самую высокую. Боялся Алимбек и самой свою выгоду в этом деле согласится получить Бухары.

Отец только недавно наставлял его о пользе страха, о необходимости казней для устрашения, но Алимбек хорошо знал из мировой истории, что ни одно государство долго не продержится на одном страхе, и особенно в смутные времена монархов. Чернь тут же поднимет голову и потребует себе более сносной жизни. Бухара не раз восставала, и сейчас, если только он опоздает, кто знает, чем это все кончится. А там и Россия может ввязаться в эту историю, заводят [illegible] демократы о жестокостях режима в колонии. Нужно поставить так, что это дело чисто семейное [illegible] правитель — пришел на смену другому, [illegible]. Внезапность — вот что сейчас больше всего [illegible], чтобы никто не успел прийти в себя. И [illegible] до самой Бухары, ее станции Каган, [illegible] маленькой станции Кермине, что в [illegible] от резиденции отца. Кушбеги вышлет туда коней и охрану.

Было и еще одно обстоятельство, которое подстегивало Алимбека. Восшествие [illegible] на престол сопровождалось такими [illegible] в столице и во всех ханствах, каких Алимбек [illegible]. Он станет эмиром и церемонию эту отменит.

Перед отъездом он побывал у императора и объявил, что как вассал русского царя он не хочет торжественного восшествия, а будет довольствоваться царским вердиктом, его грамотой на царствование. Этим шагом Алимбек хотел убить сразу двух зайцев: исключить волнения по случаю его вступления на престол и заручиться поддержкой царя, которому этот шаг наследника пришелся очень по душе, и который в ответ на это будет силой своей армии его поддерживать.

А пока Алимбек едет в эмират в чине полковника и еще атамана казачьего войска. Ему преданы адъютант и вестовой, которым от самого императора дано указание верно служить наследнику эмира. Алимбек совсем не лишен честолюбия, и хотя он может уже завтра стать эмиром, все-таки не снимает форму казачьего атамана, а форму полковника царской армии меняет раза три, и сейчас все больше думает о том, в какой из этих двух одежд появиться в Кермине.

И когда на небольшой станции Кермине остановился поезд и он вышел в форме полковника, да еще в сопровождении лощеного адъютанта, кушбеги побледнел: не значит ли все это, что его усилия напрасны?

Алимбек не стал слушать рапорт почетного караула, потребовал коня, успев только незаметно для всех спросить кушбеги:

— Еще жив?

Наметом неслась кавалькада по дороге к резиденции, конвойная сотня сопровождала по бокам и сзади завтрашнего эмира. Кушбеги скакал рядом, [illegible], грузный, но уверенный в седле.

— Вы все очень правильно сделали, кушбеги,— негромко сказал Алимбек,— я не забуду вашу службу мне.

У кушбеги отлегло от сердца. Хорошо, что наследник все оценил по достоинству.

У парадного подъезда во дворец Алимбек осадил коня, ловко соскочил на землю, бросил повод [illegible] и быстрым шагом прошел в покои отца.

Эмир сильно осунулся за время болезни, взгляд его был горячечным и тревожным, тут же находился врач.

— Оставьте нас одних,— потребовал Ахадхан, и все бесшумно и быстро удалились.

Отец поцеловал сына в лоб, указал рукой на место рядом.

— Я запретил кушбеги сообщать о моей болезни до твоего приезда, сын мой,— утомленным голосом сказал он.— Сколько бы преданных слуг ни окружали эмира, они все, как шакалы, ждут, когда у льва выпадет из пасти кость... Не верь никому.

— А кушбеги? Ему тоже не верить? – взволнованно спросил Алимбек?

— Это сильный, суровый человек. И если твоя рука ослабнет, он первый выхватит у тебя власть. Но если будешь сильным, будет служить верно. Будь сильным, будь безжалостным, на этом держится любой правитель...

Кушбеги, проводив наследника в покои отца, опустился на диван и устало прикрыл глаза. Что и говорить, нелегко достались ему тревожные дни. С виноватой улыбкой подошел кази-калон Бахрамеддин.

— Вы все-таки, Бадреддин-бек, добились своего.

— А это вы скажите самому Алимбеку,— даже не

ответил принятой при дворе заученной улыбкой кушбеги.— Он поймет вас.

Кази-калон оглошел, чтобы не вызвать гнев будущего монарха; если разгневить всесильного министра, он может не пощадить бывшего соучастника многих и многих дел, свершенных вместе.

А эмиру становилось постепенно лучше, он даже начал вставать и передвигаться по опочивальне, а потом и по дворцу. К Ахадхану почти никого не допускали. Покинул Кермине и верхний кушбеги, чтобы вернуться в Арк и хранить как зеницу ока престол. Бухара ничего не знала.

Алимбек в эти дни все время проводил около отца, эмир открывал секреты правления, вводил его в тайны двора. Все это должно было пригодиться.

— Когда-то русский царь сказал мне, чтобы я уступил ему государственную власть в Бухаре, но я ответил, что власть принадлежит не мне, а муллам. Запомни, сын, в этом большая правда. Муллы держат в своих руках все, невзирая на положение. Эмир тоже опутан их влиянием. Ведь мы с тобой в богословии не сильны, и нас могут обвинить в нарушении законов, которые до конца знают очень немногие. Поэтому приходится считаться с шейхами и имамами, ибо они могут поднять против нас фанатиков ислама, которые сами тоже ислам не знают, но слушают мулл.

Алимхан отправился в Бухару. Он теперь был настроен на то, чтобы поглубже разобраться в делах эмирата. Беседы с отцом не прошли даром, Алимхан настороженно присматривался к высшей знати, к должностным лицам двора, чтобы после принятия власти убрать неугодных, а надежных и верных приблизить к себе. Хорошо запомнил молодой принц слова отца о том, что есть много беков и биев, которые считают их род незаконными правителями, выскочками. И готовился к тому, чтобы удержать власть для своего рода в будущем.

Отец отдыхал в Хайрабаде, сын занимался своими делами в Бухаре, когда пришло известие: ночью отцу стало плохо и он, не приходя в сознание, умер.

Помня наставления отца, Алимхан действовал быстро и решительно. В Арке выставил охрану у покоев родственников, даже матери, и высших сановников эмирата. Отца, уже укутанного в саван, привез в Бухару.

Не принимая соболезнований и не растягивая обрядов,— да простит его за это отец!— Алимхан отправился с телом покойного в Кермине, чтобы по его завещанию похоронить около мечети, рядом с бывшим имамом этой мечети, человеком святым и достойным. Похороны, на удивление многим, проходили быстро. Алимхан отстоял молитву в мечети, самые достойные муллы читали ночью коран над телом, теперь осталось только предать покойного земле. И как только они похоронили, Алимхан быстро вернулся во дворец. Нужно спешить, очень спешить. А приближенные ждали его выхода, чтобы выразить свои соболезнования.

— Кушбеги, нам некогда, мы должны спешить в Бухару,— объявил первому министру Алимхан.

— Слушаюсь и повинуюсь, мой господин,— приложил руку к сердцу кушбеги и вышел в зал.

В зале приемов были уже все придворные. Чалмы, бороды, халаты... Все склонили головы перед Алимбеком в томительном ожидании. Алимбек твердым шагом прошел к кушбеги и молча протянул ему две бумаги: свиток с печатью эмира и царскую грамоту. Кушбеги пробежал их глазами, но зачитывать не стал. Твердым голосом он сказал громко:

— Великий эмир бухарский Сеид Алимхан!

Все головы низко склонились перед новым эмиром. Алимхан благодарно посмотрел на кушбеги. Все-таки умная у него голова! Он сделал правильно, не став зачитывать грамоты. Это выглядело бы, что эмир торопится убедить подданных, что престол он занимает по закону. Нет, кушбеги просто поставил их всех перед фактом, назвал нового эмира, и все. Законность наследства не им проверять.

— Кушбеги Бадреддин, мы немедленно выезжаем в Бухару. Остальное решим в пути. Кони готовы?

— Да, господин,— отозвался с готовностью кушбеги.

— Кази-калон и шпан Бухары выезжают следом за нами. Остальным вернуться к своим делам. О дальнейшем мы сообщим,— эмир снова резко повернулся и направился четким шагом к выходу.

Кони ждали у подъезда. Сотня уже была в седлах. Повозки сановников выстроились за сотней охраны. Свита быстро занимала свои места, чтобы не отстать от эмира в поездке.

Кермине опустело.

Кавалькада Алимхана шла к Бухаре почти без оста-

новок. Два раза задержались, чтобы покормить и попоить коней, перекусить самим — и снова в путь. Тяжелые повозки сановников давно отстали от эмира в клубах пыли. Алимхан покривил губы:

— Тяжелы стали надежные защитники эмирской власти. В седлах ездить разучились.

Кушбеги дипломатично промолчал. Он, правда, при своей грузной фигуре сменил уже второго коня, но на его лице застыла суровая маска воина, привыкшего к походам. Так было когда-то, когда совсем молодым сотником водил он за собой конников эмира против восставших в Карши и на копье принес победу. С тех пор больших войн не случалось, но всадником кушбеги остался отличным.

Алимхан благодарил судьбу, что рядом с ним кушбеги Бадреддин. Даже сейчас, когда они скачут стремя в стремя, кушбеги молчалив, он не лезет с советами или пустыми разговорами, он молчит и только смотрит вперед прищуренными глазами да оглядывается иногда на конвой. «Небольшая армия, — подумал Алимхан,— которая возносит меня на престол Бухары. Их всех он запомнит и отблагодарит. Ведь даже унаследованный престол надо еще суметь занять, потому что охотников до власти много. Эти люди, что сейчас идут за ним свободным строем, не совсем понимают, как важно ему, Алимхану, появиться в Бухаре, хоть с небольшим, но верным и сплоченным воинством, с войском. Сабли, копья, карабины — все это не для красы, это может понадобиться, если кто-то вздумает не впускать в Арк».

На вторые сутки отряд плотным строем пронесся по улицам Бухары. Люди ловко увертывались от конницы, прятались в подворотнях. Тревожно стало на душе обывателя. Опять какие-то события происходят в городе, опять жди несчастий. И обыватель запирает калитку и отсиживается в доме. Стихли вечерние базары. Неспокойное время, и лучше, если на твоей лавке в этот час будет висеть замок.

Отряд встал перед закрытыми воротами Арка. Кушбеги послал своего коня вперед:

— Открывайте ворота! Эмир!

Кушбеги узнали, засуетились, со скрипом отверзлись ворота, и эмир въехал во внутренний двор. Охрана и прислуга, а потом и старший персонал Арка высыпал приветствовать эмира. И тут возникло замешательство. Люди не знали, что делать.

— Что стоите?— вскипел кушбеги и вытянул вдоль спины стоящего вблизи стражника.— Перед вами эмир бухарский Алимхан.

Грозный голос кушбеги привел всех в чувство. Люди попадали на колени.

Эмир стоял с холодным лицом, вздернув подбородок. Так, так их, кушбеги Бадреддин! Это холопы, быдло, но и с другими будет так, если не поймут, что перед ними эмир. Мало наследовать власть, надо еще удержать и утвердить. С помощью такого человека, как кушбеги, он сделает это!

Совет заседал недолго. Кроме кушбеги, на нем были главный казначей, начальник гарнизона Бухары, командиры всех видов войск, болезненный [illegible] с [illegible] головой после тряской дороги.

— Я вступил во власть,— медленно говорит эмир, пристально разглядывая членов совета, и те опускали глаза под этим взглядом, — и мне нужно знать положение в государстве. Через три дня приеду в Арк. Я хочу видеть всех знатных людей эмирата. Обеспечьте, Бадреддинбек, явку всех беков и ханов из наших владений и окрестностей, а также всех священнослужителей, судей, [illegible], правителей областей и гузаров. Армию, Бадреддинбек, держать в ружье. А теперь вы свободны.

Челядь и сановники поспешили удалиться.

— Бадреддинбек, нам нужно видеть нашу мать Ишонаим,— поднял глаза эмир.

— Она постоянно в Арке, мой господин,— склонил голову кушбеги.

Да, это верный слуга, подумал эмир, нужно дать ему всю полноту власти. Хотя что это он? Он первый министр, и без этого вся власть в его руках.

— Пусть войдет мать,— тихо сказал эмир.

Ишонаим вздрогнула от необычного — ее сын Алимбек сидит на отцовском деревянном троне, суровый, неприступный. Он тяжелым взглядом встретил взгляд матери. Она опустилась перед ним на колени:

— Ты уже... здесь, сынок?

— Поднимитесь, мать,— попросил, поморщившись, эмир.— Я принял от отца весь груз власти. Я принял власть по его воле. И в эти скорбные дни я очень надеюсь на вашу помощь, моя мать.

— Конечно, сынок, конечно. Все, что я смогу сделать для тебя, я сделаю. Ты не сомневайся, Алимхан.

— От вас сейчас требуется лишь одно, чтобы никто

не мешал мне разобраться в делах эмирата. Поэтому я призываю вас не убиваться в горе так, чтобы мне пришлось находиться возле вас. Это и будет самая большая для меня помощь. И еще, как верный сын, обещаю каждое утро приходить к вам на «салам» и целовать вашу руку. Свою любовь к вам я сохраню до конца своих дней, так же, как ваше благословение должно сопутствовать постоянно мне.

Алимхан внимательно посмотрел на мать, подошел, погладил ее по голове, приложил губы к ее рукам. Он проводил ее прищуренными глазами. Удалось ли вырвать жало у этой злобной и хитрой женщины?

Арк опустел, вошел кушбеги.

— Садитесь, кушбеги Бадреддин,— усмехнулся эмир.— Если мы, эмир бухарский, устали, то вы, его верный воин, устали не меньше. Я вот тут подумал, чем вас наградить. Всем вы [illegible] после эмира ваша власть самая сильная. И я вспомнил графов, которыми одаривали английские короли своих верных рыцарей. Я дарую вам право сидеть во время большого совета во дворце, сидеть в присутствии эмира.

Бадреддин побледнел:

— Такого еще не было, мой повелитель.

— У нас не было. Но в Европе еще в средние века было. Почему у нас не ввести такое? Я сам завтра на совете объявлю об этой милости. Пусть все видят, как мы умеем благодарить за верность. Мы можем теперь поспать до утра? Завтра будет нелегкий день, кушбеги!

Кажется, в первый день он успел сделать самое главное: показать, что в Бухаре появился новый эмир, великий бухарский эмир Саид Алимхан.

Итак, в 1329 г. х., в году мыши, что у неверных обозначено 1910-м годом, Алимхан, борец за веру, воссел на престол царства благородной Бухары. Открыв двери восполняемой аллахом казны, он устроил прием всем столпам государства.

Глава XI

САРБАЗ СУХРОБ

Ширин, наверное, умер бы давно, не будь рядом этого невыносимого, как сам злой дух ада Азраил, Сухроба. Высокий, худой, все на нем висит и болтается, нос как у

беркута. Он настолько выводил из себя, что только от злости на этого злодея Ширин стал поправляться. Мало того, что Сухроб шпарил ему бараньим салом руки так, что жар доходил до самых костей, он заставлял пить горячий чай с салом, как самого настоящего степного киргиза, отчего сердце готово было выскочить. Он исхитрялся доставать для котла мясо, рис, морковь, картофель и готовил так приперчивая и подсаливая, что у бедного Ширина, который никогда особенного внимания на пищу не обращал, глаза лезли на лоб. Ширин отказывался есть, кричал на Сухроба, чтобы тот оставил его одного, уходил из худжры, которая ему не принадлежит, не совался не в свои дела и не мешал ему, Ширину, спокойно ждать своего смертного часа. Но Сухроб невозмутимо, как каменный, делал свое злодейское дело, шпарил руки Ширину и пичкал огненной пищей да еще кутал на ночь так, что никакой холод не мог достать.

— Скоро придет посмотреть на тебя сам табиб Фархад, и что я ему, этому святому человеку, скажу? Скажу, что не смог достать бараньего сала, чтобы спасти руки такого великого мастера, как ты? Да тогда он скажет своему отцу, этому славному и великому эмиру нашему, и меня отправят не в зиндан, нет, а прямым путем на плаху, и явлюсь я пред очи аллаха, неся свою голову в руках, как какой-нибудь вор.

— Ты просто лодырь и прохвост, ты увиливаешь от караульной службы и от работ на строительстве под видом заботы обо мне!— кричал в ответ взбешенный Ширин.

— Ну, конечно, ну понятно, тебе тоже так не спится по ночам из-за эмирской караульной службы! Это я давно за тобой приметил, что ты, как исправный сарбаз, так и рвешься на самые трудные посты. Ну в отношении строительства тут ты, как опытный меъмор, давно должен был понять, что я строитель настоящий, без меня ни глины не замесят, ни кирпич не поднесут кладчикам, как же! Ты лучше еще раз объясни, как тебе молоть гуль-ганч, да я присяду в сторонке и буду тебе молоть до тех пор, пока ты не начнешь чихать от пыли, которую я подниму,— невозмутимо отвечал Сухроб и брался за мельницу.

Эту мельницу раздобыл он сам. Ходил по окрестным кишлакам, выпрашивал ступки, пестики, и случайно набрел на старинную ручную мельницу. Семь раз пришлось ходить Сухробу к хозяину этой мельницы, носить подарки, обещать хорошую плату, и все-таки уломал стропти-

…о дехканина продать ему эту мельницу да еще сумел …ушить, что тот должен гордиться, что на его мельнице будет работать сам непревзойденный и не виданный еще в этих краях знаменитый ганчкор усто Ширин, эмирский зодчий и меъмор.

Мельница была точно на диво. Давала помол ганча по желанию разной концентрации и зернистости, потому что расстояние между камнями можно было регулировать. Ширин страшно обрадовался этому приобретению, но скоро понял, что ему эта машина не по силам. Стоило поработать на ней час, как на руках Ширина вздувались водяные мозоли величиной с орех, которые потом лопались и причиняли дополнительные страдания. Удивительно, что таких мозолей у Сухроба не появлялось, его жесткие, как корни вишни, руки не знали, что такое водяные или кровяные мозоли. Помол разной зернистости Сухроб высыпал в разные мешки да еще надписывал их, слюнявя карандаш во рту так, что его язык всегда был синим. В конце концов Сухроб достиг в этом деле такого мастерства, что превзошел самого Ширина и уже скоро свысока поучал его, рассказывая о свойствах того или иного вида гуль-ганча.

Но были такие вечера, когда они не ссорились из-за бараньих компрессов или количества перца в похлебке. И тогда они подолгу беседовали, рассказывая каждый о себе и той жизни, из которой их вырвала солдатчина. Судьба Ширина искренне возмущала Сухроба:

— Из-за дурацкого доноса тебя лишили и дела и звания мастера? Только в нашей забытой аллахом Бухаре еще можно слышать о таком! А дядя Нишан? Да стоит мне пойти к нему да потаскать его пару часов по двору за его бороду, и он не только деньги твои вернет, но и дочь свою отдаст!

— Нет, Сухроб, мне не нужно это, пусть себе сидит на моих деньгах, держит взаперти свою дочь. Кто я такой? Сарбаз! Вот и умру сарбазом.

— Я тебе умру! Я тебе умру! Я не знаю, Ширин, что там, в России, но рассказывают разное...

— Я не хочу слышать о таком. Ты понял?

— Говорят, там восстание было. Восстание против царя. Понимаешь, против самого русского царя! И я скорблю, что не был там.

— Прекрати, Сухроб! Нам нельзя и думать о таком. Или ты считаешь, что топор палача затупел? Я не хочу больше идти на площадь со связанными руками, Сухроб.

— Ну, Ходжа Насреддин говорил,— а он, учти, наш земляк, бухарский,— он говорил, что каждый бывает то верхом на ишаке, то сам ишаком под седлом...

Рассерженный Ширин вскакивал и уходил. С этим Сухробом попадешь в переделку.

Караулбеги теперь как-то непонятно относился к Ширину, не брал у него денег, не заставлял работать там, где людей у него не хватало. Не такой уж безмозглый он караулбеги, чтобы притеснять сарбаза, которого посетил сам табиб Фархад. С таким человеком связываться караулбеги не хочет, своя голова дороже. Повстречав на стройке Ширина, Холмат озабоченно спрашивал, чем еще можно помочь ему в работе.

— Мне ничего не нужно,— как-то застенчиво отвечал Ширин,— ничего, уважаемый караулбеги. Я просто смотрю.

— Смотри, смотри, Ширин, ты же усто, это все знают,— между делом подольстит караулбеги.

Ширин сидел над чертежами, делал первые отливки из гуль-ганча, разбивал их и снова принимался за работу.

— Разбивай, разбивай,— ворчал Сухроб.— Конечно, тебе своего труда не жалко. Разбивай! А ты крути мельницу, как проклятый, и все шайтану под хвост.

Уже много построек отделано по чертежам Ширина, но сейчас, на новом чорбоги, он хотел сделать новые карнизы, розетки, сталактиты, показал чертежи усто Камилу. Суровый старик долго рассматривал эти рисунки, потом спросил:

— А легко ли будет сделать отливки по таким рисункам?

— У меня есть готовые, не хотите ли посмотреть, усто?

Молча направился старый мастер к худжре Ширина. Сухроб вытер руки тряпкой, поклонился гостю:

— Сюда, пожалуйста. Вот сюда, усто. Присаживайтесь, уважаемый усто Камил.

Усто Камил искоса глянул на Сухроба, хмыкнул, уставился на отливки и надолго замолчал. Потом сел, и хитрюга Сухроб тут же подставил чайник и пиалу:

— Выпейте, пожалуйста, усто!

— Я должен показать и чертежи и отливки анжинеру и зодчему, но боюсь, что тебе же самому придется все это делать, а где у тебя силы, Ширин? Дам я тебе еще в помощь сарбазов, и все равно

— Справимся, усто Камил,— нахально вставил слово Сухроб, словно только от него зависел успех дела.

Не пришлось Ширину достраивать последнюю чорбо-
ги в Кермине, начались страшные события. Всех сарбазов
подняли, построили, потом каждый караулбеги развел их
на посты, ушел в караул и Сухроб, хотя его давно, как
подручного Ширина, к такой службе не привлекали. Ка-
кая-то необъяснимая тревога нависла над Кермине, его
чертогами и дворцами. Потом стало известно, что при-
ехал сын Ахадхана из самого Петербурга. Пришел Сух-
роб, переполненный новостями, как мешок просом:

— Старый эмир умирает! Алимхан теперь будет эми-
ром Бухары! Молодой, а от самого царя полковника по-
лучил, понимаешь! Ширин, ты понимаешь, что происхо-
дит?

— Что-то усто Камил не возвращает мои чертежи,—
озабоченно отвечал Ширин.— Жаль, если и они пропа-
дут. Сколько чертежей гуляет по чужим рукам, и когда
они вернутся ко мне, [illegible] знает.

— Э-эх! — отчаянно машет рукой Сухроб и убегает.

А с чертежами у Ширина смолоду неполадки. Не уме-
ет он хранить, да и негде их хранить при такой жизни.
А ведь это беда, настоящая беда для творца, созидателя,
хотя он сам в ней немало повинен. Вычертил, создал, вло-
жил всю душу, а потом небрежно куда-то сунул, кому-то
отдал, а вспомнить не может, куда сунул и кому отдал.
Эта черта Ширина была замечена еще в пору ученичест-
ва у дяди Нишана и потом, когда он уже работал само-
стоятельно. Видно, на всю жизнь обречен этот человек
творить, созидать и... легко отдавать, терять, забывать
свои открытия и находки. Он месяцами сидел над новым
сложным чертежом, а через несколько дней не мог вспом-
нить, где он.

Но, наверное, в этом есть и нечто хорошее. Потерял,
утратил, а рука тянется к каламу, и уже рождается но-
вый чертеж, не повторяющий предыдущий, а более слож-
ный и более прекрасный. Будь он строже и расчетливее, а
не таким неприкаянным бродягой в этой жизни, стал бы
копить свои работы, любоваться ими и... может статься
повторять и повторяться. Кто знает, кто знает, творчест-
во — слишком сложная штука, чтобы осознать до конца,
что в нем хорошо, а что плохо и пагубно. Может быть,
эта привычка жить кочевником и анахоретом помогла
нашему усто Ширину стать именно тем, кем он стал вно-

следствии, когда уже его звезда загорелась сильным, ровным и спокойным светом. Не будем и мы осуждать Усто за его мелкие грехи, а будем смотреть в корень, дабы не рассеять наше внимание на мелочах, когда перед нами порождение гения народного, его великого творческого созидательного начала, которым только и славен каждый народ и каждое государство...

Вот и мы, взявшие на себя этот труд рассказать об Усто-Мастере, не могли бы разве дать подробное жизнеописание и порекомендовать почтенному читателю прочитать это скрупулезное исследование? Но мы не можем этого сделать, потому что любим своего героя и хотим воздать ему не только этим трудом, исполненным почтения к Мастеру, но и рассказать о нем ПО-СВОЕМУ. И пусть дотошный исследователь-прагматик найдет у нас неточности или прочие отклонения. Да, мы где-то недоговорили, где-то не так сказали. Пусть. Ведь и мастер Ширин не меньше нашего выдумывал, и терял, и находил. Пойдем и мы этим путем и будем верить, что найдем здесь не меньше, чем потеряем. Видимо, такова судьба любого созидателя, малого и большого, ибо перед великим богом ИСКУССТВА мы все равны...

Сухроб словно задался целью обегать все закоулки Кермине и собирать все новые и новые известия.

— Эмир Алимхан провел в Бухаре большой совет!

— Умер Ахадхан, и вся знать Бухары во главе с эмиром Алимханом уже на пути в Кермине.

— Решили похоронить Ахадхана здесь, в Кермине, около мечети!

Полы халата Сухроба теперь постоянно разбросаны в стороны, потому что он перестал ходить, а только бегает. И тогда выбрался из своей худжры Ширин. Он оттер с рук подсыхающий алебастр и пошел туда, где толпился весь свет Бухары. Сарбазы были построены по отрядам, и ему осталось занять место в строю. Похороны всегда вызывают глубокие раздумья о тщетности всего земного, о бесполезности суеты и мелочности жизни. Смерть человека всегда тягостна, но Ширин, наблюдая церемонию похорон, нисколько не скорбел. Он очень хорошо знал и жизнь, и деяния этого человека, возлежащего теперь на носилках и несомого к своему последнему прибежищу. И что ему былая власть, былое богатство и почести, которые он так любил? Вот отчитали молитвы, вот опустили закутанное в саван тело и предали земле.

Обряд похорон соблюдался строго. Быстро несли носилки, попеременно сменяя друг друга, вчерашние подданные эмира Ахадхана. Поставили рядом с могилой. Имам прочитал молитву. Могильщики уложили тело так, чтобы лицо умершего было обращено к Мекке. И вот сарбазы кетменями уже засыпают могилу, трамбуют землю, чтобы не размыло первыми же дождями. Сорок сарбазов выносят и ставят на холм мраморное надгробие с надписью арабской вязью, называющей имя умершего и рассказывающей о его делах на земле.

Алимхан помолился и первый покинул кладбище, медленно пошел во дворец, осторожно поддерживаемый угодливыми придворными.

Ложь! Все ложь, слова та же ложь, что пронизывала своды эмирских дворцов! Алимхану положено было по адату изображать скорбь, а его приближенным положено было по тому же адату поддерживать его под руки, словно он обессилел от горя и не может передвигать ноги. Ложь даже голоса наемных плакальщиц. Ведь шариат запрещает нанимать плакальщиц, но их все-таки привезли из Бухары, и они выли искусными голосами, когда выносили тело эмира, воют и сейчас, когда эмир и свита медленно, словно под бременем горя, возвращаются во дворец.

Сарбазы разошлись. Ширин вернулся в свою келью. Был он зол и даже не останавливал разглагольствования Сухроба, который стоял ближе к месту похорон и больше видел, нежели маленький Ширин, стоявший в последней шеренге. Да-да, так оно и есть. Никто теперь не думает об Ахадхане, каждый только о себе и своем завтрашнем дне. Да, кази-калон был бледен и молчалив. Видимо, его коснулась немилость нового эмира. Зато некоторые другие придворные величественны и суровы, словно одержали громкую победу на поле брани...

«У них свое поле брани,— подумал Ширин.— Так, наверное, более пристойно сражаться: у трона за подачку». А вслух сказал:

— Тяжел удел придворных. Жить в постоянном страхе, раболепии...

Чашка вывалилась из рук Сухроба. И это заговорил Ширин, который пресекал все реплики Сухроба в адрес эмира и его приближенных! Молчун заговорил? О великий аллах, поистине — спящий да проснется!

— Готовь мне еще ганча, будем делать свое дело,— оборвал его Ширин.

И снова все пошло не так, как он планировал.

Эмир и его двор на второй же день покинули Кермине. И стала затихать жизнь. Уезжали сначала крупные чиновники, потом чиновники помельче, а потом даже самых маленьких чиновников не осталось. Ушли эмирские сотни и полки гвардии. Остались одни сарбазы, но их было нечем кормить. Караулбеги старались удержать свое воинство, но оно таяло с катастрофической быстротой и через полмесяца ушли в Бухару, кто как мог, и сами караулбеги.

— Ну что, усто, пора и нам,— напоминает уже не в первый раз Сухроб.

Почему Сухроб не бросил давно его и не ушел с первыми же беглецами, что может его держать около Ширина?

— Будет тебе, Ширин,— отмахнулся он от неприятного вопроса.— Но вот что делать с нашей мельницей? Я не смогу донести ее до Бухары!

— Отнеси ее хозяину, а я буду пока собирать чертежи,— подал совет мастер.

Ширин прошелся по дворцам и чорбогам. Как много незаконченного уже не будет законченным никогда! А жаль, задумки-то были большие. Но смерть одного человека повлекла смерть этого комплекса дворцов и чертогов, если новый эмир не продолжит дело, начатое его отцом.

Каменная мельница оказалась слишком тяжелой на этот раз, и Сухроб вернулся под самый вечер, сытый, довольный и даже немного под хмельком:

— Хозяин так обрадовался этой каменной мельнице, что угостил меня обедом. Я и тебе принес угощения, да и на дорогу кое-что собрал, ведь путь до Бухары долог, а у нас совсем нет денег.

— Скажи, длинный плут, сколько ты сорвал с хозяина за его мельницу?— вскипел Ширин, расстроенный тем, что им придется идти ночью.

— Сорвал, сорвал,— ворчал Сухроб, собирая пожитки,— я не виноват, что он сам совал мне деньги и пищу. Кто запретит доброму мусульманину одарить другого доброго мусульманина? Это не называется «сорвал» и никогда так не называлось...

И вот дорога, унылая, однообразная, бесконечная. Сухроб непреклонен и основную часть груза несет сам. Это их одежда, пища на несколько дней. И только чертежи он разрешил нести самому Ширину.

Долгая дорога — скучная дорога. Но с Сухробом не заскучаешь. Почувствовав полную волю, настоящую свободу, он будто крылья обрел, только шаг придерживает, чтобы Ширин не задыхался.

— Вот приду в Бухару — чайхану открою! У меня же раньше чайхана была, за анекдоты о Насреддине меня в зиндан, а чайхану сын гузарского судьи захватил себе. Каким законом я теперь отберу ее обратно? А у меня в чайхане всегда весело было — народ, шум, хохот. Если хочешь знать, — Сухроб заговорщицки понизил голос,— есть в семье предание, что именно в чайхане моего прадеда Ходжа Насреддин заставлял своего ишака коран читать. Да, не веришь? Хотя кто знает, было или не было. Но все острословы гузарские собирались в моей чайхане, не зря, наверное. А? Как ты думаешь, Ширин?

Неожиданной стороной повернулся сейчас к Ширину этот человек. В сарбазах он был вечно унылым, занудливым, каким-то всегда подавленным, а теперь вон как широко и свободно шагает, все спешит на встречу со своей любимой Бухарой. Да и какой бухарец не спешит в свой город? С путаными улочками, с шумными базарами, высокими минаретами, с всегда переполненными харчевнями и чайханами, пропахшими бараньим салом, копотью. Здесь каждый чувствует себя на своем месте и среди своих. Идет водонос, звонко кричит, почти поет:

— А вот кому воды? Холодной горной свежей воды! Во-ды! Во-ды!

И сбегаются к нему жаждущие, подставляют кружки, а у кого нет своей, снимет водонос с пояса свою старую, с ржавыми разводами на дне, подаст с усмешкой:

— Пей, добрый человек!

А чайхана? Бухарская чайхана? Нет жизни бухарцу без чайханы! Работает ли в кузнице, месит ли глину, носит ли товар по базару, метет ли улицу — устанет за день. А придет вечером в чайхану, отопьет глоток живительного напитка, отойдет душа. Вот кто-то острое слово скажет, подхватит другой — пошла качаться чайхана от хохота и насмешек. И не заходи сюда фискал и эмирский шпион, нечем тебе тут поживиться, узнают тебя, привяжут хвост ишака и проводят хохотом: уходи подобру!

Житель Бухары по своей натуре человек общительный, веселый, острый на язычок, и его ли вина, что правят им люди недостойные, гнусные обманщики и мздоимцы, стяжатели и воры. А не будь их, засверкала бы,

заиграла всеми гранями алмаза жизнь этого достойного города и его жителей!

Эти мысли Сухроб развивал тем горячее, чем ближе они продвигались к Бухаре. Он говорил, говорил, вспоминал только радостное, светлое и хорошее, будто и не была его прошлая жизнь до краев наполнена страданиями и лишениями.

— А ведь я и читать умею, не только подписывать тебе мешки с ганчем!— похвастал он как-то.— Не веришь? Сам выучился. Но почему-то моя грамота никому не понадобилась, и как был я чайханщиком, так и остался, а мог бы стать писцом у какого-нибудь мирзы. Но как подумал, что пришлось бы вымогать мзду у таких же оборванцев, как сам, так с души воротит, не могу и представить себе ничего подобного.

— За мельницу взял все-таки,— улыбнулся Ширин, уже полюбив этого шумного, суетливого человека.

— Э, Ширин! Не надо ранить мне сердце,— посетовал Сухроб.— Ты же не знаешь, что я три твоих чертежа отдал ему, поедателю вонючих внутренностей, и это кроме денег. Как узнал он, кому нужна мельница, так стал просить рисунок какой-нибудь, чтобы себе дом украсить по твоим рисункам. Ты уж прости меня, Ширин, пришлось уступить.

— Э, что там три чертежа!— беспечно махнул рукой Ширин.— Сколько я их за жизнь пораздал, один аллах знает. Пусть украшает свой дом, если сможет!

Наконец вдали показались башни и купола Бухары. Заволновался Сухроб, скинул ношу, расстелил коврик и воздал молитву аллаху. То же сделал за ним и Ширин. Благословенная, благородная родина встала перед их глазами и против самого сердца. Как тут не вознести благодарственную молитву? Ведь могли и не вернуться к ее порогу, погибнуть вдалеке, а вот аллах смилостивился и вернул их родине. Какими же словами нужно благодарить всевышнего за его бесконечные милости?

В городе они потолкались, нашли место для Ширина в одном караван-сарае, и Сухроб стал прощаться. Сел рядом, пригорюнился.

— Ты уж прости меня, усто Ширин, может быть, был я назойлив и надоедлив. Но мне было жаль, если бы ты погиб в этом ужасном Кермине. Сердцем привязался я к твоей повозке и тащил ее вместе с тобой, как мог. А теперь прощай, благородный друг! У меня же в Бухаре

дом, старые родители. Я пойду. Если захочешь повидать, приходи к Самаркандским воротам и спроси Сухроба-чайханщика, каждый тебе путь укажет к моему порогу.

— Прощай и ты, великодушный Сухроб! Если бы не ты, погиб бы я от болезни и голода. Никогда я не забуду твоих забот и буду молить аллаха, чтобы никогда не было у тебя горя и невзгод!

Обнялись на прощание, и вот уже старый халат Сухроба мелькнул в последний раз и скрылся. Надолго ли? Навсегда ли? Одному аллаху известно.

Денег у Ширина после того, как он выделил часть Сухробу, чтобы тот не пришел домой без единой таньги, осталось еще достаточно, чтобы месяц пожить безбедно, и он решил ничего не искать, ни к кому не стучаться. Будет он как беззаботная бедана порхать по площадям и базарам, слушать голос города и смотреть. Неужели жизнь не откликнется и не подаст ему условного сигнала?

Но и трех дней не погулял свободно мастер. На Регистане его окликнули:

— Усто Ширин! Вы ли это?

Обернулся на зов. Усто Ибад сын Турсуна узнал его и остановил.

— Вы ли это, усто Ширин? И почему на вас этот мундир сарбаза? Расскажите же мне! Я ведь знал вашего отца. Идемте вон в ту уютную чайхану и поведайте о себе. Я весь внимание.

Глава XII

НОВОЕ ПРИСТАНИЩЕ

Выслушав невеселый рассказ Ширина, усто Ибад надолго задумался. Стыл в пиале чай, он уже и забыл о нем, о чем-то думал, шептал что-то про себя, вздыхал и даже произнес короткую молитву.

— Слышал я твою историю, только немного не так. Наверное, твой дядя Нишан рассказал ее мастерам как ему было выгоднее. Чтобы не корили его за корыстолюбие и словоотступничество. Есть ли у тебя деньги, Ширин?

— Есть немного, усто,— признался Ширин.

— Пойдем и купим тебе одежду, достойную правоверного, и снимем этот мерзостный мундир, а потом сходим с тобой в баню. У меня на сегодня нет никаких дел, а мне не хочется сейчас оставлять тебя одного.

И они вклинились в одежный ряд. Какие только цвета и оттенки не окружили их, какие только одежды не прельщали глаз, но Ибад увещевал Ширина:

— Настоящий мастер никогда не будет разряжаться, как павлин, во дворце падишаха. Мастер должен всегда выглядить скромно, чтобы простой человек, придя к тебе с заказом, не испугался твоей роскоши и не подумал о тебе плохо. Мастера Бухары цену себе и без дорогих халатов знают.

Купили штаны, рубаху, мягкие ичиги и кауши, халат, тюбетейку и поясной платок, а также небольшой платок для чалмы. После этого отправились в баню.

Узелок с новой одеждой сдали банщику на хранение, а свою одежду, которая приметна и приношена, повесили в шкафы.

— Сколько тебе дать за твои пожитки, воин? - спросил банщик.

— А откуда тебе знать, что я их сниму?— удивился Ширин.

— Э, дорогой! Сколько сарбазов пришло в Бухару, все продавали это тряпье, никто не хочет в нем ходить. А мы перепродадим его бедным, пусть хоть этим прикроют себя,— пояснил банщик.

— Вот и плати тогда, как всем платите,— согласился Ширин.

— Хоп, хоп,— засуетился банщик,— и тебе кто-то скажет спасибо за это, что за ценой не погнался. Нам-то навар с этой торговли небольшой, а бедные ходят к нам, спрашивают — как не помочь.

И Ширин обрадовался искренним словам этого простого человека, меньше думающего о наваре, а пекущегося о бедных, которым и эти лохмотья в радость. Банщик увязал его мундир и обноски и унес:

— Если что нужно, позовите банщика Худайкула, это я и буду.

За много месяцев впервые Ширин мылся с таким удовольствием. Моется, моется, сменит воду и снова моется.

— Голову тебе побрить надо,— посмотрел на него Ибад.— Позовем Худайкула, он и обреет.

Когда голова мокрая и отмыта, обрить ее острой бритвой ничего не стоит. В бане стоит такой пар, что не видно ничего и в двух шагах, но Худайкул нашел их. Он пришел, подпоясанный полотенцем, принес острый большой нож, помассировал голову да так быстро и сноровисто начал брить Ширина, что тот стал опасаться, как бы не отхватил ему банщик полуха.

— Вот теперь совсем не сарбаз! — посмеялся Худайкул.— Все сарбазы сразу брили голову. Так, а усы и бороду остригу, когда выйдите обсохнуть.

После парной долго отдыхали на воздухе, тут Худайкул подстриг усы и поправил бороду, а потом вручил Ширину несколько таньга.

— Я продал ваши вещи, взял за стрижку и бритье, а остальное вам, — обстоятельно объяснил Худайкул.

Почему Ширин с таким наслаждением впитывает все мелочи, [illegible]? Неужели это так важно, как отнесся к ним Худайкул? Почему так приятно слушать обстоятельные [illegible] о вещах, которые в общем-то ничего не изменят в [illegible] Ширина? Долгая жизнь в казарме на [illegible] солдата, плутовство командиров так въелись ему в сознание, что сейчас, возвращаясь к нормальной жизни и нормальным человеческим отношениям, он не мог не наслаждаться ими во всех проявлениях, даже в таких малых и незначительных. Но есть ли что-либо малое и незначительное в нашей жизни для человеческого духа, воспаряющего к самому святому небу и к самому всемогущему богу?

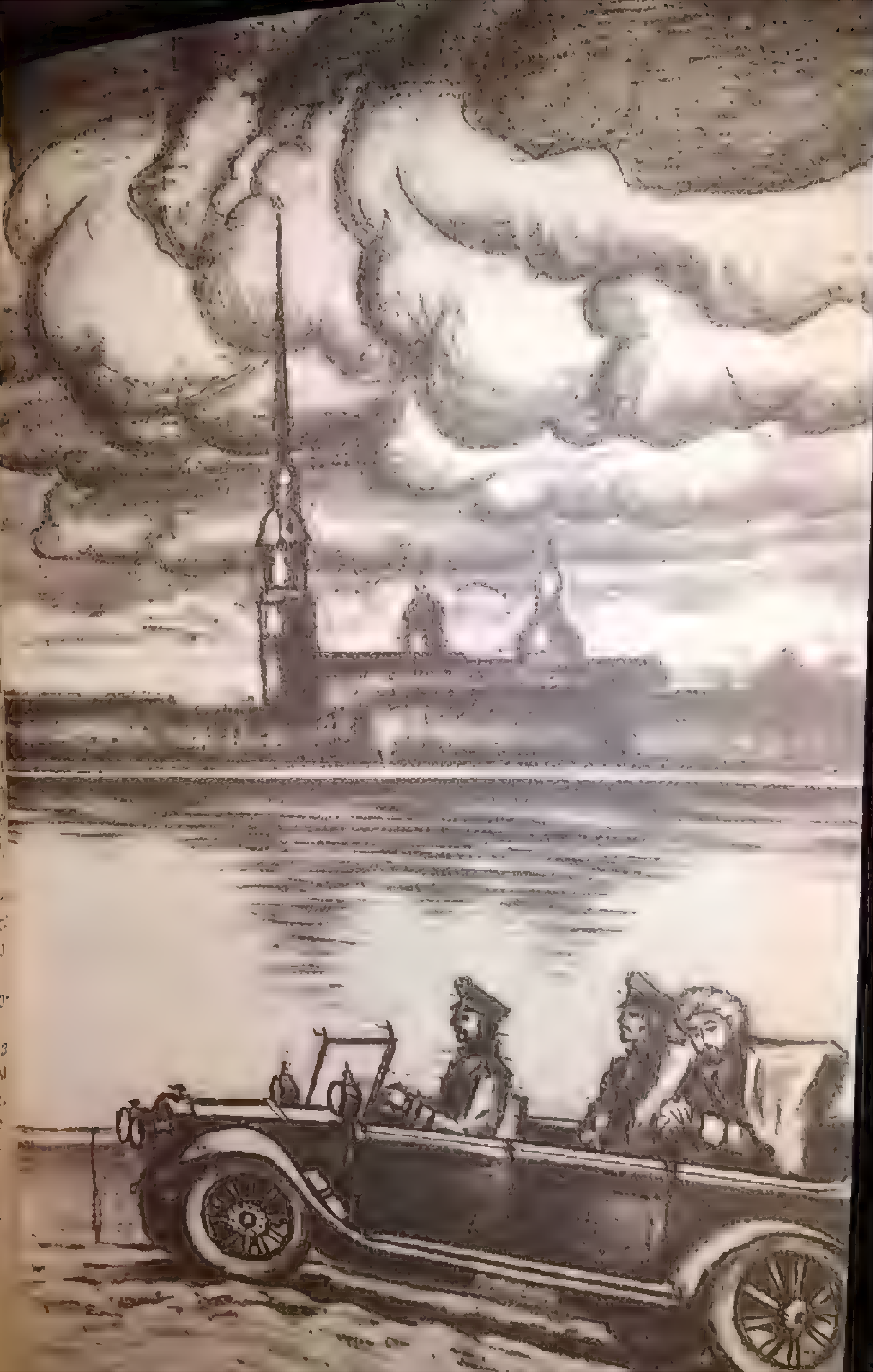
Ибад заметил слезы на глазах Ширина и деликатно опустил голову, ни о чем не спрашивая и делая вид, что ничего не замечает. Человеку нужно иногда побыть наедине со своей душой и с аллахом.

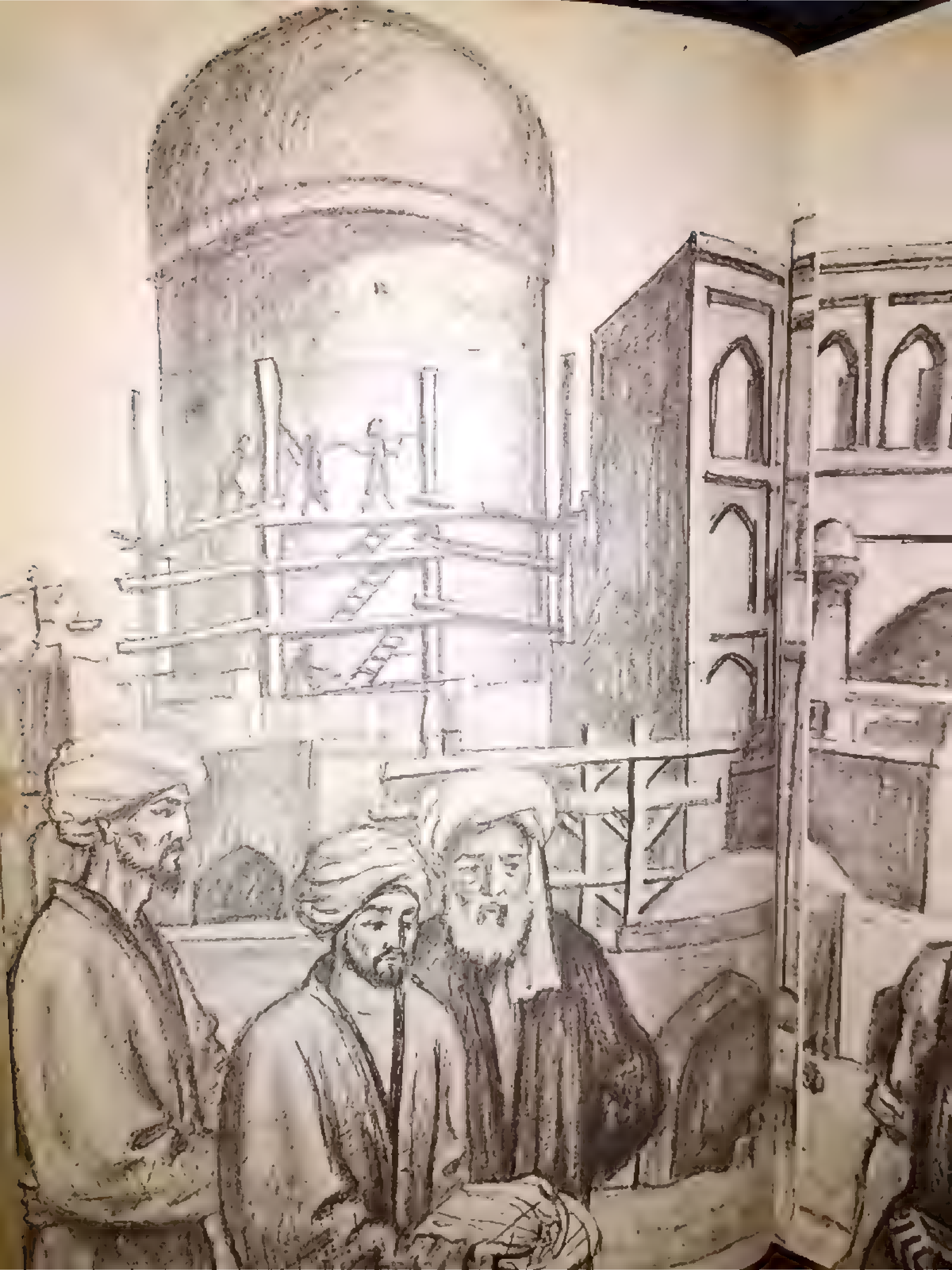
— Идемте, усто,— поднялся Ширин.— Мы очень хорошо отдохнули.

— Вот что, сынок, - положил руку на плечо Ширина усто Ибад.— Идем в твой караван-сарай, да заберем твои пожитки. Пойдем в мой дом, и ты будешь жить там как в своем доме. Разве я не помню твоего отца и не работал с ним? Пусть же злые и несправедливые живут по своим законам, нам нет до них дела. Идем, Ширин!

Они пришли в караван-сарай, Ширин распрощался с хозяином и распрощался со всеми обитателями. Долго они блуждали по узким улочкам, пока добрались до дома Ибада.

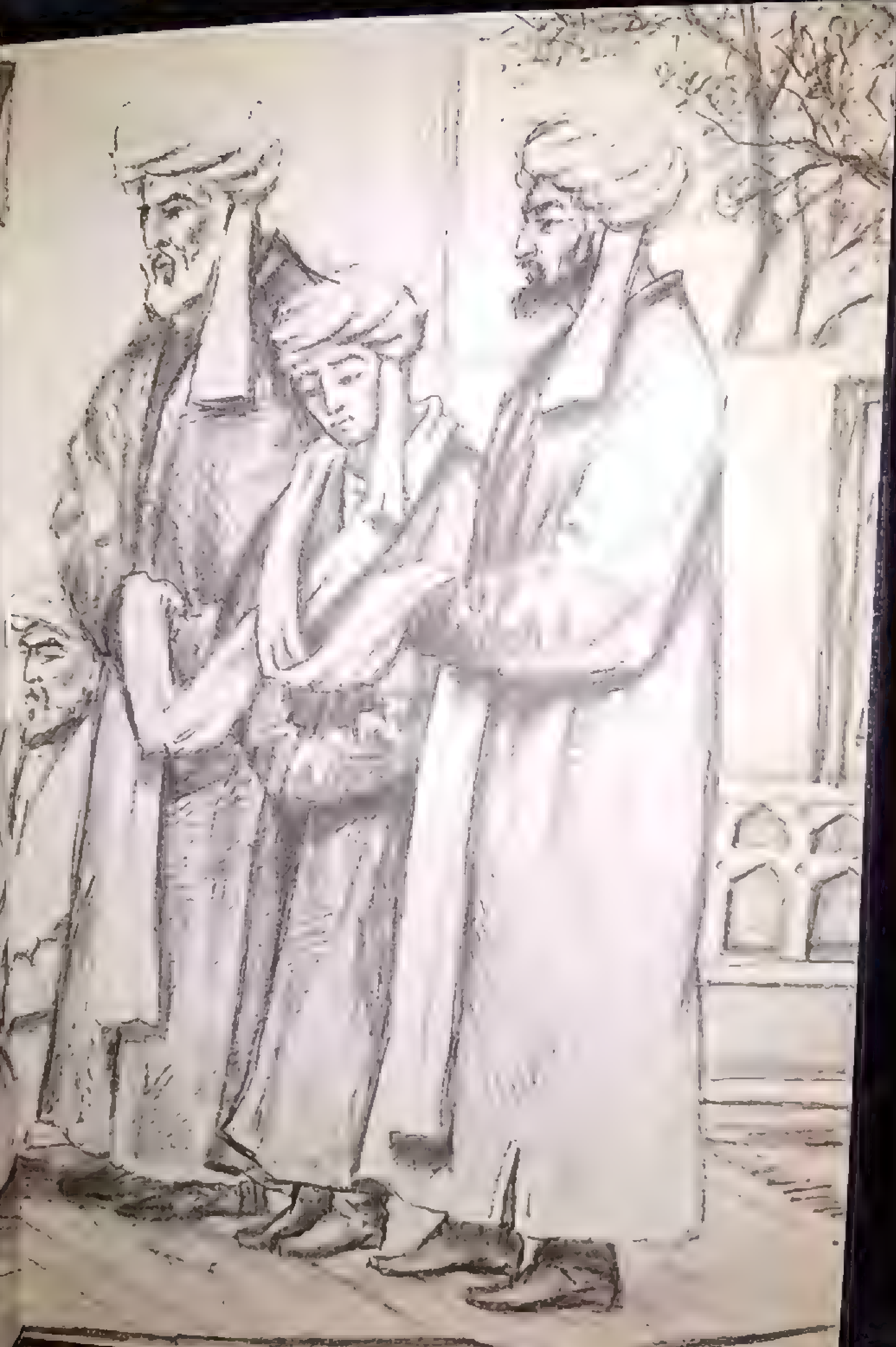


















— Вот твой дом, Ширин!— И Ибад распахнул перед ним калитку:— Входи же.

Сам усто Ибад был ганчкором и только ганчкором. Он не брался за строительную часть зданий, он только украшал их — дома, дворцы, беседки, чайханы, мавзолеи святых, которых в Бухаре больше, чем в любом другом городе. И все в доме было подчинено работе с ганчем. Через двор текла чистая прозрачная вода. Под тенью виноградника стопками лежали доски, на которых лепились оттиски, множество штампов, [illegible] которых невозможно сохранить рисунок целого [illegible] большого настенного панно. Инструмент [illegible] весь знаком Ширину, но находил он и [illegible] инструменты.

— Не спеши, я тебе все объясню [illegible],— успокоил его Ибад.

И вот новый поворот в судьбе Ширина: [illegible]ный мастер, его имя знает в городе [illegible] каждый, кто видел его работы в Кермине, где он самостоятельно отделывал целые залы, говорит о Ширине с глубоким уважением, отдавая должное его мастерству и таланту, а он снова оказался в роли ученика.

Ибад ненавязчиво передавал секреты своего мастерства, а Ширин, забыв все, к чему приходил сам или с помощью старого Камила, снова внимательно слушал и старательно изучал. Повторял приемы работы мастера с инструментом, с плитами и формами, со штампами, и не жалел о своем ученичестве. Все, что касалось его дела, не могло надоесть, никогда не казалось однообразным или скучным. Овладев приемами усто Камила, он теперь с таким же старанием усваивал приемы Ибада.

— Раньше, в давние времена, настоящие ганчкоры сами делали себе инструмент,— рассказывал Ибад.— Шел ганчкор в кузницу и становился к наковальне, делал инструмент по своей руке, подходящий по весу, по размерам. Вот сейчас этого делать и не нужно, в любой кузнице тебе откуют то, что ты попросишь. Я это говорю к тому, Ширин, насколько мастера любили свое дело. У меня хранится весь инструмент моего деда. Я им работать пробовал, не получается. Может, он не хотел, чтобы кто-то потом работал его инструментом? Да нет, он был добрый человек и не мог жалеть для потомков ничего. Я тебе когда-нибудь дам поработать этим инструментом. Может быть, тебе он будет по руке?

9—1714

За Ибадом часто приезжали из эмирского управления, и тогда он уходил надолго, оставляя дома Ширина одного. Были в доме еще живые души. На женской половине иногда слышались голоса, смех, хлопали двери, звенела домбра или звякала посуда. В тихом бухарском дворе каждый звук слышен. И тогда Ширин старался не бродить по двору, сидел за чертежами, чтобы не увидеть случайно кого-нибудь, кого мусульманину нельзя увидеть в чужом доме. Но странное волнение иногда подходило к сердцу и горело лицо.

Однажды Ширин отчетливо почувствовал, что за ним наблюдают. Он случайно глянул на окно женской половины дома и увидел юное девичье лицо. Во взгляде не было испуга или страха, а чисто женское лукавство и смешливость. Перехватив взгляд Ширина, девушка тут же опустила [illegible] и больше не показывалась.

До сам[illegible] поднять глаза, чувствовал себя свя[illegible] необъяснимым, чего он еще не испытывал [illegible]-то томительное щемящее чувство ожидания.

И спросить [illegible] девушке казалось так сложно, что [illegible] минуты, когда Ибад покажется в воро[illegible]. Ширину казалось, что он совершил [illegible], постыдное, а то и преступное. Как [illegible] своему другу и покровителю? На[illegible] из этого дома, чтобы не оказаться [illegible] неблагодарной.

Но пока он [illegible] мыслями и страхами, вернулся Ибад. Усталый, распаренный, он долго приходил в себя на айване, потом попил чаю и улыбнулся:

— Ты не поверишь, Ширин, что за новости тебе принес. Подожди еще немного. Да, я был у самого эмира, Ширин. И вот послушай. Алимхан не хочет оставлять Кермине своей резиденцией, слишком далеко от Бухары. «Мне,— говорил, — надо быть ближе к своему народу». И решил он строить новую резиденцию поблизости от Бухары. Пока он ничего существенного не сказал, только место выбирать поручил да мастеров собрал. Да, много было мастеров сегодня на приеме у эмира. Видел там и твоего дядю Нишана, но он был в полном одиночестве, никто с ним не общался. Эмир запросто беседовал! Был весел, шутил, говорил о новой Бухаре, которую он собирается строить. «Мы погрязли в старине,— сказал Алимхан, — привыкли к грязи и нечистотам на улицах, к вони и мазанкам. Я буду ломать целые гузары и на их месте

строить новые. Построю новые мечети и медресе взамен обветшавших, переселю жителей Бухары в простые, но просторные дома. А пока будем строить новую обитель для меня». И еще спросил шутя: «Вы согласны, мастера?» Конечно, все мы заговорили разом, а он только смеется. Перебрал всех мастеров, с каждым поговорил, а потом... Вот послушай, Ширин, что было потом... Да ты меня совсем не слушаешь, дорогой. Что с тобой происходит? Да, а потом эмир спросил, не знаем ли мы, [illegible] усто Ширина сына Ахмада? Это о тебе [illegible]! И смеется: «Вы уж найдите да пока припрячьте, [illegible] скоро мне понадобится!» Да, Ширин, он так и сказал! [illegible] не был сердит или зол. Все смеялся. Я [illegible], что ты у меня, ведь там был твой дядя [illegible]. Но кто-то сказал эмиру, что видели тебя в городе, и тогда эмир снова засмеялся. «Конечно, все они убежали из Кермине! Но дальше Бухары настоящий бухарец не уйдет. Вы найдите его». Что же ты молчишь, Ширин?

Ширин забыл о своих огорчениях из-за [illegible] лица за окном, совсем опечалился:

— Знаете, Ибад-ака, и гнев, и милость [illegible] эмира не радуют и не приносят счастья. Не хотел [illegible] бы мне, чтобы обо мне помнил Алимхан! Его отец [illegible] добр ко мне, он даже не освободил меня от солдатчины, хотя я работал в Кермине со всей душой. Почем я знаю, как обернется для меня то, что меня помнит эмир? Я ведь еще сарбаз, хотя мы с вами и мундир продали. А руки от солдатчины так связаны, думать свободно не могу, все время чувствую тяжесть. И мне не принесло радости известие, что сам великий эмир помнит обо мне.

— Ну зачем же так, усто Ширин? — тоже опечалился Ибад. — Ты — мастер. Разве можно мастерство упрятать под мундир сарбаза?

— Но его прятал столько лет эмир Ахадхан. Он не хотел видеть во мне мастера, а видел только сарбаза, который, правда, умеет что-то делать, но которому можно платить лишь жалованье сарбаза.

— Может быть, Алимхан забудет о том, что ты сарбаз и будет относиться как ко всем мастерам Бухары?

— Хотел бы я верить в это, усто. Очень хотел бы.

Последующие дни Ширин находился постоянно в тревоге, работать не мог совершенно и отправлялся бродить по городу. Он вспомнил о Сухробе и пошел в его гузар. Долго плутал он по кривым улочкам, пока не нашел его бывшую чайхану. Но о самом Сухробе тут никто не знал,

тогда он спросил, где его дом. За Ширином вышел пожилой бухарец и полушепотом сказал:

— Здесь вы ничего не узнаете, уважаемый. Имя Сухроба тут не любят. А дом его недалеко. Пройдите вдоль арыка до улицы гончаров, и под большими ветлами будет как раз его дом.

Дом Сухроба Ширину понравился. Просторный, чистый, он стоял на высоком бугре, и его забор нависал прямо над арыком, а из-за забора свисали зеленые ветви почти до самой воды. Ширин постучал в калитку. На стук долго никто не отзывался. Он уже хотел уходить, когда звякнула щеколда, и он увидел в проеме своего многолетнего спут[illegible]

— Это ты, [illegible] же! — обрадовался Сухроб и об[illegible] дорогого гостя.— Проходи же, [illegible]!

— Что [illegible] тебе [illegible] никогда не был,— [illegible] Ширин, но Сухроб только засмеялся.

— Ну [illegible] к [illegible]ной мельнице!

Сухроб [illegible] под виноградни[illegible] мать Сухроба [illegible] к гостю, приветливо поздоровалась, [illegible]. Ширин не смог скрыть своего удивления от открытого лица [illegible], о чем и сказал другу.

Сухроб сразу стал серьезным.

— Видишь ли, [illegible] мы считаем, что старые порядки и адаты должны быть пересмотрены и отброшены. Разве мы, мусульмане, не имеем права жить, как живут люди на всей земле? Почему наши женщины всю жизнь ходят под волосяной сеткой? Откуда такая дикость? Они не могут поговорить с гостем, сидят в своих ичкари, света белого не видят. Откуда это? Но разве только в этом дело? Вообще наши порядки не изменяются сотнями лет, и нельзя нарушить ни одного адата. А почему? Кому-то выгодно, чтобы мы прозябали под гнетом мулл и казиев. Нет, Ширин, так дальше нельзя жить.

Все, что говорил сейчас Сухроб, было настолько неожиданно, что Ширин не сразу сообразил, о чем хотел спросить. Одно только бросалось в глаза, что он очень изменился. Исчезла его суетливость, нервозность, он стал увереннее в себе, спокойнее, веселее. Но что-то и не нравилось теперь в Сухробе. Ширин не мог этого сразу понять. А Сухроб говорил.

— Мы, конечно, не против власти эмира, но нам нужен просвещенный, образованный правитель. Стыдно перед всем миром, что у нас царят еще средневековые порядки и законы, до сих пор не отменена смертная казнь, телесные наказания. Налоги еще душат каждого труженика. Так дальше жить нельзя.

— Кто это «мы»? — спросил наконец Ширин.

— Как кто? Партия джадидов. Неужели не слышал?— удивился Сухроб.

Ну откуда Ширину, занятому только своим ремеслом, знать о каких-то партиях, о каких-то джадидах.

— Ну хорошо,— чуточку высокомерно [illegible] друг.— Об этом потом. Как ты устроился? [illegible] сарае?

— Нет, я живу и работаю у усто [illegible].

— Опять на кого-то работаешь? Эксплуататоры проклятые!— с трудом выговорил новое [illegible] слово Сухроб.

— А ты как? Вернул себе чайхану? [illegible] Ширин

— Нет,— почему-то сник, но старался держаться в прежнем духе Сухроб,— но она мне пока не [illegible]. Я ведь снова сарбаз. За мной пришли и вернули на службу, на этот раз, правда, с правом жить дома. Но это ничего, ничего. Руководство партии считает даже хорошо иметь своих людей в армии. Нужно вести работу среди несознательной части солдат, объяснять им наши цели, вербовать.

— И у тебя... получается?— недоумевал Ширин

— Что получается?— недовольно сбился Сухроб.

— Ну это самое? Цели разъяснять?

— А, ты вон о чем! Ну, не всегда. Но тут отчаиваться не приходится, надо действовать. Ведь все солдаты испытывают гнет командиров, как и мы когда-то, возмущение их растет.

Ширин никак не мог понять, что происходит с его другом. Говорит какими-то чужими словами, сам напыщен, горделив, словно стал уже большим вельможей во дворце эмира. И вообще его трудно узнать.

— А я тебя вспоминал часто, даже среди наших говорят, хорошо бы и его привлечь в нашу партию.

— А разве и вам нужны меъморы и ганчкоры? — не поверил себе Ширин.

— Причем тут ганчкоры? Это ремесло, а нам ты нужен как политическая личность. Тебя же знают в Буха-

ре, твое имя поведет за собой еще ремесленников, понимаешь?

— Нет, Сухроб,— вздохнул Ширин,— я в этом ничего не понимаю и ввязываться не стану. Мое дело — строить. Это я немного могу. А кого-то вести за собой — я не кушбеги, водить в сражения воинов. Я умею чертить и по этим чертежам строить, ты уж извини меня.

— Смотри, Ширин,— свысока ответил Сухроб,— как бы не пожалеть!

— О чем же я должен пожалеть!— искренне не понимал друга Ширин.— И не хочу я больше о твоих джадидах, давай лучше о чем нибудь другом поговорим.

А потом вспоминали Кермине, всякие свои приключения в дороге, и понемногу Сухроб становился прежним весельчаком и балагуром. [illegible] друзья и расстались.

Ширин был доволен, что [illegible] Сухроба, но возвращался в свое новое [illegible] том же подавленном состоянии. Ибад уже беспокоился.

— Ты бы [illegible], Ширин, ведь в городе опять появи[illegible] и воры.

— У меня [illegible],— печально засмеялся Ширин.

— Ну зачем [illegible]? [illegible], я сдал плиты заказчику, [illegible] карниз почти готов, меъмор уже завтра их будет крепить.

— А разве мы [illegible]?— удивился Ширин.

— Нет, я сам [illegible] не ставлю, я их только делаю, а ставят [illegible]. А вот [illegible] деньги, смотри! Это нам заплатили, Ширин. Вот [illegible], я делю на две равные кучки, бери любую.

— Равными они не могут быть. Вы — усто, а я ученик. Но почему не сами будем ставить? Разве они сделают так, как нужно?

— Сделают, сделают. А кучки всегда будут равными, Ширин. Мы не можем говорить откровенно? Какой же ты ученик, Ширин, ты — мастер. Что скажут мне остальные мастера, если узнают, что я плачу тебе как ученику? Мне стыдно будет на улицу выйти. Так не годится. Да и чему я могу тебя научить? Некоторые инструменты показал? А ведь чертежи твои, да и плиты ты отливаешь сам. Нет уж, если мы с тобой друзья, то больше говорить об этом не будем,— твердо отрезал Ибад.

Ширин вздохнул и взял деньги, но настроение от это-

го ведь не улучшится. Ибад со свойственной ему чуткостью заметил:

— Что тебя гнетет, мой друг? Говори, я выслушаю тебя.

— Почему вы мне ничего не сказали, усто, когда оставляли меня одного в доме, что у вас здесь.. еще кто-то есть?

— Оббо!— только и нашел, что сказать Ибад.— И это все? Все, что тебя так встревожило? Ну да, у меня здесь сестра и дочь Саодат. Ну так что? [illegible]... Хорошо, я подумаю, Ширин, как нам [illegible] тебе же и жениться надо, ты подумай: [illegible] дочь. Ей уже четырнадцать лет, так что и [illegible]

— Хорошо, я подумаю, усто,— [illegible] Ширин, преисполнившись благодарности [illegible] простому бесхитростному человеку.

И снова, как много лет назад, кто-то постучал в калитку:

— Здесь живет сарбаз Ширин? Это вы? Караулбеги Холмат приказал вам завтра быть на плацу к десяти утра,— сказал улыбающийся молодой сарбаз

Старое властно постучало в калитку жизни Ширина, постучало и позвало за собой.



Часть вторая

Мы, читатель, [illegible] немалый путь вслед за нашим героем, и настало вр[illegible] отдохнуть, как всякому путнику, ступившему на дорогу. Жизнь — в движении, говорили древние, и мы говорим вслед за ними: жизнь в движении вперед. Вперед за нашим беспокойным и не очень могучим героем. Он не может сражаться с драконами и львами, он не может сокрушать неприятельские крепости и пробивать в скалах каналы, подобно легендарному Фархаду. Он слишком слаб и робок, он всего лишь труженик, сполна познавший жестокости и беды.

Мы многое опускаем из достойного жизнеописания усто Ширина. Да не обидится на нас строгий критик, ведь мы же пишем не биографию, а роман — [illegible] ства самому Ширину и его собратьям неизвестный. Не пишем мы и касыды — хвалебные оды, потому что восхвалять имя Усто — Мастера, который сам о себе все сказал, было бы нескромно с нашей стороны, ведь мы только робкие рисовальщики, тогда как сам Ширин — утес, потому что у него самая высокая цель жизни — строить, и тем украшать жизнь людей. Неужели он одержимый, неужели он не знает, что человек смертен? Нет, Ширин не раз читал надпись на мавзолее султана Исмаила Саманиди: «Смерть все время держалась за по-

[illegible]лу моего халата, а когда выпустила, я превратился в прах». Так почему же робкий и бессильный перед жестокостями жизни юноша украшал жизнь? В чем его секрет? В чем его сила? Или это не сила, а слабость? Повсякому можно судить нашего героя, только одного нельзя делать — осуждать.

В своем повествовании мы опускали многие достоверные факты его жизни. Разве мы не знали, что после Кермине Ширин бежал в Самаркинд и работал там простым каменщиком, и только потом [illegible] в Бухару? Знали, конечно, но описани[illegible] в Самарканде ничего бы не добавило к [illegible], а увеличило бы на несколько страни[illegible]. А он не был страдальцем, он был [illegible] ко этим мы оправдываем себя, [illegible] частности, следуя главному.

И если мы рассказываем о [illegible] что-то домысливаем, то и тут мы [illegible]. Стоит только посмотреть на черт[illegible], которые во множестве сохранились [illegible]ка, тончайшую вязь его творении, как [illegible], насколько же жизнь создателя [illegible] сунка! Мы знаем об эпохе, в которой [illegible] знаем, что он думал. Мы знаем, что [illegible] стливый человек — а как иначе назва[illegible] жил в новом времени, но именно здесь [illegible] не хватало ему в прежней жизни — призна[illegible].

Признание — вещь очень капризная. Разве нам не известны имена творцов, которые были признаны только после смерти? Обидны такие признания, хотя и необходимы. Нашему же герою выпало такое признание, которому может и сейчас позавидовать любой владыка, ибо признание владыки зиждется на лести приближенных, а потому зыбко, как пески в пустыне под Бухарой, а его признание восстоит на восхищении. И восхищении не одного человека, пусть даже всесильного, а восхищении всенародном, всеобщем. А вот это приобрести нельзя, с этим нужно родиться.

Рассказывают, что и сейчас мастер, желающий начать строительство дома в Бухаре, находит работу Ширина, постоит перед ней и, преисполнившись благоговения, приступает к делу.

Так или нет на самом деле, не нам судить, но мы бы хотели, чтобы все обстояло именно так, поэтому об этом говорим.

Так и с книгой об Усто — Мастере. Даже если строгий критик уличит нас в отклонении от подлинных событий, мы вспомним о тех, кто приходит к домам усто Ширина перед закладкой фундамента нового дома. Может, и приходил-то всего один человек, но он важнее сотен тех, кто живет рядом с этим праздником настоящего мастерства и спит с открытыми глазами, не замечая таланта.

Но наше повествование не только о большом мастере. Оно и о сильных мира сего, коих достойно представляет эмир священной Бухары, повелитель всех правоверных, наместник аллаха на земле, солнцеподобный Саид Алимхан.

Усто и эмир [illegible]. Но один внизу, а другой — на самой [illegible] благополучия, один бесправен, а другой упивается своей властью и богатством. И между [illegible], как туркменские степи, и высокая, как [illegible] стена.

Но судьба [illegible] по-своему. Она отодвинула стену, разделяющую этих двух, совершенно разных людей, свела их ради одного дела.

И поэтому, дорогой читатель, теперь, когда ты откинул у обочины [illegible] дальше за нашим героем, каким бы сложным и длинным не оказался его путь, и за тем, кто облеченный властью, мог распоряжаться талантом так, как ему заблагорассудится.

Ведь оба они, и усто и эмир, шли своим путем. И хотя пути тиранов и гениев подчас перекрещиваются, но каждому из них отведена судьбой своя дорога.

Глава I

В ОЖИДАНИИ СУДА

Алимхан с Натали Ксанинской вкатили в Арк. Всадники-афганцы, сопровождавшие эмира, остановились у ворот. На площадке, против айвана, на котором стоял трон, коляска остановилась. Эмир ловко соскочил на землю и подал руку Натали, которая еще не пришла в себя от увиденного.

— Хазрат эмир идет! — громко объявил хабарчи, выступив вперед. Толпа придворных колыхнулась. Тут же два саломгоса встали справа и слева от эмира.

Саломгос выступил вперед и от имени всех присутствующих торжественно произнес:

— Хазрату эмиру Алимхану салом а-аллейкум!

Все присутствующие склонились в низком поклоне. Оба саломгоса от имени эмира ответили:

— Ва-аллейкум а-салом! Аминь!

Эмир, а за ним все присутствующие провели ладонями по лицу, сотворив «паттаха», и эмир направился в свои покои. Натали шла рядом, не зная, как держаться в этом непривычном ей мире раболепия перед ее поклонником, который там, в Петербурге, казался просто богатым вельможей, а здесь, в Бухаре, царственный правитель, всесильный властелин.

Тихие слуги, не поднимая глаз, бесшумно расставили угощенья и удалились. Эмир опустился на ковер против дастархана и пригласил улыбкой Натали.

— Устраивайтесь, душа моя. Здесь все [illegible] иначе, чем в ресторанах Петербурга.

Натали опустилась на шелковое одеяло [illegible] Сандро, тоже подложила под локоть подушку.

— Вы делаете успехи, любовь моя,— [illegible] эмир.

Вошел слуга:

— Хазрат эмир, кушбеги просит [illegible] несколько минут по очень важному вопросу.

Эмир, не меняя выражения лица и [illegible], чуть заметно кивнул головой, [illegible] на Натали. И как только слуга мог понять, [illegible] выполнить просьбу кушбеги? Вошел в шитом золотом по всему полю широченном халате и золотых туфлях кушбеги, первый министр эмира. Вошел и склонился в подобострастном поклоне:

— Хазрата эмира Алимхана нижайше приветствует и целует полы его халата недостойный его слуга.

— Салам, салам, кушбеги,— небрежно кивнул головой эмир.— Что могло случиться в государстве такого, что бедный ваш эмир не может принять достойно высокую гостью от самого императора?

Кушбеги, стараясь не поднимать глаз на русскую красавицу, низко поклонился ей:

— Да простит нас госпожа за невольные помехи, которые мы чиним вашему наслаждению, но дела государственные.

Эмир закатился веселым смехом, откинувшись назад:

— Кушбеги, да она ни слова не понимает на твоем языке!

— Простите, хазрат эмир, простите,— совсем растерялся всесильный министр.

Эмир тут же стал строгим:

— Говори, кушбеги, только коротко.

— В гузарах волнения, хазрат,— тихо сказал кушбеги.

— Что такое? — равнодушно спросил Алимхан, не меняя позы.

— Возмущены судами, большими налогами, хазрат...

— Одного судью на кол[illegible]. Завтра же эмирский суд, пять смутьянов на плаху. У тебя все, кушбеги? Оставь нас одних.

Кушбеги, пят[illegible] вышел из покоев. Натали следила за всем с нескр[illegible]ым интересом.

— Сандро, [illegible] выходит задом, ведь удобнее сделать [illegible] как на приеме у царя...

— [illegible] он не имеет права показать [illegible]. Вы не устали, Натали?

— Ты [illegible] от себя, Сандро? Я тебе надоела? — [illegible] Натали.

— Что вы [illegible]! Я просто подумал, что вам пора спать.

— Но после всего, что я видела, мне скоро не уснуть!

Кушбеги, который еще побыл в приемном зале дворца, недоумевал, почему эмир так спокоен, когда в городе беспорядки. Он понимал, что перед гостьей хазрат эмир не позволит себе проявить хоть какое-то замешательство, но ведь и волнения в городе — вещь не столь уж обычная. Ну хорошо, один «неправедный» судья для наказания будет, хотя по справедливости, их больше половины нужно отправить на кол, пять «смутьянов» кушбеги обеспечит: зиндан полон людей без роду и без племени. Но от этого спокойнее не станет. Что-то не срабатывало в государственном механизме Бухары, если стали возможными беспорядки.

К утру все было готово. Глашатаи-хабарчи, разошлись во все концы города и оповещали жителей благородной Бухары, призывали их приходить на площадь перед Арком, дабы убедиться, что власть эмира справедлива, она карает всех, кто виновен, независимо от положения. Бухара заволновалась еще больше.

— Эмир справедлив!— вопили хабарчи.— Приходите же на площадь, о жители священной Бухары! Приходите!

Весь церемониал эмирского суда был отработан, и кушбеги за внешнюю сторону не волновался. Но он с ужасом вспомнил о крике петуха! А что если на площади снова закричит во все горло этот проклятый мятежный петух? Сейчас, когда страсти в городе раскалены, довольно такого пустяка, чтобы привести Бухару к большим волнениям. Прежние эмиры знали об этом петухе и умели не обращать на него внимания. Но как отреагирует Саид Алимхан, трудно предсказать. Могут полететь головы и не одна. А тут еще эта гостья! Эмир и не подумает лишить ее зрелища эмирского суда и [illegible]. Как все худо!

Кушбеги сначала подумал, а не пригла[illegible] него кушбеги на совет, но вспомнил, что то[illegible] полным отсутствием ума. Только и умеет [illegible], даже не брать, а драть.

Поднять всю армию эмира и рас[illegible] сарбаздонболапуров, потребовать от [illegible] ного порядка на площади? Но что такое [illegible] тысяч, из которых примерно пятьсот человек в б[illegible] огромной площади, где соберется несколько [illegible] тысяч? Да и все ли сарбазы будут преданно [illegible] что делается в толпе? Не захотят они портить [illegible] ния с горожанами, к тому же среди сарбазов много недовольных, не случайно после смерти Ахадхана столько их оказалось в бегах. На наемников надеяться нечего. И выходит, крутись один кушбеги, а если что не так — с него в первую очередь голову снимут.

Теперь отношения кушбеги с эмиром заметно прохладнее, чем в те памятные дни смерти Ахадхана. Тогда кушбеги был всегда рядом, с ним каждое дело эмир обсуждал, тогда кушбеги был единственной опорой, единственным надежным человеком. Теперь у эмира много советников: старая Ишонаим, мать эмира, сумела войти в доверие и даже заставить считаться со своим мнением, восстановил свое положение хитрый кази-калон Бахрамеддин, хотя из-за проделок его казнев и происходят многие и многие неприятности. Смутно, смутно стало в Бухаре! Появились какие-то джадиды, о них докладывали эмиру, а он только отмахнулся: «Пусть играют в демократию!» Что это за штуковина — кушбеги непонятно, но если из-за нее могут возникнуть беспорядки в городе — кушбеги отвечать. Когда-то Ходжа Насреддин сказал: «Ишак с золотом перелезет через любую стену». Кушбеги, как и все жители Бухары, знал множество

анекдотов про хитроумного бродягу Насреддина. Да, надо сказать, не всегда он зубоскалил да богачей дразнил. Были у него и мудрые мысли. Деньги... С ними, конечно, многое можно сделать. Но как заткнуть глотку этому проклятому петуху? Даже если захочешь залить ему глотку расплавленным золотом, надо сначала его поймать.

Осторожно, бесшумно подобрался к хмурому кушбеги главный фискал Хайрулло.

Страшный это человек, сам верхний кушбеги иногда внутренне содрогается, когда встречается с ним по делам фиска. Н[illegible] откуда, из-за какой колонны [illegible] глаза бегают, как у вора, голо[illegible] замечает, везде имеет своих людей. [illegible] эмирском гареме есть свои глаза и уши. [illegible] юзбаши и водил в бой своих [illegible] сразу бы отрубил голову такому шакалу, а став придворным, не может обходиться без услуг Хайрулло. С[illegible] глухим станет главный визирь эмира, [illegible] министр. И тяжело это, а деваться некуда.

— Что будем делать с петухом, Хайрулло?— строго спрашивает кушбеги, словно Хайрулло виноват.

Все может главный фискал, обо всем осведомлен, но даже он втягивает голову в плечи, услышав эти слова.

— Зачем же я плачу столько тебе и твоим шпионам, если они только и делают, что приносят вести про пьяниц? Их полон город, а петух один. Ну?

— Скупить всех петухов в Бухаре?— горько пошутил Хайрулло.

— Мы уже думали об этом,— важно кивнул головой кушбеги, не поняв шутки главного шпиона.— Но как это сделать? Мы денег не пожалеем.

— Хазрат кушбеги!— горячо зашептал Хайрулло.— Мои люди распространят слухи в городе, что во время суда будут покупать петухов...

— Ты что, Хайрулло?-- отшатнулся кушбеги. Но Хайрулло зашептал, зашептал...

Неожиданно в приемной показался эмир. Поспешно поднялся с дивана кушбеги, куда-то исчез Хайрулло.

Эмир был в благодушном настроении. Он проводит неплохо свой первый вечер после возвращения из России с этой княгиней... как ее там зовут?

— Послушай, кушбеги,— остановился рядом эмир.— Мы давно не слышим ничего об одном мастере, об усто

Ширине. Я припоминаю, что он работал в Кермине. Что теперь с ним? Мы хотим видеть его завтра после суда.

Эмир медленно пошел дальше, потом, не глядя на опешившего кушбеги, вернулся к своей княгине. Что означает слово «княгиня»?

— Хайрулло! А ты вот где! Петухов мы будем покупать по двадцать таньга, так пусть и говорят твои люди... Хайрулло, нужно отыскать сарбаза Ширина сына Ахмада. Не слышал о таком?

Есть ли в Бухаре кто-нибудь, о ком бы не знал Хайрулло? Но он только скромно опускает свои хитрые глаза и молчит.

— Хорошо, хорошо,— морщится кушбеги, вкладывая в руку Хайрулло деньги.

— Будет, будет усто Ширин к [illegible] стопам, мой господин,— Хайрулло частенько награждает кушбеги эмирскими титулами, но Баярсахин не обращает внимания на подхалимство, которому во дворце слишком много простора.

— Иди,— отпустил фискала кушбеги.

А сам невесело задумался. Кто знает, по каким тропкам течет мысль сидящего на троне? В такое время вспомнил о каком-то метморе, словно нет у него более важных забот. Но кушбеги знает хорошо свою службу: воля эмира — воля аллаха. И исполнение ее — закон для него.

С самого утра карнаи огласили город предвестием большого события. Карнаи... Как часто они возвещали в Бухаре о самых важных событиях в жизни города, о чьем-то торжестве или чьей-то гибели. Под звуки карная восходили на престол и на эшафот,— то и другое было делом кровавым. Порой даже кажется, что любое преступление — будь то эмирский суд или казнь казнокрада — могут проходить только под звуки карная. Это потом вступят дойры, сурнаи, флейты, барабаны — все многоголосие бухарской жизни. А пока по утру возвещают карнаи, что скоро, совсем скоро будет совершено беззаконие под маской правосудия, будут приближены недостойные, и падут головы честных и праведных. Наверное, сам эмир уже не властен изменить ход событий, как ход небесных светил, от расположения которых, как известно, зависит и жизнь муравья и гибель царства...

Площадь уже наполняется народом, падким на зрелища. О народ, народ! Когда ты поймешь, что этими зрелищами тебя отвлекают от горьких мыслей о твоем ужа-

[illegible] положении, о твоем полном бесправии, о тирании, о нищете, о голоде? Ты бежишь на эти звуки, как ребенок, что тебе покажут самое ужасное в мире зрелище — казнь твоего брата, такого же, как ты, человека? О народ, народ...

Ходжи Икрам, молодой человек с маленькой черной бородкой, стоял в белом облачении с книгой в руках в окружении своих единомышленников и горестно раздумывал о [illegible] Бухары, ради которых он и его друзья сплотились, [illegible] укротить [illegible] власть [illegible] и [illegible] людей. [illegible] Икрам [illegible] праведный в [illegible] медресе на [illegible] имя которому — [illegible] Китаба [illegible] сам китабский бек [illegible] ответа на вопрос, [illegible] И есть ли другие миры [illegible]

[illegible] справедливости, Ходжи [illegible] несправедливостей, царящих [illegible] выход

— Спра[illegible] быть неподкупной, [illegible] что [illegible] негромко — рядом [illegible] Ходжи Икрам сво[illegible] малым и [illegible] Мы должны добиваться, чтобы эмир [illegible] наши устре[illegible] Он получил образование и [illegible] нас понять. Мы будем [illegible] чтобы он выслушал нас!

Вот [illegible] в сопровождении чиновников и [illegible] поднялись [illegible] кази-калон, раис и ходжа-калон, [illegible] духовное лицо Бухары. Они выстроились по обе стороны трона и застыли в ожидании выхода эмира.

Ходжи Икрам внимательно наблюдал и комментировал происходящее, а последователи его учения с почтением слушали его. Ходжи Икрам много лет учился в Мир Арабе, после того как он пять лет был муллобачча, - учеником медресе, год был муэззином, а потом стал дахнияком. Дахнияком он два раза в неделю читал молитвы на кладбище за вакф — определенную плату, которую взимало медресе. Но молодого священнослужителя влекло богословие, и он снова засел за науки. Он почти

наизусть знал коран, умело толковал его, часто принимал участие в богословских диспутах, где еще больше отточил свое красноречие, у него появились последователи. И теперь он возглавлял небольшую, но достаточно решительную группу молодых сторонников реформ в правлении. Пока они только встречались в небольшом кругу и слушали своего учителя, домулло Икрама Сейчас они пришли на площадь, чтобы еще раз убедиться, насколько неправ суд, вершимый эмиром, чтобы потом обстоятельно обсудить его.

Сарбаз Сухроб выбрал себе пост [illegible] учителю. До него доносились обрывки его речи, [illegible] свою цель Сухроб видел в том, чтобы [illegible] учителя от фискалов, которые сновали в толпе.

Величественный его вид успокаивал [illegible] там, где стоит такой сарбаз, порядок [illegible], и они уходили.

На балконе под самым верхним [illegible] Арка показалась какая-то фигура, вся [illegible] одежды. Кто бы это мог быть? Могла быть Ишонаим, мать нынешнего эмира, или кто-нибудь из иностранцев, кому эмир позволил видеть это жуткое действо

— Вот посмотрите,— сразу обратил внимание Ходжи Икрам,— мало того, что суд будут видеть жители Бухары, его еще будут видеть инородцы. А разве это не наше внутреннее дело, дело жителей «убежища ислама»? Мы, мусульмане, в силах сами разобраться в наших противоречиях, а наш... правитель,— ходжи во избежание неприятностей не называл титул эмира,— а наш, да, правитель делает из этого лицедейство. Ведь не пускаем же мы инородцев в Мекку, а?

Последняя мысль показалась ему особенно удачной, и он со значением посмотрел на своих учеников. В знак признания всей глубины этой мысли они почтительно покивали головами: конечно, конечно же, так и есть, прав учитель, куда как прав.

Натали Ксаницкая умолила эмира разрешить посмотреть процедуру суда. Она не признавалась, что ей хочется видеть казнь. И о том, что казнь будет непременно, она только догадывалась. Но так как Натали очень хотела видеть его суд, он позволил ей смотреть с этого балкона, но предупредил:

— Если хоть один человек в толпе увидит ваше лицо, вас разорвут фанатики. Что бы вы ни увидели, вы должны сохранять полное молчание и не открывать ли-

цо, иначе мне придется отдать вас на растерзание толпе. Вы хорошо поняли меня?

Вся трепеща от волнения, Натали только кивала часто-часто, подтверждая, что она все поняла. Эмир же на всякий случай приставил у входа надежного человека с наказом: если этой госпоже станет плохо или она позволит себе недопустимое, насильно утащить ее с балкона.

А усто Ширин в этот же час сидел в небольшой коморке внутри Арка в ожидании. Ожидании неизвестно чего. Поздно ночью за ним пришли и передали волю эмира — быть во дворце и ждать. Ранним-ранним утром пришел он к воротам Арка, его впустили.

— Проходи, приказано впустить.

Кушбеги [illegible] этого тщедушного юношу — Ширин [illegible] совсем мальчик — и думал, что за [illegible] в этом человеке, что два эмира [illegible] приглашают к себе, потом забывают о нем, а затем снова зовут.

— Эмир зан[illegible] вспомнит о тебе, я не знаю. Тебя отведут в [illegible]ленное для ожидания помещение, ты будь [illegible] да не уходи, а когда понадобишься, я тебя позову.

— А разве [illegible] волю уйти?— наивно спросил Ширин.

«Притворяется простаком,— подумал хмуро кушбеги,— притворяется, а сам в душе смеется. Все они смеются над нами, стоящими у власти. В Бухаре не могут не смеяться, словно дух Ходжи Насреддина поселился в каждом из них. Выпороть бы сейчас этого наглеца, но ведь потом за него отвечать будешь перед хазратом эмиром».

— Ты прав, Ширин, из Арка просто так не выходят,— ухмыльнулся кушбеги и со злорадством увидел на лице мастера откровенный испуг. «Так вас! Вот и ключ к вам, почтенные жители Бухары! Вы смеетесь, но стоит показать вам плетку, вы трясетесь от страха, как хвост шакала».

— Тебе принесут поесть и пить,— бросил кушбеги, отправляясь по своим делам.

Эмир не сразу решил, в каком обличьи появиться перед своим народом. Если появиться в форме царского полковника, то получится, что суд вершится от имени русского, очень далекого для Бухары царя. Прийти на площадь в форме казачьего атамана еще хуже. Казачьи

атаманы и так примелькались, четыре казачьих сотни расположены в городе, и получится что это казаки вершили правосудие над правоверными. И он выбрал шитый золотом желтого шелка халат, чалму, остроносые золотошвейные туфли с загнутыми носами, на поясной платок нацепил легкую саблю с драгоценной отделкой. Да, он выйдет таким, каким привыкли жители Бухары видеть своего эмира. Он мусульманин и будет вершить суд исламский, по шариату, и тогда это не вызовет никаких побочных осложнений.

У каменной лестницы его ждали хабарчи, саломгосы и личная охрана из афганцев, но [illegible] щих двумя рядами с обеих сторон от эмира с обнаженными саблями.

Едва показался эмир, как глашатаи возвестили: «Хазрат эмир Саид Алимхан! Хазрат эмир Саид Алимхан!»

Народ Бухары колыхнулся, загудел и пал ниц перед своим повелителем, касаясь лбами пыльной площади. Осужденные завопили хором:

— Милосердия и справедливости! Милосердия и справедливости, о великий из великих хазрат эмир. Ми-ло-сер-ди-и-и-я!

Суровый, неприступный, чуждый земных страданий, эмир прошел к трону, вынесенному из дворца, саломгосы хором возвестили от его имени:

— Салом а-аллейкум!

Эмир степенно опустился на свое место.

Глава II

ПЕТУХИ

— Ахмед, что это у тебя под полой халата? Петух? Оббо!

— Мамед! А что у тебя самого под полой халата? Тоже петух?

— Э, Мамед, хабарчи объявили, что сегодня на площади будут покупать петухов, вот я и несу.

— Оббо! А нам в чайхане по секрету сообщили, что сам кушбеги будет платить за каждого петуха по рублю!

— Э, проклятая птица! Почему он, Мамед, не хочет спокойно сидеть у меня под полой?

— А почему мой шайтан так и старается клюнуть меня через штаны?

— А ты не знаешь, зачем кушбеги будет покупать петухов?

— Йе, Ахмед, откуда мне знать? Может, он хочет сделать плов из петухов?

— Если сегодня только половина жителей Бухары принесет на площадь своих петухов, то нашему кушбеги плова хватит на две его жизни и всем его родственникам, детям и внукам.

— Пусть ест! Мы поедим в харчевне лагман с обрезками и хрящами! И еще посмотрим, кто будет есть с большим аппетитом!

— А [illegible], Мамед, кур покупать не будут? Я одну [illegible] ай несу.

— С[illegible] Вернуться, что ли? Опоздаю к р[illegible] я уплывет. И как это ты догадался прихватить кур[illegible]

— А, это, чтобы [illegible] заснул, пока я его несу.

[illegible] али собираться к площади. Петухи, ко[illegible] а решили так гнусно предать, не хотели м[illegible] инотой и духотой, и то у одного, то у друг[illegible] начинал трепыхаться его халат [illegible]. Чтобы не показаться смешным перед [illegible] и знакомыми, он прижимал его плотнее и шептал:

— Да угомонись ты, хозяин куриного гарема! Скоро ты будешь думать совсем о другом!

Со всех концов Бухары несли петухов, и это были не какие-нибудь общипанные длинноногие сарбазы, это были пышные, разноцветные юзбаши и такие же задиристые и заносчивые.

— Хазрат эмир Саид Алимхан! — возвестил хабарчи, толпа кинулась лбами к земле, и в это время один наиболее заносчивый и самолюбивый юзбаши выскочил из-под полы своего коленопреклоненного хозяина и довольно-таки

— Ко-ко-ко! — возмущенно заклохтал [illegible] помятый юзбаши-петух, оправлял свой наряд [illegible]

И тут сотни других юзбашей, воспылав свободолюбием, начали рваться на волю. Вскидывались рубахи, отбрасывались полы халатов, и сотни белых, рыжих, черных петухов заскакали по площади, потому что их сребролюбивые хозяева кинулись их ловить, дабы получить обещанные таньга из казны кушбеги.

Известно, что даже два молодца-батыра не могут

выносить вида своего соперника а тут сразу собралось столько воинов, джигитов, что не могло не случиться то, что случилось. Вот один, наиболее самолюбивый вцепился в красный гребень другому, брызнула кровь. Но кто же останется равнодушным при виде доброй потасовки? И вот кинулся в драку третий, за ним четвертый, и скоро на площади кипело настоящее побоище. Единственная в этом обществе курица, которую прихватил смышленый Ахмед, упала в пыль и упрятала голову под крыло, будто понимая, что не ей приколет победитель перо из хвоста побежденного соперника.

Эмир, а за ним и вся его свита побелели от такого неслыханного оскорбления!

— Уберите петухов!— прохрипел кушбеги кому-то из стоящих рядом.

— Убрать петухов!— тут же последовал приказ сарбазам, и исполнительные сарбазы кинулись в толпу и начали ловить черных, рыжих и белых петухов. Но разгоряченные боем джигиты кидались на доблестных сарбазов, и вот один из них даже побежал, позорно прикрывая зад, в который целился своим тяжелым, как ключ, клювом рыжий нахал.

— Убрать петухов!

Жители стали ловить этих неуважительных птиц, наполнивших площадь, откручивая головы чужим петухам, потому что своих уже потеряли в пылу схватки. Скоро наступила тягостная тишина.

И в это время над всей площадью, над башнями Арка, под самые небеса понесся издевательский, мятежный и вызывающий крик петуха:

— Куу-каа-рееэ-кууу!

И площадь хохотнула, потому что это уже был не петушиный, а человеческий крик.

— Какое дикое невежество,— шептал скорбно Хаджи Икрам, который хотел во всем видеть порядок и законность.

— Начинайте, кушбеги,— процедил сквозь зубы эмир.

Натали Ксаниская не могла понять, что происходит. Ей подумалось, что эта сцена с петухами просто составная часть обычного для таких событий ритуала, и она решила потом подробно расспросить об этом Сандро. Но вот к ногам эмира бросили первого из обвиняемых.

Это был кази Гумар, наиболее гнусный и низкий из бухарских казиев. Он был кази в одном из самых бедных гузаров Бухары, гузаре Кози Нуруддина, даже среди

других бедных гузаров известном своей нищетой. Был
[illegible] [illegible], злобный и жадный человек, многих бедня-
ков он пустил по миру с кубышкой на плече, сам сущест-
вовал, скопидомничая и пуская деньги в рост, а потом
сам же судил своих должников, лишая их последних
крох. Много слез пролито у ворот его дома, много людей
пропало в зинданах и долговых ямах по его неправедно-
му суду, и если нужно было найти одного среди множе-
ства бухарских казиев для наказания, то Гумар был са-
мым подходящим.

На четвереньках полз он у стены Арка, роняя слюну
себе на руки:

— Милосердия! Прошу милосердия!

Эмир поморщился и отвернулся. Великий аллах, и
такие черви [illegible] именем эмира и под его тенью.
Кушбеги, [illegible] [illegible] эмира, махнул плат-
ком. Двое [illegible] [illegible] под руки Гумара и
потащили [illegible] [illegible] вырывался, кусался, вере-
щал во все[illegible] [illegible] в руках стражников. Но
вот его об[illegible] [illegible] притянули к плахе, тощая
шея его [illegible] [illegible] меч палача опустился
на нее. Го[illegible] [illegible] в сторону, а из шеи хлы-
нула кровь. [illegible] Помощник палача вскочил
на грудь [illegible] [illegible] топтать ее, чтобы скорее
выпустить [illegible] [illegible].

Ко[illegible] [illegible], кто-то вскрикнул. Но ожи-
даемого эффекта [illegible] перед карой эмира, не было.
Может быть, [illegible] бой перед ужасом казни не-
сколько с[illegible] [illegible] события? Но люди как-
то равнодушно [illegible] на эту смерть, которая так и не
посеяла трепета перед карающей дланью эмира.

Почувствовал ли настроение толпы сам Алимхан
или ему стало скучно, но он потерял интерес ко всему
остальному. Бунтовщиков по его повелению выпороли
плетями и отправили в зиндан. А эмир заспешил во дво-
рец.

Казнь такого ничтожества, как кази Гумар вызвала
в нем непреодолимую брезгливость. Даже врага, откр[illegible]
венного врага его власти, если он принимает смерть до-
стойно, он казнил бы без этого чувства презрения. Он
теперь даже пожалел, что так легко отделался кази Гу-
мар. Надо было дать ему семьдесят пять палок, а потом
бросить отребья человека на площади, чтобы ночью
бродячие, вечно голодные бухарские псы растащили его
вонючие внутренности.

Но почему Алимхан пощадил мятежников? Почему они не пошли под топор палача? Никогда эмир не проявлял к ним милосердия. Почему же сегодня все обошлось поркой и зинданом? Почему он не проявил твердости и власти?

Проклятые петухи! Эта потеха, устроенная неизвестно кем, вызвала в нем неожиданную реакцию: ему стал противен вид крови. Неужели этого и добивались зачинщики петушиного боя на площади?

— Вызовите ко мне нижнего кушбеги,— устало сказал эмир и, опустившись в мягкое кресло, прикрыл глаза.

Нижний кушбеги Мирзо Урнандж [illegible] Низаметдин отвечал за сбор налога закот, был хранителем [illegible], все богатство эмира сосредоточилось в его тайной закотхоне. Хранилось у него золото и серебро в слитках, огромные кипы ковров, дорогих халатов, шуб и шелковых одеял, здесь же лежали горы камчатки для женских шуб, меха самой разной стоимости.

Низаметдин-бек тотчас явился. Прикрыв глаза, эмир незаметно наблюдал за нижним кушбеги. Если кази-калон, его мирзы, есаулбеги, раисы и суфи крали за счет суда, то этот воровал прямо из житниц эмира. Вон какой отпустил живот и как истекает жиром его лицо. А сколько золота можно вытрясти из этого бездонного желудка, если отдать его для пытки опытным костоломам?

— Приготовить подарки для голландских коммерсантов и посла,— начал медленно эмир.— Они вначале прибудут к вам, Низаметдин-бек, вы примите и потом доставьте сюда. Мне нужно договориться с ними об установке в Бухаре телефона. И еще мне нужно договориться с ними о поставке машин для кино, завезти цирк из Германии.

— Будет исполнено, хазрат эмир,— поклонился кушбеги Низаметдин и вышел из зала.

В проеме двери появилась легкая фигура Натали. Она пугала царедворцев видом открытого лица и свободой передвижения. Никаких запретов, распространенных на жен эмира, эмир позволял ей все.

— Сандро, милый! Это было ужасное зрелище! Я никогда не видела казни, Сандро!

— Я могу повторить этот спектакль, моя дорогая, с вашим участием,— неожиданно озлился эмир.— Хотите? Я сейчас соберу своих придворных и подумаем об оформлении.

Натали Кеашнская попыталась вырваться из рук Алимхана, но он цепкими пальцами все сильнее и сильнее сжимал ее лицо, так что остались только исполненные ужаса глаза. Да, отправить эту перепелочку на эшафот, а потом в последнюю минуту спросить, насколько волнителен этот спектакль, было бы любопытно.

— Прости, Натали, я пошутил. Прости. Устал я,— отпустил ее Алимхан и почувствовал, что на самом деле устал.

Надо бы поговорить с казн-[illegible], ведь он мог обидеться, что эмир публично покарал его человека. Хотя эмир [illegible] перед подчиненными в своих [illegible] зи-калон [illegible] фигура при дворе. [illegible], пожалуй, вызывать его во дворец не стоит. Пусть немного придет в себя после казни кази Гумара.

— Ха[illegible] эмир, ошпазы съехались со всех сторон,— доложил [illegible]

— Пу[illegible] вечером будет аския,— распорядился [illegible] то это хороший повод уладить все неуря[illegible]вания ошпазов всегда вызывали веселое о[illegible] и тит, [illegible] остроумия. Надо пре[illegible] кушбеги, кази-калона, раиса, ин[illegible] диванбеги и других придворных. Эмир отдал такое распоряжение и отправился отдыхать.

[illegible] Ширин [illegible] сидел и ждал терпеливо решения своей судьбы. Он уже знал о прошедшей казни и равнодушно подумал, что вот и ему могла судьба сделать сегодня такой подарок. Но, как видно, не за этим его призвали во дворец. Подстелив халат под голову, он лег [illegible] путь. Пожалуй, два человека во дворце в этот полуденный час могли позволить себе спать, эмир и усто. Один из сознания своего величия, другой от философского взгляда на мир, жизнь, события. Остальные суетились по неотложным делам.

За Ширином пришли, когда солнце [illegible] клонилось к закату. Он прошел в сопровождении сарбаза к летнему айвану, на котором сидел обложенный подушками эмир. Алимхан был в хорошем настроении, весел, улыбчив. Рядом с ним сидела русская женщина. Ширин коснулся кончиками пальцев земли:

— Мир вам, хазрат эмир Алимхан, салом [illegible]

— А, это ты, мастер Ширин? Не заскучал ли ты в своей казарме? Что ты думаешь обо всем этом?— указал

эмир на три десятка котлов, расположенных полукругом на площадке перед айваном.

Ширин вздохнул:

— Пир жизни, хазрат эмир.

Этот ответ почему-то очень развеселил эмира. Улыбнулся Ширину кушбеги, упрятал улыбку в кончиках губ кази-калон, улыбнулись нижний кушбеги, ишан, раисы, потупили головы менее знатные чиновники.

— Пир жизни? Пир жизни?— смеялся эмир. — Ты хорошо ответил, усто. Садись вот сюда [illegible] на ступеньку ниже своего айвана,— и мы [illegible] даем за этим пиром жизни.

Соревнования мастеров приготовления [illegible] дили при дворе два-три раза в год и [illegible] тельную церемонию с раздачей подарков [illegible] и присутствующим чинам верхней ступени [illegible]. Мастера плова съезжались не только из [illegible] города, но и из ханств и бекств страны.

Плов — блюдо, к которому на Востоке [illegible] бое, оно составляет гвоздь любого семейного или дворцового события, готовится на свадьбах, при рождении ребенка, обрезании, на поминках. Но у каждого района города, у каждого уезда, у каждого ханства [illegible] особые рецепты и приемы приготовления плова, хранящиеся в тайне. Мастера плова обычно живут обеспеченно, потому, что каждый купец, бай, хан приглашает на свой праздник ошпаза и не только богато одаривает, но и постоянно в своих милостях не забывает о нем, дабы в другой раз он пришел к нему безотказно. Эмир, поощряя национальные традиции, собирал ошпазов и выделял лучших.

Состязание не начиналось без знака эмира. Все готово у мастеров, нарезано и замариновано мясо, горкой лежат морковь, баранье сало, десятки приправ, стоят ведра с водой, нарублены и ждут своего часа дрова. Музыканты наигрывают тихую мелодию. Гостей обносят угощениями. Эмир махнул рукой, и ошпазы кинулись разводить огонь под котлами. Началось! Музыка заиграла громче и веселее, и перед эмиром и его гостями выпорхнули десятка два танцовщиц, оголенных до пояса, и только одна из них, в центре, танцевала в одной набедренной повязке.

Натали отметила особую слаженность и ритмичность танца, полную согласованность их движений, гармонию и грацию. Танцевали совсем юные девушки лет по че-

[illegible] пятнадцать. Натали Ксанинская любова-
лась этим чудесным танцем под совершенно непривыч-
ную, какую-то сказочную музыку. Над площадкой уже
[illegible] низко бухарское небо с непривычно большими и
яркими звездами. Но площадка и айван были хорошо
освещены, и все происходящее здесь было отлично вид-
но. Эти смешные повара у больших котлов немного раз-
веселили ее, [illegible] снова обращая внимание на
своих сестер по ремеслу, она испытывала смутные об-
[illegible] и обиду. [illegible] спрашивая Сандро, она са-
ма догадалась, [illegible] грации — невольницы.
Жутко... [illegible]. Столько лет они могут пле-
нять своего [illegible] страна? И что будет с ними
потом, [illegible] из дворца, лишит своего
внимания [illegible]? Натали остро почувство-
вала [illegible] мира, который казался ей
таким [illegible] издалека и оказался та-
ким [illegible] вблизи. И ей расхотелось
больше оставаться здесь, видеть эти казни и танцы
невольниц, эту экзотику, замешанную на крови и страда-
ниях.

Эмир [illegible] состязания ошпазов. Не сам
ход [illegible] его, да в нем и не было
ничего особенного. Но он, как и все наблюдавшие, ви-
дел всю низость и подлость человеческой души и упи-
вался этим.

Соперники не столько прятали свои секреты,— их все
равно не узнаешь,— сколько старались напакостить друг
другу. Вот один отвернулся на секунду от своего котла,
и другой ошпаз, его сосед, сунул ему в котел горсть
перца. Пока еще один перекладывал под котлом дрова,
ему высыпали в котел три полные горсти соли. Третьему
вроде нечаянно залили водой огонь, четвертому суну-
ли в плов головешку, у пятого пропала морковь, а
вместо нее подложили полынь. Эмиру были видны все
ухищрения, и он, отставляя чашу, от всей души хохо-
тал.

— Где ты, усто? Ну теперь ты видел мир живых?! —
кричал эмир, найдя глазами Ширина.— А разве у нас,
меъморов, не так? Вспомни, как ты сам оказался в зин-
дане! А-ха-ха-ха!..

И в самом деле, у котлов творилось такое, отчего
можно прийти в отчаяние от человеческой подлости. Вот
двое ошпазов схватились за грудки, котел одного из них
завалился на бок и его содержимое разлилось по земле и

загасило огонь. Плакал мастер, которому подсыпали ре-
цей в маринованное мясо. Все, все было здесь, кроме
честного состязания! Но эмир упивался видом безобра-
зия души, до которого докатились люди. Может быть,
ему было так легче сознавать, что он, всесильный и все-
могущий эмир, правит такими ничтожными людьми и
его жестокость вполне оправдана их [illegible], кто
знает.

Состязание подходило к концу. Остались только два
мастера, причем с противоположных концов [illegible] другу
они навредить уже не могли, были [illegible]
вы. Вот мальчики в повязках стали разносить [illegible] блю-
дах плов обоих мастеров. Все пробовали [illegible]
оценок воздерживались. Оба мастера [illegible]
восходный, пахучий плов. Один был [illegible]
барбариса, другой обжигал рот [illegible]
индийского перца. Но насколько заинтер[illegible]
дил эмир за ходом состязаний, [illegible]
стал к их итогам: он вдруг все внимание [illegible]
чению своей русской гостьи искусству [illegible]
ками.

— Кого же мы посчитаем первым из [illegible]
зов?— спросил кушбеги, тоже довольный [illegible]
чером.

— Выдать обоим по халату,— небрежно [illegible]
к нему эмир.— Остальным подайте [illegible]
ных фруктов. Они хорошо повеселили нас сегодня!

Теперь все гости вкушали отменный [illegible]
разносились всяческие яства и напитки, [illegible]
зывается, только разворачивался.

Ширину тоже досталось от эмирского плова, его
усадили вместе с мастерами, которые сегодня были при-
глашены к эмиру. Большинство из них когда-то были на
празднике у купца Абду-Кадырбая, они помнили Шири-
на, но теперь далеко не каждый удостоил его кивком
головы: он отверженный, он изгой в их дружном цехе,
подвергнутый публичному наказанию парня

— А где мой усто?— капризно спросил эмир, опять
вспомнив о Ширине.— Позовите его сюда! Ну и как те-
бе понравился пир жизни, усто?— спросил чуть хмель-
ной эмир.— Все ли ты усмотрел на этом пиру?

— Смею ли я говорить откровенно, мой эмир? —
спросил Ширин, глядя в землю.

— Говори, усто Ширин,— в наступившей тишине
позволил эмир.

— Мне не понравилось, что один мастер мешал другому сделать плов так, как он умеет. Тогда бы ваши гости, хазрат эмир, вкушали плов не двух, а сорока мастеров, и каждый бы издавал только ему одному свойственный аромат и вкус. Мы же только и делали,— да простит мне великий эмир мою смелость! — [illegible] жадных верблюдов, каждый из них рвался к колодцу милостей эмира и отталкивал других, чтобы им не досталось от ваших милостей, хазрат!

— А ты смелый человек, говоря такие слова эмиру,— удивился Алимхан,— ведь я могу и разгневаться на твои слова.

— Это бы еще больше подтвердило, что я прав,— поднял печальные глаза Ширин.

— Он с ума сошел, дивана,— зашептал чей-то испуганный голос в толпе придворных.

— Прощайся со своей головой,— насмешливо прошептал другой.

— [illegible] ец навлекает на себя гнев эмира,— [illegible] заметили в группе мастеров-меъморов.

— Н[illegible] мы не видели сегодня, как в фокусе зеркала, весь этот мир, где только на подлости строится благо[illegible] — спрашивал эмир, пораженный [illegible] этого маленького человека с большим [illegible] мудрости, свойственной скорее аксакалам, [illegible] ремесленникам.

— От этого [illegible] мир не стал лучше,— стоял на своем Ширин.— Владыки и мастера призваны делать мир лучше, чем он есть, хазрат эмир Алимхан.

Он уже прощался с жизнью, когда поклонился до самой земли после последних своих слов, но даже зная, что будет жестоко наказан, он не мог погрешить против правды. Годы мучений и страданий придали ему твердости в этом нелегком поединке.

Отчасти от удивления перед непривычной в этих стенах смелостью, а больше из желания сгладить перед Наталии Ксаниной тяжелое впечатление от утренней казни, Алимхан хотел быть сегодня великодушным и мудрым.

— Ты хорошо сказал, усто Ширин,— благосклонно улыбнулся эмир,— но теперь ты должен будешь не на словах, а на деле доказать, что меъморы способны наравне с владыками улучшать мир! Будь сегодня вместе с остальными меъморами у нас на приеме, усто.

— Слушаю и повинуюсь,— снова поклонился Ширин и отошел к мастерам.

Двое слуг тут же подбежали к Ширину, накинули ему на плечи халат, перехватили талию поясом, набили рот пловом и сунули в руки кошелек.

— Оббо,— забеспокоились мастера,— сам эмир подарил ему свой халат, угостил пловом и денег дал!

— О товба! Смотрите, люди! Поистине, велик и мудр наш эмир!

— Аминь!— воскликнул аксакал, и все [illegible] «паттаха».

Сам же Ширин не радовался эмир[illegible], который не сгладил удручающего [illegible] ния ошпазов. Но домой ему [illegible] еще прием у эмира.

Эмир уже удалился, [illegible], а его гости и придворные еще [illegible] угощением.

Постепенно уходили, незаметно [illegible] мастера, и Ширин не заметил, как остались [illegible] всего трое — Ходжи Абдурахим и усто [illegible] же оставленные на прием эмиром, [illegible]. [illegible] еще и еще подносили угощения, но Ш[illegible] не прикасался к ним, отягченный своими [illegible] мыслями.

В это время эмир, облаченный в дорогой халат, стоял перед Натали Ксанинской.

— Не могу понять вас, душа моя, почему вы так резко изменили свое намерение погостить у нас до весны?— покусывал от досады свои тонкие губы эмир.

Натали и сама не понимала, что с ней происходит. Нет, это не было обидой на эмира — посмотреть казнь она сама захотела. Да и оказаться здесь, в Бухаре, ее же прихоть. Она была просто напугана, хотя этого до конца и не осознавала.

Там, в Петербурге, она безмятежно порхала по богатым салонам, играла в театре, окруженная многочисленными друзьями и поклонниками — людьми близкими по духу и образу мыслей. Улыбки, комплименты, радостный блеск в глазах...

Здесь все по-другому. Резко, даже жестоко. Взмах топора — и нет головы. Глоток вина — и ты уже в зиндане. Кругом настороженные, часто презрительные взгляды. Все здесь чужое, недоброе, страшное...

— Не знаю, Сандро,— вовсе не капризничая, отвечала сидящая на роскошном диване Натали,— но я почувствовала себя такой уставшей. И мне ужасно захотелось домой. И почему-то вспомнила о смерти, Сандро Никол[illegible] не думала о ней, а теперь вспомнила.

— Постарайтесь быть на приеме веселой, душа моя. Вас будет сопровождать мой адъютант штабс-капитан Сальников.

В огромном зале, [illegible] ро[illegible]жавь, русские [illegible] иностранных дер[illegible] свитами купцы [illegible] стояли со своими те, кого [illegible] один раз, мастера, резчики, чеканщики.

Выход эмира был составлен с подобающей восточному владыке [illegible] и раз[illegible]. Так же, как и на площади, [illegible] так же возвестили о его прибытии [illegible] площади, это несколько терялось [illegible] стен Арка, минаретов и медресе [illegible] сводами зала, это выглядело поистине величественно.

Так же [illegible] поприветствовали гостей саломгосы.

Натали, надломленная, стояла, опираясь на руку капитана Сальникова. Она уже без восторга глядела на этот балаган своего возлюбленного и не могла скрыть удивления: а зачем это все? Неужели для услаждения самолюбия одного человека? Для его возвеличивания? Для его самоутверждения? Но ведь ей известно больше других, что это образованный человек, не без искры божьей даже. Он хорошо знал стихи русских и французских поэтов, разбирался в философии. Так зачем ему вся эта мишура? Зачем?

— Я уезжаю, капитан,— говорила тихо Натали своему спутнику.

— Рад был бы сопровождать вас, мадам,— галантно склонил голову Сальников.

— Благодарю вас. И не представляю, как вы можете остаться здесь надолго.

— Что делать, сударыня, я на службе и выполняю приказ императора.

Сегодня у эмира на приеме миссия из Голландии. Дипломаты и купцы с восторгом отмечали великолепие эмирского приема. А вот инженеры из телефонной компании никак не понимали, зачем им, приехавшим по су-

губо деловому поводу, нужно стоять в толпе раболепствующих верноподданных и слушать выспренние речи на непонятном языке.

После официальной части к гостям обратился Алим-хан:

— Господа, мы считаем себя приверженцами западной культуры и поэтому намерены развернуть наши деловые и культурные связи со всеми, кто хочет сотрудничать с нами. Торговать, строить, внедрять новое для придания Бухаре современного облика мы будем всеми доступными нам средствами.

«В том числе и казнями», — вдруг подумала Натали Ксанинская и зябко повела плечами.

— Могу рекомендовать вам в качестве [illegible] ного партнера нашего уважаемого [illegible], который поможет господам из Голландии [illegible] расширения торговли тканями и другими [illegible]. Он поможет вам организовать торговлю и [illegible], хотя вы понимаете, господа, наш уклад несколько отличается от западного, но наиболее прогрессивная часть бухарской знати с удовольствием отдаст вам заказы на оформление своих домов и дворцов. Мы надеемся также на вашу помощь в телефонизации и оборудовании электрического освещения в наших [illegible] площадках города.

Но чтобы вести все эти дела, нужен [illegible] финансовый орган, регулирующий все деловые отношения. Мы объявляем, что в Бухаре открываем филиал Российского императорского банка, несколько частных банков, также подписаны соглашения на открытие иностранных фирм, которые сегодня представлены здесь своими авторитетными представителями. Мы поможем вам в строительстве необходимых помещений, но, разумеется, по вашим проектам и под вашим руководством. Итак, милости просим в Бухару, господа!

Это сообщение эмира было встречено аплодисментами, столь непривычными здесь. Иностранные гости с удовлетворением восприняли такие новости и тут же стали обмениваться первыми впечатлениями.

Закончив свою речь, эмир сошел с возвышения, стал обходить гостей, чтобы сказать каждому несколько теплых слов. А в голове почему-то вдруг всплыло воспоминание: дерущиеся на площади сегодня петухи. «И вы будете драться за каждый заказ, как те петухи, или как ошпазы за свой приз»,— подумал эмир, но светская

улыбка не позволила прочитать на его лице отпечаток этих мыслей.

— А вы, мастера, подождите меня, пока я отпущу гостей,— бросил Алимхан устозам. Те покорно склонили головы.

Глава III

ЗАМЫСЕЛ

Наступил [illegible] приближенные, низко кланяясь [illegible] и эмиру, ушли, слуги убрали посуду, расп[illegible] тихо удалились. А мастера все еще стояли [illegible] не зная, что им дальше делать. Эмир [illegible] и, казалось, ничего не замечал. З[illegible] даже кашлянуть. Наконец Алимхан [illegible] взглянул на них и тихо сказал:

— Подойдите, устозы.

Все трое подошли к властелину.

— Мне нужен загородный дворец, мастера,— медленно начал Алимхан,— дворец, который бы удивлял и потрясал. Можно закончить Кермине, но это слишком далеко от моей столицы, от моего народа. Я должен всегда быть рядом с Бухарой! У моих предков есть дворец Ситораи Мохи-Хоса, это близко, километров десять от Бухары. Смотрел я и Чор-Бакр, но это место оскверненное, да и постройки там ветхие, старинные. Там обновить ничего не удастся. А Мохи-Хосу можно перестроить, можно. Устозы, я вам поручаю перестроить Мохи-Хосу! Вы утром же поедете туда. Я отдам все распоряжения. А через два месяца вы мне покажете ваши предложения. Главным мы назначим Латифа девонбеги, ему и будете помогать вы. Вы оба отвечаете перед нами за Мохи-Хосу. Мы смотрели это место, нам-там понравилось, а если вы приложите руки, Ситораи Мохи-Хоса будет жемчужиной в нашем ожерелье. Мы так и будем величать: «Звезда и месяц эмира». Мы надеемся на вас, мастера.

Ни Абдурахим, ни Абдугафур ни разу не были в Мохи-Хосе, этот загородный дворец был забыт; за ним никто не смотрел, он приходил в упадок и должен был разрушиться, как разрушается Чор-Бакр.

К Ширину теперь Алимхан совсем не обращался, словно не его заставил смотреть состязание пловцов, не с ним вел философский разговор, не ему сам повелел быть на приеме.

Вскоре аудиенция у эмира была закончена и мастера стали расходиться по домам. В темноте бухарских улиц Ширин вспомнил слова эмира о том, что Бухару нужно осветить и подумал, что, может быть, этот эмир сделает хоть что-то для блага Бухары и ее жителей.

А ранним утром два старичка в сопровождении восьми сарбазов двинулись за городские ворота. Оба мастера уже не могли красоваться на конях. Они уселись на осликов, накрытых нарядными попонами и ладными с высокими седлами. Старички ехали впереди, а сарбазы уважительно отстали от них, чтобы не мешать разговору аксакалов.

— А не покажется ли вам, почтенный Абдурахим,— спрашивает Абдугафур, поворачиваясь к едущему рядом, стремя в стремя, усто Абдурахиму,— странным, что эмир беседовал с троими, а отправил нас двоих?

— Ширин еще молод, хотя сделал в Бухаре уже немало,— помедлил с ответом Абдурахим.— Но все же построить или перестроить эмирский дворец ему не под силу. Тут нужны опыт, мудрость и терпение, как у нас с вами, уважаемый Абдугафур.

— Хорошо вы сказали, почтенный Абдурахим,— горячо подхватил мысль спутника Абдугафур.— Именно опыт, мудрость и терпение. А наш молодой друг еще даже не имеет жены!

— Товба! Конечно, какой же он мастер, если у него нет дома и жены? Не бывает хорошего мастера без дома и без жены,— степенно рассуждает усто Абдурахим.— А мы, слава аллаху, и построили немало и живем степенно, у нас уже и внуки растут

— Вот именно! Вот именно, уже и внуки!— возликовал Абдугафур.— И внуки растут! Как вы это тонко заметили, усто Абдурахим!

Наверное, можно простить это маленькое тщеславие двум самым известным мастерам Бухары, которые не только слушают лесть с большим удовольствием, но и сами себе льстят. Что ж, слабости были и у великих! И то, что они несколько пренебрежительно и недостаточно уважительно говорили о младшем сотоварище, еще ни о чем не говорит. В душе оба знают, что он способен сделать многое, ведь они были в Кермине и видели его

работы. Но их самолюбие тешила мысль, что эмир именно им доверил сделать первый осмотр Мохи-Хосы, а Ширина оставил для службы сарбазом. И если эмир ещё не доверяет Ширину делать главные работы, значит, он действительно молод и зелен. Но вот вдали показались стены Мохи-Хосы. Оставим же стариков и сами посмотрим, что же это за столь славное место.

Загородный дворец был построен на исходе прошлого столетия Ахадханом, отцом Алимхана. Великий усто Ходжи Хафиз строил его от самого начала до конца, и его труды теперь предстояло переделать. Недолговечны строения Востока, потому что глина оставалась главным строительным материалом. Из глины в основном и воздвиг Ходжи Хафиз [illegible] творение, и вот все стало приходить в упадок. Алимхан не намерен жалеть денег и готов применить [illegible] строительные материалы, с которыми еще не [illegible] Бухары знакомы.

Запустение [illegible] увидели оба мастера, когда въехали [illegible] Ситоран Мохи-Хосы. Обсыпались [illegible] части стен, под потолком многих [illegible] ласточки слепили свои гнезда. Осы и шмели тоже не отстали от ласточек, и маленькие зернистые щиты их гнезд усеяли многие стены заброшенного дворца. Оба мастера степенно обошли все постройки, осмотрели и решили, что реставрировать старые стены труднее и дороже. Нужно строить заново.

— Конечно, если бы наш светлый эмир Ахадхан не покинул Мохи-Хосу и не избрал бы резиденцией Кермине, не было бы такого запустения,— покачивал головой Абдурахим,— а так мы можем только оставить дело рук почтенного Ходжи Хафиза и строить заново.

— Несомненно вы правы, почтенный Абдурахим!— поддержал его Абдугафур. — Надо строить заново, только заново!

— Давайте подумаем, что здесь нужно сделать и как расположить,— присел на край старого айвана Абдурахим.— Что должно быть во дворце столь блистательного повелителя, каким является наш эмир Саид Алимхан?

И старики углубились в свои мудрые рассуждения.

А Алимхан в эти же ранние часы беседовал с двумя инженерами — русским Саковичем и эстонцем по происхождению Марголисом.

— Господа, мне нужен загородный дворец,— говорил эмир, прохаживаясь в своем кабинете мимо сидящих инженеров.— Вы понимаете, что эмир бухарский должен иметь свой маленький Петродворец. Конечно, у нас хватило бы средств построить и второй Петродворец, но условия здесь несколько иные, чем на берегу Финского залива. Мои мастера уже готовят общий эскиз по своему замыслу. Они лучше знают, что должно быть во дворце правителя правоверных. Прошу вас внимательно к ним прислушаться. Но что касается строительных материалов, отделки снаружи и внутри помещений, декора и меблировки, тут я вам отдаю в руки все карты. Нашим старикам трудно воспринять европейский тип мышления, они слишком устарели для восприятия нового. Господа, я не пожалею средств для строительства и прошу вас в течение недели представить смету на основные расходы. Поищите необходимых вам ремесленников среди строителей Бухары, но если понадобится завезти таких мастеров из других городов эмирата, не стесняйтесь, это в наших силах. Я надеюсь, вы правильно поняли меня? Чисто европейской постройки не может быть, как вы понимаете, но и чисто мусульманских, традиционных строений уже допустить нельзя, не исключено, что нас когда-нибудь посетит его императорское величество. Вы поняли меня, господа?

Саид Алимхан, как его дед и отец, лелеял мечту увидеть на бухарской земле русского царя. Приглашения сменялись приглашениями, они с радостью и благодарностью принимались, не было недостатка и в заверениях посетить благородную Бухару в самое ближайшее время, но дальше слов дело не шло.

Туркестанское губернаторство, отчасти и Бухарский эмират слыли жемчужиной царской короны, так же, как Кавказ и Крым. Но в отличие от последних, русские цари в Туркестане и Бухарском эмирате не бывали. Объяснялось это то особой занятостью государя, то его недомоганием. Восточным правителям говорили также, что императору Российскому, если он появится в Азии, необходимо поразить ее небывалым блеском, великолепием и величием своего выезда. А все это потребует огромных средств, на что государь, слуга своего народа, пойти не может.

Фактически же всему была другая причина. Ну, зачем ему, русскому царю, ехать на Восток. Дальняя, ничем не примечательная поездка. А какой климат! На

Памире — полярные морозы, точь-в-точь как на Новой земле. На юге — в Кушке, Термезе, Керки — 50-градусная жара, почти самая жаркая точка земного шара. И еще одно, очень даже важное обстоятельство: кто знает, как отнесутся туземцы к «богом данному монарху». Никто не спорит, Туркестан и Бухара — жемчужина царской короны. Но эта жемчужина украшалась кровавой оправой: грабежами, глумлениями над людьми, беспощадной эксплуатацией, жестокой расправой с непокорными. Так что, от греха подальше.

И все-таки Алимхан не терял надежды, что царь когда-нибудь посетит его эмират. Потому его надежда на возможность приезда русского государя была искренней.

Сакович и Маргóлис уже кое-что построили в Бухаре. Недавно возвели здание филиала Русского банка, сейчас там ведутся [illegible] отделочные работы. Построили здание вокзала в Кагане, несколько служебных помещений в городе, дом русского посла при эмирате, магазины, два пассажа [illegible] строятся. Но принимая желание эмира, они до конца не осознавали общего замысла заказчика. И это им объяснят мастера из Бухары.

— Мы постараемся, ваше величество,— заверил Сакович от имени обоих,— но нам нужен будет постоянный консультант по особенностям восточного принципа планировки, ведь мы слабо представляем, какие именно помещения понадобятся, их назначение.

— Вашим главным консультантом буду я сам,— не без юмора заявил эмир, который теперь загорелся мелькнувшей недавно идеей построить собственную загородную резиденцию.

— Мы польщены, ваше величество! — заверил Сакович.

Инженеры сели в фаэтон и поехали в Русский квартал, где оба жили в уютных особняках, построенных в соответствии со вкусами русских чиновников, живущих здесь.

— Это должно быть какое-то смешение мавританского стиля и барокко,— иронически покривил губы элегантный и сдержанный Марголис.

Полный и добродушный Сакович только махнул рукой:

— Оставьте свои сомнения, Оскар Давидович! Нужно только внимательно слушать эмира, и все будет как надо.

— Я понимаю вас, Марк Семенович,— поморщился Марголис,— но боюсь, что нам этот заказ известности не прибавит.

— Ну что вы так, батенька!— даже обиделся Сакович.— Какая уж там известность? Я довольствуюсь тем, что платят мне здесь втрое больше, чем в любом другом месте. Вы не находите?

Марголис предпочел отмолчаться. Его еще не оставляли надежды построить что-то такое, что прославило бы имя инженера Марголиса.

Почти полгода шли согласования. Обычно заседали пять человек: сам Алимхан, русские инженеры Сакович и Марголис, устоды Абдурахим и Абдугафур. Часто бывал и кушбеги, давал дельные советы кази-калон, заходил и ишан. Вскоре к планировке и строительству был приглашен мастер-ганчкор усто Ибад сын Турсуна. Он и должен был готовить эскизы отделки помещений.

Работа грозила затянуться на годы. И все же размаха большого эмир опасался. Нужно было соразмерить свои желания со сроками.

Обо всем происходящем на стройке Мохи-Хоса усто Ширин знал только понаслышке. Кое-что рассказывал Ибад-ака, кое-что слышал от сарбазов, которые уже работали на стройке. Пока, правда, ломали старые постройки, сносили заборы, выкорчевывали сухие деревья, выкапывали пни.

И в душе Ширина росло страстное, неодолимое желание принять участие в этом грандиозном строительстве, вложить все, что накопилось, о чем думалось, что откладывалось в эти годы, в Мохи-Хосу. Он понимал, что тут предстоит огромная, нечеловеческая работа: не выходя из старых канонов, традиций, создать такое, чтобы не только эмир — главный заказчик — но все люди сказали: «Вот это сделал бухарский усто Ширин сын Ахмада!»

Ширин потерял покой, у него пропали сон и аппетит, он сутками не выходил из своей каморки в доме усто Ибада и что-то чертил, уничтожал и снова чертил. Он лежал с закрытыми глазами и видел будущую Ситоран Мохи-Хоса, и ему сейчас казалось, что без приложения своих сил в Мохи-Хосе он просто умрет. Предложи сейчас любой самый богатый человек Бухары построить на его вкус самый богатый дом, и он откажется. Не сможет он строить сейчас обыкновенный жилой дом. Он видел перед глазами смутные силуэты будущего

дворца, и меньше всего думал, кому он предназначен. Об эмире он вспоминал редко, хотя именно эмир может дать Ширину возможность сделать все, что сейчас выхлестывалось, рвалось из него, слепило глаза и стучалось в сердце.

Замысел у таланта не рождается как озарение, он приходит мучительно, через страдания и потери, через сердечную боль и отчаяние, через недоедание и недосыпание. И непризнание ранит больше всего. Понимал ли эту истину Ширин? Вряд ли он мог так высказать все это даже самому себе. Он хотел работать, хотел создавать, творить и чувствовал [illegible] сейчас необъятные силы для этого. Он был весь как открытая рана, даже упоминание о Мохи-Хосе [illegible] в нервное возбуждение. Там, там сейчас [illegible] такое, чему будет радоваться глаз человека [illegible] хотелось добавить этой радости, хотелось сде[illegible] светлее, ярче, счастливее.

Разве он не [illegible] этой жизни? Разве он забудет это [illegible] для истинно чистой души состязание [illegible] благосклонность эмира шли на самые низкие [illegible]. Нет, на это он не пойдет и таким путем расположения эмира добиваться не будет. Ему нужно раскрыть себя, выложиться перед людьми так, чтобы им стало стыдно за свое мерзкое недостойное существование, за низость мыслей и побуждений, за ту грязь, в которой они барахтаются, и тем же будут помянуты после смерти и забыты.

Величие архитектуры, как это понимал Ширин сейчас, в том, что она остается, если не на века,— на века из глины не сделаешь,— но хотя бы на долгие, долгие годы. Только величественные горы в природе сродни архитектурным созданиям человека. И не по величине, а по законченности, по монументальности. Но горы мертвы и холодны, а создания человеческого гения могут излучать тепло, греть душу и облагораживать ее.

— Ширин, сынок, выйди ко мне на свет,— послышался голос Ибада.— Ты все за чертежами, за чертежами. И это хорошо, что ты много работаешь. Ни один труд не лишний, Ширин. Но когда-то мы с тобой говорили о твоей женитьбе, мальчик. Не пора ли нам поговорить всерьез? Моя дочь Саодат уже взрослеет, ты уже почти свободный человек, ты зарабатываешь, и твоя семья не будет обречена на нищенство. Сядь вот сюда, Ширин. Я понимаю, мне, как отцу, не совсем прилично говорить с тобой об этом. Об этом я должен был

бы говорить с твоим отцом, но отца твоего давно нет, а дядя отказался от тебя и отдал свою дочь за другого. Да, она уже получила от своего мужа «талак» и живет снова у твоего дяди. Вот видишь, как бывает в жизни... Не кажется ли тебе, Ширин, что тебе стало бы спокойнее жить на свете, если бы у тебя была жена?

— Ибад-ака,— ответил прочувствованно Ширин, присаживаясь на айване около этого доброго и чуткого человека,— я недавно хотел уйти из вашего дома, потому что однажды увидел вашу дочь в окне, что недопустимо для правоверного. Но не смог уйти от вас, потому что вы так добры ко мне. Что я должен сделать, чтобы эта свадьба состоялась?

— Хорошо ты говоришь, Ширин, хорошо и достойно,— удовлетворенно кивнул в ответ Ибад.— Ну что же, будем готовить той!

— Но у меня не так уж много денег, Ибад-ака. Правда, я кое-что отложил из уплаты за заказы на чертежи, но хватит ли этого?

— Будем делать свадьбу сообща, Ширин,— закончил этот разговор Ибад.

Ну что же, дядя Нишан отрекся от него, предал его, отказал ему в дочери. Он не обязан ничем дяде, у него есть возможность стать солидным, семейным человеком, и он с радостью согласился. Хотя даже в этот день больше думал о своем замысле, чем о предстоящей свадьбе.

В недобрый час он решился пересмотреть свои заготовки и эскизы, ведь даже за них заплатил бы любой, кто строит сейчас себе дом. Но во гневе мы слепы. Порвал, порвал Ширин бумаги, на которых лежал отпечаток его таланта. Порвал от обиды, потому что никто не ждал этих чертежей, никому они не нужны, никто не потребует их. Он вынес обрывки бумаг и сжег их во дворе, когда Ибада дома не было. В дальнем углу большого двора он сидел, маленький и несчастный, над горкой холодного пепла.

— Ширин! Ширин!— услышал он голос Ибада.— Где ты? Иди же ко мне!

Ширин только еще больше сжался, втянул голову в плечи. Что ему все эти призывы? Что ему мелочная суета жизни? Он не может больше творить...

— Ширин!— приближался Ибад.— Где ты? Тебя призывает в Ситоран Мохи-Хосу хазрат эмир Алимхан! Он велел тебя привести туда! Ты слышишь, Ширин?

Ибад увидел пепел у ног своего будущего зятя и ти-
хо без упрека, спросил:

— Что ты сделал, Ширин? Как ты посмел? Оббо!

Глава IV

ЭТОТ НЕПОНЯТНЫЙ ВОСТОК

Велика, безгранична Российская империя. Вольно
раскинулась она от Черного до Белого моря, от Балти-
ки до суровых вод Тихого океана. Много народов и язы-
ков на этих просторах, много племен и наречий. Но не-
уютно живется на этой всем богатой земле. Соединила
Россия под своей короной множество разрозненных на-
родов, но не смогла дать им всем благоденствие и спо-
койное существование. Не под силу оказалось всей гро-
мадной бюрократической машине империи справиться с
главной задачей — обеспечить справедливость и благо-
получие своим подданным. Даже сами российские гу-
бернии влачили тягостное существование, жили в нище-
те и темноте бескультурья и невежества. Гнила от само-
го верха великая империя, и не было сил предостеречь,
остановить ее гибель. Потрясающе убедительные при-
меры прошлого не пошли человечеству впрок: великая
Римская империя, чья история должна была насторо-
жить все последующие поколения. Но человечество не
склонно учиться на собственных примерах. А ведь сколь
велика была эта империя по имени Рим! Но патриции
очень скоро утратили свое величие, дух свободы, пред-
почтение знаниям, наукам перед положением при дворе
императоров. Недостойные взбирались к вершинам вла-
сти и правили, дураки и сластолюбцы только мечтали о
былой славе римских легионов, сами не способные уже
взять в руки щит для защиты своего дома и города. Бы-
лые победы лучших людей забывались, а мелкие ничтож-
ные достоинства сегодняшнего дня возводились чуть ли
не в ранг подвигов, достойных скрижалей истории. Ожи-
ревший, раньше времени обрюзгший патриций в окру-
жении сотен рабов и сластопевцев садится в ладью, что-
бы переплыть... пруд в своем имении! И тут же его
домашний историк записывает в огромную книгу это
великое «историческое» деяние своего господина. Целый
день шумит потом многолюдный праздник по случаю
переплытия пруда господином и его чудесного спасения

от гибели при всплеске рядом с ладьей карася величиной с ладонь!

Одряб Рим, и когда грянула беда, и варвары двинулись на него — уже некому было заслонить и оберечь, некому было подставить грудь в защиту его безопасности. И хлынули германские племена к его богатствам, рушили его памятники и расхищали его золото, копимое веками. Безжалостный тиран и рабовладелец, римский патриций сам стал гонимым рабом, потому что зажирел, разбогател сверх меры, ослабли его мускулы, лишилось тело силы. Пришли в упадок философские школы, науки, искусство. Погиб Рим, сам себе выкопав могилу. Неужели же и Российской империи суждено пасть от собственных пороков: казнокрадства и лихоимства, воровства и взяточничества, неуемного обжорства и безграничной лени господ? Да мыслимо ли такое? Да падет ли когда-нибудь власть, опирающаяся на такой громадный полицейский аппарат, на такую армию и безжалостное казачество? Сможет ли российский мужик в вечных заботах о хлебе насущном, вздохнуть легко, свободный от насилия своих хозяев? Но что тогда сказать об окраинах империи, где гнет еще безжалостнее, где богатые еще богаче, а бедные еще беднее?

Ходжи Икрам сидит в прохладе своего дома и горестно думает о беспросветном существовании своего народа. Да, он стал главой джадидского движения, оно, по его мнению, шире и шире охватывает все слои населения. Ходжи Икраму иногда даже кажется, что его идеи близки и мардикеру, и ремесленнику, и гончару, и торговцу дукана. Это учение приняли многие чиновники бухарской иерархии, писцы и мирзы, муаллимы и даже муллы. Пора, уже стучит в двери Бухары новая жизнь, пора. Что пора наступила — это яснее ясного. Но что делать и как делать? Куда повести людей, которые ему поверили? Уже несколько раз посылал он эмиру прошение с просьбой принять его. Ходжи Икрама, но ответа не получил. А люди, поверившие ему, ждут его слова, его решений.

Во дворе его обширного дома его последователи, занятые поисками истины, ведут ученые споры. А ему, Ходжи Икраму, не с кем поговорить, поделиться мыслями. Он не имеет права обнаружить свои сомнения и колебания, иначе какой же он тогда учитель, иначе в один миг он лишится авторитета и славы. Сомневающийся не может стать вождем, а он — уже признанный вожак —

учитель. Ходжи Икрам хорошо читал по-русски, знал немного о том, что происходит в России, но перенять что-то для себя не мог. Будущее учитель видел в особом предначертании Бухары как «убежища ислама», как оплота шариата, смягченного, конечно, реформами, ограничивающими власть эмира и его придворных.

— Учитель, к вам посланец из Арка,— просунулась в дверь голова муллобачи.

«Из Арка, значит, от эмира»,— мелькнула радостная мысль. И тут же сомнение: ведь вполне возможно, что о Ходжи Икраме вспомнил какой-то высокопоставленный чиновник и решил побеседовать с ним. Но ему был нужен сам эмир и только эмир. Он один — и больше никто — сможет его понять и принять серьезное решение. Словно угадав мысли учителя, муллобача добавил:

— Посланец говорит, что он прибыл от самого эмира Саида Алимхана.

Вот он, звездный час Ходжи Икрама! Вот когда пробило его долгожданное время! Теперь надо решить, самому ли выйти навстречу гонцу эмира или принять его здесь. Это вопрос немаловажный: выйдя к гонцу, он проявит полную покорность воле эмира и свои верноподданнические чувства. Но ведь он стоит во главе людей, думающих иначе, чем правители Бухары, во главе нового учения, и он не имеет права унижать идеалы этого учения.

— Пусть гонец войдет сюда,— наконец решился Ходжи Икрам. Насмерть перепуганный муллобача ойкнул и скрылся.

Есаулбеги Рагимбай удивился такому ответу Ходжи, но подумал, прежде чем вспылить. Он слыл лояльным человеком, этот есаулбеги, кое-что слышал о джадидах и решил не обострять отношения. Кто знает, что стоит за этими джадидами, какие силы. Он спрыгнул с коня, постукивая камчой по сапогу, прошел за муллобачей. Ходжи не поднялся навстречу гонцу, только знаком предложил сесть рядом и налил ему чаю:

— Отпейте, пожалуйста, уважаемый. С чем вы пришли в наш уголок тишины и мысли?

— Хазрат эмир бухарский Алимхан, да продлит его дни аллах во имя всех мусульман, пожелал видеть вас перед собой не позднее вечерней молитвы сегодня.

— Знает ли эмир, что в час вечерней молитвы мы стоим на коленях лицом к Мекке?

— Все стоят в этот час лицом к Мекке,— ухмыль-

нулся есаулбеги, который мог и не стоять, да и не стоял каждый день лицом к Мекке.— Но если повелитель правоверных будет только молиться, то государственные дела будут спать. Он ждет вас, домулло.

Вот-вот, вот оно признание! Если сам гонец называет его высоким именем «домулло», значит его признают учителем! И эмир наверняка это знает и тоже признает за ним этот высокий сан.

— Хорошо, многоуважаемый есаулбеги, передайте эмиру, что я буду в назначенный час!

— Вы, наверное, меня не так поняли, многомудрый домулло. Передавать эмиру не принято. Если он приказал кому-то быть во дворце, тот приходит. Приходит, хочет он этого или нет, значения не имеет. Если же кто осмелится ослушаться, его приведут даже если для этого понадобятся веревка или цепи.

Этот удар Ходжи Икрам едва вынес. Если его признают как лидера оппозиции, то зачем же пугать цепями? А если не признают, то зачем называть именем «домулло»?

— Если эмиру угодно приказывать, то...— Ходжи Икрам и сам не знал, что должно последовать за этим многозначительным «то», но его выручил сам есаулбеги, не заставив договаривать фразу:

— Эмиру угодно приказывать, уважаемый! Благодарю вас, аминь!

Есаулбеги вышел за ворота, три всадника, сопровождавшие его, придержали ему стремя. Есаулбеги рванул с места. Усмешка не покидала губ посланца эмира. Сколько спеси у этих ученых мужей! «Если эмиру угодно!» А что может быть «не угодно» эмиру! Жизнь каждого правоверного в Бухаре — лишь слабый стебелек пламени на острие свечи, и задуть этот слабенький огонек для эмира — даже дунуть не придется, только пальцем пошевелить. Чудаки эти книжники! Если дни проводят перед раскрытой книгой, то считают себя выше всех, хотя их ученость — только подпорка для власти эмира, но не дерево поперек его дороги!

Ходжи Икрам вышел на айван своего дома. Несколько десятков его последователей, все в белых чалмах и халатах, что должно свидетельствовать о чистоте их помыслов, встали при виде учителя и почтительно склонились перед ним.

— Послушайте меня, правоверные. Сейчас к нам пожаловал гонец самого эмира! Эмир готов выслушать на-

ши требования! Мы должны сейчас решить, какие же требования выставить эмиру! Объявляю маджлис!

Все сели в круг, опустился на коврик и учитель. Никто не осмеливался начать говорить раньше учителя. Почти все они прошли обучение в медресе и переняли там всю церемонность и степенность таких собраний, все формы обращения.

— Что сказали бы вы, о многомудрый Султанбек? — обратился учитель к самому старшему по возрасту члену своей партии.— Какие требования вы считаете первостепенными и достойными слуха эмира?

— Мы все, домулло, были на майдоне, видели результаты неограниченной власти тирана. Отмена публичной смертной казни,— вот первое наше условие!

Учитель слегка поморщился, услышав неприятное его слуху слово «тиран», но смолчал. Могут найтись и еще горячие головы, которые не поймут осторожности их учителя.

— Да, вы правы, почтенный Султанбек,— согласился Ходжи Икрам.— Это зрелище столь тягостно, что мы ушли с майдона, отягченные печалью и мрачными мыслями. Если эмир хочет кого-то покарать, то мог бы и не делать этого публично.

— Да простит меня высокочтимый учитель,— не выдержал молодой джадид Фахрутдин, араб по происхождению.— Мы же раньше говорили о том, что вообще отрицаем право эмира на вынесение смертных приговоров! Это противно нашим идеалам!

— Иначе эмир будет казнить неугодных на заднем дворе!— выкрикнул всегда кипящий энергией Рустам.

Вот оно, началось. Сейчас все будут высказывать свое возмущение, требовать и кричать. Какая уж тут благопристойность?

— Он нарушает адат, по которому никто не имеет права лишать другого человека жизни! За убийство убийца платит деньгами, но не жизнью!— возмущенно говорил Фахрутдин.

Ходжи Икрам решил пока помолчать, тем более, что разговаривать с эмиром не этим крикунам, а ему, лидеру партии.

Сарбаз Сухроб, который до сих пор не считал себя достаточно подготовленным для умных разговоров, тоже не выдержал.

— Нужно добиться, чтобы эмир улучшил положение сарбазов.

Вот то, с чем можно сразу согласиться, решил Ходжи Икрам. Положение сарбазов известно всем, и об этом можно говорить во весь голос.

— Да, почтенный Сухроб,— тут же откликнулся учитель,— о вашем тяжелом положении нам известно, и мы об этом скажем эмиру. Непременно скажем и о том, что нашему народу нужны школы для просвещения детей.

После долгих споров было решено, что учитель пойдет к эмиру не один. Он возьмет с собой еще нескольких наиболее уважаемых бухарцев, чтобы эмир мог почувствовать, что они представляют собой солидную партию. Но учитель, согласившись на такой выход, настоял на том, что с эмиром он будет говорить один:

— Мы не можем не уважать его воли. Если он призывает к себе нас одного, то мы не можем пойти все.

Все еще раз осмотрели одежды, взяли посохи, кому это приличествует по возрасту, и отправились к Арку. Выглядело это солидно. Впереди с книгой, исполненный достоинства, шествовал учитель, остальные, по пять человек двумя рядами, шли за ним. Так обычно входили шейхи во двор мечетей. Только понимание того, что они представляют революционную партию, не позволило им поставить впереди шествия муллобачу с кораном в руках.

Охрана Арка пропустила их без особых промедлений. Вскоре они оказались на площади перед айваном.

Ходжи Икрам рассчитывал, что эмир выйдет на айван и они будут вести диалог, как это делалось на диспутах в древности. В таком случае повелитель хоть и оказывался на возвышении, но вынужден был отвечать на каверзные вопросы оппонентов, да еще в присутствии свидетелей. И Ходжи приготовился к этому словесному поединку.

Но здесь произошло все не так. Вышел слуга, внимательно и надменно посмотрел на Ходжи Икрама:

— Проходите, его светлость вас ждут. Мархамат, прошу.

Очень не хотелось учителю идти в покои. Даже чувство страха появилось, а вдруг там его ждет стража, схватит, бросит в зиндан. Ноги отказывались слушаться, он с удовольствием бы оказался сейчас дома, за своими мирными занятиями, но поздно, его почти насильно тянут по ступенькам. Он оглянулся и увидел напряжен-

вые лица своих последователей. Нельзя показать слабость при них, и Ходжи Икрам гордо высвободил руку, и сам прошел в дверной проем.

Эмир стоял у окна с раскрытой книгой, читал, немного шевеля губами, и Ходжи обратил внимание, какие тонкие и нервные губы у эмира. Одет он в форму казачьего русского атамана. Ворот косоворотки расстегнут на несколько пуговиц. Никак не входило в сознание, что волей этого вполне респектабельного господина мог быть отправлен на плаху человек.

— Господин Икрам?— повернул голову эмир.— Все-таки русская поэзия далеко ушла от всей мировой поэзии. Вы знаете, такая ясность речи и мысли, такое точное поэтическое [illegible] поразительно! Вы поэта Фета не знаете? Очень жаль, что самые просвещенные наши люди шарахаются от любой иной культуры, кроме нашей собственной, [illegible] Очень, очень жаль! Рекомендую вам [illegible] Икрам, рекомендую. Итак, слушаю вас. Я [illegible] ваши письма и огорчен, что не смог сразу [illegible] с вами. Все дела, дела. Итак, я весь во внимании.

Светский тон, доброжелательность эмира никак не соответствовали [illegible] картине встречи, которую нарисовал заранее Ходжи Икрам.

— Хазрат эмир Алимхан! — начал торжественно Ходжи.— Я вынужден официально поставить вас в известность, что нами в Бухаре создана политическая партия джадидов. Мы выступаем...

— Нам известно о создании вами партии и примерно наслышаны о том, за что вы выступаете. Вы хотите реформ? Изложите вашу платформу.

— Мы хотим смягчения режима. Более человеческого отношения к подданным вашего величества. Отмены смертной казни...

— Вы присутствовали на майдоне?— живо повернулся к Ходжи Икраму эмир.— Тогда понятно, почему вы так возбуждены.

— Но насильственная смерть!

— Да, это ужасно! Это ужасно, господин Икрам, что приходится прибегать к столь крайней мере. Но ведь, согласитесь, в жизни любого государства бывают минуты, когда решительные меры необходимы. Этот мерзкий судья своими действиями вызвал не просто возмущение против себя, а против верховной власти. Вы понимаете? Мелкий чиновник своими действиями возбудил самые

низменные страсти толпы. И толпа все зло видит во власти своего эмира. И если я не отрубил бы ему голову, то люди сами расправились бы с ним. Без суда, вернее, устроили бы самосуд. Но это же произвол, не так ли? Вы не встречали параллели в истории? К тому же этот судья слишком много зла сделал нашим любимым подданным, и в этом случае меч правосудия справедливо опустился на голову достойного такой ужасной кары. Вы не находите?

Ходжи Икрам вынужден был согласиться, что такой ничтожный и корыстолюбивый судья, как Гумар, достоин строгого наказания:

— И все-таки можно было бы строго наказать, но топор?

— Вы не знаете психологии толпы, — терпеливо пояснил эмир,— ей нужно немедленное и эффектное наказание, и по возможности суровое. Вы же обратили внимание, что даже мятежников мы решили оставить в живых, хотя любая смута должна караться не менее строго, чем стяжательство. Эта мера была бы излишней и обозлила бы толпу. Господин Икрам, вы стали лидером политической партии, первой в истории нашего эмирата, заметьте, вы хотите вести за собой массы, а психологии массы не знаете. Это ведь совсем не одно и то же, что психология одного человека. Стадное чувство еще сильно в народе, и его надо учитывать. Народ пойдет за сильным вожаком и растопчет слабого. Учтите это, Ходжи Икрам! Какие еще у вас к нам просьбы?

— Мы хотим, чтобы наша партия была официально признана и представительствовала в правительстве.

Эмир уже понял, с кем имеет дело. У этого человека нет твердых намерений и убеждений. Эти либералы всегда много шумят, но мало делают. Хвала аллаху, появились либералы и в его эмирате. Не минула эта зараза, произросшая на российской почве, и его царства. Может, стоит хлопнуть сейчас в ладоши, вызвать стражу и обезглавить этого книжника? Но эмир был большим дипломатом, чем его противник. Алимхан понимал, что при маленьких уступках в мелочах, надо проявлять твердость в главном — эти болтуны будут у него в кармане, они станут силой, на которую в случае волнений он сможет даже опереться. Ходжи Икрам не учел, что имеет дело с опытным, тонким политиком и дипломатом, и поэтому проигрывает сейчас по всем статьям.

— У нас нет парламента,— резко, осознанно резко отрубил эмир.— У нас эмират, власть одного человека, моя власть. Самодержавие? Тирания? Называйте, как хотите, Ходжи Икрам! От терминов ничего не меняется.

— Но официальной церемонии вашего восшествия на престол еще не было, Алимхан эмир!

— А ее и не будет,— уже совсем в другом, более спокойном тоне и даже с иронией, заявил Алимхан.

— Как?— поразился Ходжи Икрам.— Тогда ваша власть не действительна!

— В том, что она действительна, вы убедились на майдоне,— усмехнулся Алимхан.— А церемонии не будет потому, что сам ро[illegible]ский царь император Николай второй выдал мне [illegible] на эмирский престол в Бухаре, и другого по[illegible] моих прав я не желаю.

— Вы получили [illegible] на престол от царя неверных! — поразился Х[illegible]

— Вы ошибаетесь [illegible], по шариату православные относятся к [illegible] истинной веры. Неужели вы этого н[illegible] — [illegible] поразился Алимхан.

— Да, [illegible] Ходжи Икрам.— И все-таки официальная церемония придала бы больше авторитета эмиру.

Можно подумать, усмехнулся про себя эмир, что он разговаривает не с лидером оппозиционной партии, а с самым верным поборником твердой эмирской власти, но говорить этого пока не стал.

— Мы также просили бы обратить внимание на бедственное положение сарбазов. Они получают гроши за свою службу, их тиранят грубые караулбеги, обирают, заставляют работать по найму на себя...

— Господин Икрам, а вы не видите поразительного парадокса? Вы сейчас печетесь о солдатах, на которых я опираюсь в своих действиях? Вы же требуете, чтобы я укреплял ту силу, которая служит мне, служит укреплению моего режима?

И этот удар, рассчитанный и точный, выбил последнее оружие из рук Ходжи Икрама. И все же он не хотел уйти, побежденным по всем [illegible]

— Но вы не ответили на [illegible] вопрос — о признании нашей партии как полити[illegible] — [illegible]нил Ходжи.

— Ну раз такая сила есть, с ней приходится считаться, как считаемся мы с тем, что у нас есть [illegible] ремесленники, дехкане, торговцы. А вы считаете, что [illegible]

не представляют силу? Так что вам нужно, чтобы вы считали себя признанными? Эмирский указ? Но партии указом не признаются. Особого решения на этот счет не будет! Считайте, что я признаю вас как представителей передовых идей в эмирате. Вас это устраивает?

— О, благодарю вас!— горячо обрадовался Ходжи Икрам.— Нам бы очень не хотелось действовать в подполье, нелегально.

— Нам тоже,— усмехнулся эмир.— Благодарю вас, Ходжи Икрам, за ваше твердое желание реформ. Думаю, что и мы,— эмир теперь сознательно вернулся к принятому обычаю говорить о себе во множественном числе,— мы тоже стремимся к этому. Только как все это объяснить муллам, как убедить их и всех верующих, что вы и вам подобные не против корана, не вероотступники? Подумайте, подумайте над этим, почтенный.

Ходжи Икрам вышел на айван, оглядел своих последователей, которые, стоя, ждали возвращения своего учителя, и гордо вскинул бородку.

— Что? Ну что там?— спрашивали нетерпеливые, но важный Ходжи только укоризненно покачал головой:

— Такая поспешность нам не к лицу. У себя дома я подробно все расскажу вам.

Шествие направилось из дворца. Из своего окна эмир наблюдал за ними и смеялся от души. И это оппозиция? Политическая партия? Да вернее слуг ему и не найти! Только надо продолжать с ними игру в демократию, и они станут таскать ему каштаны из огня. Но предосторожность — сестра удачи. Он вызвал кушбеги:

— Присматривайте за ... этими.

Кушбеги поклонился:

— Мы знаем о них, хазрат эмир.

— Вот и хорошо,— кивнул головой Алимхан.— Что там на Мохи-Хосе?

— Я только что оттуда, хазрат эмир. Старики обижаются. Русские инженеры хотят строить по своему, а они против, хазрат эмир. Пока там только ломают старые стены и спорят. Наши старики не знают по-русски, а русские не понимают ни по-таджикски, ни по-узбекски. Спорят каждый о своем,— лицо кушбеги остается беспристрастным.

— Хорошо, я завтра поеду туда. А сегодня я занят,— эмир отпустил кушбеги и отправился в комнаты Натали Ксаниской.

Эта русская красавица огорчила эмира. Обещала гостить у него до весны и вдруг срочно засобиралась обратно. О причинах молчит, но догадаться нетрудно. Оставить ее силой? Кто вспомнит о маленькой актрисе Петербургского театра? Но было нечто такое, что удерживало эмира от крайней меры. Он властелин этой земли и волен считаться только со своими желаниями, но сейчас не стоит проявлять своей власти. В Петербурге могут на него сильно обидеться, а этого допускать нельзя, даже ради обладания одной из самых красивейших женщин.

Когда эмир въехал к Натали, она с несколько наигранным оживлением встретила его сообщением:

— А я уже готова, Сандро!

— Я очень рад, Натали,— прошел в комнаты Алим-хан.— Вы уедете сегодня, госпожа Ксанинская. Поезд ждет вас в назначенный час. Все необходимые указания сделаны [illegible] в вагоне.— Но у меня к вам просьба.

— Ты обиделся на меня, Сандро? Почему этот тон? И обращение? Тебе было плохо со мной?

— У меня просьба: поменьше говорить о «диких обычаях» в Бухаре. Любители экзотики очень клюют на это. Я прошу, чтобы то непривычное, что увидели вы здесь, не стало достоянием салонов. А то я и обидеться могу,— эмир приоткрыл губы в холодной улыбке.

— Сандро, ты и так, кажется, обиделся. Но пойми, мне ужасно одиноко здесь, а ты ведь не можешь быть со мной круглые сутки, у тебя дела. Я не представляла себе такого. Ты пойми, ты пойми,— бормотала Натали.

И эмиру стало даже жалко эту легкомысленную, веселую дамочку, которая тянулась за острыми ощущениями в чуждый ей край.

Но эмир не дал воли этому чувству:

— Вас проводит капитан Сальников. Не взыщите, у меня на самом деле много забот. Кланяйтесь Петербургу.

Как всякий обиженный любовник, он старался теперь холодным отношением наказать строптивую красавицу. И чтобы больше не думать о ней, потребовал фаэтон.

Полусотня афганцев была поднята тут же, выстроилась за ним. В груди еще бурлили злые чувства, но быстрая езда охладила его, и он коротко засмеялся: «Не выдержала моя Натали» и тут же забыл о ней.

Натали провела остаток дня совсем одна. Она вышла во внутренний двор, прошла вдоль стен, подошла к краю и долго смотрела на раскинувшийся перед нею серый, глиняный город. Его мечети, минареты, башни, снующие внизу по тесным улочкам люди уже не казались ей иллюстрацией к волшебным сказкам «Тысячи и одной ночи». Краем души она замечала всю беспросветность существования людей в этом непонятном ею городе, все трудности их подневольного житья, страшную зависимость от произвола грубых правителей.

Вон с того балкончика она смотрела на казнь человека, пусть самого мерзкого и подлого, но казнь. Теперь она понимала, что не сама казнь так поразила ее, а обыденность для находящихся на площади всего происходящего. Казнь была необходимой и обязательной частью большого представления, даваемого в угоду самым ужасным инстинктам темной толпы. И все это сделано по велению человека, который там, в столице России, казался ей верхом рыцарства и галантности, учтивости и воспитанности. Там он был один, а здесь совсем другой: жестокий, упивающийся властью над жизнями подопечных. Вспомнила она и состязания ошпазов. Он все видел, понимал и поощрял, наслаждаясь зрелищем человеческих пороков, и не остановил этого безобразия, не возмутился, не пресек. Нет, он хохотал, глядя на это зрелище, и наслаждался.

Она отдалась своему увлечению, пошла на поводу своих желаний и теперь уезжала опустошенная, угнетенная, какая-то раздавленная. Она не жалела о своем увлечении Сандро, не жалела о поездке в этот бедный край, ей было просто неуютно, зябко здесь, как на сквозняке. Она ничего не поняла в этой жизни и правах, и не ей их порицать, но больше оставаться здесь она не может.

— Мадемуазель Натали, экипаж ждет вас,— щелкнул каблуками капитан Сальников.

— Я готова, капитан,— слабо улыбнулась Ксанинская и, опираясь на руку Сальникова, спустилась к экипажу. Русский кучер поклонился ей:

— Милости просим, барышня. Вмиг доставим, под колоколец.

Капитан усадил Натали, сам устроился напротив. Натали подняла на него свои большие глаза:

— Скажите, капитан, вам не жутко жить здесь постоянно, видеть все, что здесь происходит изо дня в день, из года в год, не жаль ваших лет?

— Народ в Бухаре веселый, даже озорной, барышня,— не дав капитану ответить, повернулся к ней кучер.— С ним не заскучаешь. И добрый народ,

— Я народа и не видела,— опять вздохнула Натали.— а вот при дворе эмира!..

— Там, барышня, завсегда праздник. Что ни день, то праздник. Озоруют,— осуждающе пробасил кучер.— Больно охочи озоровать.

— Помолчи,— остановил словоохотливого кучера капитан.— А вы, мадам, в Петербург возвращаетесь?

— Да, снова вернусь в центральную труппу, буду играть,— посветлела Натали.

— Я хотел просить вас сообщить, как вы доберетесь до Петербурга,— решился капитан.

— Непременно! — тут же пообещала Натали.— Вы только адрес оставьте.

Вагон, специально оборудованный для поездок эмира, уже стоял у перрона. Капитан помог Натали внести вещи и распрощался. Ее встретила вагонная прислуга, все сплошь русские женщины. Усадили ее отдыхать, поставили угощение. Поезд почти сразу тронулся. Ей приготовили постель. [illegible] стояли около ее купе.

— Это вам от самого эмира,— многозначительно подчеркнула горничная, но Натали расхотелось рассматривать подарки, и она улеглась спать.

На второй день поезд пришел в Ташкент. Здесь ее встретили представители русской интеллигенции с цветами и оркестром и повезли в гостиницу «Регина». Прием оказан был самый сердечный. А вечером в Народном Доме давали в ее честь бал.

Натали ожила, повеселела. Она была любезна и мила с ташкентцами, согласилась дать с местной труппой несколько спектаклей. Ей благодарно аплодировали. Юные красавцы офицеры из местного гарнизона составляли ее постоянный эскорт. Генерал-губернатор благодарил ее за согласие побыть несколько дней в Ташкенте.

В один из дней ее пригласила к себе великая княгиня Искандер,— жена дяди царя Николая великого князя Константина. Натали с волнением приняла это приглашение.

О великом князе Константине и его очаровательной супруге много говорили в Петербурге. Особенно о князе. Его прошлое и причины, повлекшие опалу и высылку в отдаленный Ташкент, были покрыты таинственной завесой. Одни намекали на то, что князь пострадал за свой

либерализм в суровое царствование Александра III, другие, что в молодые годы он не раз укрывал у себя социалистов-террористов.

Все, однако, было гораздо проще. Князь по уши влюбился во французскую актрису, гастролировавшую в Петербурге, и украл для нее у своей матери все фамильные драгоценности. Дело приняло скандальную огласку, его вызвал для личных объяснений царь, и тут же с фельдъегерем отправил в пожизненную ссылку в Ташкент.

Здесь, в Ташкенте, князь беспробудно пьянствует, устраивает оргии, уличные дебоши и, по-восточному образцу, заводит свой гарем. Полупьяным бродит он по улицам города, наряжаясь то под мусульманина — с чалмой на голове, в халате и ичигах, то под цыгана — картуз, красная рубашка, шаровары, сапоги.

Проходят годы, жизнь отрезвляет и успокаивает, и князь сооружает дворец, при нем музей и зверинец, пускается в хозяйственные и коммерческие предприятия, приступает к работам по искусственному орошению земель между Ташкентом и Самаркандом, открывает кинематограф «Хива».

Но вместе с тем князь был тонким знатоком живописи и скульптуры. Его коллекция картин была одной из самых богатых в северной столице. И когда он получил предписание выехать в Ташкент, князь увез всю свою коллекцию сюда, в свою ссылку.

Натали не пришлось видеть в Петербурге великую княгиню. Сейчас она убедилась, что слухи о ее бесподобной красоте вполне оправданы. Великая княгиня одета в длинное черное платье почти без украшений, волосы, спереди гладко зачесанные, собраны сзади в узел. Ее лицо, нежное и неприступное одновременно, надменное и ласковое, покоряло. Такие женщины рождаются очаровывать и властвовать. Искандер обняла за плечи Натали и проводила ее к просторному дивану.

— Дайте на вас посмотреть, прелесть моя. Я благодарна вам за вашу доброту, ведь ваше участие в спектаклях нашего театра настоящее событие сезона. Спасибо вам, милая. Здесь так много работают и так мало наслаждаются искусством. Скажите, вам понравилось у нас?

— О, конечно!— горячо воскликнула Натали.— И особенно люди, все такие сердечные, простые.

— Вы ознакомились с краем. Как вы находите его?

— Здесь нужно пожить, чтобы до конца все по-
нять.

— Справедливо, душа моя. Но кое-что вам показал
эмир Алимхан? Этот баловень судьбы и женщин умеет
быть гусаром, не правда ли?

— Но гусаром мало уметь быть, надо им родиться.
Что-то в тоне Н[illegible] ли обеспокоило великую княгиню,
и она со свойственной ей прямотой спросила:

— Он чем-то [illegible] вас, Натали?

— О нет, нет! [illegible] уже вступилась за эмира Натали.— Но я видела, как он отправил на плаху человека,
и его казнили.

— Мальчишка! — негромко процедила княгиня.— Никак не отделается от [illegible] жажды крови. Мы много говорили ему об [illegible]. Но он делает по-своему. Ну, да
ладно. Вы забудьте [illegible] об этом тягостном зрелище, ничего [illegible] не исправите. Я даже подозреваю,
что он устроил [illegible] специально, чтобы поразить вас. Я ему скажу при встрече. О, не волнуйтесь, я
не брошу [illegible]. Вы хотели бы посмотреть нашу
коллекцию [illegible]?

— Конечно, [illegible] величество! — воскликнула Натали,
и княгиня улыбнулась [illegible] кончиками губ; титулом ее здесь
почти никто не называет.

— Мой муж, — Искандер вела теперь Натали к небольшому зданию перед особняком, — мой муж составил
завещание, что после его смерти вся коллекция передается в дар жителям Ташкента для повышения культуры
его обывателей и интеллигенции.

— И вы, вы согласились? — поразилась Натали, осматривая перлы скульптуры.— Но ведь это такое богатство!

— Это я подала ему такую мысль. И он согласился
со мной, что, скажу вам, бывает не очень часто,— улыбнулась княгиня.

— Какая же прелесть этот мальчик с занозой! Но
ведь это богатство могут растащить? И пропадет такая
коллекция, такое сокровище.

— Не думаю, что это произойдет. Городская дума
уже рассматривает вопрос о передаче под музей одного
из самых лучших зданий города, будет выделен штат
смотрителей. Я надеюсь, город сумеет оценить это деяние мужа.

Княгиня упорно не называла Константина его великокняжеским титулом, и Натали поняла, что здесь, на ок-

ранне империи, к титулам отношение прохладное, люди оцениваются по каким-то иным качествам.

Наконец они остановились против «Купальщицы». Натали ахнула и надолго замолчала.

— Это лебединая песня Федора Федоровича Белло-ли. Он вел слишком легкомысленную жизнь, чтобы создать что-то великое, хотя талант был громадный. Правда, его попросили сделать авторскую копию, но она уже не получилась столь свежа и прекрасна.

Натали подумала, что в купальщице есть что-то схожее с княгиней, но высказать такую смелую мысль не посмела, только в воображении поставила их рядом.

Больше трех часов провела Натали в обществе этой холодной, но такой приятной женщины. На прощание княгиня пообещала:

— Я непременно буду на вашем спектакле завтра. О вашем таланте много говорят.

— Что вы! Просто старательно выполняю то, чему меня учили!— покраснела от похвалы Натали.

Она вернулась к себе, прилегла отдохнуть и все вспоминала подробности этого визита. А к вечеру решила посмотреть подарки эмира. В первом ящике было много восточной богатой женской одежды. Платья, туфли, каракуль, меха — и все по размеру, все как раз по ней. Она ахала от восторга, представляя, как будет принимать у себя дома в этих одеяниях своих подруг и как они будут восхищены этими нарядами.

Второй ящик тоже был заполнен дорогими подарками: расписанные золотом чайники, пиалы, ляганы, уложенные между каракульских смушек... А на самом дне что-то очень твердое, завернутое в мешковину. «Что бы это могло быть?»— подумала Натали. Беспокойное чувство овладело ею. Она дрожащими руками развернула материю, вскрикнула и упала без чувств. На дне сундука лежал топор с кровяными пятнами — орудие, которым свершилась при русской красавице казнь на площади перед Арком. Так эмир отомстил любовнице за ее бегство из Бухары.

С Ксаниской сделался обморок. Ее выступление было отменено. Не стало ей лучше и в последующие дни. Врачи, теряясь в догадках, не могли понять, какой недуг губит это молодое и хрупкое существо. Через неделю Ксаниская умерла, унеся с собой в иной мир и тайну своей болезни.

Сотни ташкентцев толпились возле дома, где Натали провела свои последние дни. Власти известили о случившемся Петербург и оттуда последовало указание отправить тело в столицу.

Между тем, события в Бухаре шли своим ходом. Учитель Ходжи Икрам со своей свитой вернулся домой, исполненный многозначительного молчания. Его последователи недоумевали: почему он молчит, ничего не рассказывает о встрече с эмиром. А Ходжи Икрам просто выдерживал паузу для придания большего эффекта. Он вышел к ним на айван утомленный, с воспаленными глазами, ему помогли сесть и почтительно расположились вокруг него.

— Слушайте, уважаемые джадиды!— начал он важно.— Сегодня [illegible] бухарский эмир официально признал нашу [illegible]!

Сообщение [illegible] важным, что за ним по правилам [illegible] молчание, и только потом [illegible] одобрения.

— Хвала [illegible] заключил за всех Султанбек.— Это [illegible] событие для всех нас.

— Очень [illegible] подхватили остальные и степенно провели по бородам.

— Нам теперь нужно привлечь к своему лагерю как можно больше сторонников из передовых людей Бухары.

— Но что еще говорилось у эмира?— допытывался Султанбек.— Ведь вы, домулло, были там около часа! Согласен ли он на участие нашего представителя в обсуждении государственных дел? Это ведь одно из важных наших требований, учитель.

— Эмир Алимхан обещал советоваться с нами по главным вопросам правления,— неопределенно ответил учитель, но эти его слова были восприняты как решение эмира согласовывать все государственные дела с руководством их партии.

Сухроб долго ерзал, пока решился спросить:

— Говорил ли что-нибудь эмир о сарбазах?

И снова нужно было ответить так, чтобы надежда не оставляла людей и чтобы они верили в высокое положение их учителя.

— Эмир благодарил джадидов, что они обратили внимание на бедственное положение сарбазов,— снова туманно ответил учитель.

— Теперь я прошу вернуться к мыслям о том, кого еще из уважаемых жителей Бухары следует вовлечь в нашу партию,— поспешил увести разговор Ходжи Икрам, зная, насколько болезненно относятся его ученики к этому вопросу.

Осознавая свою малочисленность и слабость, джадиды очень хотели, чтобы их число все время увеличивалось, но в то же время очень боялись эмирских шпионов, которые могут проникнуть в партию и потом повести всех на плаху — каждый знал, как скор и жесток эмирский суд.

— Я предлагаю повести переговоры с Ходжи Латифом,— тут же заговорил Фахрутдин.— Его положение, его авторитет придадут нашей партии еще больше веса и уважения. Мы считаем, что сам учитель должен вести эти переговоры с уважаемым Ходжи.

— А я хочу назвать имя, которое многим неизвестно,— заговорил сарбаз Сухроб.— Знаете ли вы усто Ширина сына Ахмада? Его эмир отправил в сарбазы, а он большой мастер. Но ему не дают работать. Очень он обижен за это на Ахадхана.

— Но Ахадхан умер, и все его грехи прощены аллахом,— воспрял учитель, увидев возможность уйти от разговора о Ходжи Латифе.

— Однако усто Ширин до сих пор сарбаз, а ведь это очень известный меъмор!— настаивал Сухроб.

— Хорошо,— нехотя уступил Ходжи Икрам.— Приведите сюда этого мастера. Я сам с ним буду говорить.

И снова долго спорили, обсуждали каждую кандидатуру, и за каждого находились и сторонники, и противники. Такая скрупулезная работа по привлечению в партию новых членов грозила затянуться на годы.

А Ширин, ничего не знавший о спорах вокруг его имени, отмечал свою небольшую удачу: он женился на Саодат. Своего дома у него так и не было, и он остался жить у Ибада, который выделил молодоженам половину своего жилья.

Подросток, совсем девчонка, Саодат очень боялась Ширина. Ей внушали мать и тетки, что муж это для женщины господин, хозяин. Он может бить, истязать, даже убить женщину, и шариат оправдает его. Он может сказать три раза «талак», и жена теряет все права на него и его имущество, а иногда и на свое. Саодат с ужасом ждала от мужа хоть каких-то признаков, хоть каких-то проявлений всех эти страхов. Печально улы-

[illegible]. Ширин пытался заговорить с нею, но она только молчала. Не нужно обращать внимания. Время, оно сделает свое. И он уходил, оставив ей какой-нибудь подарок. В этот день он пришел к ней оживленный, весь взбудораженный:

— Саодат, меня вызывает эмир к себе в Мохи-Хосу!

— Зачем?— испугалась она.

— Я пока не знаю,— говорит Ширин, засовывая под поясной платок инструмент меъмора.

— Но вас же опять могут бросить в зиндан!— впервые прильнула к Ширину Саодат.

— Все в воле аллаха,— бормотал Ширин, растроганный порывом своей юной подруги.

— Я умру, если с вами что то случится,— еле слышно прошептала она.

Ширин гладил ее по голове; говорил путаные нежные слова. Они ведь еще робеют друг перед другом, они еще не знают по-настоящему, что такое любовь.

Ширин идет по узкой кочковатой улице и все еще живет расставанием с женой, а его окликают из невзрачной чайханы.

— Усто Ширин! Вы почти не заходите к нам. Просим вас!

Толстый чайханщик, всегда улыбающийся Джурабек, гостеприимно прижимает руку к сердцу:

— Отведайте пиалу кок чая.

«А почему бы и не зайти, думает Ширин, я и так нигде не бываю» И он заходит в чайхану. Она скромна, деревянные тахты, грубошерстные ковры, два больших много раз запаянных самовара, чем-то напоминающих своего хозяина. Несколько соседей сидят за чайниками и с улыбкой смотрят на мастера, приглашают к себе, но Джура проводит его в почетный угол, где сидят два степенных аксакала:

— Здесь будет ваше постоянное место.

— Садись, садись, сынок, попей кок-чая, отдохни,— ласково говорит уже слепнущий Хамид-бобо.— Мы знаем тебя, Ширин-мастер. Нелегок твой путь, нелегка и судьба.

— Погладил тебя эмир пониже спины? А, Ширин?— прищурился горшечник Нияз.— Крепко погладил?

И захохотал. Ширин хотел обидеться, но увидел, что смеется вся чайхана, и сдержанно засмеялся сам. Если попал впросак перед людьми, не злись на них. Смеются они от доброго сердца.

— И ты спроси Нияза, как его самого погладил гузарский судья,— отсмеявшись, выкрикнул водонос Сафар.— Пусть покажет место, на котором сейчас сидит.

— Зачем спрашивать, я и сам расскажу, а мой зад рассматривать нечего,— весело отозвался Нияз.— Козел у меня был, настоящий шайтан, а не козел, никому проходу не давал. Как он угадывал, где пойдет человек? Спрячется в кустах, на заборе или под деревом и ждет. И если зазевался, так подденет рогами, что кое-кто носом пахал. Сильный был, шайтан. И вот идет по нашей улице кази. Посохом вскидывает, а мой шайтан очень не любит палок, потому что соседи все угощали его палками, да и я сам не раз разговаривал с ним таким образом. Увидел мой шайтан палку и обиделся [illegible]ное. Как взбрыкнет, как кинется! Наш мудрый кази в пыль носом. Вскочил и отбивается палкой и кричит тонким голосом. Выбежал я. Разнять бы, а меня смех душит. У нашего кази борода совсем как у моего козла. Смеюсь и не могу остановиться:

— Смотрите, добрые мусульмане, два козла сошлись, не могут друг другу дорогу уступить!

Обиделся кази, призвал меня на суд. Я ему говорю, разве я виноват, что мой козел такой нервный? А судья мне — тридцать девять палок! За что мне, спрашиваю, отдай ты свою милость козлу, он же бодал! А кази как заорет на меня:

— А кто кричал, что два козла дерутся?

— Ну и всыпали нашему Ниязу,— сквозь хохот вставил чайханщик Джура.— И пришел посмотреть на него козел. Нияза порют, а он кричит на козла: «Видишь, проклятый, что я из-за тебя должен терпеть! Разве я виноват, что ты похож на нашего кази?»

— За это кази еще с десяток палок отпустил нашему Ниязу,— продолжил суконщик Турсун.

Видимо, эту историю знают здесь хорошо и рассказывают не первый раз. Все смеются, смеется и сам Нияз:

— Отдал я козла живодерам. Зачем мне такое проклятие аллаха? Вывесил шкуру сушить, а голова с рогами торчит над дувалом. И снова идет мимо кази. Увидел и дал такого стрекача, что только пыль поднялась за ним. А дети — это вторые шайтаны — кричат вслед: «Без... бе... беэ...»

— Снова порол тебя кази?— утирая слезы, спросил Ширин, едва подавив смех.

— Хотел,— вздохнул Нияз,— но я принес ему шкуру этого козла. А за шкуру пороть не стал. Дети же [illegible] не мои, мои только камнями кидали, да не попали.

— Ты скажи, скажи мастеру, где теперь шкура твоего козла!— все еще давился красный от смеха чайханщик Джура.

— Забрал ее казн,— снова вздохнул притворно Нияз.— И в отместку за оскорбление постелил перед входом в уборную. Ноги об моего шайтана вытирал, когда выходил после нужды. А только шайтан и после смерти еще портил кровь нашему досточтимому казн. .

— Как это?— Ширин развеселился, отогрел душу, смотрит в глаза людям, смеется с ними.

— Голова-то с рогами осталась со шкурой. Как-то спешил в уборную наш казн после обеда, боялся уронить в штаны. Поскользнулся на шкуре и упал. Да так, несчастный, что задом сел на рога моего шайтана. Говорят, совсем [illegible] казн, а выбросить пришлось,— [illegible] закончил Нияз.— Выбросил шкуру в [illegible] поймали и принесли ее мне. Теперь голова [illegible] над входом прибита. А казн перестал ходить по нашей улице!

Что [illegible] правда, что веселый домысел? Но жизнерадостность этих простых, бесхитростных людей радовала Ширина. И отодвигались заботы и невеселые мысли, уходила усталость от постоянного сидения над чертежами и отливочными ганчевыми плитами, покой поселялся в сердце.

— А когда уважаемый усто построит новую мечеть?— спросил тоже смеявшийся от души Темир-бобо.— Совсем старая мечеть у нас в махалле. Надо бы новую.

— Денег много надо на мечеть,— вздохнул Ширин.

— А мы соберем, соберем,— поддержал Хамид-бобо.— Всем миром соберем. А то и аллаху помолиться страшно, вот-вот на голову крыша упадет, а мы будем думать, что это гнев аллаха.

Почему эти люди так весело относятся к жизни, без боязни говорят о казн, даже о самом аллахе? Наверное, очень любят эту жизнь, как бы ни трудна она была, и меньше всего думают о загробной жизни. [illegible]

— Я всегда готов поработать для жителей своего гузара,— заверил Ширин.

— Хорошие слова,— одобрил его Хамид-бобо,— ты сказал хорошие слова, да хранит тебя аллах.

— Товба! — подтвердил Темир-бобо. — Джура, принеси-ка нам еще чаю.

Долго сидел здесь Ширин и не хотелось ему уходить, но его ждут, и он сердечно распрощался с присутствующими.

— Заходи к нам чаще, усто Ширин, — попросил его чайханщик Джура, — правда, если эмирские собаки узнают, что здесь говорят эти бездельники, вроде Нияза, нам всем не сдобровать. Но разве наши шкуры не выдержат эмирских палок? А вот если мы возьмем в руки палки, выдержат ли их нежные шкуры!

Какие же смелые это люди, если так откровенно говорят об эмире и его людях? Ширин пообещал, что теперь будет более частым гостем в чайхане Джуры.

— Не уставать тебе, мастер! — послышались голоса вслед.

Пешком пришлось идти Ширину до Мохи-Хосы, у него даже своего ослика нет для такого случая, но дорога показалась короткой, потому что он все время, улыбаясь, вспоминал козла Нияза и его вражду с кази.

В Мохи-Хосе его встретил Ходжи Абдурахим:

— Салом аллейкум, Ширин.

— Ваалейкум, ассалом, почтенный Абдурахим. — приложил руку к сердцу Ширин.

— Призвал тебя сам эмир, Ширин, — тут же пояснил Абдурахим, — повелел тебе, — благодари эмира! — отделать ганчем его главный зал дворца. Иди к русскому инженеру Марголису, он вон в том домике, он все тебе расскажет и покажет.

Ширин шел мимо гор кирпича, песка, извести, когда на него высыпала целая орава каменщиков во главе со своим старшиной Ашотом.

— Усто! Ширин-ака!

Ашот обнял мастера своими крепкими руками, прижал к груди.

— Опять мы вместе, усто! Снова будем строить! Как долго мы ждем этого часа, чтобы встретиться с тобой, где нам завещано судьбой, на самом главном, что есть у нас в жизни, на стройке.

Армянская бригада почти вся в сборе в том составе, что строила дом Абду-Кадырбая. Все лица знакомые — Артаваз, Карегин, Самвел, Артур. Со всеми поздоровался за руку счастливый Ширин: это хорошее предзнаменование, что он снова с ними.

— А как вы здесь оказались?— все спрашивал Ширин.

— Кушбеги все интересовался, кто с вами Абду-Кадырбаю стены клал, вот нас и нашли и привели сюда,— пояснил искренне счастливый от встречи Ашот.— Мы уже фундамент выложили, сегодня стены поднимать начнем.

— Не уставать вам, друзья мои, не уставать!— растроганно повторял Ширин.— Наверное, вместе будем работать.

Пробираясь к домику инженера Марголиса, Ширин все еще спрашивал сам себя, почему среди простого народа столько искренней доброты, доброжелательства и сердечности, и почему столь жестоки сердца власть имущих. Спрашивал, но ответа не находил. Наверное, это только аллаху [illegible].

Инженер Марголис встретил Ширина, как родного, усадил [illegible], а потом заговорил о деле. Ширин еще не [illegible] к такому обращению. По мусульманским обычаям о деле сразу не говорят, но у русских, видимо, свои обычаи.

— Я уже начал возводить стены дворцов, но отделку их в восточном стиле делать не берусь,— откровенно признался Марголис.— Можно, конечно, сделать, но это будет подделка под ваши узоры. Мне сказали, что вы, господин Ахмадов, достигли в этом больших успехов, вам я и хочу передать эту часть работы. Как вы на это смотрите? Эмир Алимхан не возражает. Пока вы будете работать под началом мастера Абдугафура, подумаете, что можно предложить, а там видно будет. Вы согласны?

Странный он все-таки человек, этот русский инженер. Разве кто-нибудь спрашивает согласия, когда сам эмир изъявил свою волю? Но Ширин не стал ничего объяснять и только сказал:

— Хоп, буду стараться сделать, как умею.

— Вы, кажется, служите в солдатах у эмира?— осторожно спросил инженер.— Так вот, Алимхан отдал распоряжение не отвлекать вас от работы. И даже, узнав о большой помощи, которую вам оказывал когда-то ваш товарищ по службе, велел и его доставить сюда. Я вот только имен не запоминаю,— извиняющимся тоном добавил инженер.

Ширин догадался, что с ним снова будет Сухроб, и даже обрадовался.

Так начался новый отрезок жизни Ширина. Не думал он о славе или позоре, которые одинаково могут ждать его здесь. Он был счастлив снова созидать.

Усто Абдугафур встретил Ширина не очень приветливо. Он рассчитывал, что один будет отделывать залы дворца, он не просил никого в помощь, но так захотелось эмиру. И хотя Абдугафур понимал, что вины Ширина в том нет, раздражение против него не проходило.

— Ты посмотри мои рисунки и подумай, как выложить эти рисунки на стенах,—уже тоном старшего распорядился Абдугафур.

Ширин взял свитки чертежей и удалился в отдельную пристройку. Чертежи его откровенно огорчили. Ничего нового не предложил старый мастер. Ширин легко узнавал прежние работы, уже воплощенные во множестве бухарских построек и на Кермине. Но как сказать старому, уважаемому мастеру об этом? Так можно насмерть его обидеть

К счастью, никто не торопил Ширина, до отделки стен и потолков еще очень далеко, и он просидел с чертежами Абдугафура целых три дня.

Все жили здесь же и только на пятницу уходили к своим домам, остался здесь жить и Ширин. Он нашел своего тестя Ибада, который был занят на постройке харама.

Ибад тут же усадил Ширина и стал расспрашивать, что ему поручил эмир, в каком качестве он оставлен на строительстве Ситораи Мохи-Хоса, и откровенно огорчился, что Ширин оказался фактически в качестве подручного у Абдугафура.

— Отец, скажите Саодат, что я теперь буду бывать дома только по пятницам,— попросил Ширин.

— Но здесь никого не оставляют насильно, Ширин, — осторожно напомнил тесть, чтобы не обидеть зятя.

— Нет у меня коня или ишачка, - пояснил Ширин,— а пешком ходить слишком далеко.

— Да-да,— согласился Ибад и поднялся,— скоро вернусь, а ты посиди, дождись меня.

Уж так всегда складывается: где только идет стройка, тут же вырастает базар. Торговцы знают, без чего строителям не обойтись и охотно предлагают свои товары. К этому базару и отправился Ибад.

— А вот пирожки с требухой! А вот пирожки с требухой!

— А вот долумма! Бери долумму!

— Есть плов, есть горячий жирный плов!

— Купи самсу, уважаемый! Раз попробуешь, больше не захочешь!

Ибада оглушил этот базарный шум. Любят в Бухаре все делать шумно и весело, с жаром торгуются, громко зазывают к себе покупателей! Но Ибад шел дальше и дальше.

— А вот теплые одеяла! Купи теплое одеяло! Ноги укроешь — голова снегом покроется! Купи ватное одеяло!

— Халат! Настоящий шелковый халат из ситца! Дешево отдам, ровно половину того, что стоит!

Этого ишачка Ибад приметил сразу. Небольшой, крепенький, еще молодой.

— Сколько тебе за твоего старого, облезлого, беззубого ишака? — спросил Ибад.

— Как это старого и облезлого? — взвился обиженный насмерть хозяин. — У тебя, уважаемый, глаза уже не видят!

Он и не собирался продавать своего ишака, этот хозяин, но самолюбие взыграло в нем.

— Как это беззубого? Вы посмотрите, уважаемые бухарцы! Он называет моего тулпара старым и беззубым! Какой он старый и беззубый! Он еще и под седлом-то первый год! Ты разве не видишь, что ишак молодой!

— Так сколько же тебе заплатить за него? — совершенно спокойно спросил Ибад.

— Сколько? Ты спрашиваешь сколько? За такого ишака? Сто таньга, вот сколько стоит этот преисполненный самых высоких достоинств ишак! Да на нем сам Ходжа Насреддин не побрезговал бы проехаться! Сто таньга и ни копейки меньше!

— Пятьдесят, — коротко отозвался Ибад и сделал вид, что уходит.

— Обо! Кто так торгуется? Иди сюда, иди сюда, почтенный! Что такое пятьдесят таньга? Столько стоит совсем дохлый, с торчащими ребрами, совсем худой ишак. Давай руку, почтенный!

Теперь разговор пошел еще горячее.

— Пятьдесят таньга, — спокойно говорил Ибад.

— Ве, пирмай! Кто за такую цену отдаст бойкого и выносливого ишака? Разве не имеющий понятия об ишаках? [illegible] точно, девяносто пять!

— Пятьдесят! — уже сердился Ибад.

Вокруг большого торга всегда соберется любопытный народ, живо принимающий к сердцу все тонкости настоящей торговли.

— Вай, Ганбжан, разве ты собирался продавать своего ишака?— выкрикивает из толпы подзадоривающий голос.

— Этот человек, не умеющий отличать уши от хвоста, сказал, что у меня старый, облезлый ишак! Разве это так, о правоверные?

— Ганбжан, а не его ли ты надувал сегодня утром через камышинку?— выкрикивает второй весельчак.— Я утром сам видел, как ты совал камышинку ему под хвост!

— Оббо! Что ты болтаешь, Хусан! Какую камышинку я толкал ему под хвост?— возмутился Ганбжан.

— Йе!— тут же выдернул руку Ибад.— Ты продаешь мне надутого ишака? Тогда он мне и за пять таньга не нужен!

Это был испытанный, но коварный ход, чтобы еще распалить хозяина. И в самом деле Ганбжан даже завопил.

— Ты что же это руку убрал? Или ты веришь этому зубоскалу Хусану? Ты его спроси, из какого мяса он делает пирожки, а? Девяносто таньга!— снова тряс руку Ибада запальчивый хозяин.

Любой торг длится долго, иначе ни один бухарец не станет и продавать вам что-либо! Расходились, сплюнув в пыль, снова трясли до онемения руки, кричали и взывали к аллаху, и каждый тянул свое.

Через два часа Ибад получил из полы в полу уздечку ишачка, купленного за семьдесят таньга.

— Бери и помни, почтенный, что ты обманул меня по крайней мере на пятнадцать таньга,— вытирал пот Ганбжан, присаживаясь в тень тутовника.— Как я продешевил! Вай, как я продешевил!

— Я беру, но помни, что двадцать таньга ты вытряс у меня лишь своими цепкими пальцами,— отшутился Ибад и влез в седло.

Уже когда Ибад отъехал локтей на сто, Ганбжан, еще раз с наслаждением пересчитав деньги, вдруг посмотрел на соседей по торговому ряду.

— Стойте, правоверные! Разве я собирался продавать своего ишака? Я же приехал на нем, чтобы распродать рис и маш! Оббо!

Таков он, торговец из Бухары! Если находится покупатель, не может он не продать то, что просят. И вот теперь идти ему до самой Бухары пешком и нести на себе хурджумы, а завтра и самому покупать другого ишака. И снова он будет горячиться, сам уже всячески поносить понравившегося ему ишачка, находить несуществующие пороки, сам будет вырывать руку и делать вид, что уходит. Но снова и снова будет возвращаться и трясти руку, пока не получит повод от купленного ишака. Любят настоящую торговлю в Бухаре! До хрипоты, до жаркого пота, а иногда и до потасовки. А иначе и базар — не базар и торговля — не торговля!

Впрочем, и продавец и покупатель были довольны. За свою скотину получал Ганбжан столько, сколько она и стоит по теперешним ценам, а Ибад получил выносливого, бойкого, крепкого ишачка.

— Вот, держи, Ширин! — уставшим голосом сказал хрипло Ибад. — Будешь ездить домой каждый день. Вай, какой был хороший базар! Налей мне пиалу чая, сынок, иначе я и говорить не могу.

Поздно вечером Ибад и Ширин ехали рядом. Высокое ночное небо с крупными звездами раскинулось над миром. Ущербная луна только восходила на востоке, заливая все окрест теплым ласковым светом. И не хотелось в этот сладостный час думать ни о чем тяжком и горьком, трудном и горестном. Радость жизни переполняла Ширина. Ведь он снова со своим любимым делом! И что с того, что он даже не знает, сколько ему будет платить эмир? Не стоит думать об этом! Разве сама жизнь и сам труд — не лучшая плата мастеру за его талант?

И самые светлые надежды осаждали Ширина, вера в свои силы переполняла его существо. Весь мир принадлежал сейчас ему одному. И все было ему по силам

Глава V

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

Сухроб появился на третий день. Он заметно изменился за то время, что они не виделись. Меньше суетился, остепенился, пополнел, хотя остался, конечно, таким же нескладным.

— Вот мы снова вместе, дорогой Ширин! Так и буду я всю жизнь твоим подручным. Но я даже рад, что мы снова вместе,— смеялся Сухроб.— Что же ты тут делать собираешься, Ширин?

— Пока то, что заставят,— отвел глаза Ширин: ему почему-то было стыдно признаться, что он пока работает на Абдугафура.

— Как это что заставят? Тебя даже в Кермине не заставляли, ты сам все придумывал и делал!— возмутился Сухроб.—Ты ел что-нибудь сегодня? Ну-ка, дай посмотрю твои припасы! Где посуда твоя? Э, да у тебя совсем нет припасов и даже нет посуды! Что же ты ешь, чем питаешься? Ну, подожди меня тут, я пойду куплю необходимое

Два часа пропадал Сухроб, но пришел довольный, нагруженный

— Вызвал меня караулбеги и говорит,— рассказывал Сухроб, хотя Ширин, занятый своими мыслями, его совсем не слушал.— Вызвал и говорит, что сам эмир повелел найти меня. Понимаешь, сам эмир! И приказал мне эмир быть около тебя и заботиться о тебе. Представляешь какой ты знаменитый человек! Но даже ты теперь не сможешь прогнать меня от себя, как бы этого ни захотел. Ты же не осмелишься пойти против воли самого эмира!

— Ничего, если надо будет, как-нибудь осмелюсь,— чуть слышно ответил Ширин.

— Э, что там говоришь? поразился Сухроб — Ты сказал «осмелюсь»?

— Да, я сказал это. Не мешай мне, раздраженно оборвал Ширин.— Ты молчи, ты теперь больше молчи, Сухроб; в противном случае изгоню отсюда!

Дворец... Эмирский дворец. Я вижу твой каркас твои стены, знаю высоту и ширину, знаю, что у тебя проходные двери, но как все будет в окончательном, законченном варианте, никак не вижу. Каков будет потолок, углы и стены? Какими будут двери? И что должно стоять в этом зале? Что за зал? Ничего не могу представить, ничего не пойму. Налепить розетки и ирихи старого Абдугафура и успокоиться на этом? Зачем изводить себя днями и ночами? Купил вот тесть ишачка, а я все равно не езжу домой к жене. Вот уже месяц мучаюсь, чего-то ищу. Ищу красоту для эмира, а что мне эта красота? И что такое красота? Знает ли кто-нибудь в этом мире, что такое красота? Совершенство формы и

рисунка? Законченная гармония линий? Или затейливость завитка, каприз руки художника? Что такое красота? А? Вы, люди, знаете, что это такое? Вот я, ганчкор, и я уже не знаю. Раньше знал, а теперь не знаю. Но я твердо знаю, она не в том, чтобы повторять каждый раз одно и то же. Сегодня это же, и завтра то же самое, и так век за веком. Но возможно ли такое, чтобы она, красота, не менялась, оставалась одной и той же во все века? Так не может, не может быть!

Ширин совсем не берется за чертежи, не набрасывает эскизы, не листает чертежи старых мастеров. Он не может уже рыться в старом, пусть даже прекрасном! Не может.

В один из таких безнадежных дней с ним осторожно заговорил Сухроб.

— Вы сможете внимательно выслушать меня, усто Ширин? Только, прошу вас, не спешите отказываться,— издалека начал Сухроб, садясь на старый коврик напротив Ширина.— Вы отвыкните чаю, усто. Вы знаете что-нибудь о джадидах?

— Не знаю. Что это такое?— хмуро переспросил Ширин, занятый своими мыслями.

— Джадиды — это люди, выступающие против власти эмира,— напрямую выложил Сухроб. Удивленный Ширин поднял на Сухроба свои печальные глаза.

— Против власти эмира? А разве это возможно? И кто осмелится пойти против него? Ведь аллах покарает таких безбожников!

— Вы ничего не знаете, усто. Вокруг учителя, нашего уважаемого домулло, собрались самые передовые люди Бухары. Среди них чиновники, просвещенные люди, мастеровой народ. И все это люди грамотные, знающие священные книги, а не какие-то там смутьяны из черни. И нашего учителя принял сам эмир, выслушал, и согласился признать нас, да. Нужно смягчение порядков в эмирате. Мы требуем отмены публичной смертной казни. Мы требуем уменьшения налогов, ограничения безмерной власти ишанов, казиев, мы требуем большего порядка в правлении государством.

— И ты тоже джадид? И тоже требуешь?— удивился Ширин лукаво, его развеселил серьезный, важный вид Сухроба.— Что же ты требуешь от нашего милостивейшего эмира?

— Ты не смейся, Ширин, — обиделся Сухроб.— Но мы потребовали увеличить жалование сарбазам.

— И он вам обещал? — иронически спросил Ширин.

Сухроб никогда не видел таким Ширина. Обычно это был замкнутый в себе человек, нелюбивший шутить, немногословный. И вдруг такое смешливое отношение к важным делам.

— Ты не веришь, Ширин?

— Нет, я верю, что вы попросили эмира увеличить жалование. Верю, что он даже пообещал вам.

— Так чего же ты смеешься?

— Это я так плачу, Сухроб. Кто такие сарбазы? Люди, осужденные быть солдатами эмира на всю жизнь. Ты хоть сам понимаешь, что тебе всю жизнь носить этот полный блох мундир? Что ты не свободный человек до смерти?

— Но что же ты хочешь, Ширин? Так всегда было. Сарбазы есть сарбазы. Кому-то надо быть сарбазом.

— Зачем и кому? Тебе вот чайханщиком надо быть. Своя чайхана у тебя была, но ее отняли у тебя, а тебя отдали в солдаты. Мне надо строить, а я сарбаз. Мы как прокаженные, Сухроб! Уж если просить эмира, то не об увеличении жалования, а сокращении срока службы в сарбазах. А то ведь у нас есть шестидесятилетние сарбазы! И мы такими станем, и что тогда будет с нами?

— Мне трудно отвечать на твои вопросы, Ширин. Но ты поговори с нашим учителем, он очень ученый человек, и он ответит на все твои вопросы.

— Э, зачем мне с ним говорить? Он мне истины не откроет!

— Не говори так! Не говори так, несчастный! Он ходжи, он много книг читал, с ним сам эмир разговаривал!

— Эмир и со мной разговаривал, но я не стал от этого свободнее.

— Ширин, наш учитель сам приглашает тебя к себе. Он просит тебя быть у него в пятницу после вечерней молитвы. Я приду за тобой и провожу тебя к нему,— уже просительно говорит Сухроб.

«Кто знает, может быть, этот ученый человек откроет мне истину, может быть, он мне скажет, что такое красота и истина,— подумал про себя Ширин.— Почему бы и не пойти?»

— Хорошо, я согласен пойти к твоему учителю, Сухроб. Только скажи, почему он сам захотел говорить со мной?

— Знаешь, Ширин,— немного юлил Сухроб,— это тебе нужно, а не ему. У нас собираются самые мудрые люди, и тебе неплохо бы стать джадидом!

Ширин, прищурившись смотрел на Сухроба и ничего не мог уразуметь. Что-то непонятное говорит ему старый друг. Но все-таки решил пойти с ним к его учителю.

В пятницу Ширин весь день провел дома. Саодат стала совсем другой. Время, да и Ширин сделали свое. Она теперь весела и шаловлива, потому что ничего страшного в муже не увидела, а любовь его сладка и приятна. Он никогда не накричит на нее, а если она что-то сделает не так, только пошутит над ней. А ведь ей постоянно внушали, что мужья это тираны, они любят издеваться над женами, делать им больно, даже бьют своих жен.

— А вы, Ширин, смогли бы побить меня?— спрашивает Саодат, лукаво улыбаясь и присаживаясь около него на корточки.

— Могу!— страшным голосом говорит Ширин.— А разве я не бью тебя каждый день?

— О! Еще как! — смеется звонко Саодат.— Я вся в синяках хожу!

— И так всегда будет! — делает страшные глаза Ширин.— Видишь, какой я страшный, уууу!

Весело молодым вдвоем, и никто им не нужен. Только Ибад иногда слушает нарекания своей старшей сестры, которая воспитывала его дочь после смерти жены.

— Что они там все смеются и смеются! Нет никакого страха перед мужем, нет уважения и почитания. Какие же глупые эти молодые жены!

— Да что ты все ворчишь?— недоумевает Ибад.— Они же молодые, пусть же радуются молодости и жизни!

— Ох, бедой все это кончится! Бедой, Ибад.

— Сестра, ты забыла свою молодость, когда сама была веселей самого игривого козлика!

Сестра басовито хохочет:

— Это я козлик? Я тяжелее двух мешков муки.

— Вот когда они станут такими, как ты, они тоже перестанут веселиться,— подтрунивает над сестрой Ибад.

День прошёл в приятном безделье. И чего греха таить, не ходил Ширин в мечеть на молитву, считая, что молитва дома стоит не меньше, чем в мечети. Но и тут

он слукавил, потому что молился не столь усердно, как того требует пророк. Но кто об этом узнает и осудит его за это?

Ширин забыл о договоренности с Сухробом и, когда тот пришел, никак не мог понять, почему он должен идти куда-то и с кем-то встречаться. Но все-таки собрался и пошел.

Идти пришлось довольно далеко, но Сухроб в мундире сарбаза отпугивал ночных бухарских воров, и поэтому дошли они до дома Ходжи Икрама без каких-либо происшествий.

Слуга почтительно встретил их и просил пройти в мехмонхону.

Ширин привычным глазом определил, что дом этот принадлежит далеко не бедному человеку. Обстановка мало что скажет в этом случае, мехмонхона всегда обставлена одинаково во всех домах, но отделка такая недоступна бедняку. Розетки и карнизы из ганча, плафоны и панно на стенах из гуль-ганча мог позволить себе только богатый человек. И подумал Ширин, что богатому незачем ссориться с эмиром, дабы не лишиться этого благополучия и не оказаться в зиндане.

Ходжи Икрам выдержал необходимую паузу и только потом вышел к гостю, утомленный, с книгой в руках и смирением во всем облике.

— Салом алейкум, уважаемый усто Ширин,— почтительно приветствовал хозяин гостя.

— Алейкум ассалом,— отозвался Ширин, кланяясь богослову.

Как бы ни был замкнут характером и самоуглублен Ширин, он уже разбирался в жизни, в людях и сейчас сразу определил, что этот человек кого-то изображает, в нем много напускного. Но его настоящая суть совсем иная. И какая, понять поначалу трудно. Конечно, чтение книг утомляет, это Ширин понимает, но ведь не нужно каждому показывать, насколько ты этим утомлен. И это смирение, совсем не свойственное характеру бухарца, пусть даже из высшего света. Никогда уважающий себя человек не покажет своего утомления, если к нему пришли гости. Каждый в этом случае будет стараться быть оживленным, веселым, обязательно расскажет какой-нибудь анекдот. Тем более в Бухаре на них нехватки не ощущалось — дух весельчака Насреддина жил и здравствовал. Бывают, конечно, исключения из общих правил, но уж гостям показать, что все тебя утомило, а

значит, и гости, просто неприлично. Что же это за человек?

Сели за дастархан, отпили по глотку горячего чая. Никто не нарушал молчания.

— Вот, учитель, вы просили привести к вам усто Ширина. Это он и есть,— не выдержал Сухроб.

— Да, да. Известный на всю Бухару усто Ширин,— вежливо улыбнулся Ходжи,— мы слышали о вас. И счастливы, что вы посетили нашу скромную обитель. Скажите, усто, почему, на ваш взгляд, вы оказались в таком бедственном положении?

Ширин еще не успел осознать вопроса, а Ходжи уже стал сам отвечать на него.

— Несправедливость торжествует в Бухаре, неправедные законы и неправедные судьи вершат делами. И об этом хорошо знает наш досточтимый эмир. Но он стал игрушкой в руках воров, взяточников, чиподралов и злодеев. Он просто не знает, что творится за его спиной, усто Ширин. Наша партия ставит перед собой задачу пресечь зло, отрубить руки подлости. Как мы это сделаем? Мы уже добились от эмира признания нашей партии. Это великое дело, усто.

— А что такое партия, домулло? Простите меня за полное невежество, но я никогда не слышал этого чужого слова,— Ширин был спокоен, доброжелателен. И насторожившийся было Ходжи Икрам увидел честные глаза мастера и понял, что он в самом деле не знает этого слова.

— Ну как бы вам сказать?— запнулся Ходжи Икрам.— В каждой стране есть политические партии. Они борются с властями...

— А как это? Воюют?— буквально понял Ширин.

— Что вы! Что вы! Кто вам сказал, что мы собираемся воевать против эмира? Мы просто требуем отмены некоторых законов, требуем, чтобы власть эмира была ограниченной. Чтобы он советовался с правительством, достойными людьми.

— Около него много советников. Кушбеги, кази-калон, шейхи. Они ему много дают советов, я и сам это слышал,— удивился Ширин.

— Но это не парламентский метод правления, а мы хотим ограничить власть эмира парламентом. Вы понимаете, люди сами выбирают представителей в большой совет, с которым должен будет советоваться сам эмир,— терпеливо растолковывает учитель.

— Эмир просто всех казнит,— категорично заключил Ширин.

Ходжи Икрам сделал вид, что не расслышал эти слова:

— Но наша задача собрать в свою партию наиболее передовых людей Бухары, с которыми эмир будет считаться, и вот член нашей партии Сухроб порекомендовал вас, уважаемый усто. Как вы смотрите на то, чтобы вступить в наши ряды? Мы были бы рады приветствовать вас в числе единомышленников. Вы человек известный, авторитетный, вас знает народ, масса. И наше влияние от этого еще больше увеличится.

— А к вам разве не прислушается, достопочтенный Ходжи Икрам?— Вы больше моего уважаемы, вы сделали хадж в Мекку, вы известный богослов и мыслитель. Разве вашего положения мало для влияния? Зачем вам еще и я? Я простой сарбаз и ганчкор...

— Но вы подверглись наказанию, которое было слишком жестоко по отношению к вам, вас все еще не освобождают от службы сарбаза, вы приняли страдания от власти эмира и уже одно это заставит слушать вас,— Ходжи Икрам продолжать гнуть свою линию.

«Э,— думал между тем Ширин, — зачем он все это говорит? Какая-то партия, парламент... А что такое парламент — не сказал... Большой совет и без ходжи есть при эмире, зачем еще и этим джадидам быть там? Разве мало всяких казиев, раисов, мударрисов кормит житель Бухары, так будет кормить еще и джадидов. А мы сами зарабатываем себе на лепешку и пиалу чаю. Зачем мне все это? И почему среди них оказался Сухроб, которому приказано быть при нем, при Ширине, на строительстве дворца? Ничего не понятно. Но нужно что-то и отвечать учителю».

— Простите меня, почтенный Ходжи, но я сейчас очень много работаю на строительстве Ситораи Мохи-Хоса и не могу вам помочь. Но как только освобожусь, с удовольствием встречусь с теми, с кем я должен поговорить. Только, чтоб не очень долго — я не умею много говорить.

Этот ответ обескуражил не только учителя, но и Сухроба. Зачем «поговорить», когда нужно участвовать постоянно? И когда Ходжи и Ширин уже церемонно распрощались, и Ширин добирался к своему дому, Сухроб разворчался:

— С вами говорил наш учитель и предлагал почетное

участие в нашей партии, а вы говорите, «освобожусь, поговорю»... Вам нужно бывать в доме учителя постоянно, обсуждать разные дела, искать истину, разговаривать, а вы просто неучтиво отказались, усто.

— А что говорить! Я вот зайду в чайхану Джуры и поговорю с людьми, а в эмирские дела мне вмешиваться не с руки,— подшучивал Ширин и в самом деле повернул в чайхану. Сухроб уныло поплелся за ним.

Вечерняя чайхана — это совсем не то, что чайхана дневная. Если днем тут царила тишина, то теперь чайхана гудела от множества голосов, взрывалась хохотом в одном углу, степенно обсуждала насущные проблемы в другом. В ней было так тесно, что, казалось, не найти места даже для того, чтобы поставить чайник. Джура теперь носился по чайхане распаренный и только успевал отзываться на звон крышки о чайник или пальца по пиале — требование заварить еще чайничек покруче. И все равно Джура не успевал, поэтому ему помогали два бойких шустрых на язык сына. Тем не менее, Джура сразу увидел Ширина, подошел к нему и проводил сам в переднюю часть, на возвышение для самых уважаемых людей гузара, туда, где ему было уже определено место. Чайхана притихла.

Слишком молод был Ширин, чтобы восседать на возвышении в переднем углу, к тому же его знали тут далеко не все. Кое-где раздались недовольные возгласы, но Джура был опытный чайханщик, он сказал негромко одному из бузотеров.

— Рустамбай, разве ты не знаешь, что в нашем гузаре у усто Ибада сына Турсуна поселился усто Ширин? Это он и есть!

Ширин никогда не думал о своей известности, он даже не знал, есть ли она у него вообще. После зиндана, после наказания на площади, после отправки в сарбазы он жил, словно придавленный, надломленный, какой-то оробевший и постоянно ожидающий новых ударов, беспомощный перед сложностями жизни. И вот здесь, в темной, дымной чайхане он неожиданно для себя понял, что Бухара знает его, знает и уважает. Одобрительно загудели посетители чайханы, ближайшие соседи протянули пиалы с чаем.

— Угощайтесь, усто! Просим вас, усто Ширин!

Непроницаемые старики, сидевшие на возвышении, дотоле высокомерно не замечавшие Ширина, теперь улыбались ему беззубыми ртами.

Сухроб пристроился внизу, для него раздвинулись плечи, кто-то подвинулся, крякнув от тесноты, кто-то весело ругнулся.

Слезы благодарности готовы были навернуться на глаза Ширина, ведь, оказывается, за его труд простые люди его знали и чтили.

Один из сыновей Джуры принес свежезаваренный чай и пиалу, которую на всякий случай вытер еще раз полой рубашки, и подал Ширину.

А по чайхане снова ходили веселые шутки и притчи, кто-то напомнил еще один неизвестно какой по счету анекдот про Ходжу Насреддина и эмира. Никто тут не пытался обсуждать власть эмира, на нее смотрели глазами Насреддина. И насколько же контрастна разница между речами Ходжи Икрама и этим довольно язвительным смехом простых людей. Да и о каком особом почтении к эмиру может быть речь среди этих людей, спины которых не раз ласкала палка судьи, карманы которых вытрясали в уплату налогов свирепые закотчи и мирзы кушбеги! Над всем смеются, все воспринимают с чисто бухарским лукавством, над всем могут не обидно и беззлобно подшутить и ко всему относятся с жизнелюбием, свойственным Бухаре.

Заботы не оставляли Ширина, он пил чай молча, а думал о Мохи-Хосе. Эти муки не покидали его ни на минуту. Он снова и снова хотел представить зал уже завершенным, но у него ничего не получалось. Раньше он как бы внутренним чутьем всегда видел в завершенном виде то, что делал. А сейчас никак не удавалось. Что-то сбивало его, уводило. Но что мешало и уводило в сторону, понять не мог.

Отдохнув в чайхане, Ширин направился домой, и до самых ворот провожал его Сухроб.

— Что мне делать завтра, Ширин?— обиженно спросил он.— Вы мне ничего не поручаете, даже помол ганча я не делаю.

— Ничего, любезный Сухроб,— удрученно ответил Ширин,— скоро эмир потребует с тебя работу, вот тогда и начнем.

Если Сухроб, усто Абдугафур, даже сам Ходжи Абдурахим считали, что ломать тут голову не над чем, надо только делать быстрее и лучше, то Ширин никак не согласен с этим. Надо искать, искать. А что искать, он и сам не знал. Шли дни. Дни за днями, а Ширин ничего не мог предложить, ничего не начинал. И только каждый

день обязательно появлялся на стройке и был там до самого позднего часа.

С ним стали происходить странные вещи: вечером он спешил домой, он скучал по своей молодой жене, старался каждую свободную минуту провести с ней. Она умела быть ненавязчивой, умела как бы невзначай развеять его мрачные мысли. Вместе с тем она была еще ребенком и, радуясь жизни, могла часами играть и развлекаться или от его ласки радостно заскакать по комнате, запеть или приняться тормошить своего Ширина, к которому привыкла и совсем-совсем не боялась.

А сейчас она играла с тремя зеркалами. Расставляла их так и эдак, смотрела на себя и все старалась поймать свое изображение на всех трех зеркалах сразу, капризно надувала губки, если зеркала не становились так, чтобы все разом показывали, какая она пригожая, красивая, молодая.

— Противные!— в сердцах она опрокинула зеркала.— Они совсем не хотят играть со мной!

Ширин по-доброму смеется над Саодат:

— А куклы еще слушаются тебя или тоже не хотят играть?

— Вай, куклы! Я скоро рожу себе ребенка и с ним буду играть! А как иначе! Мне тетя говорит, что нужно сразу родить ребенка, иначе вы бросите меня!

— Я? Брошу? Тебя? — удивился Ширин.— Но я не собираюсь бросать тебя. С чего это она взяла?

— Она сказала, что любой муж бросит жену, если она не родит ему ребенка

— Она не очень умная, твоя тетя. Зачем я тебя буду бросать?

— И вы правда не бросите меня, даже если я не рожу?— подластилась Саодат.

— Ты еще глупая девчонка,— Ширин уже перестал шутить и все смотрел на зеркала, потом попросил жену:— Я возьму твои зеркала?

— Зеркала мои? Зачем они вам? Возьмите, возьмите, конечно, но зачем?

— Я потом тебе скажу. Пока не знаю, что получится.

— Хорошо,— совсем растерялась Саодат. Поступок мужа смутил ее, она никак не могла взять в толк, что ему надо. Уж не любоваться будет собой на работе? И невольно улыбнулась своей наивной мысли.

Глава VI

ЗЕРКАЛА

В Арке толпились просители. Кому-то нужно получить доходное место, кто-то искал защиты и справедливости, кто-то не мог закончить многолетнюю тяжбу. Мирзы, писцы, раисы, казии потирали от удовольствия руки: новый эмир ничего не изменил в громоздком делопроизводстве. И точно так же текли взятки, и точно также можно было затягивать рассмотрение дел на многие годы, пока просителя не разденешь догола и не пустишь по миру нищим. Все, все оставалось неизменным в Бухаре!

Эмир видел эти сотни людей под навесами, но почти никого не принимал, занятый своим двором. Он хотя и определил своим постоянным местом пребывания Арк, но торопил русских инженеров: нужно скорее, скорее поднять Мохи-Хосу. Теперь сюда согнали не только сарбазов и дехкан из окрестных кишлаков, но и наняли множество рабочих в городе. Не только строительство Мохи-Хосы занимало мысли эмира. Голландские инженеры очень быстро построили телефонную сеть. В канцеляриях эмира, кушбеги, кази шейха стояли новые телефонные аппараты и около каждого сидел дежурный по канцелярии, чтобы отвечать на звонки. Захотели иметь телефоны многие богатые люди Бухары, и за каждый установленный телефон платили немалые взятки.

Заработали кинотеатр и цирк. Аппаратуру закупили в Швеции и Франции. Но кино было доступно только избранным. Стоимость билетов столь высока, что простолюдин и подумать о кино не мог, а вот в цирк типа «шапито», бедные ремесленники, поденщики, мелкие торговцы отдавали последние медяки, чтобы посмотреть невиданные доселе чудеса: приехали артисты из Германии и Москвы. Было трудно понимать коверных, которые говорили на своих языках, но пощечины, тычки, шишки, на всех языках звучали одинаково, и жители Бухары понимали, что происходит на арене и от души веселились. Остальные — акробаты, жонглеры, гимнасты и канатоходцы работали без реплик, а зрелище было волнующим, захватывающим и опять-таки понятным.

В эти же дни на Регистане появились дарвозы. Большая группа канатоходцев из Ферганской долины приеха-

ла в Бухару. Базарный люд приходил на эти представления без билетов, платил, сколько могла позволить тощая мошна, и замирал от трюков дарвозов на головокружительной высоте, упивался проделками прирученного медведя, который беспрекословно выполнял команды, отдаваемые на родном, понятном здесь каждому языке.

Старый дарвоз, который уже не мог подниматься наверх, водил медведя по кругу.

— Эй, ты! Лежебока, любитель сладкого! Покажи, как принимает жалобщиков наш уважаемый раис! Ну, ты же сейчас большой и знатный человек! Вот я пришел к тебе с жалобой. Ну!

Медведь становился сонным, валился на бок, закрывал глаза, потом вскакивал, хватал палку и начинал гоняться за стариком по кругу.

— Оббо!— стонала площадь от удовольствия.

— Стой! Стой!— кричал испуганным голосом старик.— Я больше никогда не буду жаловаться! Вот тебе деньги, сто таньга!

Медведь брал деньги, засовывал их под хвост, садился на [illegible], получив кусочек сахара, удовлетворенно чавкал. Медяки сыпались в кубышку молоденького артиста, обходящего круг.

А доморощенный оркестр играл все громче и быстрее, зазывая новых посетителей. Карнаи возвещали всему городу, что здесь интересно и весело, что почтенные жители благородной Бухары получат истинное наслаждение. И бухарцы, оживленно перекликаясь, торопились на представление.

А тем временем дрессировщик приказывал медведю:

— А ну покажи, о пожиратель леденцов, как правит хан хивинский. Или владыка Коканда.

Испуганно замирает площадь, а карнаи, сурнаи, барабаны и флейты звучали уже на самых громких нотах. Медведь ложился на бок, поглаживал живот, громко хрустел леденцами и начинал чесать себе то место, которое благородный человек никому не покажет.

— Вай, ему теперь нужна жена!— в испуге кричал старик.— Где я ему возьму жену? Платите же, добрые мусульмане, я соберу калым и куплю ему молодую красивую жену!

С опаской кидают зрители деньги в кубышку, дабы шпионы эмира не увидели в этом оскорбление своей власти. Впрочем, этот номер был показан всего два раза и больше дарвозы не рискнули его демонстрировать — кто-

то из приближенных эмира строго предупредил о том, что шутки с медведем могут обернуться тяжелыми палками по спинам гастролеров или пребыванием в зиндане.

Но те, кто успел увидеть эту пародию на правителей Хивы и Коканда с удовольствием пересказывали ее тем, кто хотел слушать. И рассказчик, и слушатель имели в виду не только ханов соседних государств, но и своего правителя.

Но вскоре выступления дарвозов оказались прерванными. Сарбазы пришли поздним вечером в караван-сарай, растолкали спящих артистов и приказали немедленно собрать свой скарб и катиться сейчас же из Бухары, иначе каждый из них получит семьдесят пять ударов палкой по пяткам. С шумом и криками раскрывались загоны для верблюдов и ишаков, их тут же загружали вьюками и выталкивали на улицу. Дрожащие от холода артисты пытались заговорить с караулбеги:

— А как же быть с нашим скарбом? Все осталось на площади: стойки, натянутый канат?

Караулбеги в сомнении теребил бритый затылок. И в самом деле, как быть со всем этим? Кушбеги, приказавший вышвырнуть из города смутьянов, ничего не сказал о канате:

— Утром разберетесь! А сейчас вон из города! — ожесточившись, кричал караулбеги Холмат. — Сухроб, чего спишь? Гони их к воротам!

— Шагайте к воротам, артисты,— проворчал Сухроб, которого подняли с вечера для этой операции.— Не спорьте, палки у эмира жесткие.

Утром усто Ширин на своем ишачке отмерял привычный путь в Мохи-Хосу и увидел этот необычный табор за воротами города. Его остановили, стали расспрашивать, не знает ли он, к кому нужно обратиться с просьбой забрать с площади Регистан канаты и стойки, без которых они не могут работать. Ширин слез с ишачка, присел с артистами на старый коврик.

— Понимаешь, сынок,— говорил старейшина дарвозов седобородый Ташбай-ота, мы сами из Ферганы, ездим по всем городам и эмиратам, были даже в Иране. И нигде нас не преследовали. Ну и что с того, что медведь кривляется, он же глуп и нем.

— Зато вы совсем не глупы, бобо,— усмехнулся Ширин.— Ни к кому не надо обращаться, попросите караулбеги с «барашком в кармане», и он отдаст вам ваши веревки!

— Нам говорили, что Бухара — убежище ислама,— горевал Ташбай-ота,— а она как проказа на теле ислама. Столько криводушия и мздоимства мы не видели ни в одном городе.

— Разве город выбирает себе правителей?— возразил Ширин.

— Кое-где и выбирают!— как-то загадочно ответил Ташбай-ота.— Но мы бродячие артисты, нам до ваших забот дела нет. А как же все-таки мы будем выступать в других местах? Заново делать стойки, канат, качели? Откуда на это деньги?

Со стороны города к ним катила коляска, запряженная горячим конем.

— Вай, аллах, наверное, большой начальник,— засуетился Ташбай-ота.

Ширин заторопился подальше от скандала, но не успел. В коляске приехали два артиста из цирка «шапито», немец Кранке и русский коверный по цирковой афише Шлепа. Остановили кучера, направились к дарвозам. Ширин стоял в стороне, заинтересованный происходящим.

Дарвозы плохо знали русский язык, артисты не знали местного, но они привезли с собой переводчика, молодого писца из канцелярии раиса, которому хорошо уплатили.

— Уважаемые,— сказал совсем не смешной Шлепа,— мы узнали о расправе над вами и решили встретиться с вами.

— Спасибо, уважаемые люди,— степенно ответил Ташбай-ота.— Что вас привело к бедным артистам? Вот нас прогнали, и заработки у вас пойдут лучше...

— Ай-ай-яй,— посокрушался Шлепа,— мы вот с господином Кранке приехали к вам, а вы думаете, что мы рады расправе над вами. Мы же люди одного ремесла, и мы решили прекратить выступления, пока вам сполна не вернут ваше имущество. А вы говорите, не будете мешать.

— Я, я!—от волнения начал по-немецки высокомерный Кранке.— Дас ист произволь над свободный артист. Мы есть солидарен с вами, коллеги. И мы привезли вам немного денег, чтобы помогайт вам!

Старик Ташбай разволновался, его старые щеки задергались, слеза прочертила дорожку по неумытому, в глубоких складках лицу:

— Оббо, разве мы нищие, чтобы у кого-то брать деньги? На лепешку и чайник чаю у нас всегда есть несколько

таньга. Но вот без нашего имущества, конечно, выступать не сможем... Да вы садитесь, садитесь!

Артисты «шапито» сели на тот же старый коврик, на котором только что принимали Ширина, им поднесли вскипяченный на костре чай, кишмиш, разломали лепешку.

— Мы объявили — как это называйт?— бойкот. Пока артистам вашего цирка власти не вернут их имущество, мы артисты из Европы будем бойкотировать спектакль в город Бухара,— говорил неулыбчивый Кранке.— Это есть солидаритет, я.

Окруженные всей труппой дарвозов, артисты «шапито» чувствовали себя среди своих. Ширин стоял тут же и слушал.

— Вы, ребята; не того, не тушуйтесь,—улыбнулся печальными глазами коверный Шлепа,— мы все артисты, и мы должны помогать друг другу. Наш директор цирка сейчас поехал к самому кушбеги с требованиями, а мы к вам. А как же, ребята? Мы должны помогать друг другу. А как же!

Все происходящее Ширин воспринимал как во сне. Где он, на каком свете? Что происходит? Он вспомнил состязание ошпазов во дворце эмира, вспомнил донос на себя, после которого он оказался отверженным, и теперь пытался ущипнуть себя, чтобы убедиться, что все это явь. Этим непонятным европейцам помогли убрать соперников, а они не радуются, даже напротив, отказались выступать и получать деньги только потому, что несправедливо обидели дарвозов. Такое он видел впервые.

— Неужели вам хуже оттого, что их изгнали из города?— не выдержал Ширин и спросил через переводчика артистов.

Коверный Шлепа посмотрел на него с укоризной, а Кранке потянул указательный палец вверх:

— Мы есть свободный артист! Мы все служим искусству, а не царям, и мы есть один большой семья, мы должны поддержать свой коллега. Это есть закон.

Слово «закон» Ширин слышал за свою жизнь много раз, но каждый раз это был жестокий, направленный против него закон адата, закон шариата, закон правителя. Тут говорят совсем о другом законе, законе, стоящем на стороне обездоленных, совершенно новом для него законе.

— А где записан такой закон?— не унимался Ширин.— Я никогда не слышал.

— Этот закон записан вот здесь,— дотронулся до сердца Кранке.— Это есть закон сердца, закон товарищества.

Потупился Ширин, замолчал. Он увидел, что к дарвозам едут из города сарбазы во главе с караулбеги. Холмат бросил взгляд на своего сарбаза, но ничего не сказал. Сухроб подошел к Ширину:

— Ты прости, друг, сегодня я приеду к тебе попозже, вот на службу призвали.

— Хороша служба — гонять бродячих артистов,— проворчал Ширин и отвернулся.

— Да ты не думай, Ширин, - испуганно оправдывался Сухроб,— мы приехали предложить дарвозам забрать свое барахло.

— И убирались из Бухары?— уточнил Ширин.

— Но не мы ведь решали, по приказу кушбеги,— оправдывался Сухроб.— Кто же станет спорить?

— А что ваш учитель? Что же ваша, забыл это слово!— партия? Вы же собирались поучить эмира и его людей. Что же сейчас молчите? Несправедливость эту видит вся Бухара, а вы молчите! - упрекал Ширин.

— Но, Ширин, кто же сейчас посмеет вступиться за них, если они смеялись над властью! — выставил последний довод Сухроб.

Ширин видел, как направились с повозками молодые дарвозы за своим реквизитом в город, устроился на своего ишачка и подался в сторону стройки.

— Ширин! Скоро, скоро я приду!— кричал вслед Сухроб.

Как же так, горестно думал о несовершенстве мира Ширин, как же так? Люди другой веры и другого языка вступились за безвестных дарвозов, а свои люди, люди своей веры, не нашли сил защитить своих любимцев. Ведь он до сих пор думал, что волчьи законы, насаждаемые эмиром, единственные под солнцем. Оказывается, есть и другие законы. Люди отказываются от верных доходов, чтобы вступиться за своих товарищей по ремеслу. И этот закон, оказывается, может действовать, иметь силу, вопреки власти богатых. «Хороший закон, — улыбнулся Ширин,— надо, чтобы все о нем знали»

Когда он появился на стройке, усто Абдугафур сообщил ему неприятную новость: приезжали из Арка, интересовались, как готовятся к отделке ганчкоры. Увидели, что почти ничего не сделано, особенно по большому залу, выразили свое неудовольствие и уехали рассерженными

— И про меня спрашивали?— похолодел Ширин.

— Почему они должны спрашивать про тебя? — обиженно ответил Абдугафур.— Ведь я отвечаю и за этот зал.

Ширин молча удалился в свою каморку. Он вынул из-за пазухи зеркала Саодат, смотрел на них, любовался отражением солнечных лучей на стенах, и теплая волна подступала к сердцу. Он чувствовал приближение искомого, которым живет каждый художник, каждый творец, и радовался этому ощущению. Он переживал то, что переживали до него многие поколения творцов и каждый в отдельности, и будут переживать после него. Ширин не слышал о таких понятиях, как вдохновение, влечение, порыв души. Он не ведал, что то, что он чувствовал сейчас, свойственно подлинному таланту, и если бы кто-то сказал ему об этом, он бы не понял. Зато он был сейчас счастлив. Забылись все горести, отошли невзгоды и страдания, он не помнил о них, он жил в том состоянии, когда душа возносится до высот, свойственных только божественному духу, имя которому — творчество.

И через несколько дней Ширин удивил русского инженера Саковича просьбой достать ему одно большое зеркало.

Сакович, вытирая платком бритую голову, никак не мог понять, что нужно этому тщедушному декоратору.

— Да вы понимаете, батенька мои, что вы просите? Зеркало во всю стену! Да еще сами не знаете, что из этого получится. Мы закупаем такие зеркала в Германии и Франции, платим за них бешеные деньги, а вы хотите пробовать на них неизвестно что. А если потом выбросите, а? Я отвечаю за расходы по строительству, и не могу позволить себе такую роскошь.

— Вы говорите, господин, что я не знаю, для чего это мне. А вы посмотрите,— попросил Ширин и развернул бельбаг.

На трех небольших квадратных зеркалах уже присох ганчевый орнамент. Очень мелкий и очень затейливый, рисунок поразил Саковича тонкостью работы, филигранностью отделки.

— И вы что же, хотите таким рисунком украсить все зеркала?— поразился он.— Да у вас жизни не хватит на это!

— Нет, все зеркала пусть остаются, господин. Я хочу выложить зеркалами все стены зала и покрыть их рисунком.

Сакович поднял брови, уставился на мастера.

— Вы не знаете, какая площадь всех стен зала? И все их покрыть таким рисунком? Да вы с ума сошли!

— Нет, рисунок не может быть таким, господин. Этот рисунок я делал к размеру зеркала. А если вы дадите мне большое зеркало, то рисунок должен быть больше,— задумчиво глядел на дело своих рук Ширин.— Конечно, должен быть крупнее!

— Батенька мой,— прочувствованно сказал Сакович,— если вам подвластны законы гармонии, то вы далеко пойдете. В искусстве почти самое главное — чувство гармонии.

— Я не совсем понимаю вас, господин,— огорчился Ширин.— Не понимаю, что вы говорите.

— Да вы садитесь, садитесь, милейший,— забеспокоился Сакович.— Я прекрасно осознаю, насколько трудны вам эти понятия. Но вот скажите, батенька, на этом маленьком зеркале не можен большой рисунок?

— Как он сюда ляжет? Никак. Рисунок должен быть по зеркалу. А я хочу на большом зеркале сделать большие рисунки.

— Так вот это и есть чувство меры, гармонии. И у вас это врожденное, ну от рождения, понимаете? И поэтому я поверил вам и буду делать все, чтобы вы получили большое зеркало.

— Спасибо, господин, я не забуду вашей помощи, господин,— кланялся Ширин, прощаясь.

«Боже мой, как хочется поговорить по душам с этим удивительным человеком,— вздыхал огорченно Сакович.— Но как трудно преодолеть барьер! Он воспитан совсем по-другому, я для него только господин. Он кланяется мне и благодарит, хотя мы, в общем-то, делаем одно дело. Как сломать эти преграды? Что нужно, чтобы он считал меня коллегой и равным в общем деле? Это восточное воспитание делает из этих талантливых людей рабов по психологии, по взаимоотношениям. А к эмиру идти придется, ведь венецианское зеркало — не стекляшка, за него платить и платить».

Сакович повздыхал и велел закладывать пролетку.

Алимхан был не в духе, разогнал всех приближенных. Он получил депешу из Ташкента, что его гостья Натали Ксанинская неожиданно умерла и ее прах отправлен в столицу. Но что для него эта женщина? Он уже потерял им счет, в его гареме их слишком много, чтобы жалеть о любой из них. Они появлялись, он забавлялся, наслаждал-

ся юным телом, а потом забывал о них и чаще всего навсегда. Уйдет одна, приведут других. Не станет он жалеть и о Натали. Но в депеше довольно прямой упрек за окровавленный топор, что вложили в сундук гостьи. И хотя болезнь и смерть Ксанинской не связывали с грубой выходкой эмира, но чувство досады на себя, на свой поступок у эмира появилось. В другой раз он только посмеялся бы над своей выходкой — Натали испугалась его жестокости, а он ей отплатил маленькой местью. Но депеша была написана слишком высоким царским чиновником, с которым он не мог не считаться. И не потому, что боялся осложнений с государем императором — он не станет корить эмира, своего верного друга за такую шутку,— но в высшем петербургском свете случай этот может получить нежелательную огласку.

Эмир хлопнул в ладоши, и слуга тут же вырос перед ним.

— Призовите сюда кушбеги,— распорядился эмир.

Кушбеги тоже знал о смерти гостьи и о депеше — во дворце трудно что-либо утаить, поэтому сразу понял значение нового распоряжения эмира.

— Нужно подобрать шестерку хороших выездных коней и подготовить их для отправки в Петербург. Лучше, если вы сами отберете коней. Вы же опытный всадник, в конях разбираетесь, кушбеги.

— Но для выездов нужны объезженные кони, привыкшие к упряжке, мой повелитель,— позволил себе сомнения кушбеги.

— Посоветуйтесь с кази-калоном, он у нас любит выезды,— криво усмехнулся Алимхан.

— Слушаюсь и повинуюсь. Мой эмир, вас хочет видеть по важному делу наш инженер Сакович.

— Пусть войдет,— милостиво согласился эмир.

Сакович не перенял церемонии эмирского двора, входил как деловой человек заходит к своему заказчику. Эмир тоже старался держаться этой линии.

— Рад видеть вас, Марк Семенович,— приветливо улыбался Алимхан, подавая руку.— Как идут дела в моем новом гнезде?

— Я уже поднял стены под крышу, дорогой Алимхан. К чести бригады Ашота Маркарова должен сказать, что кладчики они превосходные, вы и на будущее не теряйте их из виду. Они, правда, совершенно не чувствуют пластики глины, но камень, кирпич они знают очень тонко, я бы сказал, ювелирно. Знаете, я не видел у них ни

одного поврежденного кирпича, выброшенного в отходы. Это удивительно.

— Я отблагодарю их за хорошую работу, Марк Семенович,— склонил голову эмир.

— И правильно сделаете,— согласился Сакович,— но я к вам совсем по другому поводу.

— Я весь внимание.

— Один отделочник, ганчкор, как у вас их называют, попросил купить для него большие зеркала.

— Зачем ганчкору зеркала?— удивился эмир.— Я что-то не слышал, чтобы зеркала были нужны ганчкорам! Объясните мне толком.

— Он очень [illegible] человек, господин Алимхан. По-моему, он хочет от[illegible] зеркала для зала своим орнаментом.

— Что-то новое для меня,— эмир задумался и неожиданно согласился.— Ну что же, дайте ему одно зеркало, а потом покажите мне. Может быть, у мастера есть какая-то интересная з[illegible].

Сакович [illegible] о ходе работ в Ситораи Мохи-Хосе. [illegible] для облицовки камнем, но Сакович [illegible], хочет поручить эту работу бригаде [illegible] Маркорова, как только они закончат кладку стен [illegible] дворца.

— Пожалуй, я скоро навещу вас, Марк Семенович,— заинтересовался эмир и пометил в блокноте, лежавшем перед ним на столе.— А кто все-таки этот странный ганчкор?

— Ширин Ахмадов, господин Алимхан.

— Я что-то слышал о нем,— поморщился эмир. В его памяти всплыл этот маленький, худой сарбаз, сидевший на нижней ступеньке айвана во время состязания ошпазов, и эмир улыбнулся. Слишком он печален, этот Ширин, и слишком мудр, вот ведь как ответил тогда о пире жизни.— А вы знаете, как он попал в солдаты, Марк Семенович?— вдруг спросил повеселевший эмир.— Он пил вино, а по шариату правоверным пить вино запрещено. Гузарский судья узнал об этом и упек его в зиндан. Наши судьи очень суровы, дорогой Марк Семенович.

— Я не слишком уверен, что воздержание присуще всем вашим подданным,— не без иронии заметил Сакович.— И этого человека можно простить, ведь он, по-моему, настоящий талант.

— Ну что вы, Марк Семенович,— махнул рукой эмир.— Прощать его еще рано. Наказание должно быть

исполнено как можно суровее. Не нужно было попадаться, уж если захотелось погрешить.

— Не смею вмешиваться в ваши отношения с подданными,— несколько холоднее, чем прежде, попрощался Сакович.

Шайтан побери этих русских, выругался про себя эмир, все они воспринимают совсем иначе, чем его верноподданные. Придется задабривать, сердился про себя эмир, но Саковичу улыбался.

— Вам следует сейчас же зайти к нашему казначею,— эмир что-то черкнул на клочке бумаги и протянул ее Саковичу.

Сакович удивился, когда казначей выдал ему триста рублей. Очевидно, на покупку зеркала, подумал Сакович, но казначей заверил его, что эмир пожаловал ему за хорошую службу.

А Алимхан удовлетворенно потирал руки: получив деньги, Сакович достойно оценит щедрость эмира и не станет теперь возмущаться его жестокостью по отношению к безвестному ганчкору.

Внезапно осенила еще одна мысль. Всё таки его тяготило сообщение о смерти Натали Ксашинской. Эмир вызвал своего чиновника по связи с Петербургом и распорядился направить телеграмму в цветочный магазин мадам Нордстейн, чтобы возложить на могилу Натали цветы на сто пятьдесят рублей. На этом свой долг эмир Алимхан почел исполненным и навсегда забыл о ней.

А Сакович поехал к представителям немецкой фирмы. Его уже знали здесь и принимали как своего. Глава фирмы господин Кляйн с сияющей улыбкой шел ему навстречу.

— О майн гот, господин Сакович. Бесконечно рад видеть вас. А у нас сегодня отличный день. Мы закончили переговоры о закупке большой партии каракуля у кушбеги. Еще не вся Европа достойно оценила этот чудесный мех, но скандинавы проявляют к нему интерес. Очень надеюсь, что и в Германии и Франции наши модницы поймут его прелесть. Но чем могу служить вам, дорогой Марк Семенович?

— Я поздравляю вас с выгодной сделкой. Каракуль действительно мех удивительный, я сам заказал шубу из него для своей супруги. Она в восторге. Меня же интересует зеркальное стекло, господин Кляйн.

— Зеркальное стекло? Позвольте уточнить, каких размеров? Мы не экспортируем зеркала, но если заказ

будет солидным, то наша фирма, надо полагать, сможет его осуществить.

— Что вы можете предложить сейчас, господин Кляйн?

— Я могу ответить вам только через несколько дней, мне необходимо связаться с фирмой.

— Как только будете знать результат, не посчитайте за труд сообщить мне,— благодарно пожал руку Кляйну Сакович.

— Непременно, непременно! Что за вопрос!— рассчитывая на выгодный заказ, заверил гостя Кляйн.

Сакович к вечеру зашел в каморку Ширина. Тот уважительно встал навстречу, но Сакович легонько нажал ему на плечо:

— Вы работайте, работайте, дорогой. Я просто посижу около вас, если не возражаете. А что вы делаете, если не секрет?

Ширин молча показал ему чистые поверхности зеркал, на которых уже не осталось следа от ганчевого рисунка.

— Что такое?— удивился Сакович.

— Ганч не прилипался к зеркалу. Я добавил клей, но он все равно осыпался.

— Что же теперь будете делать?— после долгого молчания спросил Сакович.

— Буду искать подходящий клей, — упрямо ответил Ширин.— Я пробовал разный и все напрасно. Один подкрашивает ганч, делает его желтым или черным, другой не держит. Гладкое очень стекло, клей не цепляет.

Сакович уже хотел сказать, что он поспешил с просьбой о зеркале у эмира, но, посмотрев на мастера, промолчал. Казалось, что Ширин должен больше него расстроиться из-за провала своего открытия, но лицо его было спокойным, деловитым, вроде бы даже упрямым.

«Только одержимый великой идеей человек,— подумал Сакович,— может быть так спокоен во время неудачи. Воистину, эти уверенность и упрямство свойственны только подлинному таланту».

— Может быть, мне помочь вам в поисках клея? — осторожно спросил инженер.— Я могу попросать иностранные фирмы дать образцы клея, которыми они располагают.

— Не надо, господин инженер,— спокойно ответил Ширин.— Ганч должен держаться на зеркале. Я сам виноват, не нужно спешить. Торопливость — свойство дьявола. Я найду этот клей.

— Да я верю вам, дорогой мой, но скоро пожалует сюда эмир. А я ему рассказал о вашей затее. И если он спросит, а вам нечего будет ему отвечать, то на вас может пасть его гнев. Я бы не желал этого,— с тревогой поведал инженер о своих заботах.

— Да воля эмира не способна склеить ганч и зеркало, если не будет клея,— пожал плечами Ширин.— А гнев властелина не заменит даже балки на потолке строения. Я буду искать.

Когда инженер ушел, вытирая свою лысину, Ширин вспомнил о Сухробе. Его нет уже второй день. А ведь обещал прийти сразу. Этот человек забыл, видимо, что он приставлен к нему, усто Ширину, волей самого эмира. И Ширин приготовил палку для внушения.

И в самом деле, когда только на третий день появился Сухроб, Ширин протянул его несколько раз вдоль спины так, что тот завопил:

— За что, усто? Я ведь ни в чем не виноват! Простите меня!

На вопли этого высокорослого сарбаза сбежались строители и до слез хохотали над редким зрелищем: маленький, озлобленный долгим отсутствием подручного мастер поучал длинного сильного сарбаза.

— Вот тебе, о убежище греха, выгонять дарвозов! Вот тебе собрания у Ходжи! Вот тебе твои партии!

Впрочем, Сухроб вопил больше от желания разжалобить мастера, чем от боли.

— Мне нужен самый тонкий помол ганча, на какой только способны твои руки, несчастный бездельник!— отбросил палку Ширин.

— Будет, все будет, усто. Я сейчас же сажусь за мельницу, усто,— лепетал усатый верзила ростом на две головы выше мастера.

— Он может обидеться, Ширин,— подошел Ашот.— Захочет ли он теперь хорошо работать?

— Пусть только попробует лениться, я отведу его к караулбеги, там его шкуру отделают так, что одни дырки от кожи останутся!— и уже винясь перед старым другом, откровенно сказал:— Разозлился я на него в то утро, когда они выгнали из Бухары канатоходцев. Говорил — эмиру советы будем давать, а сам вон что выделывает.

— Ва, дорогой усто, он что из непорядочных людей, что ли?— спросил Ашот.

— Я и сам не знаю. Но я к нему так привык за эти годы!

Глубоко оскорбленный Сухроб долго молчал, переживая обиду. Но к ужину вскипятил чай, поставил перед Ширином. Они посмотрели друг на друга и рассмеялись.

И Ширин рассказал другу о своем небывалом замысле.

— Я задумал все стены зала заставить зеркалами, а на эти зеркала наложить узор из ганча. Не качай головой, не спеши, не отрицай, а вдумайся. Зал весь наполнен солнечными лучами, которые отражаются от узорчатых стен. Как струны домры, они переливаются и сплетаются в единый рисунок. Я разрисую потолок не только орнаментом, я сделаю плафоны, карнизы, порталы, и этот зал будет как песня. «Белый зал», вот каким я его вижу. А пока у меня ничего не получается. Понимаешь, я не могу найти клей, который бы удержал на зеркале ганч!

— Что [illegible] найду клей? Как это можно не найти клей? [illegible] по всей Бухаре и буду собирать всякий клей [illegible] есть, и ты все перепробуешь. А ты не пробовал [illegible] молодого козлика, а? Или из теста, замешанного на яйце?

— Или [illegible], замешанного на петушином крике,— улыбнулся Ширин.— Ты уж давай пока мне ганч, самый мелкий, какой только смогут сделать твои руки, а там посмотрим.

Сухроб не мог угомониться, пока не вспомнил о бухарских клееварах. Они селились где-то вблизи боен, но где точно, он не знает. А узнать — проще простого.

— Я сам пойду в гузар мясников,— горячо пообещал Сухроб,— и вытрясу из них душу, пока они не скажут, кто самый лучший клеевар в Бухаре!

— Да успокойся ты, помолчи!— прикрикнул на него Ширин, занятый чертежом.

Решение отделать весь зал зеркалами и украсить ганчем Ширин склонен отнести к случаю. Всемогущий Случай, он всегда выручает того, кто не просто ждет его, но торопит, рождает замысел. Ширин считает, что толчком послужила игра его жены с зеркалами. Но просвещенный читатель поймет нас, если мы не согласимся с этим. Всемогущий Случай помогает только сильным духом и ищущим, другие же не дождутся его потому, что не мчатся в поисках истины, не пытаются ухватить птицу удачи за ее пышный, как у эмирского павлина, хвост.

А через неделю в Мохи-Хосу пришла большая арба. На ней привезли огромное зеркальное стекло высотой как раз по стене большого зала. Рабочие сгрузили его с вели-

чайшими предосторожностями под наблюдением самого Саковича. Обреченный Ширин безучастно скользнул по нему рассеянным взглядом и отвернулся, а мысли его были где-то далеко.

— Ширин,— тронул его за локоть чуткий Сакович,— вы не огорчайтесь. Нам уже отступать теперь некуда, только вперед. Верю, что вы своего добьетесь.

— Где этот слуга самого шайтана, Сухроб? — непонятно отозвался мастер на слова инженера.

Сухроба никто не видел.

Глава VII

ЗА ДАСТАРХАНОМ

Когда в кишлак Ойдын пришел раис в сопровождении двух сарбазов, все притаились. Никогда еще раис не приходил в кишлак с добрыми вестями. Если пришел раис, или сборщик налогов, или муллобача, жди очередных поборов в казну, а она, эта казна, бездонна. Последние таньга отдаешь, последнюю меру риса или муки: никого твои заботы не волнуют, и на что ты будешь жить, никого не интересует.

Улица крива и тонет в грязи, дувалы петляют, как им вздумается, за этими дувалами тишина, даже кизячный дым не курится над печами и тандырами. Только тощие псы бродят и даже не кидаются на прохожих.

Раис постучал в первую же калитку.

— Уэй, Вахоб! Открывай, нечестивец. Ты видишь, со мной два эмирских сарбаза! Они такие, что и дом твой разнесут и дувал. Открывай, Вахоб!

Калитка была столь ветхой, держалась на таких узелках и веревочках, что и рваться так не было нужды: пни ногой, и она отвалится.

— Чего стучите, Батырбай?— перед раисом оказалась старая Хумри, жена Вахоба.

— А где хозяин дома, женщина?— строго спросил Батырбай.

— Оббо! Хозяина давно призвал к себе аллах,— старуха тут же всплакнула.

Батырбай шагнул во двор. Сарбазы за ним.

Видел раис нищету, все кишлаки погрязли в нищете и зловониях, но такого он не встречал. Казалось, ветер

жизни сорвал здесь и унес все, достойное его внимания.

— И давно умер Вахоб?— все также строго спросил Батырбай.

— Еще весной, господин, еще весной,— бормотала старуха, сама одетая в такое рубище, которого уже не стеснялась.

Цепким взглядом осматривал все закоулки раис, но так и не отыскал ничего, достойного внимания. Остальные дома кишлака мало чем отличались от дома Хумри. Однако на этот раз раис не искал излишков добра, хотя на будущее и примечал, что есть в каждом дворе.

— Где твой сын Хусан?— строго спросил он соседа старухи Хумри худосочного старика Камала.— И где Хасан?

Хасан и Хусан, так всегда в народе называют мальчиков-близнецов. Раис знал, что у Камала уже выросли эти близнята.

— Работают у Шокирбая, раис,— поспешно ответил Камал.— Мы должны Шокирбаю очень много денег, и я умру, наверное, так и не расплатившись никогда с долгами, господин...

— Аллах взыщет с тебя, Камал! Ты обязан отработать свой долг Шокирбаю,— строго прервал сетования Камала раис.— Но мне нужны твои сыновья. Пошли кого-нибудь за ними.

Во дворе кишат дети, счет которым не знал сам Камал. Старик тут же подозвал золотушного мальчишку лет десяти и послал за старшими. А раис уже посматривал через забор на соседей Камала. Сарбазы поводили носами, но запахов пищи до них пока не доносилось.

Два тощих парня вскоре предстали перед раисом. Батырбай только покачивал головой, рассматривая обоих. Да, тут выбирать не из чего, один стоит другого.

— Кто из вас Хасан?— строго спросил раис. Один из близнецов шагнул на полшага вперед.

— Это я, господин.

— Тебя призывает эмир на строительство своего дворца,— строго предупредил раис.— А ты, Камал, собери сына в дорогу.

Это известие сразило старика.

— Как призывает? Как призывает? Столько работы и в доме и в поле, а мои руки уже не слушаются меня. И куда и что собирать, когда в доме нет лишнего куска лепешки...— заспешил старик.

— Ну, ты еще поскули!— грозно остановил раис его поток жалоб.— Или милость эмира не радует тебя? А? Тогда ты скажи мне прямо...

Старик скорбно опустил голову.

Раис получил твердое указание привести на строительство Мохи-Хосы двадцать крепких мужчин и парней от кишлака Ойдын, и он выполнил это приказание. Там, где были старики, он забирал юношей, а где сам хозяин двора был крепок, забирал хозяина. Во всех домах стояли вой и крики. Батырбай только сурово сводил на переносице свои густые брови. Часто ему приходилось слышать эти крики и вой, его сердце уже укрепилось против них. А нищета в каждом доме стала привычной, как грязь под ногами. В сопровождении сарбазов раис повел отобранных в сторону Мохи-Хосы.

Кругом лепились клочки дехканских полей, уже голых после снятия урожая. Это были жалкие наделы, вымеренные чуть ли не каждый аршинами. Не раз приходилось самому раису вмешиваться в ссоры и даже драки между соседями из-за земли, когда в ход пускались не только кулаки, но и кетмени. Бедна, бедна земля, но и ее мало, и родит она такие бедные урожаи, что дехканин уже с осени питается кукурузной похлебкой и черствой лепешкой, и только в редкие праздники в его казане пахнет мясом.

Ойдынцы, мобилизованные на строительство, шли по грязной дороге молча. Эти люди не привыкли роптать под ударами судьбы, терпеливо сносили все новые и новые ее коварства. Конечно, там, на строительстве, им заплатят какие-то гроши, и они растекутся меж пальцев в уплату многочисленных долгов у лавочников и взяточников-чиновников. Но эти люди и не представляли иного течения жизни. Так было из века, так и будет.

Хасан, сын старика Камала, шел рядом с Турды, своим соседом. У Турды семья шесть человек, сына, которого он послал бы вместо себя, нет, и как теперь будет обходиться дом без кормильца, неизвестно, но и Турды покорно шел вслед за всеми.

— Дядя Турды,— позвал Хасан,— а дядя Турды!

— Чего тебе?— отрываясь от невеселых дум, хмуро спросил Турды.

— А далеко эта Мохи-Хоса? И будут ли нас отпускать домой?— расспрашивал Хасан.

— К вечеру будем на месте, а вот будут ли отпускать домой, этого я не знаю,— недовольный расспро-

сами. Турды сам как раз думал над этим. Еще холосто-му Хасану можно не очень за это переживать, а каково ему, самому Турды, если все немудреное, но все же какое-никакое хозяйство лежит на его плечах?

К Мохи-Хосе сходились по всем дорогам толпы таких же несчастных, как и ойдынцы, на ком запечатлен перст милостей эмира. Они в мокрой ветхой одежде, голодные, грязные, некоторые даже по такой осенней распутице босые. Их собрали около большого сарая. Все раисы были тут же. Какой-то важный господин вышел перед дехканами. Ему уже подали списки привлеченных к строительству людей.

— Ну, конечно,— недовольно ворчал этот господин,— вы собрали [illegible] немощных и слабосильных! А мне нужны на[illegible] ра[illegible]ники... Мусульмане,— обратился он к [illegible], [illegible] сам великий эмир обратил в вашу сторону [illegible] милости и пожаловал вам работу на строите[illegible] дворца Ситораи Мохи-Хоса. Да, он даже повеле[illegible] вам оплату за вашу работу, а также иные милости, велика щедрость эмира...

Немного [illegible] Камала из услышанного. Их ра[illegible] сарае. Было, в общем, сухо, но огня разводить не [illegible]. Хасан все держался дяди Турды, потому что еще нигде не бывал и всего боялся. Уже поздно вечером всех позвали к ужину. Накормили шурпой без мяса, но лепешек к чаю было вдоволь. Может быть, Хасан впервые поел так сытно.

А утром подрядчики развели их на работу. Хасану досталось самое трудное. Большие ямы, вырытые кетменями, заполнялись глиной и водой, туда подсыпалась солома. Хасану и еще нескольким десяткам таких же парней, не умеющих делать ничего другого, пришлось месить эту глину ногами. Причем, в любом строительстве, будь то дом купца или мечеть, эти работы проводились весной и летом. Но великий эмир Алимхан торопил своих меъморов. Ему скорее был нужен дворец. И люди полезли в ледяную жижу...

Уже к вечеру Хасан почувствовал острую боль в суставах, ступни распухли, его знобило, а наутро [illegible] лезть в глину. Дядя Турды растирал его ноги, странно ругался, что ему приходится нянчиться с чужим сыном, но все-таки после этих растираний ноги как-то отходили, и Хасан забывался в глухом сне.

Может быть, только благодаря стараниям дяди Турды Хасан остался жив. По крайней мере ямы с глиной

кончились. Началась кладка кирпичей. Тот же ветер, сырость не прошли, но хотя бы не было воды под ногами. Хасан совсем осунулся. Турды только покачивает головой: нет, не выжить сыну Камала. Еще один удар ожидает старика...

Зимы в Бухаре бывают капризными. Лютые ветры, прорывающиеся из Сибири через беговатские ворота, пронизывают безграничные пространства, и стынут под их дыханием города и кишлаки. Но бывает и так, что неожиданно улягутся зубастые ветры, съежится на полях снег, почернеет и сойдет, и веселое, совсем не зимнее солнце вдруг распалится так, что подсыхают гнилые дороги, и пыль, истертая множеством колес, снова лезет в глаза.

Хасан едва поверил в свое счастье и избавление. Стали подживать ноги, перестало качать, а в глазах уже не мелькают зловещие желтые точки.

В один из таких дней на стройке появилось несколько человек, которых Хасан раньше не видел. Один из них, величавый старик, шел в сопровождении невысокого, щуплого человека, который мало чем отличался комплекцией от самого Хасана. Хасан подумал, что это мастер с подмастерьем, тем более что у этого невысокого человека совсем не было в лице неприступности и величия, свойственного мастерам.

— Ганчкоры... ганчкоры...— прошелся шепот по толпе рабочих.

Хасан слабо представлял, что делают ганчкоры, хотя, конечно, видел их работы даже в таком бедном кишлаке, как Ойдын.

Маленький ганчкор был почему-то весел, держался независимо, что не приличествует подмастерью.

Величественный старик удалился в другой конец сарая, маленький ганчкор остановился против Хасана. Он внимательно всмотрелся в изможденное лицо юноши, взял почему-то его руки в свои, стал их рассматривать, потом поднял лицо и улыбнулся неожиданно просто и по-доброму.

— Как тебя звать, йигит?— спросил ганчкор высоким, даже тонким голосом.

— Хасан... Сын Камала... Из кишлака Ойдын,— совсем робея, ответил юноша.

— Хотел бы ты работать со мной?— снова спросил маленький ганчкор, пряча улыбку в реденьких усиках.

— Ну? Отвечай, когда тебя спрашивает сам усто Ширин!— замахнулся было плетью надсмотрщик, но ганчкор так глянул, что тот увял, сник и почел за благо отойти. С мастерами здесь спорить не с руки. Самому можно угодить под плети дуррадаста.

— Да ты не бойся меня,— улыбается мастер.— Руки у тебя тонкие, привыкнут к ганчу, а остальному научишься.

Дядя Турды ощутимо толкнул его сзади, но Хасан так и не понял, что означает этот толчок, дать согласие или отказаться.

— Да ты не бойся, не бойся, Хасан,— подбадривал мастер.— У меня тебе придется все-таки не глину ногами месить. Идем!

Еще пятерых рабочих отобрал усто Ширин и увел их за собой, не дожидаясь величественного старика.

— Я скажу, и ваши деньги заплатят сегодня же,— говорил между тем Ширин,— ведь вам же еще не платили за работу?

Отобранные рабочие молчали, не смея что-либо утверждать.

— Конечно, и у меня вам будет не сладко. Сам ганч сводит пальцы, в помещении сквозняки,— продолжал между тем говорить мастер,— но если будете упорными, получите неплохое ремесло. А оно вам всегда пригодится.

Трудно было понять причину такого многословия мастера, зачем их уговаривать, стоит только приказать, и они безропотно пойдут туда, куда велено.

Хасана и его новых товарищей поместили в небольшом помещении с очагом в углу. И горячий обед уже ждал их, и шустрый поваренок с хитрыми глазами положил им в касы горячей каши из маша.

— Ешьте, зимние верблюжата,— сказал поваренок и ловко увернулся от затрещины одного из рабочих

И в самом деле, здесь суше, теплее, очаг все время горит, и около него можно хотя бы отогреться и отогреть руки...

А Ширин, отобрав для себя подсобников, не очень занимался сегодня своими узорами и чертежами. Настроение у него было шаловливым. Он похаживал по залу, перешучивался с рабочими, и никто не понимал, что случилось с их молчаливым усто. Сегодня он получил через Ибада очень радостную весть: его жена скоро подарит ему ребенка.

Как всякий истинный мусульманин, Ширин видел чуть не главную цель жизни в своем потомстве. Чем больше рядом с тобой этих круглых, чумазых мордашек, орущих и лезущих к тебе на руки, твоих детей, в которых ты видишь свое продолжение, тем ты счастливее. Без этого нет человека на земле, проживет он свою жизнь напрасно и будет забыт. И поэтому после сообщения из дому Ширин сегодня особенно добр и внимателен к людям, поэтому он сегодня так любит весь мир и солнце над этим миром.

Да, а вот домой им с Ибадом сегодня все-таки не попасть, затевался недельный плов. Если уйти от плова, значит, насмерть обидеть тех, кто работает с тобой плечом к плечу. Чуточку огорчившись задержкой, Ширин, тем не менее, был в прекрасном настроении.

Плов для узбека не только пища — это обряд, церемония, именно священнодействие, имеющее свои законы и порядки. Будь то чертоги богача или хибарка бедняка, все соблюдается неизменно.

По части выбора мяса для плова не было знатока лучше, чем Ибад. Ибад отправился на базар, выросший около Мохи-Хосы. Он бы пошел и в Бухару, столь серьезной считал свою миссию, но времени было в обрез. Хотя, простите, нельзя так просто сказать — отправился. Он шествовал, осознавая всю важность и ответственность своей задачи, и уже по одному его виду продавцы понимали, что человек пришел покупать мясо именно для плова. Торговец не позволит себе хватать такого человека за рукав, пытаться всунуть между хорошими кусками жилы или кость. Он выложит лучшие части туши, обрежет лишнее, в необходимой пропорции положит сала. Человек, берущий мясо для плова — не совсем обыкновенный покупатель. Но плов содержит в себе столько составных частей, что в его приготовлении участвуют несколько человек. Пока Ибад выбирал и покупал мясо, другие покупали морковь, лук и десятки приправ, а ошпазы готовили казан и дрова, посуду и чай. В качестве ошпаза обычно выступал доблестный Сухроб, но теперь он здесь не бывает. Сам Ширин не участвовал в общей суете, весь углубленный в какие-то свои проблемы, и его не трогали.

Далеко окрест разносится запах готовящегося плова, и строители Мохи-Хосы улыбались.

— Эти, из Белого зала, сегодня празднуют.

И вот, когда небо потемнело и зажглись первые

звезды, все, кто работал в Белом зале, собрались в общий большой круг. По распоряжению Ширина к столу пригласили новичков, в том числе и Хасана, совсем юного подсобника.

— Пусть тоже почувствует себя мастером,— усмехнулся Ширин.

Каждый в таком случае старается подчеркнуть свое превосходство над низшим по положению: мастер не преминет подчеркнуть свой вес перед рабочим, рабочий перед подсобником. Так уж повелось, но Ширин, словно рожденный не в этом мире, усадил всех за общий дастархан. Конечно, подсобники чувствовали себя неуютно, скованно, но отказаться не посмели. Создался обширный, но плотный круг, посреди которого дымился огромный поднос с пловом. Ибад прочитал короткую молитву, и все принялись за еду. Обычай не позволяет разговаривать и шуметь во время еды, поэтому слышались только причмокивание и вздохи не очень сытых людей. А после плова жгучий чай. Люди отваливались от дастархана, громко отрыгивали, демонстрируя предел сытости, лица стали мокрыми от пота, заблестели при свете костра. «Хвала аллаху... Хвала аллаху»,— повторял каждый, почувствовав в желудке приятную тяжесть. Человек труда знает цену этой тяжести.

А потом начались шутки, порой довольно крепкие и соленые, потому что здесь собрались люди простые, не обремененные условностями этикета, бесхитростные и простосердечные. Не обошлось без обязательных в любой компании анекдотов про Ходжу Насреддина, которого каждый бухарец по праву считал своим земляком.

А в это время Ширин и сидящий с ним рядом Ашот беседовали о своих строительных делах, иногда посмеивались очередной шутке какого-нибудь острослова.

— Все же откуда у тебя, Ашот, такое чутье на камень? Мне хочется постичь силу и красоту камня, я привык иметь дело с глиной, ее я понимаю, а вот камень — нет.

— Для этого нужно родиться среди гор,— усмехнулся Ашот.— Как вот мы. Ты слышал, как появилась Армения?

— Как все земли, наверное,— улыбнулся Ширин.— По воле аллаха.

— Не совсем так, дорогой друг, не совсем,— покачал головой Ашот.

В кругу все притихли, а Хасан, впервые присутствовавший на таком обеде, робел и давился во время еды, но слушал все, о чем говорилось вокруг, забывая порой закрыть рот. Он все еще никак не мог уяснить, почему за одним дастарханом сидят такие разные люди, честно говоря даже не все понимал, но так как все притихли, и голос Ашота стал явственно слышен всем, стал и сам вникать в суть сказанного.

— Наши горы бедны на глину и землю, зато очень много скал, камня,— рассказывает Ашот Ширину, но его слушают внимательно все.— Люди уж так устроены, что пользуются тем, что оказывается под рукой. Если нет глины, идет в дело лес, как у русских.

— А ты и в России был?— спросил Ибад, который тоже сидел неподалеку.

— Не сразу я попал в Бухару, пришлось и в России поработать, но там моя каменная кладка никому не нужна, да и камня там нет. Так вот русские даже дома делают из дерева, и повсюду у них дерево, зато мало камня и глины. Оттого многие селения у них страдают от пожаров. Вот и Бухара сильно пострадала от пожаров, хотя здесь дерева в строительстве гораздо меньше. У нас же, в Армении, пожары редки. Все сделано из камня. И дом, и очаг, а часто даже в скале вырубаем себе жилище. Какой там может быть пожар? Разве штаны прожжешь, если уснешь подле очага.

Смешок прошел по сидящим в тесном кругу.

— И ты прожигал свои штаны?— лукаво спросил кто-то из темноты.

— Всякий человек подвержен слабостям,— усмехнулся Ашот.— И вот когда люди из поколения в поколение живут среди камня и работают с камнем, то чутье им передается в крови. А ведь нам нужно было еще и укрываться от свирепых янычар, которые раздирали мою родину много лет. От них и их кривых ножей можно укрыться за камнем, и мы научились строить укрепления, строить на вершинах неприступных гор.

— А кто такие янычары, и почему они преследуют вас?— спросил Ибад, тоже разомлевший после плова за пиалой чая.

— Вера у нас разная, вот в чем причина,— неохотно отозвался Ашот.

Все притихли. Слишком сложен этот разговор для такого количества людей. Никто не может поручиться, что не окажется в их среде эмирский шпион и доносчик.

В вопросах веры лучше отмолчаться. Но Ширину и в этот раз отказала осторожность, хотя не однажды уже страдал.

— Как можно хвататься за нож из-за разницы в вере? — громко возмутился он. — Вера-то разная, но бог один! Какой же неразумный убивает по этой причине другого?

Ибад недовольно глянул на зятя. Мало ему неприятностей, еще призывает на свою голову новые.

— Аллах, всемогущий и всесильный, должен в первую очередь покарать этих безумцев, которые не могут понять, что каждому народу дана своя вера волею самого аллаха, и это вовсе не причина для кровопролития, — продолжал, между тем, возмущенно Ширин.

Ашот тоже понимал всю опасность таких речей для своего друга и свел разговор с запретного пути.

— А знаете ли вы, друзья, как армяне оказались среди гор? — весело и громко спросил он всех. — Не знаете? Тогда я расскажу вам. Бог, создав землю и людей, стал раздавать земли сынам своим по их складу характера и наклонностям. Армянин же спал, а когда проснулся и побежал к богу за своей долей, ничего у бога уже не осталось, кроме гор. Проспал несчастный хорошие земли! Оставил бог для себя подобную раю Араратскую долину, хотел сам там поселиться, но пожалел армянина и повелел ему пользоваться ею. Так и получилась Армения из гор и прекрасной, как сказка, Араратской долины. Прошли годы, многое изменилось. И теперь мы довольствуемся почти только горами. Слишком мало земли пригодной для земледелия, каждый клочок дорог, но и их мы засадили виноградом, божественной лозой, дающей жизнь и веселье.

— И твоя вера не запрещает пить вино? — лукаво спросил Ширин.

— Все дозволенное богом хорошо в меру. Если бог позволяет есть барана, то не значит, что один человек должен съесть сразу двух баранов, если он не боится смерти от обжорства, — уклончиво ответил Ширину Ашот. Но все слышали этот ответ и снова на некоторое время притихли.

И чтобы рассеять неловкую тишину дутарист Сабир потянулся за своим дутаром, и скоро резкие и грустные звуки его поплыли окрест.

— Что же есть люди? — говорил негромко Ширин под звуки песни. — Что такое люди? Ведь мы видим ал-

лаха таким, как мы сами, только могущественным и всесильным. И все люди ему подобны. И мы все на земле подобны друг другу. Почему же так мы не равны перед аллахом? Даже среди одного народа мы не одинаковы. Один богат и всесилен, хотя умом часто не превышает дехканина. А дехканин тащит свой омач по сухой земле и довольствуется крохами от своего труда. Народ, народ... Все мы народ, а вот живем по-разному. Так где же та истина, которая сделает всех нас счастливыми?

— Это грешные мысли, Ширин,— обеспокоился Ибад.— Откинь их от себя, они грешны и аллах накажет тебя за них.

— Многие пытались разрешить эту загадку, дорогой усто,— примирительно сказал Ашот,— да ведь не всем приходит верный ответ. А народ, ты верно сказал, он один. И ты ведь тоже часть своего народа, а я часть своего народа, и все мы столь разные, тоже народ. Вон твой новый мальчишка, ведь и он частица народа. А, Хасан, где ты?

У Хасана сразу пересохло горло. Он никак не ожидал, что столь уважаемые люди вспомнят о нем.

— Ляббай!— едва слышно выдавил он.

— Вот ты откуда произошел, Хасан?

— Я? Я из кишлака Ойдын, господин,— заплетающимся языком ответил мальчик, и его ответ неожиданно развеселил и Ашота, и Ширина, и Ибада, и всех окружающих, слышавших этот серьезный разговор.

— Вот! Вот тебе истина, Ширин,— смеялся Ашот.— Вот его корень и опора! Он из кишлака Ойдын. У каждого из нас есть свой Ойдын, а их так много разбросано по земле, этих ойдынов, и все они в воле одного бога.

А Ширин неожиданно вспомнил веселого бродягу и музыканта Закира, который был с ними во время строительства дома Абду-Кадырбая. В нем одном совместилось все то, чем богат его народ. И терпение, и неизбывное веселье, неустанно бодрый взгляд на жизнь, и хватка к работе, и лукавство, и некоторая доля хитрости, чтобы выжить в этом суровом мире. Исчез, ушел по дальним дорогам неунывающий Закир.

— О чем задумался, усто? — тихо спросил Ашот.

— Так, о жизни. Закира вспомнил почему-то. Ты помнишь Закира, нашего повара, Ашот?

— А почему ты вспомнил его?— не сразу ответил Ашот.

— Так. Вот мы говорили о народе и вспомнил,— бесхитростно ответил Ширин.

— Видел я его недавно, он снова в Бухаре,— сдержал улыбку Ашот.

— И так же весел наш Закир?

— А что ему сделается? Он вечен, Ширин. Он несет в себе великую душу твоего народа.

Разве могут наскучить такой вечер и такие беседы? И, наверное, поэтому Ширин все чаще стал собирать за общим дастарханом своих людей, слушал их бесхитростные рассказы, шутки, песни.

Он стал искать в людях что-то такое, чего найти сам, в одиночку, не мог.

Глава VIII

ГАРЕМ ЭМИРА

Эмир, как и каждый истинный мусульманин, может иметь четырех законных жен. Алимхан быстро ими обзавелся, и только одна из них — Ойимшо сумела завоевать во дворце авторитет и вес. Это была красивая, образованная и умная женщина. Она свободно читала на фарси, арабском и персидском, знала историю узбеков и таджиков, писала стихи. Женщины из гарема-харама эмира находились в полной зависимости от Ишонаим, а Ойимшо, хоть она и подчинялась общим правилам, удалось сохранить свою самостоятельность. Как-то Ишонаим прикрикнула на нее, но Ойимшо так взглянула на мать эмира, что та невольно отступила и с этой минуты люто возненавидела непокорную.

Алимхан уже успел привыкнуть к тому, что все поэты Бухары должны только славословить его, превозносить его имя и его деяния. А собственная жена, поди же, ни разу не упомянула его имя в своих стихах, и это заставляло эмира воздерживаться от их оценок. Ишонаим много раз пыталась настроить Алимхана против Ойимшо, но тот только отмахивался:

— Ну, что вам от нее надо? Образованная, красивая, спокойная. Оставьте, пожалуйста, ее в покое. Мало вам других женщин для ваших раздоров?

Надо сказать, что эмир не очень-то ценил женские чары Ойимшо, но с ее мнением считался, иногда даже

советовался с нею — у этой женщины был поистине прозорливый ум. Эмир и сам не смог бы объяснить, почему Ойимшо имела такую власть. Эта женщина никогда не пыталась командовать, ничего не требовала и тем более не клянчила, как другие жены. Евнухи нередко угодливо нашептывали эмиру о том, что Ойимшо позволяет себе вольные суждения о порядках в эмирате и в самом Арке, порой не очень почтительно отзывается о каком-нибудь министре. Но Алимхан всякий раз в гневе разгонял гнусных евнухов, не мог слышать их писклявых голосов и видеть их дегенеративные рожи, не знающие бритвы. Ценил эмир и такую черту Ойимшо: когда в гареме вспыхивали свара и склоки, она молча уходила в свои покои, никогда и никак не участвуя в скандалах.

В это утро, когда эмир после завтрака просматривал какие-то бумаги, в его кабинет на цыпочках вошел евнух Камаль и упал ниц:

— О, мой повелитель. Разрешите за ваше спокойствие отдать свою жизнь.

— Говори, в чем дело?— недовольно спросил Алимхан, медленно поднимая глаза.

— Да поразит меня аллах за дурную весть. Заболела Ойимшо.

Эмир вскочил с мягких одеял и направился к двери:

— Веди к ней да поживее.

Евнух засеменил впереди, согнувшись в три погибели и постоянно оглядываясь: не отстал ли эмир.

Ойимшо вся горела, лицо ее было красным, дыхание учащенным. Алимхан всмотрелся в нее. Ойимшо попыталась улыбнуться, но вышла лишь страдальческая гримаса.

Алимхан предпринял все, чтобы спасти жену. Лучшие лекари пытались облегчить ее страдания, но Ойимшо не становилось лучше. Женщина таяла на глазах.

Эмир отправил в Петербург депешу на высочайшее имя с просьбой выслать самого опытного врача. Царский врач Шлиенков пробыл во дворце неделю, но его усилия не облегчили состояние бедной женщины.

Из Австрии был вызван известный терапевт фон Берг. Лощеный, с изысканными манерами европеец прибыл, чтобы не только спасти жену повелителя Бухары, но убедиться в том, насколько рассказы в салонах Ве-

ры о сказочной роскоши восточного владыки и своеоб-[illegible] быта Азии отвечают реальности.

И вот он идет следом за странным человеком без усов и бороды, с тонким и неприятным голоском. Одна пола халата этого человека почему-то заткнута за пояс — только позже от Шлиенкова он узнает, что так ходят во дворце евнухи.

Фон Берга вели длинными коридорами без окон, по каким-то лестницам. По обе стороны коридора прятались закоулки, чуть виднелись двери. Он прошел несколько богато убранных комнат с легкими карнизами и плафонами на потолке. Полы сплошь устланы дорогими коврами, в углах комнат и нишах большие стопки одеял и подушек. [illegible] выставлена богатая посуда китайского [illegible] кустарные вазы и подносы, изделия [illegible] и Западной Европы. Но особенно поразили Берга [illegible] лица всех обитательниц гарема, за исключением совсем маленьких девочек.

Австрийский врач, как и его русский коллега, оказался в трудном, [illegible], безвыходном положении. Восточные [illegible] чрезвычайно замкнуты с незнакомыми, а [illegible] к европейской медицине было просто угнетающим. Какие-то старухи зло косились и шипели, видимо, что-то оскорбительное.

— Коллега, я не могу работать в такой обстановке,— сказал по-французски фон Берг Шлиенкову.

— А что делать? Хотите-не хотите, вам придется покориться здешним порядкам,— развел руками Шлиенков.

Появилась тучная, богато одетая, надменная женщина, и Шлиенков успел предупредить, что это мать самого эмира.

— Мне необходимо осмотреть больную,— объявил фон Берг.

— Это исключено. Восточная женщина не может показываться постороннему мужчине,— упредил Шлиенков.

— Но тогда я вообще ничего не сумею предпринять!— возмутился фон Берг.— Как же, простите, лечить больную?

Долго объясняли Ишонаим суть возникшей проблемы. Та слушала внимательно, потом что-то говорила гортанным голосом, резко и неприятно.

— Нет, я так больше не могу,— возмутился австриец.— Что за нравы? Я просто потрясен. Человек тяжело

болен, а к нему не допускают и требуют, чтобы его вылечили. Нет, вы что-нибудь понимаете?

Фон Бергу, взмокшему от споров и волнения, разрешили наконец прослушать пульс больной, которая из-за шелковой занавески протянет руку, но доктор не должен открывать рукав ее халата.

Рука горячая, пульс учащенный, прерывистый — вот все, что мог определить австрийский врач.

— Нужно посмотреть язык,— сказал Берг.

И снова резкие голоса спорящих, разгоряченные лица.

Женщине снять чадру или паранджу при постороннем мужчине преступно, даже смерть предпочтительнее этому. Но деваться некуда — эмир требовал исцеления больной во что бы то ни стало. Выход был найден: лицо больной покрыли платком, в котором вырезали щель. Через нее Берг и обследовал язык. Он оказался обложенным, белый налет сменялся черно-зеленым.

— Коллега, вы имеете право лишь дать указания в отношении лекарств, мазей и питания. Следить же за ходом лечения и тем более повторно посещать больную вам не позволят,— снова предупредил Шлиенков.

— Но вы же у больной вторично? – упрекнул его Берг.

— В первое мое посещение мне даже кончики пальцев отказались показать,— Шлиенков едва скрывал негодование по поводу невежества эмирского двора.

Алимхан выслушал претензии обоих врачей с непроницаемым лицом, устремленным куда-то в сторону взглядом. Ради спасения Ойимшо он пошел бы на все, но мать, евнухи, остальные жены, весь гарем поднимут такой вой, что с ума сойдешь, а шейхи обвинят его в нарушении шариата. На это эмир решиться не мог.

— К вам,— обратился он к врачам,— мы претензий не имеем. Вам хорошо заплатят, передадут наши подарки, и вы можете возвращаться к себе домой.

Что же делать дальше? Больная так ослабла, что уже еле говорила, почти ничего не ела, только постоянно просила пить. Эмир нервничал.

— В Маргилане, что между Андижаном и Ферганой, живет известный табиб Темирвой. Пусть не гневается мой повелитель, но я послал за ним гонцов и сегодня-завтра он будет в благородной Бухаре,— дворцовый лекарь Абдурахман склонился в низком поклоне.

Алимхан сурово посмотрел на лекаря: он готов был высказать ему резкие слова за его поступок, но сдержал себя.

— Ну, что ж, посмотрим на что способен твой табиб Темирвой,— вздохнул эмир.— Как только он появится в Бухаре — приведите его ко мне.

Темирвой, маленький старичок в зеленой чалме, слушал Алимхана с почтением, но и без особого волнения и страха.

— Вот смотри, табиб, этот окованный железом сундучок наполнен [illegible] бухарскими и русскими монетами. Это громадное состояние! И оно будет твоим, если ты вылечишь нашу жену.

За плечом эмира вздыхала Ишонаим, слушая безумную речь сына. О, аллах, помоги ему — эмир сам не знает, что делает! [illegible] состояние отдает за жизнь одной из [illegible] теряется из-за нее. Разве это достойно [illegible]? Разве женщина, пусть даже красивая [illegible] стоит стольких богатств? Ведь все в [illegible] пусть он и решит судьбу Ойимшо. И [illegible] привязать ее к себе, то этого не миновать.

Ишонаим в душе мечтала о таком исходе. Ну, какая Ойимшо жена, верная мусульманка? Держится смело, вызывающе, не признает ее, мать эмира, перечит мужу. И за нее ее сын, наместник аллаха на земле, обещает отдать вот этому щупленькому старцу сундучок с золотом. О, аллах! Вот уж воистину ты беспредельно кроток и милостив, извиняющий и прощающий..

Темирвой оказался своенравным, непреклонным, злым и желчным старцем. Он потребовал удалить из покоев Ойимшо всех, кроме слуги-евнуха и одной старухи, запретил заходить к больной всем, кроме эмира. Лекарства и питание больной будет готовить он сам. Гневно возражала против этого Ишонаим, но она вынуждена была подчиниться этим условиям — в гневе сын мог натворить что угодно.

Почти три недели варил Темирвой какие-то настойки из ведомых ему одному трав и поил ими больную. Сам готовил легкую шурпу, тщательно проверял каймак, кислое молоко и если что-то из продуктов оказывалось не должного качества, то гнев старика обрушивался на всех. Старушка, что подавала снадобья и пищу Ойимшо, боялась лишний раз вздохнуть — Темирвою и это не нравилось.

Как-то Ишонаим поинтересовалась у Темирвоя, как идет лечение больной, так тот даже не нашел нужным ответить. Не очень почтительно разговаривал он и с самим эмиром, скупо и односложно отвечая на его вопросы.

Все стерпел Алимхан ради Ойимшо. И вот, наконец, ей стало легче, она уже сама попросила что-нибудь поесть, поднялась с постели, стала ходить по своей комнате. Но и сейчас Темирвой был непреклонен. Он ограничивал питание, заставлял по-прежнему пить травы, напоминал старухе не забывать смазывать какой-то мазью грудь и спину больной.

Ойимшо поправилась. Саид Алимхан [illegible]. Он приблизил к себе Темирвоя, купил ему дом в богатом гузаре, перевез в этот дом обещанный сундучок с золотом и повелел впускать табиба пред свое лицо всегда, когда тому будет угодно.

— А мне ничего не будет угодно, — ответил неблагодарный старик.— Мое дело лечить больных.

Усмехнулся смелости старца Алимхан. Да, ладно, не перевоспитывать же его на склоне лет. Видно, такой вредный он уродился. Но вот Ойимшо, мою жену, он спас, и за это ему все прощается.

Остальные жены Алимхана были скучны, мелочны и склочны. Между ними постоянно возникали дрязги, и Ишонаим считала нужным применять к ним «особые» меры воздействия. От нечего делать жены и наложницы вышивали золотом и дарили свои вышивки эмиру, пытаясь этим напомнить о своем существовании. Они заплетали мелкие косички на голове, мазали на ночь руки и ноги хной, подводили брови усьмой. Но все было напрасно — эмир почти не вспоминал о своих законных женах.

А вот одноночные жены — девочки 9- 13 лет — доставляли Алимхану истинную радость и наслаждение. Из них и складывался его харам. Самое положение обязывало эмира держать этот клубок молодых чертовок, многих из которых он дарил потом своим приближенным в виде особого расположения за какие-то услуги, и это никому не казалось оскорбительным. Больше того, девица из эмирского гарема — призрачная мечта любого богача и придворного. Ну, что из того, что эмир переспал с ней. Так ведь это эмир. Зато она совсем юная, очень красивая — у эмира других не бывает. К тому же не обойдена вниманием повелителя — значит, и новому ее

хозяину что-то перепадет от этого внимания. Кроме того,
[illegible] — великое благодеяние для самой несчастной, ведь
если она не попадет в другой гарем, то может еще стать
кому-то женой и нарожать детей. Но в гареме были и
такие, кто годами жили впроголодь, забытые всеми на
свете, под жестокой пятой Ишонаим.

Ишонаим при своей властной натуре довольствова-
лась теперь командованием в гареме Алимхана Одн-
ко и через гарем она получала возможность влиять и на
жителей Бухары, и на самого эмира. Обитатели гарема
брались не из воздуха, в большинстве своем они уро-
женки Бухары, хотя немало наложниц доставлялось из
различных [illegible] эмирата. Содержание гарема обхо-
дилось эмиру в большие суммы, и почти полностью ими
распоряжалась [illegible] [illegible] забывая при этом собст-
венные [illegible]

Поставлять новых жен эмиру не просто, если учесть
строгие [illegible] которым девочки в семьях
росли в [illegible] постороннему глазу
ичкари. [illegible] закрывали лицо паранд-
жой, и увидеть [illegible] под такими сетками почти не-
возможно. Ишонаим [illegible] через гадалок, про-
давщиц товаров [illegible] которые имели доступ на
женскую половину домов

Особенно нравилась Ишонаим Гавхаршод. Она раз-
носила краску для бровей и ногтей, приворотные зелья,
чтобы отвратить неверных мужей от распутниц и повер-
нуть их сердца к своей жене, присушливые, чтобы же-
них или любовник не остывал в своей страсти. Умела
Гавхаршод гадать на бобах, на арбузных семечках по
таинственной книге, которую она сама не могла читать,
но которая производила неотразимое впечатление на
клиенток. И еще многие и многие услуги оказыв[illegible]
сводня затворницам ичкари. Она передавала письма,
если в этом была нужда, она устраивала тайные свида-
ния и даже помогала избавляться от плода, если мо[illegible]
дая женщина боялась его появления. Все умела и за [illegible]
бралась ханума. Полная, дебелая, многословная, [illegible]
рая, она легко входила в доверие и располагала к себе
Быть талантливым дипломатом, игроком, выпывать [illegible]
откровенность было ее профессией, и нередко бухарские
женщины сами старались зазвать ее к себе, наслышав-
шись о ее достоинствах. Наживала ханума большие
деньги, иногда получала от несчастной жертвы, попав-
шей в ее сети, такие подарки, что вполне заинтересова-

ли бы эмирского казначея. Дарили ей золотые кольца, драгоценные камни, но чаще всего она получала увесистый кошелек с бухарскими таньга или русскими золотыми рублями. Это ее устраивало больше: камень или кольцо могут узнать, а деньги безлики.

Когда-то Ишонаим обратилась к всепроникающей Гавхаршод с деликатным делом, за которое, конечно, хорошо заплатила, но, став одной из влиятельных женщин Бухары, Ишонаим не забыла услуг ханумы и призвала ее к себе.

— Скажу тебе не для языка, а для уха, Гавхар,— гортанным своим голосом говорила мать эмира.— Ты знаешь, что эмирский гарем не должен напоминать дынный базар, где все желтое и вялое. Мы обеспокоены его самочувствием, хотим доставлять ему истинную радость и не пожалеем денег,— последнее Ишонаим подчеркнула особенно, зная жадность ханумы.— Мы бы хотели знать, в каком саду распускаются новые, наиболее яркие и благоуханные цветы, достойные украсить сад Алимхана.

Улыбнувшись своей хитрой улыбкой, ханума поклонилась матери эмира:

— Да пусть сердце великого эмира наполняется радостью при лицезрении юного лица и гибкого тела! Поистине ваша забота о настроении повелителя беспредельна, и мы приложим свои старания, чтобы пополнить его сад достойными цветами!

Этот разговор был завершен взаимными любезностями и выдачей увесистого кошелька, который тут же исчез в неисчислимо глубоких складках одежды ловкой сводницы.

Теперь ханума, кроме обычного промысла, высматривала юных красавиц на базарах, в домах и банях. Каждая кандидатка в гарем тщательно ею выслеживалась. И если самой хануме по какой-то причине вход в этот дом был закрыт, она тут же находила себе помощь у арус.

Женщины в большинстве своем из среды средних и мелких торговцев, и из еврейского квартала — арус — были в руках ханумы большой силой, и она воспользовалась их услугами и сейчас, получив поручение Ишонаим.

Уже на второй день Гавхаршод собрала около двадцати арус, выдала каждой по большому отрезу ткани, приобретенной на деньги Ишонаим, и распорядилась:

— Сестренки, вы все вхожи в ичкари, и вы видите
[illegible]деньких пери, которые могут усладить взор самого
капризного владыки или самого богатого бая. Если кто-
то из вас найдет для меня такой цветок, выручку от
продажи ткани может оставить себе, а если товар будет
и в самом деле прекрасен, то я сама выплачу еще сто
таньга. Ты, Зайнаб, ходишь вместе с Садыком-«Зин-
гером» и продаешь его швейные машинки, но у тебя
еще нет своей собственной. Если ты найдешь нечто до-
стойное, машинку у Садыка ты купишь для себя [illegible]

Арус [illegible]
беча, [illegible] шумно ще-
лась в бан[illegible] сводница отправи-
[illegible] и Биби-Хальфа.
Только в [illegible] бани допускались женщи-
ны. И [illegible] люди, и все они полу-
чили [illegible] обещанием взамен этого
сообщать о любой девушке, достойной внимания высо-
кого лица

Старый слуга Шаб[illegible]р, который пользовался у эми-
ра особой благосклонностью, улучив момент, внушал
Алимхану:

— Да склонит высокий и светлый эмир свой слух к
речам недостойного своего раба, но женщины — суть
греха и искушение для нас...

Эмир улыбнулся про себя: для старика женщины
уже не могут представлять искушения, но Шабатыр все
еще относит себя к мужчинам.

— ...Был в давние времена могучий и сильный царь
по имени Шарустам, и был он непобедим и грозен для
врагов и соседей, покорял племена и народы мечом и
огнем, и никто не мог спорить с ним на поле сражения.
И была у соседнего хана Касымхана красавица жена
Баадур, о которой говорили, что своей красотой могла
она зажечь страсть даже у старца, а луна стыдливо
уходила с ночного небосклона, завидев в окне дворца
Касымхана лик прекрасной Баадур. И прослышал Ша-
рустам о прелестях Баадур, о ее страсти, ее круглых
бедрах, ее алых устах и прочих ее достоинствах. И решил
отнять Шарустам красавицу Баадур у Касымхана, ко-
торый через своих шпионов узнал о злокозненных наме-
рениях Шарустама. И собрал Касымхан войско и повел
его навстречу войску Шарустама, и встретились враги
в далекой Канибадамской долине, и продолжалась бит-
ва с самого раннего утра до позднего вечера, и никто

не мог одолеть врага. Тогда обуреваемый страстью Шарустам пробрался в стан Касымхана, связал его с помощью своих воинов и привез к себе, где лишил его головы, а тело разорвал на части и бросил на съедение шакалам. Вот какая участь ждала обладателя красивой жены...

Тихо наигрывает за шелковой занавеской дутарист Курбан, который за провинность лишен права лицезреть эмира, но без его музыки эмиру плохо думается. А голос Шабатыра монотонен и скрипуч, рассказывает он с большими перерывами, потому что его постоянно клонит в сон. Но эмир нетерпеливо подгоняет, — ну, дальше что, рассказывай.

— ...Стала прекрасная Баадур самой любимой женой Шарустама. И не мог нарадоваться ослепленный красотой царь ее упругим телом, [illegible], учтивостью и постоянной улыбкой, которой встречала Баадур своего нового повелителя. Но недаром говорится, о великий эмир, что коварство женщины не увезти и на шести ишаках. Нет, не забыла красавица Баадур гибели своего мужа, помнила свою растерзанную родину, знала, как коварно и подло поступил Шарустам. А ее земляки проклинали на всех перекрестках изменницу, осыпали бранью само имя Баадур, и на тридцать лет было запрещено называть девочек этим именем. Справедливо сказать, о эмир, умела прекрасная Баадур притворяться, ибо коварству женщин, как уже было сказано, не хватит и шести ишаков, и царь Шарустам в течение шести лет не верил ее ласкам и любовным утехам. Но за шесть лет можно лаской усыпить и джинна, и уснул как-то на пышной и белой груди Баадур царь Шарустам. И тогда вынула из-за пояса покрытый золотом тонкий и острый кинжал коварная красавица Баадур и вонзила его в самое сердце царя. Так покарала прекрасная Баадур царя Шарустама, который забыл о женском коварстве, поверил ласке и страсти красавицы.

Притча как притча, но эмир Алимхан был дальновиднее глупого царя Шарустама. В своем гареме он никогда не оставался на ночь, никто из его жен и наложниц не знал, где он спит. Не знал этого сонный и равнодушный к мирским страстям старый Шабатыр. Не знала даже его мать, всевластная Ишонаим. Потому что эту легенду о царице Баадур слышал Алимхан еще в детстве и никогда не доверял своей жизни женщине, будь то жена, любовница или даже мать. Женщина

[illegible] женщина, и она предназначена лишь для одного. Как там сказано в коране: «Женщина вам пашня: пашите ее, как вам угодно».

Однако Алимхан не уставал расширять свой харам, [illegible] из помощи Ишонаим.

Хануму пришла к [illegible] Ишонаим ранним утром, очень [illegible] и [illegible]. По указанию Ишонаим ее [illegible] в любой час суток, и хотя Ишонаим [illegible], ханума устроилась в небольшой мехмонхоне и попивала чай со сладостями, которые ей подали слуги. Угощения всегда были наготове — к владычице приходили и приезжали самые неожиданные гости. Ханума теперь при[illegible]алась почти на одном уровне с послами, то[illegible]. Старуха осмотрелась, уселась поудобнее, вкусила угощений и довольно улыбнулась. Доступ [illegible] эмира. Саида Алимхана получает не [illegible] может надеяться на большие [illegible] какая-то птичка попадет не в ту [illegible] думали ее родители, эмирская клеточка [illegible] девушка с умом, то может иметь немалые [illegible] потом оказаться женой какого-нибудь бая, тахсаба или раиса.

Только час спустя показалась величественная Ишонаим, страдающая одышкой, властная и недоступная. Ханума поцеловала полы ее платья:

— О достойнейшая из женщин, повелительница и мать всех женщин Бухары! Да позволит мне великая царица возложить к ее ногам подарок, достойный самого великого эмира!

— Говори дело, по какому пришла, Гавхаршод,— поморщилась Ишонаим.

Ханума заклanялась часто-часто, попятилась:

— Моя госпожа, верные мне люди...

— За мои деньги верные,— усмехнулась недобро Ишонаим, так что ханума затрепыхалась, а не донес ли кто на нее. Но свое волнение она сдержала, потому что знала, насколько часто владыки злобны без причины.

— В бане Шишахона есть у меня верный человек,— затараторила сводница еще совсем [illegible] Ишонаим,— в женский час появилась в бане в сопровождении матери и тетки козочка по имени Гульчехра. Я не видела в Бухаре ничего лучше, о госпожа! Этот стан, эти груди, бедра, шея могут взволновать и самого глубокого старца, я уж не говорю о молодом, полном сил мужчине. Эти щечки, глаза, косы...

— Сколько? — коротко спросила Ишонаим.

— Пять тысяч, — тут же выпалила ханума.

— Сколько ей лет? — после понятной паузы спросила Ишонаим.

— Одиннадцать лет.

— Из какой семьи? Кто ее отец?

— Он держит гончарную лавку у Каршинских ворот, семья большая, живут бедно

— Ты уже говорила с родителями?

— Они прогнали меня.

— Конечно, уже какой-нибудь джигит копит калым за нее, — презрительно выпятила толстую губу Ишонаим. — Но эта шалунья действительно так хороша, как ты говоришь, Гавхаршод? Мы не намерены платить ни тебе, ни ее родителям за нечто, недостойное эмирской опочивальни!

— Госпожа, я немало повидала девушек, но поистину говорю, такой я еще не встречала!

— Мы должны видеть ее! — решительно заявила Ишонаим. — Ты сможешь ее привести к нам, Гавхаршод?

— Мне этот кусочек не по зубам. Ее отец обещал избить или спустить пса, если увидит меня около своего дома или даже вблизи него.

— Хорошо, — протянула Ишонаим, — ты далеко не уходи, ты нам скоро понадобишься.

Ханума пристроилась в комнате, указанной ей слугами, и расположилась отдыхать с сознанием исполненного долга, а еще более в предвкушении хорошей награды.

К вечеру несколько человек из личной охраны Ишонаим в сопровождении Гавхаршод отправились в квартал гончаров. Дом отца Гульчехры не выделялся добротностью и богатством. И дувал еле стоит, и калитка старая, от стука одного из солдат едва не отвалилась с петель.

Стоны и слезы, мольбы и увещевания — что еще бывает в таких случаях, когда отцу и матери объявили, что их дочь Гульчехру приглашает к себе в гости Ишонаим? Слишком хорошо знали в Бухаре, что означает такое приглашение! Не слушая бедных стариков, насыпав им не слишком большую горку таньга, уволокли из дома девочку, которая от страха почти потеряла рассудок.

В тот же вечер Гульчехра предстала перед Ишон-

аим. Надменная, в богатых одеждах, с массивными золотыми украшениями мать эмира вселила в несчастную настоящий трепет.

«Хороша, поистине прекрасна эта девчонка,— оценивающе оглядывая Гульчехру, думала Ишонаим,— Алимхан оценит такой подарок. Будь она из знатной семьи, могла бы стать и законной женой, но, учитывая ее род, хватит с нее и роли одноночной жены».

— Отпустите меня, о отпустите меня!— только повторяла испуганная девушка.— Госпожа, отпустите!..

Ишонаим улыбалась: «Ничего, ничего, козочка. Поплачешь и успокоишься. Как плакали и успокаивались до тебя. Как будут плакать и успокаиваться после тебя. Ты и в слезах вон какая красивая. А такую сынок не обделит вниманием и лаской. Значит, не обделит и драгоценностями. Будешь жить при мне, обучим этикету, как вести себя с эмиром, научим петь, танцевать. Будешь ты, правда, вечной затворницей, никогда не выйдешь из урды и за ворота Арка. Разве лишь тогда, когда эмир потребует к себе — поздно ночью в закрытой арбе тебя доставят к повелителю. Но мусульманка и создана для этого. А эмиру ты точно понравишься».

Старухи из гарема увели Гульчехру, дали попить, отчего она стала как-то равнодушно относиться к происходящему, и ее натирали какими-то снадобьями, массажировали, заплетали косы, сурьмили брови, нацепили богатые браслеты, кольца, на голову примерили дорогое украшение, а потом показали ей себя в зеркале.

К вечеру ее привели в большой зал, настолько богатый и обширный, что Гульчехра уже не верила в реальность, а считала, что оказалась в сказке. Но сказке страшной, злой, ведущей к гибели.

Заиграла музыка, она была то быстрой, то медленной, расслабляющей, усыпляющей. Музыкантов Гульчехра не видела, они сидели за тонкой прозрачной занавеской. Потом выпорхнули на середину зала восемь танцовщиц, гибких, стройных, страстных в своем танце, полуобнаженных.

Их вид поверг Гульчехру в еще большее смятение. Ее посадили недалеко от Ишонаим, и она боялась поднять глаза и на танцовщиц, и на эту женщину.

— Тебе здесь нравится, Гульчехра?— спросила Ишонаим.— Ты будешь все это видеть и слышать каждый день, если послушаешься меня.

— Нет, госпожа, мне здесь страшно,— едва выговорила девушка.

— Эмир хочет взять тебя в жены,— строго напомнила Ишонаим.— И ты смеешь отказываться от такой милости эмира? Самого эмира? А ты подумала, что будет с тобой? Эмир добр, благороден, он сделает тебя и твоих родных богатыми и счастливыми. А если ты принесешь ему со временем ребенка, то будешь жить в халве и сахаре.

Голова кружилась, во рту было сухо и жестко, горчило. Гульчехра ничего [illegible] — [illegible] чужое, неприятное, пугающее.

Алимхан уже знал о Гульчехре, но у него не было сегодня времени думать [illegible]. Дворец готовился к приему французского [illegible]. Декор в зале обновили [illegible]. Освещение во дворце теперь электрическое [illegible] прихвастнуть этим [illegible] гостем. Он уже оделся [illegible] выглядеть вполне цивилизованным [illegible] мифы о варварстве и [illegible] Ишонаим.

— Сын мой, да не [illegible] сердце от новой радости для твоего бл[illegible], мне привели одну красавицу, [illegible] увидишь. Мы ее приготовили достойно, чтобы она могла предстать перед твоим солнцеподобным ликом,— слишком торжественно начала Ишонаим.

— Ну что же, покажи мне эту красавицу,— сдержанно ответил эмир, в последнее время не доверявший вкусам маманш. И когда почти насильно втащили в его кабинет Гульчехру, он разулыбался довольно: мать на этот раз не ошиблась в выборе. Мулла для заключения брачного союза уже был наготове. Но сегодняшняя ночь пройдет в беседе с посланником Франции и последующим пиром в его честь, поэтому как бы ни хотел эмир полакомиться этим ягненочком, придется отложить.

— Завтра войдешь ко мне, Гульчехра, а сегодня мы очень заняты. Что бы ты хотела просить у меня?— милостиво заговорил эмир.

— Хотя бы еще одну ночь провести в родительском доме,— чуть слышно проговорила Гульчехра.

— Мы полагаем, за ночь она не передумает, Ишонаим?— он не стал называть Ишонаим матерью в при-

сутствии этой девчонки.— Впрочем, если она попытает-
ся скрыться, все ее родные до третьего колена попадут
в зиндан!— и эмир громко рассмеялся.
В сопровождении трех старух Гульчехру отпустили
на ночь домой. Ишонаим встретила это решение сына
неодобрительно: не водилось такого в эмирских харамах,
чтобы даже одноночную жену отпускали домой!
Ночь эмир провел в беседах и последующем угар-
ном пиру, после которого отсыпался в какой-то из сво-
их тайных спален, а во второй половине дня вспомнил о
вчерашней ласточке и хлопнул в ладоши:

— Эй, кто-нибудь! Призовите сюда Ишонаим!

Она появилась тут же, словно ждала этого вызова.

— Гульчехра здесь, мой сын и мулла готов,— пре-
дупредительно сказала Ишонаим. Эмир ухмыльнулся,
он знал, к чему такая готовность, и кинул ей полный
кошелек с золотыми. Мать по весу определила, что
награда высока, достойна такого подарка, и довольная
удалилась.

Снова Гульчехра стояла поодаль от эмира в при-
сутствии Ишонаим, старухи и муллы.

— Согласна ли ты, Гульчехра, стать женой хазрата
эмира Саида Алимхана?— громко произносит мулла
обычную в таких случаях формулу.

— Да, о пресветлый эмир Саид Алимхан!— под-
дельным голосом отвечает за Гульчехру старуха.— И я,
достойная только целовать пыль твоих туфель, согласна
разделить с тобой супружеское ложе и стать твоей же-
ной!

И вдруг размеренный, годами освященный обряд сва-
товства одноночной жены был нарушен голосом самой
Гульчехры:

— Дайте мне сказать слово, о великий и добрейший
эмир!

Алимхан гневно свел брови на переносице, подумал
при этом, что награда Ишонаим оказалась слишком
высока.

— Говори,— недовольно проворчал эмир.

— О, великий эмир! Ты всем нашим отцам и нам
всем отец родной! Пощади бедную девушку, не дай по-
гибнуть! Мы простые и бедные люди, и я стану хоро-
шей женой и матерью какому нибудь простому челове-
ку. А после вас моя жизнь будет несчастной, потому
что не будет у меня семьи, своего дома и своего сча-
стья. Не будет рядом моей матери и моего отца. Неуже-

ли вам, могущественный эмир, так уж нужно погубить меня, вашу недостойную рабу?

Метнулось в испуге лицо муллы. Страшными глазами посмотрела на Гульчехру Ишонаим и сделала знак. Тут же слуги закрутили руки девушке, а она, не пытаясь вырваться, горько плакала.

— Кто? Скажи, кто тебе внушил эти речи? — ледяным тоном процедил эмир. — Кто?! [illegible]ознаться!

Рыдающую Гульчехру [illegible] в подвал.

Взбешенный, ходил [illegible], раскидывая полы дорогого халата. [illegible] против его желаний, дочери самых [illegible] города охотно становились его [illegible], и будущее их было обеспечено его [illegible]. [illegible] всегда чувствовали его, эмира, [illegible]. А тут дочь какого-то гончара, горшечника, [illegible] против его милостей, заговорила о его [illegible].

— Кого вы мне привели? [illegible] Алим-хан Ишонаим.— Кто [illegible] говорить такие слова?

— Не нужно было отпускать ее вчера домой,— тихо ответила Ишонаим.

— Причем тут — отпускать [illegible]?!

— Послушай своих слуг, о эмир,— еще тише ответила Ишонаим.

Вошел громадный, весь из крутых мышц, костолом, опустил тяжелые руки:

— Девчонка говорит, что мысли эти ей внушил вчера ее отец...

Ишонаим торжествующе глянула на эмира. Он махнул платком, зажатым в кулаке..

Наутро Бухара содрогнулась от жуткого зрелища. На стенах Арка на кривых кольях торчали две окровавленные головы, девичья Гульчехры и седая, всклокоченная — ее отца. Глухой ропот прошел по улицам, базарам, чайханам. Люди шепотом передавали друг другу историю несчастной Гульчехры.

Эмир весь следующий день был вне себя, а вечером на его ложе возлежала другая девушка. Он терзал ее юное тело, наполнял ладони тугими ее грудями, кусал ее губы, раздирал ее, покорную и испуганную, а досада от бунта Гульчехры не проходила. Этого противоречивого, сложного, непонятного человека возмутило такое сопротивление. Потом, умиротворенный, сам измученный, он лежал около новой своей жертвы и отре-

шелко думал, что и эта, совсем ему не близкая, чужая, пройдет в его памяти без следа, исчезнет где-то в вихре душной жизни и он никогда не вспомнит ее имени, ее любви, ее тела, потому что она была только одной из многих, какие бывают у него каждую неделю. Но остановить себя, свои ненасытные желания он уже не мог и не хотел. Ему доставляла жестокую радость эта необузданная власть над телами, душами, жизнями своих бессловесных подданных.

В Бухаре случай с Гульчехрой и ее отцом забылся не скоро. Гнетущее чувство бесправия и бессилия навис[illegible] над древним городом, в каждом доме остался осадок от расправы эмира над несчастной и ее отцом. Кто [illegible] семьи коснется такая же беда? Чьи горькие [illegible] прольются в ночи? Чья дочь разделит судьбу [illegible] И не станет ли она примером для других [illegible] Бухары и не восстанут ли они [illegible] пойти на плаху, чем сделаться игрушкой в руках бессердечного тирана?

[illegible] еще тень временами накрывала лицо эмира, [illegible] досада прорывалась сквозь надменность и [illegible] вернись тот вечер, и отпустил бы он с мимолетной шуткой непокорную Гульчехру, а то и одарил бы ее дорогими подарками за смелость. Но вечер прошел, а ее голова высыхала под лучами солнца.

— Отдайте их родным,— не глядя в глаза казн-калону буркнул эмир, показав на головы казненных, когда они проезжали мимо стен Арка. Но даже в час страшного суда эти несчастные предстанут перед взглядом аллаха не в обычном своем обличье, а неся отрубленную голову в руках, как говорит пелам. И не было покоя в сердце эмира.

Ширин узнал о гибели Садыка случайно. Он пришел к воротам Арка, чтобы встретиться с Абдурауфом, который теперь в качестве коменданта Мохи-Хасы часто приезжал к эмиру за поручениями.

— Мой друг,— говорил Абдурауф, беря за локоть Ширина и направляясь к Ляби-хаузу,— скоро нам поручение от эмира. Скоро рамазан, и вам надлежит отделать праздничные наряды дворец, потому что будет большой прием... Да куда вы все время оглядываетесь? [illegible]

— Что это выставлено на стене? [illegible] Ширин.— Великий аллах, да это же головы! [illegible] опять казнили вероотступников?

— Это гончар Садык и его дочь Гульчехра...

— Они опасные преступники? Разбойники какие-нибудь?

— А почему вы так взволнованы, усто?

— Но я знал усто Садыка и его дочь! Почему меч аллаха коснулся этих несчастных? Что они сделали?

— Гульчехра отказалась стать одноночной женой эмира,— глухо ответил Абдурауф, опуская глаза, словно сам был повинен в смерти Садыка и его дочери.

— О всемогущий аллах, убежище правоверных! Теперь в Бухаре опасно рожать дочерей!— воскликнул пораженный Ширин.

— Тише, тише, мой друг,— предупредил Абдурауф,— за такие слова в два счета в зиндане окажешься.

Ширин выслушал наставления по подготовке к празднику вполуха и ушел домой, вконец расстроенный. Участью всегда доброжелательного гончара Садыка и его дочери-подростка. «О аллах, если ты велик и справедлив,— думал он горестно по дороге,— и если эмир является твоим наместником на земле, оплотом и защитой правоверных, то как же ты мог допустить такое? Справедливо ли, что гибнут невинные только по прихоти самодовольного правителя, который тоже должен предстать перед тобой?»

Саодат не сразу поняла настроение своего мужа. Ширин весь вечер молчал, а потом взял дутар, и тихо наигрывая, что-то пытался слагать. Но с его уст срывались лишь горькие сетования на жалкую жизнь, висящую на волоске, которую так легко оборвать по капризу жестокого властителя.

Тяжесть от расправы над двумя невинными людьми навсегда осела в душе Ширина, и если с годами он забывал о ней, то малейшее напоминание о чьей-то безвинной смерти сразу вызывало образы двух людей, которые стали жертвой страсти, прихоти и произвола самодержца.

Глава IX

ВОПЛОЩЕНИЕ ЗАМЫСЛА

Усто Абдугафур почти не вмешивался в дела и замыслы Ширина, хотя все еще считается, что Ширин работает у него. Абдугафур отделывал уже готовые постройки

...рама, беседки, а в главный зал даже не входил, потому что там стояли голые стены, а Ширин еще не сделал ...горным счетом ничего. Представители эмира часто наезжали в Мохи-Хосу, проходили анфилады дворца и хмурились — в главном зале работы не велись. Эмир не приезжает давно, уверенный, наверное, что его загородный дворец уже заканчивают. Но что будет со всеми ними, когда он приедет? Этот тревожный вопрос не раз задавал себе старик Абдугафур и не мог придумать, что он ответит эмиру. Во всем, конечно, виноват Ширин. Ну и что с того, что он намерен там поставить зеркала? Стена от этого не станет краше, и беды им всем не избежать. А Ширин молчит и почти не выходит из своей мастерской. Его помощник сарбаз Сухроб вообще исчез и никто не знает, где он.

Впрочем, Ширин знал. Сухроб проводил целые дни в [illegible] клея не находилось.

Вот уже целую неделю он прожил в доме старика Салима. [illegible] знал, что ищет этот долговязый сарбаз, [illegible] ему и не отказывал. Он рассказывал. Его рассказы были длинными, прерывались долгими паузами, но Сухроб все терпел.

— Видишь, сарбаз,— старик так и не мог запомнить имени Сухроба,— наша Бухара поистине сказочный город, ему уже тысяча и тысяча лет, а древние ремесла живут, и клеевары — одни из древних. Ты скажешь, зачем клей? Мало кто знает, что мы клей продавали даже в Англию и Испанию. Наш клей по капле можно продавать, такой ценный..

«Эге,— думал про себя Сухроб,— этот бабай цену набивает и сдерет с меня так, что потом только карман заклеивать останется. Зачем он мне все это рассказывает?»

— Ты скажи, сарбаз, где еще есть такие мясники, которые могут так разделать барана, как у нас в Бухаре? Ведь каждую жилку отделит от туши, каждую косточку очистит и порубит. Пойдем сегодня в мясные ряды, посмотришь, как они делают.

Покорно тащился Сухроб за стариком в мясные ряды. Старик подолгу беседовал с мясниками, ка[illegible] вой, цокал языком и шел дальше. Сухроб ждал.

Но в конце недели к старику Салиму стали прибегать мальчишки и приносить свертки. Салим придирчиво рассматривал какие-то кости, обрезки мяса, коренья трав, а вскоре во дворе задымила клееварка. Подручные ста-

рика Салима, чумазые мальчишки, носились как угорелые, под окриками, а он их гонял на базар еще за какими-то снадобьями, заставлял поддерживать несильный огонь и все время мешать свое колдовское варево. Теперь он не кормил Сухроба сказками, был сосредоточен и озабочен. Сухроб пил чай, ел лапшу с требухой и спал на курпаче.

Только на пятый день перестала дымить адская кухня и варево теперь остывало, укутанное старыми одеялами. Старик снова повеселел и стал говорливым.

— Чтобы сварить хороший клей, нужно много знать, сарбаз. Какая жила и от какого бычка или барана годится, нужно все время убирать накипь, которая ослабляет клей, ты вот переходи ко мне, я тебя научу этому искусству. Будешь первый клеевар на всю Бухару.

Налив тягучей массы в чистое ведро и укутав тряпкой, Салим вручил его Сухробу:

— Неси своему ганчкору и пусть он пробует, а потом придешь ко мне и скажешь, что у него получается. Я даю тебе всего одно ведро клея, остальной оставлю здесь в чане. Будешь приезжать и брать понемногу. Пусть аллах благословит труды твоего ганчкора, Сухроб-сарбаз!

Оказывается, лукавый старик хорошо помнил имя Сухроба. В тот же день у Ширина появился весь провонявший какими-то немыслимыми запахами Сухроб и торжественно выставил ведро клея:

— Вот, пробуй! Если и этот клей не пойдет, то никто больше тебе не сварит другого.

Ширин, как показалось Сухробу, даже не очень обрадовался. Поставил в угол ведро и снова углубился в чертежи:

— Утром ты мне будешь нужен.

— Я останусь здесь до утра, Ширин.

Общий замысел росписи охоны уже сложился. Но Ширин делал эскизы, которые никогда не будут воплощены. Ему страстно хотелось расписать стены живыми рисунками, с изображением сказочных животных, сильных и красивых людей. Он знал, что это напрасный труд, но оторваться не мог. Насколько бы ярче заиграл ганч, будь его воля и право изобразить картины реальной жизни и волшебные образы сказок. Но он слишком хорошо помнил, как изгнал его дядя Нишан ученика, который рисовал живые фигуры, и со вздохом отложил рисунки.

Клей на маленьком участке прочно прихватил ганч к зеркалу. За ночь его белые комочки намертво приморо-

зились к поверхности стекла, и Ширин положил на подставку большое зеркало. Работа началась.

А эмир Алимхан развил бурную деятельность по облагораживанию Бухары. Он потребовал от гузарских раисов, чтобы улицы поливались и подметались, а площадь перед Арком стал выкладывать плитами. Сотни каменотесов трудились под палящим солнцем, обрабатывая и подгоняя камень. В эти же дни шли постоянные приемы представителей иностранных фирм, эмир раздавал привилегии налево и направо, чтобы торговые гости Бухары могли свободно продавать и покупать. Приток денег в Бухару должен дать новые стимулы для оживления деловой жизни города и эмирата. Теперь уже множество иностранных представительств постоянно осели в Бухаре, появились кварталы, заселенные инородцами.

Занявшись торговлей и дипломатией, эмир опять отошел от насущных дел внутри государства. Сотни просителей располагались вокруг дворца, жили тут неделями. Кушбеги теперь старался не вмешиваться в эти дела, оставив все жалобы на усмотрение эмира, кази-калон дал негласное указание казиям поменьше выносить приговоров. Какая-то странная тишина наступила в городе. Снова появилось много бродячих дервишей, нищих, воров. Кушбеги не принимал мер по пресечению грабежей.

А эмир, постоянно занятый непонятными для большинства его придворных вопросами, вел себя как-то странно: о чем-то советовался с русскими высшими чиновниками, съездил в Ташкент и встречался там с генерал-губернатором края и наместником. Только ближайшим сподвижникам высказал он свою озабоченность:

— В России начались волнения, начались восстания, мятежи, народ оказывает сопротивление властям. Неспокойно в Ташкенте и Асхабаде, особенно на железной дороге и в воинских частях. Нам пока это не грозит, мои министры. Бухара остается верным убежищем ислама, но мы должны быть внимательными ко всему происходящему. Мы закупили большую партию оружия, снаряжения, несколько пушек. Кушбеги, вам с военным министром нужно привести в порядок армию, держать ее в готовности. В вилайетах разместить сарбазов для соблюдения порядка. Нужно увеличить численность армии.

Это совещание проходило в зале, приготовленном для приемов гостей. Эмир ходил взад и вперед, заложив руки за спину.

— Мы просили русские власти в Ташкенте послать сюда войска, нам пока отказали, потому что это может насторожить население эмирата. Но на железной дороге русская армия берет под свой контроль всю работу. Я требую, чтобы сейчас, когда в империи так неспокойно, власть в Бухаре оставалась твердой и непоколебимой. Держать в повиновении все население, пресекать всякое недовольство и попытки мятежа и обо всем сообщать нам. Мы решили устроить осмотр наших войск. Военный министр должен привести армию в надлежащий вид, а не в толпу бродяг, которые слоняются по [illegible] и [illegible]руют и нищенствуют! Держать всех в казармах, [illegible], кому это разрешено, и всегда готовыми к действию.

— Хвала аллаху, наш великий эмир обратил [illegible] внимание на дела эмирата,— сказал кази-калон, [illegible] из зала.

— Твердая рука наведет порядок в любом государстве,— уклончиво ответил ему кушбеги.

И жители Бухары очень скоро почувствовали твердую руку эмира. Сразу увеличились налоги, сотни бухарцев попали в тюрьмы и долговые ямы. В доме горожан поселяли насильно сарбазов на постой. Усилились поборы с торговцев, на городских воротах с приезжих взимались повышенные подати. При этом никто не забывал собственного кармана, а в казну эмира хлынул новый приток денег, в которых он сейчас особенно нуждался. Нужно укреплять и обновлять армию, нужно поддерживать связь с зарубежными фирмами, нужно строить и содержать громадный аппарат, который теперь еще больше разрастался. Суды отправляли после палочного внушения десятки людей на службу в сарбазы. Выплату же жалования армии практически прекратили и переложили заботы на ее содержание на простолюдинов, в чьих домах вольготно расселились эмирские солдаты.

Всего этого не знал усто Нишан, которому привели на постой шесть сарбазов. Это было неслыханное деяние. К мастерам: меъморам, ганчкорам, облеченным званием «усто» никогда не поселяли солдат. Старик пошел на совет к нынешнему старейшине меъморов усто Абдурашиду.

Усто Абдурашид уже давно не работал сам, но содержал большое количество учеников, которые и сохраняли славу некогда ловкого и расторопного мастера. Двое из учеников прислуживали сейчас хозяину и его гостю. После получасовой беседы о посторонних, но

столь важных делах, усто Нишан стал излагать суть своей обиды.

— Еще никогда Бухара не слышала о таком бесчинстве гузарских властей, о почтенный Абдурашид. Мне, усто Нишану, ганчкору и мельмору, привели на постой шесть эмирских солдат! Мастера в Бухаре всегда почитались, освобождались от многих повинностей, дабы не мешать их рукам творить во славу аллаха и его убежища веры — славной Бухары. Ни один властелин не осмеливался нарушить этот закон. И вот мне приводят на постой солдат, обязывают кормить их и поить! Как будто я простой горшечник или водонос! Мои деды получили почетный титул мирзы за многие услуги эмирам, а сейчас меня унижают и отдают на разграбление всегда голодным сарбазам. Да свершится воля всевышнего, но я не могу перенести этот позор.

Старейшина Абдурашид только сочувственно молчал и все время покачивал головой в знак согласия. Долго, очень долго говорил усто Нишан, но старейшина молчал. Да, это так, к мельморам никогда не ставили на постой солдат. Но уже сколько лет усто Нишан не строит, закрылся в своем подворье и доживает свой век в уединении. Он отказал своему племяннику в дочери, он не отдал ему деньги, предназначенные для свадьбы. Или это только поклеп злых языков соперников? Но какие сейчас у Нишана соперники, если он уже давно не строит?

— А как живет ваш племянник, уважаемый Нишан? — негромко, с расстановками спросил Абдурашид.

— Вы спросили — племянник, домулло Абдурашид? Этот осквернитель ислама Ширин? — заволновался Нишан, а Абдурашид только покачивал в такт его словам своей чалмой. — Это вместилище греха, этот... — Нишан осекся, увидев непроницаемое лицо старейшины. — Его отдали в сарбазы, домулло.

— Да... В сарбазы... Способного мельмора и ганчкора — в сарбазы... — горестно покачивает головой старейшина.

— Но это эмир! Эмир так повелел!

— Да-да... Конечно, эмир, — остался беспристрастным Абдурашид.

Усто Нишан уже не помнил, как выбрался из дома Абдурашида, что говорил. И почему тот спросил про Ширина? Но неужели он, усто Нишан, не прав, отказав в доме и дочери человеку, нарушившему установления шариата и запреты самого пророка Магомеда? «Алла иль

алла, Магомед али алла»... Почему его теперь сторонится старейшина, не хочет помочь? Неужели мемморы осуждают его за Ширина? Может быть, сам Ширин наговорил всем о нем что-то непристойное и недостойное? Но, если так, то Ширин показал себя еще и отмеченным печатью неблагодарности. Ведь столько лет Нишан учил его ремеслу, он, Нишан, вручил ему андаву и тешу! Он, Нишан, сделал из сироты мастера! А если Ширин пал в бездну греха и порока, то и суд праведный покарал вероотступника.

Все последующие дни Нишан с болью наблюдал за бесчинствами сарбазов в его доме. Они готовили себе пищу, употребляя для костра под котлом [illegible] для ганча, сожгли даже одну доску для [illegible], а когда он попробовал усовестить их, один из сарбазов со смехом оттолкнул его:

— Разве ты не видишь, старик, что разжигать сухими досками лучше, чем сырыми ветками?

И Нишан собрался во дворец эмира с жалобой. Челобитную он писал несколько дней, перечисляя все свои заслуги, воздал должное своей верности законам шариата; упомянул о своих учениках, опустив недостойных и восхваляя возвысившихся, не забыл о древности своего рода и наградах и подарках предыдущих эмиров, а потом выложил свою обиду на раиса, который поселил в его доме этих потерявших обличье сарбазов.

Переписав у каллиграфа несколько раз свою челобитную, Нишан надел богатый халат, новые кауши, обновил чалму и в сопровождении двух мальчиков, которые несли за ним коран и опахало, отправился в Арк.

Мирза Ташпулат, прищурив один глаз, долго читал бумагу, потом передал ее писцу Талипу:

— О мой добрый Талип, вы должны вписать этого почтенного аксакала на очередь к эмиру! Его жалоба поистине достойна внимания.

Талип обмакнул перо в чернильницу...

День за днем проводил старик во внутреннем дворе, где ждали эмирской справедливости такие же глупцы, как он. Уже несколько раз передавал он дорогие подарки и деньги писцу Талипу и тот горячо заверял его, что вот-вот эмир призовет его, выслушает и явит ему свою милость. Начав тяжбу весной, Нишан провел все лето в ожидании, и когда вдалеке замаячила осень, писец в который раз заверил, что ждать теперь осталось совсем, совсем немного...

Эмир почти каждый день видел эту назойливую толпу, взывающую к его милости, но только досадливо отмахивался. Эти мелочные тяжбы тяготили властелина, и он из месяца в месяц откладывал их.

А усто Нишан стал почти оседлым жителем заднего двора. Он теперь купил серенького, мышиного цвета ишачка и приезжал сюда каждое утро. Привозил с собой коврик и подушку для отдыха, а в узелке лепешку, сушеные фрукты [illegible] кусок холодного мяса. Как с постояльца, с [illegible] за место для него самого и место у [illegible] ослика. Бойкие слуги мирзы щепетильно вели [illegible] нялись, напоминали:

— [illegible] Нишан, вы уже три дня не платите за новую [illegible]! [illegible] вы хотите, чтобы мы сказали страже, [illegible] во двор?

[illegible], Нишан развязывал поясной [illegible] еще за одну неделю.

В [illegible] не в себе. Только вчера он узнал, что [illegible] от одного из сарбазов, проживавших в [illegible] скандал был в доме, отец запер грех[illegible]мок, но огласке эту беду предавать [illegible] могли с позором наказать на Регистане [illegible] разврат. А эти сарбазы стали невыносимы, [illegible] окончательно, что будет любой ценой добиваться милосердия от эмира и наказания разбойников [illegible].

Эмир, как сказали ему Мирза Ташпулат и писец Талип, выехал в Мохи-Хосу, дабы своим собственным глазом увидеть построенное, одарить прилежных и наказать нерадивых. Нишан устроился поближе к входу во дворец. Правда, его халат уже потерял блеск новизны, был в подтеках и пятнах, серой стала некогда его белая чалма, но за поясом он держал тешу — символ его принадлежности к цеху зодчих.

Неспешно приближался эмирский выезд к Мохи-Хосе, а там уже с трепетом ждут его верноподданные.

Все строительство идет к завершению, подремонтированы, восстановлены Эски сарой, его хаузы, гульзоры. Но здесь эмир долго не задержался. Он спешил к новому дворцу, воплощению тщеславных планов возвеличивания своего царствования. Начал он осмотр с хазины — хранилища его личных богатств. Здесь все сделано заново, почти все проекты он видел сам на бумаге и теперь придирчиво смотрел, так ли все воссоздано, как он хотел? В хазине были предусмотрены шарбатхона, собствен-

но хазина, уборные и вместительные амбары, где должны храниться большие запасы продовольствия, продуктов и всяческих припасов для пиршеств.

Эмира сопровождали главный строитель усто Абдурахим, русские инженеры Сакович и Марголис. Алимхан переходил из помещения в помещение так быстро, что придворные и строители едва поспевали за ним.

Новый дворец он начал осматривать прямо с дарвазхоны. Парадный въезд как-то не впечатлил. Арочный вход с воротами, колонны ворот были [illegible] и [illegible]рыми, хотя два льва на входе призваны были внушить въезжающему сюда благоговейный трепет перед могуществом повелителя Бухары. Зубцы наверху создавали кое-какое сходство с крепостью, хотя это было не более, чем дань возвеличиванию эмира: Ситораи Мохи Хоса не предназначалась для сдерживания осады неприятеля, а веселые вазоны на колоннах вносили странный диссонанс в общий вид въезда. Но сами ворота делали лучшие резчики. Они вырезали на плахах витиеватый узор, украсили их медными гвоздями с большими шляпками, а ручки представляли затейливые кольца, отчеканенные у лучших кузнецов и чеканщиков трудолюбивой Бухары. Алимхан подумал, а не спросить ли, какие мастера делали эту красоту, но счел, что ему не приличествует расспрашивать об именах его подданных: он, эмир, воздвиг этот дворец, ему будет и вся слава.

Рунхаули-даруи, внутренний дворик, уже замощенный, красивый фонтан посредине понравились эмиру сдержанностью оформления и соразмерностью. Он постоял на краю большого айвана с тонкими высокими колоннами и искусно отделанной стеной, с резными перилами, представляя, как будет проводить здесь приемы и устраивать веселые зрелища. Что же, все пока хорошо.

Дом для Ишонаим он построил в саду так, чтобы она была всегда на виду, и не могла плести свои сети вдали от бдительного сына. Эмир довольно усмехнулся. К тому же мать будет присматривать за порядком в его обширном гареме, где, правда, преуспевает и сейчас в Бухаре лучше любого евнуха. Хауличу — помещение для служанок гарема — он даже не удостоил вниманием, зато павильон в саду,— место будущих уединений с пери из гарема или с юным бача, осматривал с пристрастием сластолюбца, заранее рисуя себе все наслаждения, которые он будет тут вкушать.

Новый дворец усладил глаз эмира. Передняя, гостиная, приемный зал и большой зал в двухэтажном павильоне еще не были обставлены, и мебель только подбиралась у торговых партнеров из Финляндии и Италии.

В будущем Белом зале трудились только четверо. Сам Ширин, сарбаз Сухроб и двое подручных. Эмир потемнел лицом и обернулся к Абдурахиму:

— Что же это, уважаемый главный зодчий? Этот зал еще и не думают делать, хуже, хотят меня поселить среди голых кирпичных стен?

— Наш молодой друг Ширин Ахмадов обещает, что зал будет готов в одно время со всеми остальными помещениями,— счел нужным вмешаться инженер Сакович, которому было позволительно не считаться с этикетом.

— Как он успеет? — не отходя от гнева, спросил эмир, но вдруг осекся: на стене уже было укреплено большое зеркальное стекло, на котором в сказочном сплетении выделялись прекрасные узоры из гуль-ганча.

Ничего подобного эмиру еще не приходилось видеть. Ганч на стекле? Да не просто на стекле, а на зеркале? Даже одна часть стены, отделанная Ширином, уже давала возможность представить, как будет выглядеть весь зал.

— Мы заказали еще несколько больших зеркал у немецкой фирмы,— пояснил Сакович,— а пока хватит только на полторы стены. Но Ширин ставит зеркало с уже сделанным узором, так что сразу закрывает большую часть.

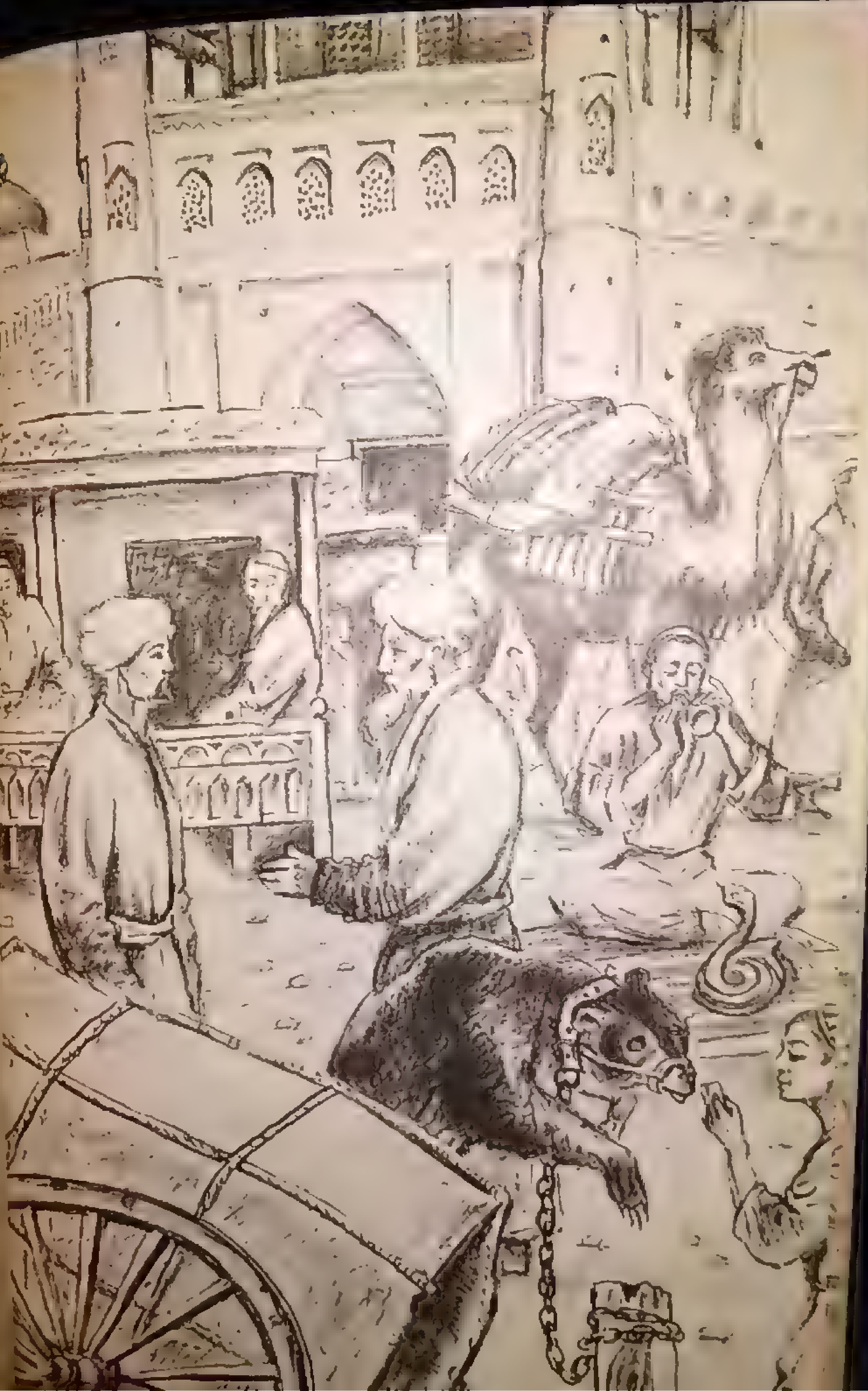
Эмир сквозь прикрытые веки смотрел на стену, потом также свысока посмотрел на трущего ладони от волнения Ширина.

Память эмира превосходна, он хорошо помнит, как принял этого невысокого меъмора в Арке вместе с другими зодчими, как позволил ему смотреть состязание ошпазов. Но эмир не должен показывать, что помнит таких незначительных лиц, как ганчкор.

— Это ты, ганчкор, делаешь стены?— едва разжимая губы, спросил эмир.

— Да, господин, — ответил Ширин, и придворные ужаснулись: мастер назвал эмира без надлежащих титулов и славословий.

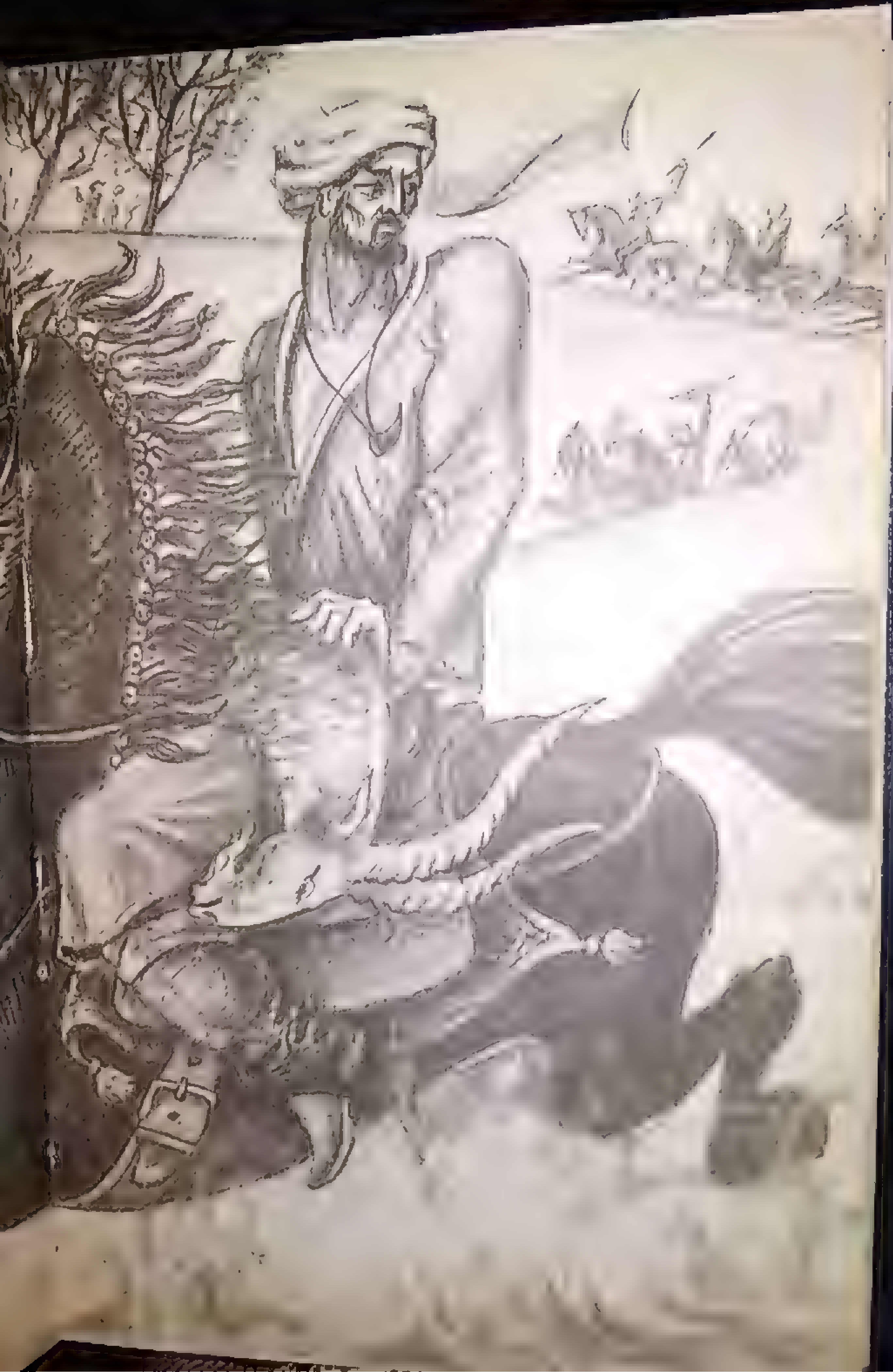
— Где это ты увидел орнамент на зеркале? Я что-то не припомню,— с недоверием спросил эмир, снова оборачиваясь к стене, поразившей его.

















— Нигде, го…
это для дворца,…
волновался сейч…
лонил замысел,…
— Это правд…
эмир, оборачива…
— Да позвол…
тонного вашего…
даже утвержда…
спокоч ответил…
— Так это т…
эмира где-то в с…
— Я не хоте…
нул Ширин.
Эмир еще по…
ни слова Ширину…
— Что прика…
главному ганчкор…
рахим.
— Кто отдель…
даже не сбавляя…
— Отделывае…
было главный ме…
витиеватые обращ…
— Вот пусть с…

— И вот, моя…
… пришли масте…
ворота, и хазину…
необходимые для…
… благодетел…
… дворец столь…
… уже вызывает во…
своим совершенство…
Тонкий голос ев…
… кормилицы, у…
преодолевает искуш…
мательно слушает.

— Нигде, господин. Нигде такого нет, я сам придумал это для дворца,— тихо и спокойно ответил Ширин. Он волновался сейчас меньше всех присутствующих. Он воплотил замысел, а там все в воле аллаха.

— Это правда, что нигде такого нет?— спросил резко эмир, оборачиваясь к Абдурахиму.

— Да позволит богоподобный эмир выслушать недостойного вашего слугу и раба ганчкора Абдугафура. Он также утверждает, что нигде такого нет,— с глубоким поклоном ответил Абдурахим.

— Так это ты сам решил так сделать?— и в глазах эмира где-то в самой глубине мелькнули огоньки.

— Я не хотел повторять старого, господин,— выдохнул Ширин.

Эмир еще постоял у стены, повернулся и, не говоря ни слова Ширину, направился к выходу.

— Что прикажет богонравный повелитель вашему главному ганчкору Абдугафуру?— уточнял на ходу Абдурахим.

— Кто отделывает Белый зал?— резко спросил эмир, даже не сбавляя шаг.

— Отделывает сам Ширин, о повелитель...— начал было главный меъмор, но эмир не стал выслушивать эти витиеватые обращения.

— Вот пусть сам и завершает начатое!

Глава X

ВО СЛАВУ ЭМИРА

— И вот, моя прекрасная царица, на старую Мохи-Хосу пришли мастера. Они решили строить новый дворец, и ворота, и хазину, и айван, и все остальные постройки, необходимые для дворца нашего великого повелителя, нашего благодетеля эмира Саида Алимхана. И вознесся этот дворец столь прекрасным, что еще не завершенный, он уже вызывает восхищение и зависть, покоряет сердца своим совершенством и богатством...

Тонкий голос евнуха Камбара, словно колыбельная песня кормилицы, успокаивает, убаюкивает, но Ойимшо преодолевает искушение и, увлеченная рассказом, внимательно слушает.

17—1714

Евнухи при дворцах владык всегда знают слишком много, порой обретают незримую, но такую важную роль, что иные сановники обращаются к ним за помощью, когда ищут милостей или доходных мест у эмира. Евнухи имеют право бывать в городе, поэтому приносят в гарем своим повелительницам ворохи сплетен, порой противоречивых, глупых, даже нелепых, лишь бы получить вознаграждение. Они коварны, алчны, двуличны, им никогда нельзя доверять полностью. Не одна горячая молодая голова затворницы эмирского гарема летела с плеч под топором палача от того, что доверилась своему евнуху.

С Камбаром иначе. Его беда случилась не по воле эмирского лекаря, [illegible] ножа. Мальчиком он попал под арбу и [illegible] калекой, но богатые родители все-таки дали ему [illegible] образование, он много читает, подолгу [illegible] с Ойимшо о поэзии, к которой она так нерав[illegible]. Сейчас уже стар стал Камбар, голос его блек[illegible] познания обширны и разносторонни, а речь [illegible] и выспренна. В гарем он попал по личной [illegible] Алимхана специально в услужение Ойимшо, ко[illegible] коварных и невежественных евнухов. Ка[illegible] за свою службу очень солидную плату от эмира [illegible] отказывался от каких бы то ни было [illegible] от Ойимшо.

— Я [illegible] вам, моя повелительница,— говорил он в таких случаях сурово,— не ради обогащения, [illegible] велению сердца, [illegible] вы оскорбляете меня своими дарами.

Многие [illegible] эмира клеветали Алимхану на Камбара [illegible] к Ойим[illegible], всячески поносили его, но любую из этих мал[illegible] змеек эмир сурово пресекал. Ходили по гарему злые сплетни, что Камбар устраивает Ойимшо свидания с красавчиками из города, что даже сам, притворяясь увечным, пользуется благорасположением первой жены эмира, но, когда он проходит извилистыми и полутемными коридорами гарема, все избегали его сурового, осуждающего взгляда. Он и сам не терпел сплетен и не носил их Ойимшо, за что она еще больше ценила своего слугу.

— Но и это не все, богоравная умом царица. Нашелся один мастер по имени Ширин, совсем еще молодой, и столь заслуженный перед великим эмиром, и отделывает Белый зал Мохи-Хосы. Много чертогов у повелителей Дамаска и Тебриза, Стамбула и Герата, но знающие люди утверждают, что подобного не было и нет в —

самых богатых дворцах вельмож. Говорили мне, что Ширин выкладывает узор из ганча по поверхности больших зеркал, и что это зрелище облагораживает душу и возвеличивает ум. Поистине, велик человек, сердце которого исполнено мыслью о всевышнем, который награждает достойных высоким талантом и озаряет [illegible] трепетом перед прекрасным...

— Ты знаешь что-нибудь об этом мастере, Камбар? — спрашивает Ойимшо.

За окном уже поздний вечер, [illegible]. Потрескивает светильник, скупо освещая [illegible] и их руки. В руке Камбара четки, [illegible], которую она заложила отделанной [illegible] ладкой.

— Мне горько поведать об этом, [illegible] что я вам скажу — правда, ибо я узнал [illegible] людей: В молодости Ширин совершил [illegible] шариата, пил вино, и его пожизненно [illegible]. Работал он на Кермине, и там же [illegible] дивного, но то, что он вершит [illegible] единицам из тысяч, госпожа

— Так что же, Камбар? Он и сейчас [illegible]?

— Его не привлекают для службы [illegible] его положение осталось таким же. Эмир [illegible] менее достойных, но Ширина упорно обходит [illegible] стями...

Выслушай Ойимшо эти слова от любого другого человека, подумала бы она, что Ширин через посредство Камбара ищет милостей эмира, но не таков Камбар, чтобы покровительствовать через свою госпожу придворным плутам и мздоимцам, и она поверила Камбару. Но что может она, бесправная рабыня обычаев и порядков гарема? Может быть, сама захочет увидеть Ширина? И не тогда увидеть, когда весь гарем переедет в Мохи-Хосу, а сейчас, хотя эта затея заранее обречена — никто не позволит ей, узнице, покинуть гарем для загородной поездки.

Через несколько дней в ее комнатах появился Алимхан. Был он утомлен и раздражителен. Она молча подала ему напиток, укрепляющий дух и поднимающий настроение, присела рядом, ласково спросила:

— Что за тучи покрыли чело великого повелителя Бухары?

— Я устаю, Ойимшо,— неожиданно для себя посетовал Алимхан.— Без конца узнаю о воровстве и лихоим-

ство моих чиновников. Судьи, как правило, шкурники, взяточники.

Чистый лоб Оймишо омрачается морщинкой.

— Вам, мой повелитель, следует больше думать о приятном,— попыталась перевести разговор жена. А как идут дела на строительстве Мохи-Хосы?

— О, там все превосходно, душа моя! А как будешь строгим с этими прохвостами? У каждого влиятельные родственники на высоких постах, у каждого находится покровитель и ходатай. Тронешь одного — десять поднимают головы, начинают убеждать, что он не так уж виновен, что это просто шайтан попутал. Но не будем об этом, умница моя. Зачем женщине думать о мужских делах?

— Ну, конечно, [illegible] дело женское, вы правы. Но я, недостойная раба ваша, не могу не думать о крепости вашего трона. Эти черви начинают подтачивать его.

— Клянусь аллахом!— раздраженно прервал ее Алимхан, но сдержал гнев и продолжил уже с улыбкой.— Клянусь аллахом, не будь наши адат и шариат столь строгими, я бы поставил тебя первым министром в эмирате, и все злодеяния кончились бы. Что же ты написала за эти дни, Оймишо?

— Да нет, я просто много читала, думала... А это правда, что ваша Ситораи Мохи-Хоса настоящая сказка?

— Ты убедишься в этом, когда весь двор переедет туда. Для вас там строятся отличные покои.

Оймишо хотела сказать, что строится отличная тюрьма, но так разговаривать с Алимханом не всегда позволительно, хотя были моменты, когда она говорила и такое.

— А почему ты второй раз заговариваешь о Мохи-Хосе? - насторожился эмир.— Тебе уже что-то донесли?

— У меня нет доносчиков, мой господин, но все только и говорят о несравненной красоте Мохи-Хосы и особенно ее Белом зале. Это правда?

— Ну, это еще рано утверждать,— чтобы скрыть свое торжество, эмир озабоченно выпятил губы,— но кое-что уже можно рассмотреть.

— Я хотела бы посмотреть Белый зал именно сейчас,— вздохнула Оймишо.

Лицо эмира налилось гневом. Эта безумная считает,

что она может так просто покинуть гарем! Это не позволялось никому. Но Ойимшо без страха смотрела в лицо Алимхана, и он сдержал себя.

— Ты считаешь, что для тебя я могу сделать исключение?

— Мой господин и повелитель, мне хотелось бы первой воспеть в стихах красоту Белого дворца, а то ваши сладкоустые шоиры сделают это и раньше и лучше меня.

— Но я просто не знаю, как тебе помочь, Ойимшо,— пробормотал смущенно эмир, который часто терял свою непоколебимость перед этой женщиной.— Ты же знаешь, что женщины не имеют права покидать гарем под страхом казни. А что мне скажут остальные? Что скажет моя дорогая мамаша Ишонаим?

— Кто тут вспоминает Ишонаим?— раздался голос матери, входящей в покои Ойимшо.— Я знала, что мой любезный сын часто вспоминает меня, но убедилась в этом только сейчас. Поклон тебе, о повелитель Бухары!

Ни Ойимшо, ни сам эмир нисколько не сомневались, что вездесущая Ишонаим слышала весь разговор из-за двери, поэтому хитрить с нею было бесполезно, и эмир пересказал ей просьбу Ойимшо посмотреть Белый зал до переезда в Ситораи Мохи-Хоса.

Ишонаим ненавидела эту женщину и рада бы кинула в нее камень, не будь столь сильно влияние Ойимшо на Алимхана. Ненавидя ее, Ишонаим, как опытная дипломатка, считала нужным иногда проявить снисхождение, надеясь, что, видя это, сын не обделит ее своими милостями.

— Да, мы тоже считаем, что преступить общее правило невозможно. Но,— Ишонаим сделала многозначительную паузу,— если ее будут сопровождать очень внимательные и особо доверенные люди эмира, то сделать это будет не так уж трудно.

— Кого же вы имеете в виду?— спросил настороженно Алимхан.

— Ну, скажем, если вашу жену будет сопровождать ваша мать,— скромно поджала тонкие губы Ишонаим.

Это был, по-шахматному, отличный ход конем. Ишонаим знала, что сын так или иначе уступит просьбе Ойимшо и покажет ей Белый зал, так пусть будет так, что именно она, Ишонаим, облагодетельствовала люби-

мую жену эмира. Ойимшо, при всей непокорности, умеет быть благодарной, а для Ишонаим обзаводиться друзьями важнее, нежели врагами.

— Ну что же, если так,— склонил голову Алимхан,— если вы сами предлагаете свою помощь, то остальное устроить будет просто. Я на день вашего приезда удалю оттуда всех рабочих, всех мастеров, и вы сможете без ущерба для моей чести осмотреть Белый зал!

— Но я хотела бы поговорить с вами, сын, и о мастере Ширине,— уже перешла в атаку Ишонаим.

— Да, я слышала, что он у вас, мой повелитель, все еще числится [illegible]арбазом?— необдуманно высказалась Ойимшо.

Не следовало ей говорить такие слова. Ведь женщина, заточенная в гар[illegible] не может знать, что делается в миру, если у нее [illegible]пной связи с кем-то из злоумышленников [illegible] в гневе собрал складки на лбу.

— Откуда тебе знать [illegible] там мастер? И что этот мастер — мой [illegible]зори, кто снабжает тебя таким[illegible] мастер нашел тропинку даже сюда[illegible] тебе сказал этот старый плут! К[illegible] из своей норы, старый паук!

Ишонаим на [illegible] только секунду возрадовалась падению Ойимшо, когда Алимхан в гневе спрашивал, кто снабжает его же[illegible]ниями извне. И если бы в это мгновение [illegible] Ой[illegible]шо занесся топор эмирского палача, она бы и пальцем не пошевелила, чтобы спасти ее, но Алим[illegible]ан, не [illegible] отвел подозрение от Ойимшо в преступных связях с городом, назвав имя Камбара. А Камбар вовсе не входил в планы Ишонаим, этот мудрый старик и ее самое не раз выручал своими советами, и поэтому Ишонаим поспешила на выручку Камбара.

— Не стоит гневаться на вашу жену и ее слугу, мой сын, ведь о вашем мастере говорят не только в городе, но теперь уже и далеко за пределами Бухары.

— Пусть говорят, а я так и оставлю его сарбазом, чтобы не возомнил о себе слишком много, имея таких защитниц даже в моем доме! После Мохи-Хосы я сошлю его в дальний кишлак, чтобы он там лепил горшки для дехкан!

При таком сплетении личных интересов, пристрастий и взаимного недоверия трудно правильно сориентировать-

ся, но Ишонаим никогда не забывала о престиже, она ревностно защищала святость дома, к которому принадлежала.

— Одумайтесь, сын мой,— тихо, но властно сказала Ишонаим.— Гнев в таких слу[illegible] помощник. Сейчас не старые времена. О мастере тепер[illegible] каждый, кто видит его работы. И этот мастер [illegible] по-истине украшением вашей корон[illegible] базах. Вы не подумали, как не[illegible] отец, великий эмир Ахадхан, что [illegible] правители Ирана, Афганистана, Ирака. [illegible] что мы держим в сол[illegible] Ишонаим сознательно сказ[illegible] в виду правителей Бухары, [illegible] в наш адрес, обвиняя нас в [illegible] но оплачивать работу своих [illegible] чаях, мой сын, гораздо выгоднее [illegible] щедрость, нежели строгость [illegible] риата нашими верноподданными.

Алимхана раздирали сомнения. [illegible] лежала его душа облагодетельствовать [illegible] мастера, которого он с удовольствием [illegible] в зиндан, не будь тот столь талантлив. [illegible] себе эмир сейчас бы не признался, что [illegible] подлая и низменная зависть к этому [illegible]. Он всесильный эмир, способный вершить [illegible] людей, не способен сам создать нечто такое, что пережило бы его самого и даже память о нем. А Ширин [illegible] творениями переживет себя и эмира и даже преодолеет могучую силу смерти, потому что и после [illegible] Ширина его имя будет всегда связано с его творениями. [illegible] бы нелепой не казалась такая зависть эмира, она [illegible] ла сердце, порой уже подвигала к роковому [illegible] только трезвый расчет удерживал [illegible] мастер доделает Белый зал, а [illegible] путь. Но теперь на пути этого [illegible] своими понятиями о чести их царствующей семьи, и в своих рассуждениях она права.

— Мы, повелители Бухары,— продолжала между тем все жестче Ишонаим,— не настолько бедны, что не имеем золота для того, чтобы оплатить верную службу своего раба. Будьте же благоразумны, мой сын! Остудите свое предубеждение против мастера, облагодетельствуйте его по-царски, и слава о вас станет еще громче.

Не так просто подавить в себе червь черной зависти

любому человеку, а в особенности эмиру, не знавшему ничего недозволенного, и в поисках поддержки он глянул в лицо Ойимшо.

— Вы хотели бы знать и мое мнение, мой повелитель? Госпожа права, надо уметь быть милостивым к своим подданным. И чем справедливее эта милость, тем выше слава повелителя.

— Когда на тебя навалятся сразу две женщины, не можешь выиграть сражение, но и потерять честь мужчины,— криво усмехнулся Алимхан и стремительно вышел из покоев жены. Не задержалась и Ишонаим.

Для Ойимшо встречи с эмиром были равносильны балансированию на острие ножа. Она, как могла, старалась влиять на своего не всегда справедливого повелителя, многое [illegible] под влиянием минуты. И надо сказать, что часто ей это удавалось. Причем, делала она это так умело и [illegible], что престиж владыки при этом нисколько не страдал, а справедливость благодаря ее уму и такту торжествовала.

Алимхан еще долго не мог успокоиться, метался по кабинету, не [illegible], на чем сорвать свою досаду. Этот Ширин с его [illegible]! Он мешал эмиру, стоял на его пути к полному спокойствию. Алимхан знал, сколько талантов пало во [illegible] мира, сгорело на кострах инквизиции разных толков, и вовсе не потому, что они были на самом деле еретиками и великими грешниками, а потому что мешали серости и невежеству жить в довольстве. Себя Алимхан не причислял, конечно, к невежественным и серым, но змéя зависти в себе подавить не мог. И даже не понимал, честно говоря, что это зависть. Казалось бы, вот сейчас, после разговора с матерью и Ойимшо, стряхни с себя это наваждение, вздохни легко и свободно, возрадуйся, что мастер работает не только с тобой в одно время, но еще и на тебя работает, и самому бы стало легче. Но натура брала верх над справедливостью и истиной, натура, с которой он и сам не мог совладать.

Спустя несколько дней Ишонаим через евнуха передала Ойимшо, что с поездкой в Мохи-Хосу все устроено, надо готовиться.

Сколь редки такие вылазки из темницы, как они волнительны! Ойимшо с трудом сохраняла спокойствие, собираясь в путь. Ей подобрали нарядную чадру, чачван, платье и туфли золотошвейные она выбрала сама. Камбар, обязанный сопровождать свою госпожу, тоже обла-

чился в парадные одежды, что случалось крайне редко. И вот Ойимшо и Ишонаим уселись в крытую арбу, их слуги в другую, впереди и сзади расположилась охрана, весь кортеж двинулся в Мохи-Хосу. На улицах простолюдины падали на колени и прятали лицо в ладонях, дабы не осквернить своим случайным взглядом мать эмира и одну из его жен. Ойимшо с волнением рассматривала городские улицы, дома, людей, узнавала некоторые площади, а коляска увлекала ее все дальше, не давая глазу надолго задержаться на чем-то интересном и памятном.

Ее родители были богатыми людьми в Бухаре, торговали с Россией и Европой, девочку воспитывали несколько отходя от шариата, дали ей неплохое домашнее образование, возили в Ташкент и Фергану. И тоска по прежней, хотя тоже относительной, свободе теперь особо остро подступила к сердцу. Не смогли ее родители устоять перед требованием эмира отдать дочь ему в жены. Знали они, как горька будет ее доля, но ничего не смогли поделать. Она стала затворницей, хотя душа ее рвалась к желанной свободе.

Мохи-Хоса пуста. Ни один человек не шелохнулся во дворах и залах дворца. Впереди женщин прошли слуги и тоже не нашли ничего предосудительного.

Они ступили в Белый зал. И то, что они смогли увидеть, поразило совершенством, строгостью и целомудрием таланта. Ойимшо долго молча ходила вдоль готовой стены, рассматривала узоры на стекле, дивилась тонкости исполнения каждого завитка, чистоте рисунка, и ее душа исполнялась самых высоких чувств.

Ишонаим тоже ходила вдоль стен, тоже смотрела, и ее переполняла великая гордость за причастность сына к этому прекрасному творению. Она могла быть довольна, он делал все основательно и роскошно, как и подобает бухарским эмирам.

Ойимшо достала золотой из расшитого кошелька и сунула его под еще незакрепленную плиту пола

— Зачем ты это сделала, Ойимшо? — шепотом спросила растерянная Ишонаим.

— Хоть так я смогла воздать должное мастеру, сотворившему такое чудо,— тихо ответила Ойимшо. И тогда Ишонаим, суровая властная и жестокая старуха, повинуясь этому капризу, тоже сунула свой золотой под другую плиту.

Женщины осмотрели все постройки, завершенные и

еще далекие от завершения, и собрались в обратный путь.

В тот же вечер Алимхан, движимый любопытством, увиделся вначале с матерью, а потом и с Ойимшо.

Мать снова повторила, что честь бухарских эмиров повелевает щедро одарить создателей этого дворца и особенно создателя Белого зала.

Ойимшо показалась [illegible] утомленной, какой-то подавленной увиденным. Он [illegible] и восторгов, а она, глубоко задумываясь, будто не ему, а скорее для себя, тихо произнесла [illegible]

— Вот бы [illegible] эмир или падишах оставлял после себя такие [illegible] творения, а не кровь людскую.

Взгляд Алимхана [illegible]

— Что ты понимаешь, царица моего сердца. Любая власть зиждется [illegible]

Но не желая [illegible] ему, Ойимшо прочитала эмиру только что [illegible] стихи о значении добродетели в жизни [illegible] мира сего.

Глава XI

СВОБОДА

— Надо отблагодарить этого мастерового,— самодовольно изрек Алимхан.— Кажется, он возводит красавец-зал, даже что-то невиданное.— Кто осудил его в сарбазы?— прищурился эмир, обернувшись к придворным во время очередной поездки по городу.

— Ваш высокородный отец Ахадхан, мой эмир!

— За что же мой отец так сурово осудил мастера?

— Был донос, что Ширин пил вино.

Эмир откинулся на кожаные подушки и с удовольствием захохотал:

— Да, наш отец сурово осуждал пьяниц! Он ревностно следил за соблюдением шариата. Но мы простим эту вину усто Ширину. Мы даруем ему свободу и оставляем его главным ганчкором в Белом дворце. Завтра же хабарчи огласят эту нашу милость. И пусть работает старательно, иначе мы можем лишить его своей милости.

— Хоп, булади. Слушаюсь, мой эмир,— ответил один из придворных, сопровождавших Алимхана.

В таких случаях эмир определяет и жалованье. Он никогда не забывал о необходимости вознаграждения. Почему же он сейчас промолчал? Но слуга не имеет права напоминать своему повелителю о чем-либо, и он решил, что эмир просто упустил этот момент. А эмир помнил все. По приезде в Арк он распорядился дать усто Ширину звание караулбеги и оставить ганчкором... И на это жалованье рожденный Бухарой талант должен был отделывать лучший зал в новом дворце эмира. Такова воля повелителя.

Когда эмир еще только сходил на землю против входа во дворец, ему в ноги кинулся старик в грязном халате, с тешой за поясом:

— Милости и справедливости! Только милости и справедливости, о пресветлый эмир!

— Кто этот старик?— поморщился эмир, брезгливо оглядывая Нишана.

— Я меъмор усто Нишан, о достойнейший из эмиров. Ко мне поселили этих разбойников-сарбазов! Они ограбили мой дом! Они обесчестили мою [illegible]! Милости и справедливости!

— Неужели мои сарбазы разбойники и грабители? — тонко улыбнулся эмир своему кушбеги. — Этот старик с ума сошел. Велите юзбаши...

В тот же вечер во двор усто Нишана прислали еще трех сарбазов на постой. Таков [illegible] великого эмира. Почернел от обиды и горя усто Нишан и велел своим мальчикам ученикам собирать пожитки, чтобы покинуть оскверненный дом и поселиться у родственников.

Так судьба карает предателей и отступников. Он не знал, что упомяни он своего племянника Ширина, и эмир, может быть, милостиво бы выслушал его и даровал освобождение от постоя. Но Нишан позволил себе назвать солдат эмира разбойниками и насильниками. Эмир понимал, что его сарбазы не святые, но поносить их каждому выжившему из ума старику он не позволит. И вот Нишану приходится покидать свой дом и идти к родственникам и просить у них убежища, а этих родственников он сам не навещал несколько лет. Все, все в руках аллаха!..

На другой день около стен нового дворца остановил разгоряченного коня гонец из города, весело выкрикнул:

— Кто здесь из вас усто Ширин?

Ширин неспешно спустился с лесов, вышел во двор:

— Это я усто Ширин.

— Наш великий эмир своей милостью освобождает тебя от звания сарбаза, мастер! И повелел тебе самому показать повелителю всех мусульман мира Белый зал, когда ты его закончишь! Он повелел считать тебя караулбеги, но оставить это звание только как почетное, а тебе продолжать работать здесь! И вот тебе кошелек от са[illegible]го эмира. Хвала аллаху, высокому, великому! Хвала великому эмиру!

— Хвала аллаху, хвала эмиру,— как эхо, отозвался совершенно опешивший мастер.

Это слышали все, кто о[illegible] рядом. Уже пыль осела под конем ускакавше[illegible] гонца, а Ширина все поздравляли строители и инжене[illegible]

— Вот ты и свобод[illegible]! — кричал Ашот, тиская его в своих мо[illegible] объятиях.— Мы сейчас же закатим пир по случаю тво[illegible] освобождения, мастер!

— Благодар[illegible], и вознеси ему свои благодарствени[illegible] милости,— похлопал по плечу старый Абдурахим.

— Вот видите, Ш[illegible] руки Ширина инженер Сакович, ваши [illegible] не остались без внимания. Я поздравляю [illegible]!

— Было бы [illegible], если бы эмир не отметил такой талант, поздравляю,— присоединился к Саковичу Марголис: он не знал, что и милость и гнев эмира столь же непостоянны, как и ветер.

— Хвала аллаху,— сдержанно поздравил Абдугафур и тут же удалился, обиженный тем, что милость эмира минула его и досталась Ширину.

— Яшанг, яшанг, ура, ура, Ширин!— вопил нескладный Сухроб, размахивая своими длинными руками.— Ты теперь совсем свободный! Ты уже не сарбаз! Ты свободный мастер! Давай одну монету из подаренных тебе эмиром, и я займусь немедленно приготовлением плова! Ты обязан угостить всех твоих друзей, Ширин!

— Ну и плут же ты, Сухроб!— смеется счастливый Ширин.

Свобода... Пусть кто-нибудь скажет, что она досталась Ширину легко! По капризу повелителя он был ее лишен, но получил обратно благодаря своему неустанному труду, терпеливому таланту, ибо только слепой мог не видеть, что из мук и безмерных страданий вырос мастер, какого уже давно ждала великая земля Бухары.

Пусть веселятся друзья нашего мастера, да продлятся его дни. А мы с тобой, о многотерпеливый читатель, передохнем перед дальнейшей дорогой, оглянемся на пройденный путь. Мы печальны сегодня, в день великого торжества Ширина. Почему кому-то дано губить талант и казнить гениев? Разве не горько нам от того, что Ширин провел в солдатах долгие годы? И разве не сделал бы он во сто крат больше, будь он свободен?

Шумит пир жизни, снова воры и негодяи грабят и обманывают, снова бухарские базары полны эмирских шпионов, снова хитроумные казии плетут свои сети вокруг неискушенных и доверчивых, слабых и беззащитных, снова эмир Алимхан окружен продажными советниками и жадными наушниками, снова на народном горе, нищете пухнут кладовые его министров. А достойные удалены и находятся в безвестии. Слепы великие мира сего, глухи и жестоки. И даже милость эмира к нашему мастеру не более как минутное желание казаться великодушным и мудрым...

И когда отшумел той у Ширина по случаю дарованной ему свободы, и они остались одни, Сухроб дал волю своему возмущению:

— Но почему же ты должен работать на жалованье караулбеги, на пять рублей в месяц, когда другие мастера получают в десять раз больше? Он, наверное, думает, что ты от радости все будешь делать бесплатно.

Ширин уже смирился с тем, что ему никогда не дождаться милостей от эмира и был согласен на все, лишь бы не чувствовать зависимости, вернуть свободу.

Ибад, его тесть, приехал в этот день домой один. Он призвал к себе дочь и расцеловал ее:

— Радуйся, дочка. Твоему Ширину эмир даровал освобождение от службы сарбаза. Теперь ты жена свободного человека.

— Но где, где же он сам? — радостно заволновалась Саодат.

— Завтра приедет твой муженек. Сегодня он угощает друзей.

А когда взошла луна над спящей Бухарой и весь мир уснул, по саду Мохи-Хосы бродил опечаленный и счастливый Ширин, еще не привыкший к мысли о свободе. Аллах с ними, с деньгами. Ни один настоящий творец не стал богат от своего таланта, это удел придворных славословов. Его путь иной, его удел — творить и дерзать. Это в его жизни главное.

БЕЛЫЙ ЗАЛ

Каким бы обычным ни было [illegible] ние эмира, как бы ни [illegible], Ширин повеселел, ста[illegible] [illegible] с людьми. Уже И раб[illegible] всем, кто помога[illegible] ему, становилось жар[illegible]

Леса в зале поставили [illegible] рабочие под руко[illegible] [illegible] Маркаро[illegible] Леса должны стоять так, чтобы любую точку стены [illegible] было достать рукой.

— [illegible] не понимае[illegible]?— горячо убе[illegible] [illegible] стараться. Сделаем все, как [illegible]

Ширин на несколь[illegible] [illegible] у дел. В зале будет то[illegible] [illegible] в его каморке тесно. Ши[illegible] [illegible] дней уйти в Бухару. А чтобы его не [illegible] об этом Абдурахима и Саковича.

— А если тебя [illegible]?— засомневался Абдурахим, но Сакович горячо поддержал Ширина.

— Мето Ширину нужно развеяться, он же работает от темна до темна. Поезжайте, Ширин, и не беспокойтесь.

Сухроб уже подседлал ишачка для Ширина, собрался и сам. У него были свои дела в городе. Так они и двигались не спеша по дороге, Ширин на своём сером, а Сухроб рядом пешком.

— Нехорошо, Ширин, что ты не внял призывам учителя и не стал джадидом,— снова начал старую песню Сухроб.— Ты теперь свободный человек и мог бы часто встречаться с очень интересными людьми, обсуждать дела в эмирате.

— Я слишком мало о них знаю, чтобы их обсуждать,— усмехнулся Ширин,— а разговаривать у меня времени нет.

— А я вот сегодня иду к учителю и увижу много интересных людей,— похвастал Сухроб.— И они уже все знают меня, я для них равный, не простой сарбаз, а такой же джадид, как и они.

— Ты только за своими разговорами не задержись лишнего, через три дня я жду тебя в Ситоран,— напомнил Ширин.

— Как хочешь, Ширин, но я бы на твоем месте при- шел к нам,— огорченно посетовал Сухроб и у ворот го- рода распрощался с Ширином. Вскоре он был в доме Ходжи Икрама.

Учителя дома не оказалось, он уехал для переговоров к Ходжи Латифу. Сухроб прилег в тени отдохнуть.

— Ходжи Латиф встретил Ходжи Икрама приветливо, но эта вежливость была результатом хорошего воспита- ния, а на лице читалось удивление и [illegible], что нужно от него этому ученому богослову.

Сам Икрам жил далеко не бедно, но обстановка в до- ме Латифа его подавила. Чувствовалось, что [illegible] живет не просто обеспеченный, а очень бога[illegible] [illegible] колепное убранство комнат, по европ[illegible] [illegible] кабинет с телефоном, во дворе асфал[illegible] [illegible] ки, тщательно ухоженные газоны [illegible] воображение Икрама, что он несколько [illegible] и непривычная обстановка.

Сесть на стул перед письменным столом [illegible] не с руки, он оказывался в положении [illegible] ра- говор предстоял долгий и сложный. Но пр[illegible] и после этого возникла непредвиденная па[illegible].

Джадиды... Конечно, Латиф слышал о [illegible] по- нимал, чего они добиваются. Свержени[illegible] Но у них нет реальной силы для такого переворота [illegible] их цели ему не ясны.

Ходжи Латиф откровенно изучал Икрама [illegible] уже много знал, но не хотел заговаривать пер[illegible] а Икрам не освоился и не находил нужных слов для нача- ла разговора.

— Многочтимый Латиф-ходжи!— Начал Икрам свою нелегкую миссию,— вы, наверное, слышали о джади- дах?

На лице Латифа выразилось искрен[illegible] удивление:

— О ком, простите? О джадидах? А кто это?

Икрам был убежден, что Латиф прекрасно знал о его партии, но почему он сейчас проявляет такое удивление, было непонятно.

— Вы, конечно, знаете, что во всех цивилизованных странах существуют политические партии, почитаемый ходжа. Мы решили создать у себя политическую партию.

— С какой целью, простите? — все с той же холодной вежливостью осведомился Латиф.

— Ограничить власть эмира, добиться от него ре- форм. Народ страдает от непомерных налогов, судьи вер-

шает суд по собственному усмотрению, трудовой народ беден, у нас много неграмотных. Можем ли мы мириться дальше с таким ужасным положением?

— И что же вы предлагаете?— отчужденно спросил Латиф.

— Мы были у эмира и потребовали признать нашу партию,— поспешил придать себе официальности Икрам.— И пресветлый эмир признал нас!

Латиф только вежливо склонил голову, приглашая продолжать.

— Некоторые из наших требований он признал справедливыми, но мы ставим целью создать при эмире Государственный Совет, куда бы вошли и наши люди из наиболее уважаемых и почитаемых. Ведь сейчас эмир просто не знает, насколько тяжелое положение создалось в эмирате,— развивал Икрам свои идеи, все больше оживляясь.— Мы хотим ослабления гнета, установления строгих, но справедливых законов, которые будут неукоснительно соблюдаться всеми. Мы требуем отмены казней!

Ходжа Латиф не скрывал насмешливого взгляда, слушая Икрама.

— Вы уверены, что добьетесь?

— С помощью просвещенных и влиятельных людей можно добиться многого!

— Насколько я понимаю, вы тоже хотите вершить делами эмирата?— наконец напрямую задал вопрос Латиф.

— Да, мы будем настаивать, чтобы представители нашей партии вошли в Совет.

— И вы, ходжи, в том числе?

— Это как решат джадиды.

— А что же вы ждете от меня?

— Принять участие в нашем движении, в числе самых уважаемых его членов.

Ходжи Латиф уже не выдержал и откровенно рассмеялся.

— Не понимаю, что тут смешного?— возмутился Икрам.

— Не понимаю, как вам могла прийти в голову эта мысль,— откровенно издевался Латиф.— Вы хоть немного представляете, на что вы идете?

— Мы понимаем, ходжи,— защищал свою позицию Икрам.

— Нет, вы не понимаете! Вам нужно быть у власти

вот что я понял. Вы хотите иметь влияние на эмира? Но это немыслимо в нашем положении. Его власть не только унаследована, она узаконена русским царем, и если эмиру понадобятся русские войска, чтобы раздавить любую смуту, царь ему не откажет. Вы плохо знаете, что происходит там, в России. Я могу вам напомнить о расстреле русских рабочих на реке Лене в Сибири. Вы что-нибудь слышали об этом?

— Простите, я не знаю, что там происходило,— признался Икрам.

— Вы же руководите партией, вы должны знать, что происходит вокруг нас,— уже резко, раздраженно говорил Латиф.— Когда люди готовятся совершить переворот, они прекрасно знают обстановку. Вы ее не знаете. А вы знаете, что вот-вот грянет война?

— Какая война? С кем?— совсем растерялся Икрам.

— Вот видите,— вдруг остыл, успокоился Латиф и откинулся на спинку стула,— вы напрасно пришли ко мне, почтенный ходжи, я вас не могу поддерживать, да и понять тоже. А вы знаете, что у нас в вилоятах уже есть случаи неповиновения? Вот вчера в кишлаки на север от Бухары эмир отправил сарбазов для подавления смуты.

— А что там могло произойти?

— Отказались платить налоги, убили одного сборщика, изгнали казия. Это то, очевидно, чего вы желаете для Бухары?

— Но мы не желаем смут, мы против них! Мы за твердую власть, подкрепленную здравым смыслом.

— Вы еще увидите, какой смысл восторжествует. Желаю вам всего наилучшего, достопочтенный ходжи,— снова перешел к насмешливому тону Латиф.

Вконец огорченный, вернулся к себе Икрам. Несколько джадидов ждали его во дворе.

— Что вы знаете о смутах в районе Кермине?— спросил их сурово учитель.

Сухроб, поглядев на остальных, выступил вперед.

— Нас вчера предупредил юзбаши, что мы выступаем в поход сегодня, а куда, не сказал. Но вечером мы будем получать оружие.

— Сухроб, зайдите, пожалуйста, ко мне, друг мой,— попросил учитель и удалился. Оставшиеся недоуменно переглянулись.

— Мы, выходит, уже не нужны?

Ходжи Икрам усадил Сухроба и наставительно сказал:

— Вы пока наш единственный представитель в армии эмира. Я очень прошу вас за всем внимательно наблюдать и сообщать мне по возвращении.

— А если поход продлится несколько недель, учитель? Я тогда не смогу ничего вам рассказать,— с готовностью отозвался Сухроб.

— Тогда расскажете через несколько недель. И следите за настроением сарбазов, как они отнесутся к подавлению смуты. Вы поняли меня? Нам нужно знать настроение в армии. Если сумеете кого-нибудь уговорить прийти к нам, будет очень хорошо,— внушал Ходжи Икрам.

И только когда Сухроб ушел к месту сбора сарбазов, Ходжи Икрам [illegible] чтобы успокоить ее.

— Нам нужны [illegible] как Сухроб. Он слепо верит нам и [illegible] если понадобятся решительные действия [illegible] Сухроб, пойдут на это. Вы поняли [illegible] нлся он к одному из своих приспешников [illegible].

Султанбек [illegible], но оказался несостоятельным [illegible] яму. Родственники выручили его, [illegible], но обиду на эмирский суд [illegible] Икрам. Обида Султанбека [illegible], хотя политических мотивов у него не было. [illegible] Ходжи Икрама Султанбек нужный человек, потому что, несмотря на недавнее банкротство, [illegible] торгового люда было огромным, а именно в этой среде было больше недовольных порядками. Их не только облагали налогами, но и откровенно грабили все, начиная от раисов, кончая дервишами и кази. Ходжи Икрам отдавал безусловное предпочтение Султанбеку, нежели этому нищему сарбазу Сухробу, но зато Сухроб может исполнять десятки мелких поручений и услуг, в которых очень нуждался Икрам.

Султанбек понимающе улыбнулся:

— О ходжи, человек из низов пойдет ради вас на многое!

— Но не на все, не на все, дорогой Султанбек!— тонко улыбнулся Икрам.

— Досточтимый Икрам, содержатели дуканов собрали для вас некоторую сумму и просили вас замолвить слово об их притеснении сборщиками налогов,— Султанбек протянул кожаный кошелек.

Взносы в кассу нужны постоянно, без этого Ходжи Икраму было бы трудно входить в приемные высших чинов, поэтому он без тени смущения принял кошелек:

— Прекрасно, что нас знает народ и учитывает наши нужды.

Султанбек в знак согласия с мыслями учителя склонил голову, так что его лица не стало видно. И это хорошо, потому что учитель мог прочесть мысли, которые лучше держать при себе: эти деньги Султанбеку еще только предстоит собрать, а пока он вносил свои собственные.

Во взаимном удовольствии они расстались.

А в это время из городских ворот [illegible] сарбазов в сторону Кермине, Знатдина [illegible] в последнее время было неспокойно. [illegible] гал в толпе сарбазов и слушал [illegible]. Все сводилось к тому, что юзбаши и [illegible] собрать дань с жителей этих селений [illegible], так будет и теперь, и сарбазы [illegible]. Путь отряда Сухроба лежал в Знатдин. Здесь [illegible] дом сборщика налогов, но сам хозяин успел убежать. Караулбеги и юзбаши посовещались, а потом повели свое войско по улицам. Население, завидев свирепых сарбазов, стало разбегаться, но юзбаши скомандовал, чтобы убегающих ловили и доставляли на площадь.

Вскоре уже из-за дувалов неслись вопли жителей. Сарбазы хватали барахло, рылись в поисках денег, насиловали женщин, связывали взрослых мужчин. Грабеж Знатдина продолжался до самого вечера. Сгорели несколько домов, а к площади тащили смутьянов, подозревая любого взрослого мужчину или парня.

Сухроб свой узел с награбленным нес на плече, а свободной рукой вел связанного мужчину, уже избитого и истерзанного. Этот человек не сделал ничего дурного Сухробу, но Сухроб не хотел терять своего.

На площадь уже согнали около сотни подозрительных, но когда появился Сухроб со своим пленником, сборщик налогов Знатдина, который вернулся сюда с приходом сарбазов, кинулся им навстречу.

— Вот он, вот он, главный смутьян Исроил! Это он подбил всех на смуту!

Сухроб хорошо знал, что за такую птицу он должен еще получить и солидное вознаграждение. Не остался в долгу и сборщик налогов. Этот крикливый краснорожий толстяк сунул Сухробу кошелек:

— Это тебе за храбрость, джигит!

Всех схваченных под конвоем повели в Бухару. Позади остался истерзанный Зиатдин. Теперь Сухроб шел осмотрительно, чтобы никто не утянул его узел с добычей и не увел пленника. Он даже заботился, чтобы тот не обессилел в пути, подкармливал его. Иеронл молча ел, не глядя на своего мучителя.

На площади Регистан уже собрали несколько десятков таких смутьянов из Нураты, Кермине, Хатырчи. Здесь же сидели на айване кази-калон и военный министр.

С жалобами выступали пострадавшие раисы и сборщики налогов. Когда дошла очередь до Зиатдина, выступил этот краснорожий, которого все называли Самат, и обвинил Иеронла в подстрекательстве и богохульстве.

При первых [illegible] Самата Сухроб вытолкнул своего пленника вперед, но веревки не выпустил.

— А этот [illegible] эмира, имени которого я не знаю, [illegible] и привел его сюда, о многомудрый кази-калон!

Военный министр взглядом подозвал к себе юзбаши и сказал ему [illegible]. Сухроб волновался: оценят ли его старания? Судьба Иеронла его мало волновала, и когда объявили, что Иеронл будет казнен, он только передал веревку [illegible]. Несчастного поволокли к месту порки, без палок не отправляли даже под топор. Сама казнь назначалась на завтра в присутствии эмира.

Сухроб теперь рвался домой. Узел его весом и дорог. Он завернул туда не только ковер, сюзане и небольшой тючок шелка, там еще в тряпице лежит некая сумма, которую он не успел подсчитать, но даже на глаз ее хватит, чтобы откупить чайхану. Ему не терпелось скорее заняться своими личными делами, но почему-то сказали ждать, и он ждал.

На площади уже скопилось немало народу, но Сухроб почти никого не видел. Он даже не заметил, как к нему подошел Ходжи Икрам.

— Мой друг, после окончания этой процедуры вы зайдете, надеюсь, к нам,— ласково напомнил учитель.

— О, да, да, зайду, непременно зайду,— торопливо закивал Сухроб, и его оторвали от учителя, подвели к лашкарбоши.

Должность военного министра была упразднена Ахад-ханом и представляла обыкновенную синекуру. Армии, как таковой, у эмира не было, а сарбазы, дунболапуры и эмирские сотни по большей части подчинялись кушбе-

ги, но зато лашкарбоши имел право повышать в должно-
сти наиболее ретивых служак. Вот и сейчас лашкарбоши
милостиво улыбнулся Сухробу, расспросил, кто он и от-
куда, а узнав, что он родом из Бухары, и вовсе подоб-
рел:

— Мы, лашкарбоши, назначаем тебя караулбеги за
твою ревностную службу, Сухроб. И награждаем тебя
ста рублями за преданность эмиру нашему Саиду Алим-
хану!

Мирза министра тут же написал указ о назначении
Сухроба на должность караулбеги, и министр отпустил
с миром своего солдата.

Весь остаток дня Сухроб бродил по улицам Бухары
и раздумывал. Что бы он сейчас купил? Что он может
купить? Да что захочет! Может купить чайхану, ошхону,
несколько мастерских и посадить там мастеров. Может
открыть лепешечные или харчевни, а там завести боль-
шое собственное дело и встать вровень с крупнейшими
купцами Бухары. .

Но Сухроб не терял здравого смысла, он отнес узел
и деньги домой и отправился к Ходжи Икраму.

Ходжи Икрам встретил его очень тепло обнял стал
говорить ему такие слова, что Сухроб даже засомне-
вался, а не смеется ли над ним его высокомудрый учи-
тель.

— Вы сделали даже больше, чем мы хотели, Сухроб.
Вы теперь караулбеги! Вы в милости у лашкарбоши!
Это открывает нам большие возможности, ведь вы може-
те представлять теперь нашу военную силу. Это мудрый
и совершенно необходимый шаг с вашей стороны в ин-
тересах движения джадидов!

Ходжи Икрам усадил Сухроба за дастархан, угощал
его и продолжал развивать свои мысли о том, что Сухроб
в случае необходимости может выставить отряд сарба-
зов на защиту движения джадидов!

— Вам теперь можно о многом поговорить с сарба-
зами, они послушают вас, как своего начальника,— ра-
довался Ходжи Икрам.— Вы поистине обладаете талан-
том военачальника, мой дорогой Сухроб. Ваша мудрость
поистине выше вашего теперешнего положения, но вы
не отчаивайтесь, вам теперь открыт путь к более высо-
ким военным должностям. Это радует наше источенное
заботами о благе народа сердце. По-моему, вас теперь
и усто Ширин будет слушать с большим вниманием. А?
Вы не думаете так, Сухроб?

— Да, я завтра же иду к нему в Мохи-Хосу, учитель, — заверил Сухроб.

А наутро восемь человек были казнены на Регистане, в том числе и смутьян Исроил, которого привел на эмирский суд Сухроб. Эта казнь вызвала ропот жителей отдельных гузаров Бухары, а на главном базаре чуть не началось волнение. Но всадники и пешие сарбазы быстро навели порядок, отхлестав камчой зачинщиков волнения и пригрозив расправой тем, кто сочувствовал смутьянам.

Сухроб появился в Мохи-Хосе только пять дней спустя. Он был теперь молчалив и важен, как и надлежит караулбеги.

Было удивительно, что Ширин встретил его молчанием, не стал упрекать за долгое отсутствие, и главное не дал никакой [illegible] Сухроб томился, он ловил взгляды Ширина, но тот [illegible] даже не смотрел.

А Белый зал [illegible]. Одна стена полностью готова, и Ширин [illegible] сделывал сталактит на потолке. [illegible] виде зал уже привлекал внимание [illegible]

Сухроб [illegible] дела и пошел в мастерскую Ширина.

А Ширин [illegible] работы в зале развернулись [illegible], только изредка появляясь дома. Он уже [illegible] прямо на стройке, но тогда он не был женат, теперь же, когда его ждала дома Саодат, все равно не [illegible] отрывался надолго от работы. Отдавая на сон всего пять-шесть часов, он с рассветом уже был на [illegible] на обед и когда становилось совсем [illegible]. Он [illegible] себя так работать [illegible]. Эта способность Ширина поражала просто иначе [illegible]. Приходили всех, кто в эти месяцы был на строительстве. Приходили русские инженеры, приходили другие мастера посмотреть, как движется отделка и только качали головами. Теперь у Ширина было около полусотни подсобных рабочих, и никто не сидел без дела. Одним взглядом неистовых глаз Ширин поднимал любого лежебоку и заставлял работать. Сам еще больше высох, похудел и почернел: он работал запоем, и это никак не было старанием угодливого раба доставить радость своему повелителю, нет. Это было горение творца, который не мог спать, спокойно есть, думать о чем-то ином, кроме своего дела. Порыв вдохновения нельзя прерывать, иначе все мысли и мечты остынут, растворятся в толчее дней и рассеются так, что потом ничего не соберешь.

Производство у Ширина теперь работало с размахом. На тахмине шла отливка плит, очень легких и пригодных для отделки сводов зала. Ширин сам выделывал площадки, показав Ашоту, как выложить кирпич и залить ганчхоком. Несколько площадок Ширин сделал кривыми для сводов с закруглениями. Несколько плит Ширин просто разбил из-за замеченного брака, и сам следил за работой, все время подсказывая, что и как делать.

Работали у него в основном зодчие-ремесленники, устокоры, которых подрядил сюда Сакович по договоренности с Абдурахимом. Сакович никак не мог смириться с подневольным трудом забитых [illegible] и приговоренных сюда не привлекал. Виткевича, Саковича и Марголиса никак не могли понять даже Абдулла и другие мастера, ведь таким не нужно и платить, а если будут плохо работать, то можно отправить [illegible] под палки и плети. Может быть, эмир [illegible] с русскими инженерами, но согласился на наемных рабочих. Ширин, сам только недавно обретший свободу, горячо согласился работать с наемными рабочими, и у него дело спорилось. Он теперь был во главе большой группы, но очень скоро знал всех по именам, обращался с ними просто, никогда не позволял кричать и грозить палками и плетью, он объяснял, растолковывал, учил, и наиболее понятливые старались понять, запомнить, перенять. И хотя все они получали из казны копейки за свой труд, но работали споро и охотно, заражаясь азартом Ширина.

В каморке Ширина хозяйничал совсем молодой паренек Саломат.

— Что ты тут делаешь? — спросил высокомерно Сухроб, устраиваясь на курпаче и пододвигая к себе чайник с горячим кок-чаем.

— Я помогаю усто Ширину, варю ему обед и ужин, ношу чай в зал, потому что усто устает,— без тени смущения и страха ответил Саломат.

— Так-так, значит, теперь ты ему служишь,— пряча обиду, уточнил Сухроб,— а ты знаешь, что я всегда делал это для Ширина, а?

— Нет, не знаю, мне этого никто не говорил,— бесхитростно улыбался паренек, ловко помешивая варево в казане.

Сухроб насупился: значит, Ширин решил отказаться от него. А знает ли он, кем теперь стал Сухроб? И нужно ли Сухробу теперь прислуживать этому злополучному

мастеру, которого он выходил от смерти и от голода? Ну да, теперь Ширин отмечен и жалован эмиром, но ведь и он, Сухроб, отмечен и жалован. Пусть он не стал свободным, но теперь он не простой сарбаз, он караулбеги, у него в подчинении больше десятка солдат, он теперь начальник и прислуживать Ширину будет просто стыдно. Хотя сам Ширин тоже караулбеги, но ведь это только почетное звание, а он, Сухроб, служит и рад этому.

Подсобники носят готовые плиты, карнизы, решетки в зал с площадок. Когда-то все это делал один Сухроб, а теперь вон что творится! Конечно, теперь Сухроб ему не нужен, а мог бы пригодиться, хотя бы присматривать за поденщиками и младшими ганчкорами. Но почему его так встретил Ширин?

Вечером пришел вконец измученный Ширин и рухнул на курпачу. Его [illegible] от перенапряжения.

— Ты теперь уже не ищешь, уже нашел? — спросил Сухроб.

— Да, [illegible] кончилось, — согласился Ширин холодно.

— И теперь тебе Сухроб не нужен? — с вызовом спросил Сухроб.

— Ты ничего не понял, Сухроб, — печально ответил на выпад Ширин.

— А чего понимать? Чего понимать? — уже не выдержал Сухроб. — Когда ты обморозил руки, кто тебя спасал? Когда тебе нужен был гуль-ганч, кто тебе его молол? Когда ты умирал с голода, кто тебя кормил? Ты все забыл, Ширин!

— Нет, Сухроб! Нет, я все помню! А помнишь ли ты? Ты помнишь, как мы вместе страдали на Кермине? Как скитались по дорогам? Как искали на кусок хлеба любой работы? Как ты сам страдал от караулбеги, от казия, от жестокого гнета всех, кто выше нас? А теперь ты пошел громить и грабить таких же несчастных, каким был всегда сам! Ты привел под топор палача таких же возмущенных бесправием, каким был сам! Ты привел на казнь несчастного, который тебе брат по голоду, по страданиям! Нет, это ты получил награду за голову человека! И чин караулбеги ты получил за голову человека! Я не буду больше с тобой работать, поэтому на твое место мне прислали вот этого юношу, который не обагрил свои руки кровью!

— Ты! Ты думаешь, что говоришь? А если я донесу на тебя? Если тебя снова бросят в зиндан за твои непо-

стивые речи? Если тебя снова накажут палками и снова отдадут в солдаты, а? Ты об этом подумал?

— Конечно, ты можешь это сделать. Но ты не сможешь сделать за меня Белый зал! Никто пока не сможет! И если я пойду на майдон с веревкой на шее, то я буду смеяться на всю Бухару! Ведь ты смог предать меня, но не смог меня заменить!

— Жалкий лепщик карнизов, ты еще пожалеешь о своих словах!— поднялся Сухроб.— Я ухожу, но я скажу своему юзбащи, что сюда меня направили по воле эмира, а ты эту волю отменил!

Ширин никак не мог отогнать горечь от сердца, он привык к Сухробу, даже любил его, но дальше быть рядом с палачом он не мог. Ибад, его тесть, видел казнь обездоленных людей, видел и самодовольного Сухроба на площади и все рассказал зятю.

Потолок был расписан в один месяц, стены почти все покрыты зеркалами, теперь нужно думать, что и где поставить, как подвесить люстру и как подобрать обивку мебели. Они ездили с Саковичем и Марголисом по торговым фирмам, смотрели, перебирали, но Ширин все отвергал.

— Прошу прощения, — ненавязчиво высказался Кляйн из немецкой торговой фирмы,— но вы доверяете такое тонкое дело совсем необразованному сарту, мне же думается, что европеец больше смыслит в этих вопросах.

— Боюсь вас огорчить, господин Кляйн, но вкус этого человека настолько безупречен, что он даст в вопросах меблировки вам сто очков вперед,— холодно ответил Сакович.

Ван дер Блюмм, представитель филиала голландской фирмы, лично принял таких почетных покупателей.

— Скажите этому почтенному и глубокоуважаемому господину,— попросил Ширин Марголиса,— что обивка должна подходить под белые стены зала. Но совсем белую нам не нужно, она быстро пачкается и, кроме того, будет сливаться со стенами.

— Видите, видите,— торжествовал Сакович,— насколько тонко чувствует мастер?

— Я попробую показать вам только образцы, а уж потом затребую мебель с такой обивкой из Финляндии, которая поставляет нам мебель,— понимающе улыбнулся Ван дер Блюмм.

Светло-желтая шелковая обивная ткань надолго привлекла внимание Ширина, он придирчиво рассматривал ее, мял, тянул, клал на стол и отходил, чтобы полюбоваться ею издали, а потом попросил:

— Можно ли мне взять небольшой кусок ткани в зал, чтобы там [illegible] посмотреть?

Сакович, М[illegible] и В[illegible]дер Блюмм понимающе переглянулись. [illegible] Отправьте небольшой кусок ткани во дворец [illegible] Ширин [illegible] заехал домой. Его встретила [illegible] Саодат.

— Вы стали столь долго отсутствовать, что мне [illegible] уже не любите меня?— [illegible] прятать своих чувства.

Ширин [illegible]

— Тебе не повезло с мужем, девочка. Он как дивана, не может [illegible] одного, чтобы чаще видеть свою жену [illegible] я закончу Белый зал и тогда буду [illegible]

В один из [illegible] дали повеление быть во дворце эмира [illegible] мания. Ширин оседлал своего серого и [illegible] Толстенький чиновник в канцелярии эмира [illegible] посмотрел на Ширина:

— Это вы, усто Ширин?— удивился он.— Я много слышал о вас. Но [illegible] не огорчайтесь, вам придется ждать. Располагайтесь во дворе, эмир примет вас, как только позволят дела.

Ширин устроился на айване внутреннего двора, он уже знал по опыту, что ожидание может затянуться на недели. Чиновник, который встретил Ширина, проникся к нему уважением, побывав как-то в Мохи-Хосе, он теперь без конца расспрашивал о таких деталях труда ганчкора, которые эмирскому чиновнику вовсе не нужны, проявляя при этом неплохие знания в зодчестве. Нечто вроде дружбы наметилось между этими столь разными людьми и по положению и по устремлениям.

— Дорогой усто, я не могу вам ничего открыть, но эмир в ближайшее время не примет вас. Вы поезжайте на место, а я обещаю вам немедленно сообщить, как только вы понадобитесь.

— Благодарю вас,— облегченно поблагодарил Ширин.

Дело вскоре получило огласку на всю Бухару, и Ширин, не замедливший посетить чайхану, узнал то, что не осмелился сказать ему чиновник.

— Проходите, проходите, усто!— радостно встретил

его Джура.— И отдохните, ведь мы знаем, сколь много вы сейчас работаете!

Чайхана ходила ходуном. Ширин широко улыбался новым знакомым, но причин веселья не понимал.

— Как? Разве вы ничего не знаете? — поразился весельчак Джура.— Во дворце подрались усто Исмоил и ваш лашкарбоши! Теперь вся Бухара веселит душу этим происшествием!

Джура не ошибался. Усто Исмоил еще со времени правления Ахадхана поставлял лепешки ко двору. Многие высшие чиновники старались пользоваться услугами усто Исмоила, дабы при случае похвастаться перед знакомыми, что едят те же лепешки, что и сам эмир. Лашкарбоши не был лишен тщеславия, [illegible] он отличался больше, чем на поле брани с [illegible] эмира. Он получал огромные корзины от усто Исмоила по два раза в день, утром и вечером. Усто Исмоил [illegible] такому человеку прощал долги — самому эмиру [illegible] не всегда, а только в уразу и курбан-байрам. Но [illegible] лашкарбоши мог вместо долга направить для осады [illegible] пятьсот сарбаздуболапуров во главе с [illegible]. [illegible] усто Исмоил, посетив эмира, встретил в приемной [illegible]ственного лашкарбоши.

— А не желаете ли вы, о доблестный лашкарбоши, вспомнить о своем долге? — льстивым голосом напомнил мастер-лепешечник, хотя за этим слышалась [illegible] оскорбительная для воинственного клиента издевка.

— О каком еще долге вы смеете напоминать мне? — густым басом вопрошал лашкарбоши, поправляя портупею с кривой саблей, отделанной бриллиантами.

— Как каком долге? Как каком долге? — взвизгнул напрочь оскорбленный усто Исмоил-нонвой. — За последний год вы получили из моих танур-калонов две тысячи лепешек тафтан, три тысячи лепешек фатир, пять тысяч кульчаи шимоль, я уж не считаю лепешки кульча назараки, нони забони гав и нони хонаги! И за все это вы не заплатили ни одной таньга! Я больше вам не отправлю ни одной горелой лепешки!

— Как ты смеешь так говорить со мной, о презренный лепешечник! — взревел доблестный защитник трона, но усто Исмоил-нонвой не сдержал своего вспыльчивого характера и вцепился в крашеную бороду лашкарбоши.

Не ожидавший такого стремительного натиска, военный министр сдал свои позиции, но потом, оценив соотношение сил, тоже вцепился в редкую бороду хлебопека.

Растерянные слуги и мелкие чиновники опешили от такого невиданного побоища, а эти двое уже катались по коврам зала, и клочья их бород летели во все стороны. Военный министр ревел, как горный медведь, а хлебопек верещал тонким голосом. Чалмы обоих почтенных мусульман валялись разорванными, сабля министра оторвалась, и хлебопек успел вырвать из ее эфеса один бриллиант в уплату долга.

— А, несчастный!— заорал министр.— Ты еще смеешь посягать на оружие, которым мы защищаем Бухару от врагов!

— Какие еще враги угрожали Бухаре, кроме тебя, о недостойный [illegible] лармовых лепешек?

Был срочно [illegible] брани большой кушбеги Бадреддин, [illegible] клочки бороды усто Немонла и глаз военного министра, в который старался вонзить свои крючья [illegible] лепешечник.

Алимхан [illegible] по кабинету. Что творится в его дворце! [illegible] представителей иностранных держав! А что скажут русские чиновники? Они же не преминут доложить об этом скандале генерал-губернатору края и наместнику, а те передадут в Петербург как очередной казус с нам эмиром! Что за негодяи окружают его, что за низменные души! Они не способны понять, что дозволено и что недозволено при дворах владык. Они жадны, суетливы и нечестивы, у них нет страха перед гневом аллаха!

— Оббо! - восклицает эмир.— Эти вонючие шакалы, пожирающие собственную печень, только позорят нас своими мелочными счетами и вечными драками около куска мяса! Ну нет, мы обоих накажем примерно, дабы не портили нам желания провести достойно праздник, дарованный провидением! - Пусть войдет этот почтенный бай Джурабек! Мы хотим выслушать его

Джурабек Арабов, бухарский миллионер, крупнейший торговец каракулем, вел дела с Россией и Европой, был принят и в Царском Селе и жалован

— О пресветлый эмир, убежище правоверных, да продлятся твои дни!— с ласковой улыбкой говорил этот славный, достойный гражданин Бухары.— Ваш отец мавраг эмир Ахадхан, да пребудет над ним милость аллаха, соизволил присутствовать на тое по случаю обрезания моего старшего сына Ахадбека. Но моя жена принесла еще одного сына, Алимбека, да будет он не забыт аллахом, и снова по долгу мусульманина я делаю той. Не

соизволите ли наш любимый эмир Алимхан почтить наш скромный праздник?

— Ну что же,— поджал довольно губы эмир,— мы посетим ваш той, а вы должны назвать нам срок вашего праздника.

— Я благодарю пресветлого эмира за великую милость, а о сроках сообщу дополнительно, как только все будет готово!

Все эти большие и малые события совсем не трогали Ширина. Что ему до драк и праздников богатеев? Его ждет Белый зал. Устокоры — наемные ремесленники,— уже сделали всю черновую работу без Ширина. Они наготовили немало карнизных и настенных плит, отлили детали сталактитов, и теперь только ждали мастера, который сам укрепит их на потолке и стенах.

Но работа по закрытию стен зеркалами с ганчем еще не закончена. Сейчас подсыхали в сарае сразу два зеркала с уже нанесенными узорами, и Ширин отправился в сарай посмотреть, как они сохнут. Клей держал хорошо, но просыхал не сразу. Устокор Шермат открыл ключом сарай, и Ширин вошел. Он не сразу увидел следы злодеяния, а увидев, ужаснулся. Одно большое зеркало, на которое Ширин уже нанес орнамент, было разбито в мелкие осколки. Видно, кто-то топтался по нему ногами. Ширин вскрикнул и кинулся из сарая, воздевая к небу руки:

— О, аллах!

Вскоре о беде узнали и Абдурахим, и Абдугафур, и русские инженеры Сакович и Марголис. Они все осмотрели сарай, разбитое зеркало, а потом собрались в конторе Саковича. Шермат стоял у двери, весь поникший и бесконечно убитый, ведь ключ от сарая был у него. Конечно, теперь вся вина падет только на него, и ему не избежать наказания палками, на которые не поскупится суд.

— Я считаю, господа,— заявил Сакович,— что о случившемся докладывать эмиру не следует. Но вы же сами видите, что сделано злодеяние с умыслом. Значит, кто-то хотел помешать Ширину закончить в срок работу во дворце, кто-то хотел подвести его под гнев эмира. И вот в этом плане мы должны поставить в известность или кушбеги, или кази-калона.

— Я думаю, что и этого делать не следует,— не согласился Марголис,— ведь и тот и другой непременно до-

ложат эмиру, и тогда грозы не миновать. А что злодеяние умышленное, сомнения нет.

— Где же мне взять еще одно зеркало?— откровенно страдал Ширин.— Ведь таких стекол в Бухаре никто не делает.

— При[illegible] [illegible] к мистеру Кляйну,— огорчился [illegible] для этого все же надо сказать кушбеги, [illegible] эмир просто так не даст деньги на [illegible]. И так плохо, и так не хорошо.

— [illegible] делать, усто?— тихо спросил Шермат.

— Что он [illegible]? — переспросил Сакович.

— Он [illegible], что делать ему,— перевел Ширин.

— [illegible]? Ну вот и отлично, пусть идет работать, [illegible].

[illegible] в Мохи-Хосе. Судьба Белого зала [illegible] Его нужно закончить к определенному сроку [illegible] целой, но умолчать о происшедшем невозможно. [illegible] отделывал потолок, карнизы, люди Ашота уже разбирали часть лесов, а тревога не проходила...

Однажды, [illegible] у эмира, Сакович неожиданно для себя рассказал ему о случившемся

— Ну, что же тут такого? – заметил спокойно эмир.— Не наказывать же за это какого-то растяпу? У нас говорят: «Аллах дает – шах жалует». Я распоряжусь, чтобы купили новое зеркало. А вы там будьте поаккуратнее.

— Беспредельна щедрость великого повелителя Бухары,— искренне поблагодарил Сакович.

Так на редкость просто, без каких-либо последствий разрешилось это странное происшествие. Не зря говорят: «Когда вспыхивает гнев, убегает разум». Эмир Саид Алимхан на этот раз сумел смирить свой гнев.

Глава XIII

КОКБАРИ

Бухара ждала эмирского решения по поводу скандальной истории лашкарбоши и лепешечника. В чайханах событие разбиралось с пристрастием, присущим горячему темпераменту жителей этого благородного города. Будь это обычная тяжба между любым нонпазом и военным министром, она непременно закончилась

бы наказанием нонпаза, но усто Исмоил-нонвой был слишком известным человеком, чтобы его публично выпороть на площади. И это подогревало интерес.

Чайханщик Джура делал выручку вдвое большую, чем в обычные дни. Люди шли сюда узнать новости, заключить пари, просто посмеяться над алчными богачами, которые терзают не только бедняков, но и готовы перегрызть друг другу глотки. Конечно, тысячи и тысячи лепешек разных сортов, которые за год уничтожил лашкарбоши и его родственники, стоили немалых денег и значительно опустошили карман хлебопека. Но и его не особенно жалели посетители чайханы. Нонвой уже сколотил немалый капитал на хлебе. У него богатый дом в Бухаре, дача, нонвойхона в каждом районе города. А ведь не только эмир и его приближенные едят хлеб нонвоя, любой самый последний бедняк прежде всего купит лепешку, и если другой пищи у него нет, то будет довольствоваться лепешкой и чайником чая, да еще воздавать хвалу аллаху за дарованный хлеб насущный.

— Ставлю пять таньга против трех, — важно говорил устокор Джамал, восседая перед чайником у Джуры.— Да, ставлю пять против трех, что лашкарбоши не сдобровать, ведь он брал то, что позволено брать только эмиру.

— Что ты знаешь, Джамал,— укоризненно говорит водонос Карим,— ворон ворону глаз не выклюет. Не пострадает даже один волос на голове блистательного лашкарбоши.

— Э, Карим!— отмахивается Джамал.— Ишак с золотом перелезет через любую стену! Даст хороший селяу нонвой и дело выиграет. Так кто идет тремя таньга против моих пяти?

Такой уж это необыкновенный город — Бухара. Слово, сказанное в малозаметной, бедной чайхане, через час-другой уже выпорхнуло на простор бухарских базаров и караван-сараев, его повторяли и передавали. А бедный Джамал, узнав, что его слова растеклись по Бухаре, предпочел укрыться в доме, надеясь так отвести от себя гнев властей за свой язык. В Бухаре умеют укорачивать и не такие языки. Недаром же в народе говорят: «Птица попадает в ловушку клювом, человек — языком».

Теперь, после слов Джамала, заключались тысячные пари, нам говорил об этом сведущий человек из гузара

Газнён, но мы не назовем имени этого достойного человека, дабы не навлечь на него немилость.

Бухара веселилась, наблюдая за разрешением поединка столь влиятельных людей. А нонвой Исмоил объезжал свои харасхоны и нонвонхоны.

В харасхоне при мельнице стояли четыре пекарни на четыре танури калона. Восемь нонпазов работали, как заведенные, вынимая испеченные и закладывая слепленные лепешки. Двенадцать ноншиканов — лепильщиков лепешек — едва успевали выделывать лепешки. Хамиргири месили тесто, [illegible] носились между танури калонами, с ведрами за водой к хаузу. Восемь арб развозят изде[illegible] по особым спискам, за которыми следи[illegible], кому и сколько отправлено лепеш[illegible] горячего хлеба, если стоишь о[illegible] день отбивает всякий аппетит, поэтому все [illegible] худы и черны. Мало кто выдержива[illegible] больше пяти лет. И платили гроши — нонвой с[illegible] любой работник не может не украсть лепешек, и [illegible] делал скидку с их зарплаты. Двадцать тысяч лепешек выделывалось в пекарнях нонвоя за сутки.

Грузный, высокий, еще крепкий нонвой присел около трепещущего писаря.

— Присмотри за мукой, Кадыр, надо муку помельче. Джурабек заказывает нам на сорок дней лепешки по сорок тысяч в день.

— Сорок? Тысяч? — задохнулся писец.

— Да, сорок тысяч,— горделиво подтвердил хозяин. - Не подведите, и я вас щедро вознагражу.

Это он сказал уже всем своим рабочим и поехал в другие пекарни.

На второй день эмир призвал на суд обоих, лашкарбоши и нонвоя.

— Скажи, нонвой, как ты осмелился учинить нам на позор драку в эмирском дворце?

— Мой хазрат эмир! Да продлятся на нашу радость ваши светлые дни. Что может поделать бедный нонвой, когда этот презренный медный лоб пожирает мои лепешки в течение года и не думает мне за них платить? Неужели он думает, что каждый нонпаз работает только на него и его родственников? О высокомудрый хазрат эмир! Избавьте скромного нонвоя от этого гнусного нахлебника! И пусть он возместит мне все убытки, причиненные за этот год!

Нонвой встал с колен и отошел в сторону. Саид Алимхан сидел на мягких одеялах, облокотившись на подушки и молчал. Что за низкие, подлые души его окружают? Какими ничтожными интересами они живут? Мало они воруют от его щедрот, мало грабят, хватают, жрут у народа, так теперь между собой грызутся, вонючие шакалы!

И эмир вспомнил свою встречу с главой джадидов Ходжи Икрамом. Он убеждал, что для более мудрого правления ему, эмиру, не хватает Большого Совета. Кого, кого он видит достойным быть в таком совете? Все воры, все развратники и скопидомы. Может быть, кушбеги Бадреддин? Вот он сидит справа, мрачный, суровый человек. Да, это он сделал все, чтобы никто не перехватил трон Алимхана. Но так ли уж чист помыслами и делами его первый министр? А кази-калон? Он перенял европейские манеры, пытается прослыть светским человеком, но ведь это его казии обдирают нищий бухарский люд до нитки и делятся со своим кази-калоном, и это считается справедливым. А лашкарбоши — военный министр? Его армия — сброд бродяг и мошенников, картежников и курильщиков гашиша, насильников и хапуг, а он занят только собственным благополучием, набиванием собственного брюха и кармана. Он обсчитывает на жаловании своих сарбазов, дерет взятки с приезжих купцов на городских воротах. Ходжи Икрам говорил о маленьком жаловании сарбазов, но знает ли он, что прибавь эмир это жалование, увеличится только аппетит лашкарбоши, а сарбазы так и будут получать крохи?

Исмоил-нонвой поставляет много лет лепешки во дворец, это правда. Но он лишился чувства почитания и накинулся с кулаками на военного министра за долги. Какой же будет авторитет власти, если низкий лепешечник выдирает бороду у военного министра? А власть сильна почитанием, важно только поддержать этот трепет перед властью, и власть останется вечной. Конечно, Ходжи Икраму можно мечтать о парламентском правлении, но Бухара еще не созрела до демократических свобод, о которых так многословно говорят европейские политики, в Бухаре еще нужна власть эмира, лишенная сомнений и колебаний, власть монарха.

— Скажи мне, лашкарбоши Муминбек, должен ли ты деньги этому устокору? — устало спрашивает эмир.

— Хазрат эмир Саид Алимхан! Вы знаете, сколь

ревностно и истово мы служим вам, сколь многие тяготы падают на наши плечи по охране спокойствия и порядка! Мы постоянно держим в повиновении Бухару и ее столь неспокойных и горячих в своих проявлениях жителей. Ваши сарбазы — да хранит их и милует сам аллах! — все свои ночи проводя их в мыслях, как бы еще послужить нашему эмиру...

«Быть бы ему министром иностранных дел, никто бы не понял, чего он добивается,— невесело подумал эмир. — Вон, как велеречиво говорит, как превозносит свои заслуги, а дельное сказать не может и не скажет, потому что не знает, а признаваться не хочет»,

— И отягченные заботами и стараниями служить с подобающим вашим слугам скромностью и прилежанием, мы могли, конечно, забыть заплатить этому базарному лепешечнику за десяток-другой его черствых, подгорелых лепешек. Но, скажите нам, хазрат эмир...— продолжал лашкарбоши.

— Усто Исмоил-нонвой, говори, сколько, по твоим подсчетам, задолжал тебе лашкарбоши Муминбек?— строго обернулся к нонвою эмир.

— Две тысячи сто тридцать таньга, о терпеливейший из эмиров!— с готовностью ответил нонвой.

— Мы, эмир бухарский, повелеваем: лашкарбоши Муминбек выплачивает нонвою в течение суток долг две тысячи сто тридцать таньга... Нонвою за непочтительное отношение к военному министру произвести внушение — семьдесят пять ударов палкой, а его пекарню забрать в казну. Мы сказали!

Даже кушбеги и кази-калон удивленно повернули голову к эмиру. Лашкарбоши побледнел от неожиданности. Он был уверен, что эмир не тронет его достоинства, но никак не ожидал, что тронет его кошелек. Отдать сейчас такую сумму было противно душе военного министра, он никак не мог представить, что эмир так жестоко обойдется с ним. С другой стороны, его обидчик усто Исмоил-нонвой будет наказан по заслугам, он получит столько ударов палкой, что не выдержит даже выносливый верблюд, к тому же он лишился одной из своих пекарен, хотя у нонвоя их несколько, и не известно, все ли пекарни нонвоя уйдут в казну или какая-то одна?

Усто нонвой валялся в ногах эмира и молил о снисхождении и милосердии.

— Поистине справедлив наш солнцеподобный эмир!—

воскликнул кази-калон, склоняя голову перед мудрым решением эмира.

— Справедлив, справедлив наш эмир,— поддакнул кушбеги.

— Милости и справедливости! Пощады и милосердия!— вопил усто Исмоил, а стражники уже тащили его к дверям.

...И здесь мы снова остановим свой неспешный шаг. Да простит нас столь похвально терпеливый читатель за то, что мы без большой нужды отвлекаем его. Мы понимаем, сколь тягостно для добросердечного читателя несправедливое решение эмира в отношении почтенного лепешечника. Этот достойный и уважаемый усто кормил семью эмира в течение столь долгих лет, а теперь ему подлежит испытать эмирские палки на своей спине и на пятках, кои особенно чувствительны к бамбуковым или кизиловым ударам. Но столь же больно от потери пекарни, которая кормила половину Бухары и всю придворную знать, не считая простолюдинов. Жадный же лашкарбоши получил полное удовлетворение за оскорбление путем выдирания части его далеко не пышной бороды и нанесения ударов кулаком по лицу. Но где же справедливость, если более двух тысяч таньга он должен отдать этому недостойному продавцу лепешек? Куда правильнее было бы оставить этот долг ему, лашкарбоши, дабы кроме моральных страданий добавить еще и страдания материальные.

Мы уверены, что наш милосердный читатель также разделяет возмущение таким несправедливым судом эмира. Но давайте же воссядем на айване мудрости и наденем халаты терпения, вооружим свое сердце справедливостью опыта и чалмой знания жизни. И давайте спросим себя, будет ли возвращен столь высокий долг лашкарбоши усто Исмоилу? Будет ли бит палками усто Исмоил в столь щедром количестве, и будет ли отобрана у него его пекарня? Не спеши с возмущенным возгласом, о столь близкий нашему сердцу читатель! Ты скажешь, что спрашивать не о чем, когда сам солнцеподобный эмир вынес столь справедливый и мудрый приговор? Но не спеши, не спеши, высокочтимый наш друг, ибо сказано же, что торопливость — свойство дьявола. Мы, умудренные жизнью, видим чуть дальше и понимаем чуть больше, нежели то, что лежит на самом верху. Посмотри же и ты с нами, сколь неожиданным будет поворот после такого сурового приговора эмира

и скажи, неужели ты ждал нечто отличное от того, что произошло дальше? И неужели могло быть иначе, чем случилось? И сравни происшедшее с лашкарбоши и нонвоем с тем, что некогда происходило с нашим мастером? Сравни, насколько справедлив суд по отношению к одним и к другим, и подумай, можно ли ждать справедливости там, где она никогда не присаживалась, дабы наказать воистину виновных и пощадить несчастных. А тем временем мы пойдем дальше вслед за нашими героями и призываем тебя следовать за нами, вооружившись посохом терпения...

Кушбеги, освободившись от присутствия на эмирском суде, поспешил к дворцовой тюрьме, где стонал и посыпал голову пеплом безутешный нонвой. Стражники, видимо, перестарались, потому что бока уважаемого усто Исмоила уже болели, а его шелковый халат разорван. Кушбеги своим могучим кулаком сделал охранявшему тюрьму сарбазу внушение, отчего один глаз слишком усердного стража закрылся надолго, и пинком распахнул дверь:

— Что, усто Исмоил? Тяжек меч справедливости? Но ты не теряй надежды, это утешение страдающих. Все не так уж плохо. Мы думаем, что дело до палок не дойдет, если ты будешь внимательно слушать нас. Эмир сейчас слишком взбешен, но он постановил, что лашкарбоши вернет тебе свой долг. Его убедят, чтобы он принес его прямо сюда, и тогда твое пребывание в тюрьме не будет столь тягостным. А знаешь ли ты, что после семидесяти пяти ударов палками человек не выйдет из дома два месяца, а иногда и совсем не выйдет?

— Два месяца? О, аллах! Я два месяца должен лежать и страдать?— совершенно не понял первого министра нонвой.— Целых два месяца!

— Слушай же дальше, несчастный! Твоя пекарня отошла в казну, но не станем же мы сами выпекать лепешки? Эмир продаст ее тому, кто щедро заплатит за нее. Подумай-ка хорошенько, хватит ли у тебя денег, чтобы купить ее у эмира?

— Я теперь должен платить за пекарню, которая принадлежит мне по праву! Оббо!— завопил несчастный лепешечник, но кушбеги зажал ему рот своей могучей ладонью.

— Мы постараемся, чтобы эмир не назначил за нее слишком высокую цену!

Нонвой с каждой минутой становился сообразитель-

нее и умнее. Он даже нашел силы благодарно улыбнуться щедрому министру.

И в то же самое время блистательный кази-калон беседовал с лашкарбоши.

— О, сколь неблагодарны эти люди!— ворковал кази-калон.— Вы оказывали этому презренному нонвою такую высокую честь, преломляя именно его лепешки, не призывая других лепешечников! И такая неблагодарность! Но будем справедливы, дорогой военный министр, цена за лепешки, которые вы получали в течение года, не слишком высока?

— Нет, не слишком высока,— согласился не очень умный воин ислама.— Я бы не сказал, что она слишком высока...

— Но если вы, досточтимый Муминбек, не вернете долг этому презренному лепешечнику, то наш светлейший эмир, чья справедливость известна во всех сторонах от Дамаска до Ферганы, сочтет неисполнение его суда оскорблением и осудит вас на страшные мучения. А дабы утолить вашу печаль от потери двух тысяч и ста тридцати таньга мы повелели казначею назначить на завтра выдачу жалования армии!

— Ого, завтра будет получение жалования? Тогда мы сейчас отправимся в тюрьму и выплатим долг нонвою!

Он остановился около дверей тюрьмы, которые распахнул перед ним стражник.

— О ты, помесь паука и шакала, да сгорят от жажды твои вонючие внутренности и вылезет твоя борода! Бери свои нечестивые деньги, и да накажет тебя аллах за твою жадность и скаредность, и пусть сам шайтан подстелит тебе в постель свой шелудивый хвост вместо шелкового одеяла!

Тут мы должны заметить, что великий лашкарбоши славился не только своими воинскими доблестями и пожиранием бесплатных лепешек, но и как неподражаемый сквернослов, в коем искусстве он беспрестанно совершенствовался, за что и был продвинут предыдущим эмиром в высшие воинские начальники, справедливо полагавшим, что его голопятую, нищую армию можно держать в повиновении с помощью указанной нами добродетели.

Но как бы он ни упражнялся в оскорблениях и хулительстве, усто Исмоил почувствовал некоторое облегчение своей участи. Очень скоро ставшие угодливыми и

внимательными, стражники принесли мастеру лепешек шелковые одеяла и подушки, кальян и кувшин воды для омовения. Исмоил умылся, повеселел и вскоре восседал за тахтой, уставленной яствами. Поистине сказано мудрыми: ишак с золотом перелезет через любую стену. Щедро уплатив своим недавним мучителям, усто Исмоил, сотворив молитву, уснул, доверив свое будущее аллаху.

А в это время эмиром был принят бухарский торговец каракулем Джурабек Арабов, вручивший ему богатый подарок. Не лишенный слабости к лести и подобострастию, Алимхан снисходительно внимал голосу Джурабека, не преминув заметить про себя, что хитрый торговец специально [illegible] своего сына Алимбеком, дабы тем самым еще более угодить своему эмиру. Алимхан благодарно кивнул головой:

— Мы будем на тое, благородный Джурабек! А скажи нам, будет ли в конце тоя кокбари, и что ты намерен устроить на кокбари?

— Да станет известным моему несравненному эмиру, повелителю вселенной и убежищу мира, что мы поставим за своим айваном шестьсот всадников.

— Вот это да! — воскликнул польщенный эмир.— Тогда мы поставим за своим айваном семьсот всадников!

— Весь мир содрогнется, прослышав про такие великие празднества в нашей богочтимой и угодной самому аллаху Бухаре! Клянусь своей бородой, мы поставим угощение на тысячу человек, о подобный солнцу эмир!

— Мы видим ваше усердие в служении аллаху и вознаградим,— обещал эмир.

— Но некая забота не оставляет нас, о повелитель,— продолжал Джурабек.— Мы уже хотели произвести закупки для будущего тоя. Мы купили много халвы и печенья, инжира и кишмиша, конфет русских и парварды, всяческих сладостей для гостей, в том числе кандалат бодоми, донаги, нахути, пистаги, чормагзи, холваи кун-жути, пашмак и оби-набод. Но когда мы хотели закупить лепешек, то не нашли на месте известного на всю Бухару, а также за ее пределами, усто Исмоила-нонвоя. А кто лучше него спечет лепешки, достойные столь высоких гостей, какие пребудут на моем тое?

«Шайтан бы облизал этого лашкарбоши,— подумал досадливо эмир,— из-за его неслыханной скупости мы

лишили Бухару и лучших ее граждан возможности получить скромный кусок лепешки, дабы утолить голод».

Джурабек осторожно положил мешочек с золотом к ногам эмира. Эмир прикрыл глаза и едва заметно кивнул головой кушбеги, который и ввел к эмиру достойного Джурабека. Кушбеги тут же дал знак своим слугам, и те скрылись за занавесками и вышли из зала.

Совсем немного времени спустя крытые носилки унесли из дворца эмира уже наполовину ожившего усто Исмоила-нонвоя. Дело оставалось за пекарней, ее еще следовало выкупить из казны. Но тринадцать тысяч таньга были немедленно отправлены кушбеги, который тут же отсыпал себе три тысячи. В эмирскую казну от продажи поступило восемь тысяч.

Вскоре нонвой уже распоряжался на своей пекарне, и его нонпазы, нонширканы, хамиргири даже и не подозревали, что за последние несколько дней они были изъяты, были собственностью эмирской казны, проданы вместе с танури калонами, и вновь вернулись в собственность усто Исмоила-нонвоя. Однако нонвою цена за собственную пекарню не казалась излишне высокой, он надеялся за счет кокбари и тоя возместить с лихвой убытки, понесенные им из-за тяжбы с самим военным министром Бухары.

Той Джурабека Арабова длился сорок дней. И все эти сорок дней на большой загородной даче, расположенной неподалеку от Ситораи Мохи-Хоса, не смолкали карнаи и дутары, сурнаи и флейты, гремели барабаны, грохотал временами русский военный оркестр, танцовщицы соблазняли правоверных гибкостью станов и страстными движениями, клоуны веселили народ своими проделками. Снова растянули на высоких шестах свои канаты бродячие дарвозы, и снова медведь веселил простой народ, но на этот раз он по команде поводыря изображал не повелителей и их сановников, а ленивого горшечника, сонного продавца халвы, жадного седельщика.

Оголенные по пояс ловкие повара целыми днями метались у пышущих жаром огромных котлов, а поварята с вытаращенными глазами носились от ящиков с припасами к котлам, а от котлов к штабелям дров, получая на бегу подзатыльники и пинки.

На самых почетных местах восседали эмир, весь его диван, — государственный совет в составе всех министров, старших имамов, шейхов и мулл, раисов и мударри-

сов, полковников и юзбаши, а за ними влево и вправо расселись их чиновники, мирзы, писцы, и каждый получал столько еды, сколько мог вместить, казалось, бездонный желудок.

Поодаль на обширной площади для простолюдинов, нищих, дервишей, кали, конюхов, подметальщиков кипели огромные котлы с лапшой и требухой, прыгали от нетерпения большие самовары, и сноровистые чайханщики разносили чайники ко всем тахтам, дастарханам и просто застеленным на земле платкам и старым коврикам. Всюду ели, чавкали, пили, гоготали, тут же спали, подложив под голову кулак те, кто не смог пересилить истому от обильного угощения.

И на всех тахтах, дастарханах, скатертях, подносах лежали горы румяных, горячих лепешек, которые обновляли каждые три часа носильщики, прибывающие на огромных арбах.

Эмир, наблюдавший за факиром, который тонким тихим пением своей флейты усыплял большую черную змею, подержав в руке ломтик лепешки, вспомнил:

— А что, Бадреддин, жив ли наш поставщик лепешек Исмоил-нонвой после ударов палкой? И не он ли поставляет лепешки на этот той?

— Мудрость нашего эмира затмевает всех мудрецов Греции, Египта, Ирана, Китая,— склонил голову кушбеги.— Эти лепешки действительно его лепешки, и он выкупил пекарню из вашей казны.

— Мы надеемся, что скоро усто Исмоил оправится от наших палок и посетит нас на этом празднике,— милостиво позволил эмир.

Алимхан прекрасно понимал, что деньги вытащили усто Исмоила из-под палок дуррадастов, но не считал нужным мешать этому. И хитрости придворных, которые старались убедить его, что усто Исмоил действительно воспринял внушение палками, он видел прекрасно, но ему было даже веселее от мысли, что его казна пополнилась за счет нонвоя, а сам пекарь просто прячется, ссылаясь на тяжелые следы внушения. И довольный собой и своими подданными, эмир весело рассмеялся:

— А скажите, кушбеги, почему мы не видим на этом прекрасном празднике почтенного Ходжи Икрама, который воспылал мечтой учить нас править государством? Интересно, что сказал бы он нам, увидев этот великолепный праздник?

Что и говорить, вскоре Ходжи Икрам уже был в числе гостей Джурабека.

Он испытывал подлинное удовлетворение от того, что сам эмир почел необходимым лицезреть вождя джадидов в числе своих приближенных. Он воспрял духом и даже забыл, что только недавно по воле того же эмира вновь сотрясли Бухару казни смутьянов.

А праздник гремел, гудел, грохотал, каждое его утро начиналось невиданными потехами. То потешали шуты на ходулях, то выходили палваны и затевали кураш, то собирались шашлычники и устраивали свое состязание сродни состязанию пловчи.

А главное событие тоя еще впереди. Многие сотни всадников готовились к кокбари — козлодранию.

Проявит полное невежество тот, кто подумает, что это просто скачки за чучелом козла. Караванбоши Бухары Саидбай уже три недели изучает козлов, из которых лучшие живодеры города будут делать чучело.

Козел должен быть сильным, с большими рогами, широк в груди и вызывать острое желание сладить с ним. Уже более десятка козлов были умерщвлены, но чучела, достойного праздника, караванбоши не видел, а ведь он очень тонко разбирался в этом деле.

И вот белый козел с жесткой бородой и шайтаньими глазами привлек его внимание. На второй день козел, уже препарированный лучшими мастерами, стоял в сарае, пока недоступный взгляду посторонних. Его швырнут в толпу всадников в последнюю минуту. Караванбоши гладил его шелковистую шерсть и разговаривал с ним, как с живым.

— Что останется от тебя и твоей шкуры, порождение самого Азраила? Наши джигиты будут рвать тебя на части, выхватывать друг у друга, даже бить тобой по головам и плечам! Но за тебя заплачено очень хорошо, поэтому ты не должен рассыпаться до конца игры, бедный козлик.

Сарбаз Сухроб тоже готовился к козлодранию. Теперь, став богатым и влиятельным, он купил себе горячего арабского коня и специально готовил его к решающему дню. Вкус к коням у него был давно, в седле он сидел, как любой бухарец. Иметь своего хорошего коня — давняя его мечта. Почти не присутствуя на празднестве, Сухроб каждый день делал выездки на своем скакуне, но так, чтобы не видели его коня соперники и не опоили или не накормили дурман-травой. Трое конюх-

хов из сарбазов стерегли коня под страхом наказания палками. Сам Сухроб почти не ел в эти дни тяжелой пищи и не пил много, чтобы остаться сухим и не отяжелять коня.

Иные же гарцевали на своих скакунах, стараясь заранее покорить симпатии гостей. Но ведь одно дело красоваться, и совсем другое — победить в кокбари!

Утро скачек началось с состязания курашистов, потом были выведены наездники Джурабека. Джурабек, который теперь назывался Учруком, сидел напротив эмирского айвана. Кони бесновались, кусались, ржали, пыль и гвалт стояли над наездниками Учрука. Глашатаи выехали на белых конях перед конниками, громко возвестили, что победитель будет награжден дорогими подарками, и под выкрики «хвала аллаху» покинули ристалище. Теперь вдали показались всадники эмира, который на время кокбари носил название Киргиза.

Никто уже не знает и не помнит, почему на время кокбари устанавливались эти странные имена учрука и киргиза, а значение слова «учрук» вообще никто не мог объяснить, но традиция держалась стойко. Более семисот всадников выставил Киргиз, и теперь перед строем его конников вышли его глашатаи и возгласили, что победителю будут дарованы Киргизом деньги и дорогие подарки.

Без кокбари или улака, как его называют в других местах, не обходится ни одно значительное торжество. На бешено несущихся скакунах всадники борются за обладание тушей козла. Чтобы отобрать его у соперника, требуется немалая ловкость, сила и сноровка и от всадника, и от коня. Куча пахнущих терпким потом человеческих тел, дикое ржанье ошалелых животных, жгучие выкрики людей: «А-а-а! Ур! Ур! (Бей! Бей!), — нагайки, безжалостно хлещущие по крупам и мордам коней, по спинам и рукам соперников — все увидишь на этом празднике.

Зато победителя ждут поистине царские почести. Его сажают на временный трон рядом с эмиром, подносят дорогие подарки, перед ним ставят огромный котел с пловом. Сам он, гордый и счастливый, весь в синяках, кровоподтеках и ссадинах, угощает друзей. Его трофей, козел, даруется ему для того, чтобы вечером он угостил им своих родных и близких. Таков обычай!

В нетерпении били копытами землю горячие кони. Но вот с возвышения караванбоша был выброшен на середину козел.

Около тысячи всадников кинулись к заветной цели. В свалке было невозможно понять, в чьих руках сейчас добыча. Козел переходил от одного к другому, вырывали его чуть ли не вместе с рукой, несколько всадников уже были вышиблены из седла. Кого-то унесли на руках, растоптанного копытами. Кому-то горячие соперники всадили нож в бок, и он взывал к справедливости. Но кто бы сейчас нашел коварного соперника, всадившего нож на кокбари? Адатом строго наказывалось применение оружия в кокбари, виновник мог быть казнен за нарушение правил, но как найти этого ловкача среди громадной толпы всадников, которые крутились в бешеной карусели.

Постепенно кокбари вытягивалось, уходило от майдона, потому что овладевший козлом всадник старался ускакать подальше от соперников, и его могла выручить только резвость коня. Но у всех почти одинаково горячие кони, и козел все время переходит из рук в руки. Скачка то удаляется от трибун, то, замыкаясь по кругу, вновь приближается.

Сухроб пока не ввязывался в схватку. Конь легко носился вокруг ожесточенных всадников, а Сухроб только поджидает, только выбирает момент.

Но вот скачка затопталась на месте, два палвана схватились за грудки, стараясь свалить друг друга наземь. На какую-то долю секунды они забыли о козле, и Сухроб с диким криком ринулся к желанной добыче, схватил на скаку и бросил перед собой в седло. Конь, сохранивший силы и резвость, легко и ходко понес его прочь от схватки. За ним устремились сотни две конников, но Сухроб широким наметом уходил от преследования. Рев болельщиков возрастал, как обвал в горах. Вот кинулся ему под ноги какой-то прыткий конник, но Сухроб вздернул узду, и конь легко перелетел через неожиданное препятствие и ушел дальше. Второй преследователь уже протянул руку, но страшный оскал, дикий рев Сухроба испугали соперника, и он отстал. Впереди было чистое пространство, вся погоня осталась позади, и Сухроб теперь несся, низко склонившись к шее коня. Жесткая грива хлестала его по лицу, но он уже жил победой и ничего не замечал.

Спустя несколько минут он остановил горячего ко-

ня перед трибуной «Киргиза» и бросил добычу наземь перед эмиром

— Поистине тебе, о благословенный эмир, посвящается эта добыча!— возгласил Сухроб.

Тут же его стянули с коня, набили рот халвой, дали несколько глотков чаю, чтобы смочить рот, накинули первый подарок — просторный дорогой халат и перепоясали бельбагом

— Подойди, доблестный джигит,— ласково глядел на Сухроба эмир,— и назови свое имя!

Сухроб, [illegible] обученный словам и поступкам людьми [illegible], [illegible] склонился перед могущественным повелителем

— Я твой покорный слуга и солдат, а зовут меня караулбеги Сухроб

— Р[illegible] поистине храбрый солдат может быть караулбеги, [illegible]? Объявите мой фирман, что он отныне будет носить звание юзбаши! Мы обещали высокую награду победителю в три тысячи таньга. Получи [illegible] награду, юзбаши Сухроб! И получи все дорогие подарки, достойные твоей победы!

Громкими криками встретили зрители эту поистине царскую милость эмира. Сухроб был усажен между слугами и охранниками, но ближе их к эмиру. Гордящийся удачей своего всадника, эмир то и дело поглядывал в сторону Сухроба, и смышленые царедворцы каждый от себя посылали ему подарок за подарком и наконец приблизилась делегация во главе с самим Учруком Джурабеком. Ритуал этот тоже был отработан еще в далекую старину.

— О досточтимый великий Киргиз! Достойный и благочестивый Учрук просит твоего позволения вручить дары твоему доблестному киргизу, достойные его удали подарки!

— Мы разрешаем жаловать твоими подарками, Учрук, нашего джигита юзбаши Сухроба, столь богато наделенного храбростью и отвагой!

Денежный приз Учрука, сундук с подарками перешли к Сухробу. Кушбеги подарил ему арбу с конем под красным расшитым чепраком, и сарбазы Сухроба погрузили в нее все обильные подарки.

До поздней ночи длился этот веселый праздник. Уже когда стали разъезжаться и эмир готовился отбыть в Бухару, казначей сообщил ему, что Джурабек, который был обязан покупать все продукты и дорогие вещи из

сокровищниц эмира, оплатил счет на сто тысяч. Эмир неплохо устраивал свои дела, вынуждая своих подопечных покупать для тоев товары именно из его амбаров и складов.

И только усто Ширин со своими устокорами не принимал участия в этом грандиозном празднестве. Он спешил с окончанием зала.

Один из подручных подошел к мастеру. Ширин смотрел на звездное небо и о чем-то думал.

— Усто, вас просил принять утром усто Нишан. Он живет неподалеку в кишлаке и утром будет здесь. Что ему ответить?

— Проводишь его в мастерскую, Камал,— после долгого раздумья ответил Ширин. Устокор не заметил горестную морщинку у кончиков рта мастера, тот до сих пор не мог забыть обиды, нанесенной ему много лет назад.

Глава XIV

САЛОМАТ

Жена готовилась родить. И поэтому последние недели Ширин все чаще выбирал час-другой, чтобы съездить в город, забежать домой, принести жене завернутый в тряпочку подарок: то веселые бирюзовые сережки, то платок, то лакомство.

И все-таки как ни ждешь чего-то важного, оно приходит всегда неожиданно. Ширин в этот день был дома, рылся в своих бумагах, что-то записывал для памяти, Ибад возился во дворе с виноградником, когда из женской половины дома выскочила девчонка, взятая служанкой к Саодат на это время, и метнулась за ворота, накинув на голову жилетку, чтобы ею прикрыть лицо. Потом вышла сестра Ибада и что-то шепнула брату. В доме поднялась тихая суматоха, на которую Ширин, в силу своей постоянной самоуглубленности, не обратил внимания. Это и помогло ему избавиться от неизбежных волнений. Он не заметил прихода повитухи и старух, споровистых в принятии родов, даже не услышал первого крика ребенка, возвестившего мир о своем появлении. Ибад, вышедший к Ширину, застал его молящимся.

Несмотря на все невзгоды и лишения, несмотря на

свои порой еретические для стороннего взгляда слова и мысли он оставался истым мусульманином. Но только любил он обращаться к аллаху не на виду, не под сводами мечети, где могли быть и фарисеи, и ханжи, и неверящие в бога, но следующие принятому порядку люди. Он обращался к аллаху всякий раз, когда требовала его душа, не просил у всевышнего милостей и подарков, не выманивал земных благ, он обращался к нему за благословением в своих -трудах, молил о ниспослании вдохновения и терпения, столь необходимых творцу, об удаче, столь желанной для созидателя, о признании своих работ и не ради собственного возвеличивания, а во славу своей горячо любимой Бухары. Светлы и спокойны были эти мгновения обращения к богу, и никто не должен мешать в такие высокие минуты молящемуся. Поэтому Ибад, как ни велико было его нетерпение, тихо прикрыл дверь и подождал, пока Ширин завершит молитвы. А когда мастер снова вернулся к трудам своим, Ибад теперь уже со спокойной совестью вошел.

— Да прославится имя аллаха во веки веков!— торжественно объявил тесть.

— Во славу его имени и его деяний,— отозвался Ширин.

— Слушай же, сынок. Я хочу сообщить тебе о весьма радостном событии. У тебя родилась дочь!— объявил еще более торжественно тесть.

Ширин, не вняв торжественности момента, хотел было кинуться к жене, но Ибад удержал его:

— Сейчас мужчинам там делать нечего, дорогой. Давай воздадим благодарственную молитву аллаху за дарованную им милость,— и оба опустились на колени.

Все последующие дни были полны такими заботами, что Ширин уставал не меньше, чем даже когда-то в Кермине.

Как это положено по обычаю, предстояло собрать гостей и подготовка к тою шла с первого дня рождения ребенка. Ширин обратился с письмом к миршабу с просьбой выделить ему на праздник музыкантов и танцоров. Просьба его была удовлетворена, и Ширин, опять-таки в соответствии с правилами, вознес за его высочество эмира благодарственную молитву.

Умиленное настроение не омрачилось тем фактом, что родилась девочка, а не мальчик. Ширин был счастлив чувствовать себя отцом и от этого даже стал хо-

дить степеннее, хотя степенность никак не шла ему, а порой выглядела смешной.

Осталось сделать последние покупки, и счастливый отец с тестем положили в пояса деньги и отправились на базар.

Они не спешили, поскольку поспешность, как известно, есть свойство сатаны и поэтому начали свой путь от священного Ляби-хауза. Они прошли дуконы мелких ремесленников и купили всяких безделиц, но главные базары начинались за медресе Нодир Девонбеги, и они скоро оказались там. В раста халвогорон Ширин [illegible] купил свежей халвы и отправил ее домой с расторопным мальчишкой-посыльным. Около арыка Шахруд в расте Читфуруши накупили ситца, около купола Токи Тельпак они купили на растаи ойна зеркало для Сабохат и тоже отправили покупку домой. Миновав Токи Саррафон, тесть и зять углубились в ряды Бозори Курпа и купили несколько одеял. Лепешки они заранее заказали и поэтому покупали исключительно подарки. Возле Токи Заргарон накупили кишмиша и свечей, но все эти мелочи пока не слишком опустошили их карманы.

Всякому правоверному известно, что шайтан расстилает свой шелудивый хвост на твоем пути там, где его менее всего ожидать, и горе неосторожному, который не заметит искушения и наступит на этот хвост, поскользнется и упадет прямо в бездну греха. Только на несколько минут оставил Ибад своего зятя и попросил его ждать около небольшой чайханы, чтобы самому взглянуть на торговлю шелками. Ширин равнодушно осматривал привычную картину базара с его криками, толкотней, призывами купить, с шустрыми водоносами, торговцами горячей требухой, когда из чайханы его слух уловил характерный стук. Там играли в кости.

Просто так, от безделья, заглянул Ширин в чайхану, вовсе не собираясь принимать участие в греховной игре. Толстяк с побитым оспой лицом метал кости. На платке высилась ощутимая горка золотых монет. Этот побитый оспой бессовестно выигрывал, и алчность сквозила во всем его облике.

Пока нет тестя, метну-ка я на пару монет, решил Ширин. Надо же сбить спесь с этого жулика, плутни которого столь очевидны для каждого честного человека. Ширин раздвинул плечами любопытных, присел на корточки и выложил две таньга. Презрительно выпятив толстую губу, плут метнул кости... и проиграл. Теперь настала

очередь Ширина. Плут выставил четыре таньга и снова проиграл.

Нет, не столь легкомыслен Ширин, чтобы дать себя втянуть в эту недостойную солидного человека игру, и он решил остановиться на десяти таньга...

Ибад вскоре вернулся к назначенному месту, но зятя почему-то не нашел. Он глянул в одну, в другую сторону, прошелся вдоль торгового ряда, допустив, что Ширин решил что-то еще купить в дополнение к тем подаркам, что они уже сделали, и благодушное настроение Ибада нисколько не ухудшилось. Разве ему самому неизвестно это состояние молодого отца? Пусть делает, что хочет.

Через двадцать минут он уже забеспокоился. А не случилось ли чего? Ибад снова вернулся к условленному месту, но Ширина так и не было. Тогда и Ибад услышал, наконец, стук костей в чайхане. Обуреваемый предчувствиями, тесть вошел туда.

Раскрасневшийся Ширин сидел против игрока с рябой рожей, а перед ними лежала большая куча монет. Ширин уже стягивал свой халат.

— Сколько за него ставишь? Ну, говори?

— Пятнадцать таньга,— хладнокровно отвечал игрок.

Такой халат стоит по крайней мере сто пятьдесят таньга, а то и двести, но в игре и такая ставка вселяла надежду отыграться.

Ибад положил руку на плечо Ширина, но тот, даже не оглянувшись, нетерпеливо сбросил ее. Тогда Ибад чувствительно встряхнул.

— Ты что тут делаешь, безумный?

— Отпустите, Ибад-ака! Отпустите, я все равно должен наказать этого мошенника!— волновался Ширин.

Ибад силком вытащил Ширина из чайханы, а тот все пытался вырваться и вернуться к игре. Не скоро он пришел в себя. А когда уже поостыл и признался, что все деньги спустил и уже готов был спустить свой халат, Ибад только покачал головой, но упрекать не стал. Может быть, вспомнил и свои грехи молодости.

— Да!— удивлялся Ширин.— И как он смог так быстро опустошить мой кошелек? Неужели сам шайтан, чье имя недостойно даже упоминания в устах честного мусульманина, помогал этому плуту и мошеннику?

Ибад знал, что за шайтан встречает каждого в подобных случаях, но смолчал, лишь молил аллаха, чтобы

Ширин снова не возгорелся желанием отыграться за счет своего халата. Но Ширин уже сам сожалел, что оставил этому плуту все свои деньги, а вместе с ними и те свои планы, которые строил, отправляясь на базар.

— Что же теперь я принесу домой?— удивленно разводил он руками,— пусть будут прокляты твои потомки до седьмого колена, о нечестивый из всех нечестивых!

— Воистину себе ты должен говорить эти слова, Ширин,— засмеялся Ибад.— Тебе действительно нельзя возвращаться без подарков. Держи же кошелек

Когда они подходили домой с покупками, у самых ворот переглянувшись, громко рассмеялись. Воистине, коли ты попал в смешное положение, то сам смейся над собой громче всех. Ширин вытирал слезы и причитал:

— Кого я пытался обыграть, о аллах!

Той прошел, как проходят все тои в Бухаре. Было много гостей, были все друзья, был Ашот со своей бригадой, были подсобники Ширина, были русские инженеры Сакович и Марголис, были именитые гости. Все поздравляли счастливого отца. Но в ходе праздника Ширин нет-нет да вспоминал свое дневное грехопадение, и запоздалое раскаяние чуточку холодило сердце.

Девочку назвали Саломат.

Теперь Ширин, вернувшись к своим заботам, вспоминал в Мохи-Хосе этот маленький розовый комочек, и теплая волна радости давала силы для новых исканий.

Глава XV

ДЯДЯ НИШАН

Покинув родной дом из-за нахальных, грубых сарбазов, усто Нишан с дочерью поселился на гузаре Каттагон у дальнего родственника по материнской линии Усмана-Али. Он держал небольшую лавку на базаре позади Подир Девонбеги. Доходы Усмана-Али составляли около двадцати рублей в день, но подаяния, налоги, взятки поглощали большую часть прибыли, и поэтому он жил скромно.

Если родственник оказывается в беде, ни один уважающий себя бухарец не оставит его без внимания. Но семья Усмана-Али встретила Нишана неприветливо. Же-

на не стала разговаривать с Махсурой, а в отсутствии главы семьи просто шельмовала непрошеных жильцов. Махсура теперь при случае ускользала из дома, находила себе утешителей и предавалась пороку с неистовостью озлобленной и ожесточившейся души. Удержать ее у Нишана не было сил, а разговоры о распутстве дочери еще более усиливали его страдания. Наконец гузарский раис просто предупредил Нишана, что если он не приструнит распутницу дочь, то ее, как принято в таких случаях, предадут позору: остригут, обваляют в смоле и провезут на ишаке, посаженною лицом к хвосту, по всем улицам Бухары.

Усто Нишан стал искать себе подряд, но уже никто не хотел иметь дело с человеком, продавшим и предавшим родного [illegible], не сумевшим воспитать единственную дочь и лишенным даже собственного дома. Дурная слава быстро обогнала добрую и теперь неслась намного впереди самого Нишана. Если эмирское окружение, улемы, казии, сборщики налогов давно сами потеряли всякое представление о дозволенном, то простые люди Бухары строго блюли установленные представления о порядочности и достоинстве и в этой среде сочувствия Нишан найти не мог.

А Бухара менялась. Кто-то посоветовал Нишану обратиться в строительную фирму, ведущую строительство казенных зданий в городе. Нишан, всю жизнь возводивший традиционные дома и мечети, не знал принципов европейского проектирования, но он бы согласился на любую работу. Начались долгие хождения.

В фирме главенствовали русские инженеры Сакович и Марголис, и к ним вознамерился направить свои стопы усто Нишан, но узнав в последний момент, что они ведут работы также в Мохи-Хосе, а значит, знают Ширина и его судьбу, воздержался. Ходжи Абдурахим слишком хорошо дал понять, что он думает о причастности усто Нишана к судьбе Ширина, и значит, не может быть полезен. Хотя влияние усто Абдурахима и в вышеназванной фирме, как разузнал Нишан, было велико.

Важные дела делаются далеко не сразу. Уважающий себя мусульманин никогда не проявит поспешности при решении, и усто Нишан ходил несколько недель, пока не получил полного представления о фирме и людях, которые вошли в нее.

Усто уже узнал, что контролирует ход строительства в Мохи-Хосе Латиф-девонбеги, но он больше занимается

финансами. Когда-то этот толстый чревоугодник был бездарным и нерадивым учеником Нишана, но при Ахадхане быстро выдвинулся за счет хорошего знания финансового дела. Идти к нему бесполезно, он встретит приветливо, но ничего не сделает для бывшего учителя, изгнавшего его после трех лет обучения.

Новая Бухара росла в основном за счет деятельности этой фирмы, и усто Нишан пошел обходить постройки, дабы самому понять их особенность.

У древних Мазарских ворот стояла небольшая эшилькхона — посольское здание, где кроме того разместились почтовая станция и телеграф. Усто Нишан походил вокруг здания, заглянул вовнутрь, но мало что понял в тесных, с низкими потолками комнатушках и ушел опечаленный.

Изменения в облике старой Бухары, начатые еще Ахадханом, были противны сердцу усто Нишана. Он был искренне убежден, что Бухара является убежищем ислама, как величали ее в своих проповедях муллы и ишаны, и считал необходимым нетленно сохранить облик древней Бухары, поэтому-то так восставал против всех новшеств, появлявшихся в ее внешнем виде.

Не один век стоит на земле Бухара, такой она была и сто, и триста лет назад. Нишан не замечал ужасающей тесноты, царившей внутри города. Среди базаров и гузаров громоздились кладбища, которые создавали нечто жуткое, но привычное для глаза жителя Бухары. На мазаре Туркиджанды, что расположился в самом центре Бухары, склепы уже наползают друг на друга, они располагаются в несколько ярусов, и усопших в последнее время хоронят уже не в земле, а заключают в сагона — нечто вроде саркофага — и оставляют на открытом воздухе. Смрад и грязь, пыль, запах гниения отбросов на улицах, испарения нечистот не оскорбляли усто Нишана, такая Бухара была близка и понятна ему, не знал он слов мудрейшего, который еще в десятом веке назвал Бухару «отхожим местом страны».

В эти самые трудные для него дни, усто Нишан все чаще и чаще бывал около медресе Мир-Араб — средоточия и светоча ислама. В тесных худжрах медресе хранились многие тысячи богословских текстов, в которых наиболее ревностные сподвижники истинной веры призывали к священной войне против всех инакомыслящих, пребывающих в мусульманском мире и вне его, они находили все новые и новые слова гнева, презрения,

проклятия на головы тех, кто хоть на один шаг отступал от законов шариата. Здесь и сейчас сидят мудрые богословы и писцы, переписывая коран, книгу шариата и книгу тариката во славу аллаха и его пророка Магомета.

Здесь, около медресе Мир-Араб, и увидел Нишана Ходжи Икрам и спросил сопровождавшего его Султанбека:

— Что за почтенный старец каждодневно стоит около священных стен медресе?

— Это старый бухарский усто Нишан,— узнал Султанбек мемара, который когда-то возводил ему дом на гузаре Джуйбар.

— Мир вам, почтенный усто!— подошел к Нишану Ходжи Икрам.

— Мир тебе, о ходжи!— Нишан по чалме определил святость Икрама.

— Не скажете ли вы, усто Нишан, что вы ожидаете у этого святилища ислама и какими мыслями вы хотите поделиться с аллахом?

— Какие могут быть мысли, кроме стенаний и жалоб, у старого мастера, которого так обидели и обокрали!— вырвалось у Нишана непроизвольно.

Ходжи Икрам и Султанбек многозначительно переглянулись и понимающе кивнули: нужно помочь старому человеку.

— Как же это могло случиться?— удивился Ходжи Икрам.— Вы простите мое любопытство, аксакал, но, может быть, я смогу вам хоть чем-то помочь. Не согласитесь ли проехать в мой дом? Это совсем недалеко.

Старика приласкали, обогрели добрым словом, и он рассказал печальную историю своей жизни.

— Конечно, участь ваша горька,— сочувственно покачивал головой Ходжи Икрам,— но мне хотелось бы, чтобы вы все это рассказали моим... прихожанам, уважаемый усто Нишан. Они тоже не обласканы эмиром.

И заметив колебания старика, Ходжи успокоил:

— Не беспокойтесь, здесь не будет эмирских шпионов. А наши люди все в какой-то степени пострадали от своеволия эмира.

Человек сорок слушали рассказ старика Нишана, сочувствовали и даже негодовали шумно и все разом.

— Мы поможем тебе, почтенный аксакал,— заверил Нишана Султанбек,— но и ты должен нам помогать.

Из пространного объяснения джадида старик не по-

нил ничего, но его порадовала возможность кому-то излить свои обиды. А кроме того, он наконец сможет и зарабатывать.

— Мы знаем о вашем трудном положении, усто,— сказал в заключение Ходжи Икрам,— ведь даже в почестях вам отказывает эмир...

— Отказывает, отказывает!— горячо согласился Нишан.

— Есть из вас караулбеги, есть мирохуры, но ни одного зодчего нет, кому бы даровали высокий титул тахсаба!— напомнил Ходжи Икрам.

— Оббо! Вы и это знаете, Ходжи? — проникся трепетом усто Нишан.— Никому, совсем никому из нас не был дарован этот самый высокий титул! Поистине вы святой человек, и только ваша святость позволила заглянуть вам на самое дно наших страданий. Даже заргары — ювелиры — и те получают титул тахсаба, хотя, видит аллах, что огранить камень и вделать его в золотую оправу гораздо легче, нежели возвести мечеть во славу аллаха и поставить дом достойному бухарцу. Но слыхано ли, чтобы меъмору ставили на постой буйных и развратных солдат, которые предаются пороку и вовлекают в него молодых женщин?

Долго еще старик изливал свои обиды, а потом, сморенный усталостью, уснул тут же на айване.

— Не понимаю, учитель, зачем нам понадобился этот старик?— позволил себе крупицу сомнения Султанбек.

— Мы много говорим о несправедливости эмира и его недостойных слуг, Султанбек, но джадиды только слушают отвлеченные слова и не проникаются. Но если мы покажем этого почтенного аксакала и расскажем его судьбу, то это заставит их проникнуться и возмутиться.

— А разве зрелище казней не заставляет проникнуться?— скорбно напомнил Султанбек.

— Нет, о многомыслящий Султанбек, казнь заставляет только содрогнуться, но отнюдь не проникнуться, а это далеко не одно и то же. Страдания живущего не идут ни в какое сравнение с концом казненного. Ибо с совершением казни заканчиваются мучения осужденного, а живущему еще предстоит нести камень страданий по дороге скорби. И как сказал еще великий Максуди: «Да разверзнется земля перед тем, кто заставляет мучиться равного себе...».

Султанбек был не силен в схоластике и не мог поспорить с учителем по столь многомудрым положениям учения о справедливости, он был человеком действия и стремился восстановить справедливость и покарать виновных.

— Но в этих словах Максуди есть прямое указание на мучителей, которые приносят страдания равному себе, о учитель. А можно ли посчитать равными этого старика и эмира?

Воистину, если аллах хочет наказать, то лишает разума, подумал Ходжи Икрам, но поскольку он любил споры на скользкие темы, а в схоластике был одним из сильнейших еще в медресе Мир-Араб, то он легко убедил строптивого Султанбека, что здесь слово «равны» означает равенство всех мусульман перед гневом и милостью аллаха. И тут, при упоминании аллаха, Султанбек спасовал, хотя понимал своим ловким в торговых делах, но не искушенным в спорах умом, что его просто заговорили.

Несколько дней усто Нишан провел в доме Ходжи Икрама, приезжая сюда утром и покидая этот дом поздно вечером. А когда в назначенный день собрались все члены партии Икрама, он произнес прочувствованную речь о бесправии видных созидателей и их страданиях от жестокости эмирского суда, о нищенском существовании мастеров, которые составляли славу и гордость священной Бухары, о необходимости улучшения их существования и о еще большем накоплении грехов и провинностей власти.

Юзбаши Сухроб, теперь важный и заметно осмелевший, позволил себе вопрос, а не состоит ли в родстве с усто Ширином уважаемый усто Нишан? Спросил он не случайно, а потому что помнил рассказ своего бывшего товарища по ссылке и не поверил теперь старику о его безвинных страданиях.

— Этот богоотступник и греховодник является моим племянником, но за свои бесчисленные провинности перед истинной верой наказан и постигает теперь всю глубину своего падения,— важно ответил Нишан.

— А знает ли почтенный усто, что эмир пожаловал ему свободу и даже дал титул караулбеги? Конечно, караулбеги совсем не то, что, скажем, юзбаши, но все равно это милость, и мы,— Сухроб важно осмотрел сборище и увидел в глазах почтение и уважение к своему высокому званию, а поэтому чинно продолжал,— и мы счи-

тасм, что сейчас называть усто Ширина следует не ругательными и хулительными прозвищами, а истинным его званием караулбеги!

Положение Сухроба в среде джадидов теперь значительно возросло, хотя мудрости в нем не прибавилось. Но все эти люди были воспитаны в традиционном уважении к общественному положению человека, а не к дарованному ему аллахом уму.

Эти многодневные споры мало что прибавляли джадидам, но антиэмирские настроения на этой почве укреплялись. Им хотелось реформ, хотелось достойного признания их требований и их исполнения. Диван — государственный совет эмира — пока не принял их требования ввести в состав этого совещательного органа правления джадида, а им хотелось вершить судьбами на равных с влиятельными персонами двора эмира. И в этом учитель видел всю важность привлечения к их движению наиболее видных людей. Усто Нишан, один из зодчих Бухары, должен был стать притягательным центром для остальных устозов. И только непонятный выпад Сухроба подрывал дальние цели Ходжи Икрама. Напомнив о Ширине, юзбаши напоминает тем самым о поступке, недостойном и постыдном, и тем самым умаляет всю важность появления у них людей созидательного цеха.

— Мы уважаем усто Ширина, доблестный юзбаши Сухроб,— важно перебил Сухроба Ходжи,— но он действительно повинен против шариата и понес заслуженное наказание. Однако в дальнейшем постом и молитвами искупил вину и поэтому прощен эмиром.

Это вмешательство Ходжи не удовлетворило Сухроба. И хотя спорить он не стал, но сел с ворчанием, которое слышали близсидящие.

— Вам не следует спорить с учителем, но необходимо остаться и поговорить с нами, юзбаши, - негромко сказал сидящий рядом молодой человек в европейском костюме, но в чалме и халате.

Усто Нишан получил рекомендательное письмо от учителя к Абду Кариму, по прозвищу Тахта. Дело Тахта вел с размахом. Его склад находился неподалеку от минарета Калон, а в куполе Токи Саррофон он обосновал контору. Туда и направил свои стопы многострадальный усто.

Долго пришлось ждать Нишану, пока слуга ходил с рекомендательным письмом, но ничего утешительного не

принес в ответ: хозяин занят с купцами из Берлина, лучше прийти завтра или послезавтра.

Вздохнув, Нишан направился к выходу, когда в дверях приемной появился Ширин с каким-то бритым наголо русским чиновником.

— Господин Сакович, и вы, усто Ширин, пройдите вот сюда, хозяин давно ждет вас!— приветливо встретил их тот же слуга.

Они не могли не встретиться, дядя и племянник, коли живут в одном городе. Нишан по одному виду Ширина понял, что его племянник процветает, он на вершине успеха, о чем говорили не только его добротный халат и присутствие русского чиновника, но то, что Тахта принимает его без долгого держания в приемной или приглашения прийти завтра и послезавтра. Значит, он уже с положением, с влиянием, и его процветание может помочь в судьбе самого Нишана.

— Здравствуй, сынок,— дребезжащим голосом позвал Ширина Нишан.

Горестно сдвинулись брови молодого ганчкора, и он, ничего не ответив, прошел следом за Саковичем. Но Нишан знал истину, что терпеливому всегда споспешествует удача, и он решил ждать. Он искал своих благ, сам не желавший удачи близким. Ожидание племянника затянулось, а потом издали Нишан увидел, что из конторы вышли сам Тахта, а с ним Ширин и Сакович, сели в два фаэтона и укатили куда-то. Тогда Нишан решил найти Ширина в Мохи-Хосе, где, по слухам, работал его строптивый и столь обидчивый племянник.

Эти-то вот события и привели Нишана в то утро к воротам Мохи-Хосы. Но пока оставим старика, а сами пойдем следом за его племянником, который уехал с Тахтой на его склады.

Сейчас, когда заканчивались отделочные работы, Ширин искал люстры, созвучные Белому залу. Совсем нелегко представить себе громадный светильник, чтобы он не был сам по себе и, тем более, не затмевал все остальное, а входил гармонично в обстановку. Перебирая одну за другой люстры, Ширин убирал роскошные и яркие, кричащие о своих достоинствах, и подолгу задумывался над более скромными, не бросающимися в глаза. Но не только богатство отделки волновало мастера, нужно было еще соблюсти соразмерность.

Тахта, сам редко сопровождавший покупателей, на этот раз поехал на склад, помня, что его люстры поку-

пают для эмирского дворца. Но навязывать товар, как это делают крикливые торговцы на базарах, он не мог себе позволить. Человек, в совершенстве владеющий русским, немецким, персидским языками, много читавший, Тахта принадлежал к тем передовым людям Бухары, которые в торговле видели наилучший путь к установлению взаимопонимания между людьми, оставляя религиозные расхождения на долю схоластов и богословов. Будь он простолюдином, давно гузарский судья и раис повели бы его к подножию эмирского трона с веревкой на шее за несоблюдение многих обрядов, предусмотренных исламом. Более того, он сочувствовал движению джадидов, понимая необходимость перемен в Бухаре, однако не очень верил в возможность молитвами и увещеваниями убедить эмира стать либеральным правителем, а судей более добросовестными и праведными. Обладая многими и многими миллионами, Тахта имел совсем не плохую библиотеку, а также картины, запрещенные исламом. Он много видел в музеях Петербурга, Рима, Парижа, покупал творения лучших европейских мастеров. Не желая активно участвовать в движении джадидов, тем не менее он оказывал им услуги, главным образом, финансовые. И знай Ишан, каковы на деле отношения Тахты с Ходжи Икрамом, не оставил бы он своего поста у ворот конторы и не кинулся бы вслед за племянником с его еще очень сомнительным положением.

— Господин Сакович, что вы скажете об этом мастере? — тихо спросил Тахта, протягивая инженеру пиалу с чаем.

— В нем такой взрывной запас творческой энергии, что даже не верится, что столько способен сделать один человек,— также тихо, чтобы не слышал Ширин, ответил Сакович.

— Я много слышал об этом мастере, — подтвердил Тахта,— а сегодня ко мне пришел с рекомендательным письмом его дядя. Этот дядя фактически бросил Ширина в подземную тюрьму и обрек его на службу в солдатах. Я не счел нужным принять его, хотя рекомендатель очень хороший мой знакомый. Мне рассказывал о судьбе Ширина небезызвестный вам Ходжи Латиф. Что делать, доносы практикуются у нас в Бухаре для того, чтобы убрать неугодных со своего пути или для овладения его богатствами. А Ширин уже известен не только в Бухаре. О нем знают в Коканде и Фергане, о

чем меня спрашивали в Ташкенте. Его роспись уже снискала ему известность. Думаю, что наша помощь Ширину окупится рождением новых шедевров национального декора, господин Сакович.

— Вы еще не видели Белый зал, дорогой Абду Карим-бек. Его не позволяет показывать никому сам эмир до полного его завершения работ. Но меня одно очень беспокоит, хотя я дважды намекал об этом эмиру. Ширин работает по пятнадцать часов в сутки, иногда остается спать на лесах, и его приходится уводить спать в его комнату с помощью рабочих, а получает он во много раз меньше, чем остальные мастера.

— Вы должны понимать затруднения эмира, ведь его казна почти пуста,— насмешливые искорки заблистали в черных живых глазах Тахты,— но мы, ценители подлинного таланта, постараемся что-то сделать для этого поистине одаренного человека. Ого, этот человек выбрал нечто, способное украсить лучшие дворцы Европы!

Ширин выбрал люстры на длинных подвесках с тремя ярусами светильников, соцветные оформлению Белого зала и соразмерные его пространству. Как он мог найти именно то, что потом органически вписалось в оформление зала, останется тайной, ибо подлинный талант воистину тайна не только для окружающих, но и для самого творца.

Тахта тут же отдал распоряжение отправить эти люстры в Мохи-Хосу, а сам долго беседовал с Ширином о секретах гармонии. Но Ширин лучше владел резцом и сверлом нежели красноречием, и поэтому Тахта, нисколько не обидевшись на Ширина за краткость его ответов, пообещал быть в числе первых посетителей Белого Зала, что при его богатстве было не столь уж сложным.

В тот же вечер Ширин получил от Тахты конверт, в котором лежало несколько крупных ассигнаций с запиской: «Достойному».

И на следующее утро Ширин встретился с дядей. Дядя припал к племяннику с горькими сетованиями на притеснения и на бедность, которая столь неожиданно настигла его, не преминул напомнить о годах ученичества Ширина, где он и постиг тайны ремесла под его, дядиным, руководством, просил стать заступником перед эмиром в его тяжбе с сарбазами.

— Знаю, что ты обиделся на меня, Ширин, но я ре-

шил отдать тебе в жены свою дочь Махсуру. Да, я знаю, что ты женат, но тебе не помешает и вторая жена, Ширин. И я велю ей во всем повиноваться тебе и верно служить тебе в твоих желаниях.

Сама мысль о возможности делить свою любовь между Саодат и дочерью Нишана была противна Ширину, хотя многоженство узаконено шариатом и не противоречит вере. Но Ширин и в любви, как в зодчестве, был сторонником одной страсти.

— Мне не нужна вторая жена, усто, — не называя Нишана дядей, — ответил Ширин, — а стать вашим заступником перед эмиром не смогу, потому что слишком далеко стою от подножия его трона. Я только усто, танчкор, а не кази-калон, чтобы входить к эмиру с просьбами. Я могу только немного помочь вам, чтобы вы не впали в нищету, потому что вы брат моего отца.

И ассигнации, полученные им от Тахи, перекочевали в карман дяди. И дядя поспешно спрятал их в складках одежды и униженно благодарил, а затем, повинуясь непонятному порыву, попросил показать ему Белый зал. Ширин, не любивший оценок еще незаконченной работы, все же согласился показать.

Дядя ходил по залу, смотрел, вздыхал и шептал молитвы, поднялся на леса и пальцами попробовал лепку. Потом все также молча спустился вниз, постоял у выхода, оглядывая зал, молча взобрался на повозку и уехал, снедаемый противоречивыми чувствами. Он был раздосадован отказом Ширина в ходатайстве перед эмиром и неприятием в жены Махсуры. Но не только это погрузило его в пучину печали. Он был подавлен виденным в зале. Ничему подобному он не учил ни Ширина, ни остальных своих учеников. Это было неподвластно его пониманию. И не понял Нишан, перед великим ли кощунством он стоял только что или перед великим озарением. Но мелким людям свойственны мелкие чувства. Несколько раз он засовывал руку за пазуху и, ощутив там шелест ассигнаций, исполнялся радостью обогащения, не заметив, как оскудевает его душа.

Глава XVI

НАКАНУНЕ

А события на западе уже подошли к катастрофическому концу. Страны Европы зашли в такой тупик, что

только война могла разрешить их противоречия, словно других забот у народов кроме этой нет: уничтожать себе подобных.

Ташкент и Бухара были слишком далеки от театра будущих военных действий, и подготовка к войне здесь почти не ощущалась, тем более, что местное население было освобождено от службы и мобилизации не подлежало. И все-таки брожения в народе начались. Сказалось действие каких-то подспудных сил, о которых не могли догадаться ни царские колониальные чиновники, ни восточные [illegible], погрязшие в разврате и беззаконии. Если и появлялись какие-то противостоящие их воле силы, то они были столь смехотворно наивны в своем [illegible], что даже безжалостное и кровожадное правосудие не снисходило до их преследования. Бастовали изредка рабочие на хлопкоочистительных заводах и железной дороге, но смуту задушили на корню, а тление недовольства погасить никто бы не смог, потому что оно растекалось от центров российской империи до самых отдаленных и забитых, темных окраин. Это недовольство наиболее сильно проявлялось в низших слоях населения, с которым и разделывались беспощадно, а брюзжание буржуазии было только искривленным отражением революционных настроений масс.

Эмир усилил полицейский аппарат, ввел в каждом гузаре фаррабошбеги — нечто вроде полицейских приставов, которые с помощью рядовых полицейских — фаррабов — пресекали всякие проявления вольнолюбия и протеста. Усиление полицейско-жандармской власти еще более усиливало гнет и бесправие в эмирате, но Алимхан не видел той пропасти, которую он рыл сам себе, ибо любая власть, основанная на насилии, уподобляется дракону, который отгрызает сам себе хвост в приступе звериного гнева.

Всмотрись же еще раз, проницательный читатель! Могучий дракон, способный поглотить все живое, вооруженный страшными клыками и еще более страшными когтями, вдруг в слепом гневе грызет свой собственный хвост! Это серьезное предупреждение всем — не уподобляйтесь! Не уподобляйтесь этому чудовищу, который в слепой ярости пожирает сам себя. Не уподобляйтесь безмозглым тварям, хотя и могучим, но слепым умом, не уподобляйтесь, даже если войну начинают слишком далеко от ваших пределов, пусть не утешает вас отда-

женность грозы: ее молнии могут поразить и вас, как бы далеко вы не разбили свой шатер.

К началу войны Бухара разбухала от богатства. Мощным потоком пошли в Россию сырье, продукты, хлопок, кожа. Казна эмира все пополнялась, а народ все больше нищал и голодал. Крупные аферы сотрясали торговый мир Бухары, и горе зазевавшемуся, его стопчут, сожрут конкуренты, и никто не помыслит подать погибающему руку помощи.

Особенно процветал в эти дни караван-сарай Сайфиддин-и-Сарой Барракалон, где шла откровенная спекуляция каракулем, шелком, золотошвейными изделиями, жемчугом, алмазами и бриллиантами, а также сибирским и зарафшанским золотом.

Юзбаши Сухроб, обладая приличным капиталом, а кроме того смекалкой и наблюдательностью очень скоро стал одним из постоянных клиентов Сарой Сайфиттдин и, следовательно, одним из ближайших друзей иранца Абрама-Юнуса (подлинное его имя — о, аллах!— ведомо только тебе одному), имевшего несколько паспортов, так что даже эмирское правосудие замирало в смущении перед нахальством этого мошенника.

— Если этот Айнаки, что означает, как тебе известно, Очкастый, вздумает тебя обмануть, ты скажи мне, и его промыслу настанет конец,— внушал Абрам Юнус Сухробу, когда они переходили от одного торговца к другому.— Очкастый знает подлинную цену и допустимые прибыли от торговли. Ты пойми, юзбаши, Кура-Малахим, что означает «одноглазый», и Абои-Кок, что означает «сухой», обязаны мне, потому что в разное время я спасал их от разорения, а то и от зиндана или виселицы, снабжая их паспортами. Тебе, Сухроб, тоже необходимо обзавестись иностранным паспортом.

— Зачем мне иностранный паспорт?— угрюмо не соглашался юзбаши.— Мне нужно вложить деньги в золото и драгоценности, а потом пустить их в оборот.

— Ты полагайся на меня, Сухроб, но и о моей просьбе не забывай. Мне нужно любой ценой попасть в Арк. Как только ты со своей сотней встанешь на охрану Арка, я должен быть об этом осведомлен.

— Уж не собираешься ли ты совершить нападение на самого эмира?— угрюмо пошутил Сухроб.

— Ты глупый ишак и сын ишака, да простится мне такое сравнение. А знаешь ли ты, лишенный ума юзбаши, что этот сарай принадлежит самому эмиру? Да,

что ты так на меня смотришь? И учти, десятая часть с любой сделки отчисляется в казну эмира. Вон сидит аминоначи, который зорко следит за всеми сделками и не опаздывает взыскивать налог в пользу эмира, не забывая и о собственном кармане. Зачем я буду покушаться на эмира, который своей властью уберегает нас от казиев и раисов, которые не прочь поживиться нашими деньгами. Мы платим эмиру, а эмир проливает на нас свои милости.

В этот раз Сухроб продал очень выгодно золотое кольцо, утаенное еще с знатдинской эпопеи, и капитал вложил в приобретение хорошего дома. Маклер, который подыскивал ему дом, вертелся тут же: он был и здесь, среди торговцев драгоценностей, своим человеком. Не отмеченный печатью честности и добродетели, Каримбай старался услужить юзбаши, который уберег его при облаве в кукнархоне и выпустил под залог, а потом заставил оказывать себе большие и малые услуги. Каримбай не тяготился делами юзбаши. Напротив, он использовал его имя, чтобы напустить страху на прилегающие к его дому чайханы и базары, брал с торговцев комиссионные за укрытие доходов от сборщика налогов, грозя доносом «самому юзбаши Сухробу».

Здесь, под купольными сводами караван-сарая, и встретил Сухроб усто Нишана.

— Что вы здесь делаете, о многоуважаемый усто Нишан?— тоном не обещающим ничего хорошего спросил юзбаши Сухроб.

— А что делает здесь, в логове обмана и порока, почтенный юзбаши?— не менее ехидно вопросом на вопрос ответил старик.

— А ну отойдем в сторонку,— крепко взял Нишана Сухроб.— Вы простите меня, почтенный Абрам-Юнус.

— Я жду вас, мой дорогой друг!— ответил Абрам-Юнус.

— Так что ты здесь делаешь, о помесь ящерицы и крокодила?— уже с открытой угрозой спросил Сухроб. Он намеревался изъять у Нишана те драгоценности, которые, по разумению Сухроба, таились в его потайных карманах.

— То же самое, что делаете вы, доблестный юзбаши!— с вызовом ответил старик.— Мой племянник усто Ширин поручил мне вложить в доходное дело его капитал, и вот я ищу подходящего посредника для такой

сделки. А вы что ищете здесь? Не приложения ли знатных денег?

— Ну-ну, проклятый старик! Мои деньги заработаны на честной службе эмиру, и не берись судить о делах, недоступных твоему скудному уму,— уже миролюбивей заговорил Сухроб.— А что? Ширин нуждается в оборотных деньгах? Так я могу помочь ему, о достойный быть дядей самому шайтану усто Нишан. Скажи, говорил ли тебе когда-нибудь Ширин, что мы с ним вместе голодали и мерзли в Кермине?

— Он все время только об этом и говорит! — горячо заверил Нишан.— Как только придет ко мне, так и рассказывает, как вы с ним были сарбазами...

— Ну зачем вспоминать об этом! — недовольно поморщился Сухроб.— Я теперь юзбаши, а Ширин — караулбеги. Мы теперь не простые люди. Какой же капитал он пускает в оборот?

— У него есть несколько золотых украшений, которыми одарил его эмир, и ему нужно их продать повыгоднее, вот я и взял на себя эту многотрудную работу, дабы не отрывать его от Мохи-Хосы, ибо гнев эмира падет на его голову, если он не закончит в срок Оксхону!

— Послушай меня, старый плут, тебя тут так облапошат, что Ширину не останется даже пустого кошелька от его драгоценностей. У меня здесь есть надежные люди, и я поговорю с ними, а потом они заберут у тебя украшения и выложат деньги, которые ты и передашь Ширину. Да не забудь при этом сказать, что помогал тебе в этой сделке сам Сухроб!

— Обязательно скажу, обязательно! Да поможет тебе аллах в твоей доброте!

Они разошлись во взаимном удовлетворении. Сухроб от мысли, что хоть так сможет оказать услугу зодчему, о котором теперь много говорят при дворе, а это совсем не лишнее — водить дружбу с набирающим славу усто. Старик же был доволен тем, что Сухроб так легко поверил в причастность его к Ширину. Ассигнования, полученные от племянника, Нишан пустил в оборот очень удачно, теперь часть дохода лежит в кубышке, закопанной в известном ему месте, а основной капитал потрачен на приобретение украшений у попавшей в беду вдовы Хамро, которая, чтобы погасить долги недавно умершего мужа, спустила за бесценок когда-то даренные ей драгоценности. На свою беду она обратилась к Нишану, назвавшему цену, за которую муж вдовы, если

бы он встал из могилы, должен был по меньшей мере убить старика. Но вдова благодарила Нишана, целовала полы его халата и ушла счастливая, что ее не выселят из родного дома за долги.

Приток капитала в Бухару объясняется просто: здесь появились царские агенты по заготовке продуктов и товаров для армии, которую царь спешно готовил к бойне. Для себя эти чиновники открыли поистине золотое дно. Даже сам эмир продал казне царя немалые запасы кожи для сапог, каракуля на шапки для старших офицеров, ременной кожи на портупеи и порох, который самому эмиру был без надобности.

Б[illegible] меди и железа продал агентам верх[illegible] Б[illegible]. Составы с сушеным мясом уходили со [illegible]-калона, и в этой мутной воде спе[illegible] свой родничок дохода и бывший меъмор Нишан. Теперь его дочь Махсура сидела дома и примеряла [illegible] платья и золотые украшения, чтобы будущий ее жених не подумал, что берет в жены нищую невесту.

Уже на третий день сам Сухроб посетил старика Нишана и выложил ему требуемую сумму, ибо никакого посредника искать он и не думал, а покупал украшения для себя. И когда они сидели с Нишаном в мехмонхоне его нового дома, который он себе купил, вошла Махсура, словно невзначай, как будто не знала о приходе гостя. Как и подобает скромной женщине, она тут же прикрыла лицо рукавом и удалилась, но Сухроб уже приметил ее обольстительные формы и бойкие глаза и подумал, что старик прячет сокровище не менее дорогое, чем какие-то украшения. Именно поэтому он не стал торговаться и выложил деньги, заметив при этом, что надо бы найти повод зайти сюда еще раз.

— Но я не пойму, почтенный аксакал, зачем тебе этот дом, когда у тебя был хороший дом в гузаре ремесленников?— вспомнил Сухроб.

И тогда Сухробу была поведана история с поселением сарбазов.

— Как? Караулбеги Тошмат осмелился поселить к тебе сарбазов? Почему же ты мне сразу этого не сказал, о недалекий умом аксакал? Даю тебе слово, что сегодня же их там не будет!— воскликнул Сухроб.

— Но они там все разрушили и поломали,— посетовал старик.

— Тогда завтра они весь день посвятят ремонту

твоего дома, клянусь бородой пророка, а послезавтра сами принесут тебе ключ от калитки!

— Но зачем мне второй дом?— растерялся старик.

— О, аксакал! Неужели мне учить тебя, что лишний дом сам по себе уже служит источником дохода! Ты сдашь его в аренду почтенному человеку и будешь только получать доходы, ничего сам при этом не делая!

Они ударили по рукам, и у Сухроба появилась возможность бывать теперь в доме старика по известным ему причинам. Украшения, которые он хотел было использовать для новой торговой операции, решил приберечь.

А человек, из уважения к которому оба почтенных мусульманина совершали сделки, ничего об этом не знал и в последние дни почти голодал, потому что эмир не спешил с вознаграждением. Ибад, щадя самолюбие Ширина, посылал его поваренку мясо, рис и лепешки, но истощенный, со впалыми глазами Ширин даже не помнил, что и когда он ел. Он сегодня поставил последнюю точку и спал теперь около сандала, сообщив Абдурахиму об окончании работ.

Сакович, Марголис, Абдурахим, Латиф-девонбеги вошли в зал при полной тишине, не смея громким словом спугнуть красоту и очарование.

— О великий аллах!— только и нашелся сказать Латиф-девонбеги.— Это как сказка из «Тысяча и одной ночи».

— Поистине, почтенный девонбеги, сказка,— прошептал Абдурахим, хотя часто бывал тут, но за лесами не рассмотрел целого, видя только части содеянного.

Марголис защелкал фотоаппаратом, модной новинкой, которую ему прислали из Петербурга. Сакович медленно ходил вдоль стен и молчал.

Все здесь было соразмерно, все соединилось в неповторимой гармонии, все было пронизано единым замыслом мастера и одухотворено глубинами его души.

— Да продлятся его дни, эмир будет весьма польщен таким поистине блестящим воплощением его замыслов!— продолжал девонбеги.

— Нам следует призвать сюда муллу и освятить это место. Без этого, как известно, не будут стоять ни дом, ни стена, ни минарет, ни мечеть. Здесь же, в обиталище самого великого эмира, такая молитва обратит сердце эмира к доброте и щедрости!

Как бы не так, горестно подумал Сакович, вспомнив,

что эмир по сей день не платит Ширину ни копейки, и приходилось выделять некоторые суммы из общих расходов на строительство Ситораи Мохи-Хосы, чтобы мастер не так ощущал свою бедность.

— Пригласите сюда и отменного каллиграфа, дабы он записал это великое событие и внес во все книги великое деяние эмира — создание такого прекрасного дворца, и [illegible] в том числе! — продолжал девонбеги.

— И чтобы он непременно упомянул имя мастера, сотворившего такое чудо, — негромко добавил Сакович.

— Разумеется, разумеется! — поспешил согласиться девонбеги. — И имя мастера, исполнившего волю эмира!

— Эмир, эмир, все делается в Бухаре именем эмира, — огрызнулся Сакович. — И почему-то только все доброе, все прекрасное, что создает этот талантливый, но несчастный народ, но ничего злого и преступного не относится к деяниям эмира. Но никто бы здесь не понял тайной боли инженера, и только с Марголисом в глухие вечера мог он поделиться своими горькими мыслями.

— Немедленно нужно известить эмира! Немедленно известить эмира! — хлопотал девонбеги, но почему-то промолчали и русские инженеры, и усто Абдурахим, и Ашот Маркаров, который был тут же и давал указания по снятию последней перекладины над входом. Все понимали, что не так бы следовало отпраздновать завершение этого труда, но раболепство девонбеги, которое он и сам не осознавал, мешало им.

— Мы сами, сами сообщим об этом эмиру! — поспешил девонбеги.

— Не следует делать этого, уважаемый господин Латиф, — как можно мягче сказал Сакович. — Сам эмир просил меня сообщить ему по телефону, как только все будет готово.

Телефон уже стоял в Мохи-Хосе, и неправдой было то, что эмир просил звонить ему об окончании работ. Но Сакович слишком хорошо за время пребывания в Бухаре изучил нравы эмирских чиновников и не хотел, чтобы первая милость эмира досталась угодливому девонбеги. Хоть на толику справедливости рассчитывал он, и на свой страх и риск пошел звонить.

Девонбеги довольствовался тем, что послал в Бухару за каллиграфом, чтобы самому продиктовать торжественный текст, а потом зачитать его эмиру.

Уходя из зала, закрыли его на замок и поставили

сарбаза для охраны, чтобы никакой злоумышленник не посягнул на красоту.

Вечером Ширина пригласил к своим рабочим на ужин Ашот Маркаров, но одновременно пригласили его и русские инженеры. Он растерялся, не желая никого обидеть, но Марголис только засмеялся над затруднениями Ширина:

— Так давайте соберемся все вместе! Ведь все мы делаем одно дело!

И пока официальная Бухара готовилась к открытию Ситораи Мохи-Хосы, ее создатели собрались за одним столом, убранным вперемежку узбекскими, армянскими и русскими блюдами и угощениями. Кипели самовары, бурлил жир в котлах, дразнящие запахи распространялись по всей округе. Подходили каменщики, садоводы, кладчики стен и стекольщики, землекопы, подметальщики, погонщики и всем хватило место за дастарханами, каждому находилась пиала чая и каса плова или жаркого, вкусная лепешка, истекающая жиром самса или прозрачные манты. Отыскались и музыканты. И вот под звездное покрывало ночи понеслись веселящие душу звуки музыки, немудреные шутки и смех подлинных создателей чудесного дворца, которым будут пользоваться другие. Мало кто из них задумывался над такой вопиющей несправедливостью. Да что говорить, им казался обычным такой миропорядок, об ином они и не слышали.

Ширин устало кивал, принимая по-восточному витиеватые и многословные поздравления, улыбался, слушая шутки и анекдоты, но в душе томился от того, что не может поехать домой, чтобы поделиться своей главной радостью со скучавшей по вечно занятому мужу Саодат. А уйти никак нельзя, тогда обидятся люди, без которых он не свершил бы и десятой доли того, что свершил.

— Я скажу, что ты приедешь завтра,— заметив грусть во взгляде Ширина, шепнул Ибад.

— Мы можем уехать поздней ночью,— заговорщицки подмигнул тестю Ширин.

Так они и сделали. Даже творцу чудес хочется поделиться в первую очередь не со всем миром своей радостью, а с самым близким человеком. Жена поймет мастера глубже и искреннее всех восторженных поклонников прекрасного, потому ей больше, чем кому-либо, известны все переживания, огорчения и тревоги, через которые шел он к вершине своего успеха.



Часть третья

Что испытывает путник в конце своего пути? Снимет он хурджины с усталого, ноющего плеча, опустит запыленные ноги в прохладную струю арыка, омоет потное лицо и руки, воздаст хвалу аллаху, попросит у приветливого чайханщика чайник чая, окинет взглядом свою благословенную Бухару, потому что у каждого человека есть своя Бухара. И согреется его сердце, понемногу начнут отходить все тяготы и сложности дальнего пути, умиротворение заполнит душу. Ибо свой уголок лучше любого дворца.

Но даже у порога родного очага человек отдыхает лишь самую малость. Жизнь — это путь, сложный и опасный, с рытвинами и ухабами, с добрыми и злыми людьми. И все это до конца пройдет каждый, кто явился на свет. Разница лишь в том, что у одного этот путь долог, а у другого краток. И только когда остановит свой непрерывный ход сердце, тогда наступит покой, вечный и безвозвратный, без мирской суеты, и без великих деяний.

Но можно ли омрачать себя такими горестными мыслями? Нужно ли думать о смерти, когда день так хорош, и солнце светит прямо в глаза и зовет к новым свершениям? Да, нужно думать и об этом, дабы не набрать на полы своего халата колючек мелочности и грязи предательства. Чистым, безгрешным ты приходишь в этот мир, уйди же достойно, не омрачив своего бытия грехами

мздоимства, плутовства, погоней за деньгами и пресыщением. Дервиш аль-Кутлуб поучает нас: «Будь умерен». Но в одном мы не можем следовать совету святого — в служении великому богу искусства. Попробуй сказать это сжигающему себя на меджлисе озаренных, которые каждый час своей жизни отдают улучшению мира, и тут истина святейшего дервиша не будет понятна. Ибо горение осененных не знает границ и меры, всего себя отдают они служению прекрасному и часто сгорают от этого огня.

Но, сгорая, эти люди, словно метеоры, оставляют после себя яркий свет. Не стало мастера, перешел он, как говорят мусульмане, свои бренные одежды в лучший мир, но есть его чекан на лике земли, осталось его доброе имя, с которым не совладать даже безжалостному времени. И старец-скиталец еще не раз поведает в чайхане доверчивым слушателям историю того или иного творения, прибавив к йоте правды столько выдумки, что ни один мудрец, перелиставший за жизнь десятки и сотни умных книг, не сможет сочинить такое. И этому есть резон — доброе дело ходит по вечным дорогам, оно вбирает в себя добро других, таких же осененных, таких же творцов.

А может, налетит черная туча или безжалостный «афганец», развеет в пыль великое деяние и имя его творца? Ведь были в далекую старину города и мечети, которых уже нет и о которых никто ничего и не узнает? Конечно, были.

А что будет с тобой, Бухара,— жемчужина моего сердца?! Неужели и ты, как и эти великие творения исчезнешь в пучине лет и дней? Уже несколько веков стоишь ты, о Бухара, стынущая в своей недвижимости, скованная жестокими обручами ислама, фанатизма, несправедливости и насилия. Неужели и ты находишься в конце своего пути, и впереди у тебя лишь мрак и пустота? Или подует свежий ветер и разметет вокруг тебя все лишнее, ненужное, отжившее и словно на волшебных крыльях поднимет ввысь? И ты вновь воссияешь одной из самых ярких жемчужин во вселенной. И начнешь ты новую, яркую жизнь, благородную и справедливую, и отправишься в далекий путь, имя которому будущее.

Поживем...

Увидим...

Глава I

ГОРЬКОЕ СЧАСТЬЕ

Наш мастер закончил свой благословенный труд в Мохи-Хосе. [illegible]: на дне терпения лежит золото. В день открытия Ситораи он стоял в сторонке, наблюдая [illegible] высших чинов эмирской власти идут от [illegible] парку, как они проходят анфилады нового [illegible] в его Белый зал. Слышит Ширин восхи[illegible] и восторженные восхваления эмиру.

— [illegible] прекрасен этот зал, построенный нашим ве[illegible]!

— Хвала повелителю нашему хазрату Алимхану! Э[illegible] достоин своего блистательного хозяина!

— Велик, велик наш эмир в своем служении аллаху!

— Алло илло алла, Мухаммад рахмон алла! Аминь!

— Аминь!

За эмиром идут его ближайшие подданные: верхней кушбеги, кази-калон, имамы, улемы, лашкарбоши, мирзы, раисы, казии. Здесь же русские чиновники, представители торговых фирм, инженеры. Глаза всех горят от восхищения. Сотворена молитва во славу аллаха и начинается великий праздник. Гремят карнаи, грохочут барабаны и пищат флейты. Певцы сменяют один другого. Проворные слуги разносят угощения.

Эмир не скрывает своей радости: в его короне появилась еще одна драгоценная жемчужина. Высоких гостей принимают на большом айване, а на площади перед ним угощают строителей, отделочников, мастеров. Глашатаи объявляют фирман эмира: щедрость и доброта его беспредельны. Награждены и получают богатые подарки все, кто причастен к созданию Мохи-Хосы. Получили тысячу золотых и медаль в придачу верхний кушбеги и кази-калон. Награжденным тут же набили рот халвой. Такими же подарками одарены муфтий и ишаны, поставщики иностранных фирм, русские инженеры. Пятьсот рублей получили усто Абдурахим и усто Абдугафур, по сто рублей — Ашот Маркаров и русский каменщик Сидоров. И пятьдесят рублей и новый халат усто Ширин сын Ахмада. Пятьдесят рублей выделено тому, кто сделал Белый зал, красу и гордость эмира. Пятьдесят рублей за то, что оказалось не под силу никому, кроме Ширина.

Он сидит почти в самом конце длинного стола, сколоченного наспех. Улыбается виновато, опустив глаза в пиалу с чаем. Эмир дарит свою широкую улыбку всем награжденным и отводит сразу потемневший взгляд от Ширина.

Кончился пир, разъехались гости. Укатил в своем фаэтоне в Бухару сам эмир. Куда делись его улыбка и радостный блеск глаз. Он раздражен тем восхищением, которое все его гости высказали по поводу Белого зала. Свои льстят и называют его имя, имя своего эмира — к этому он привык. Но европейцы со своей возмутительной прямолинейностью не один раз за вечер спрашивали имя мастера, который сделал это чудо. Он удерживал светскую улыбку, а имя назвать просто не мог. Откуда эмиру знать, кто выполняет его волю? Так он отвечал, а в глазах европейцев читал откровенную издевку.

Проклятый Ширин, пусть чувство, которое он разжег в эмире, не станет известным простым смертным, его подданным и придворным, да и себе он признаться в этом не хочет. Он бледнел, когда видел прекрасную картину, написанную не его рукой, орнамент, выведенный не им, этот Белый зал, которым он сегодня так гордился, но сделанный и задуманный не им. Конечно, нелепо было бы представить эмира, выкладывающего узор или укрепляющего плиту с орнаментом, Алимхан до такого не дошел бы. Но сам факт творческого озарения, посетившего не его, мысль, которая могла навестить его самого, но навестила его подданного, ущемляли его разбухшее самолюбие. Если бы он сам, сам додумался до зеркал, на которые можно уложить узор, а его замысел воплотил Ширин, то мастер сейчас был бы осыпан золотом и благодеяниями. Но этого не случилось, мысль принадлежала не ему, всесильному эмиру, а его недостойному рабу, жизнь и смерть которого полностью в его власти. Потому-то, униженный нищенским вознаграждением, Ширин оставался настоящим победителем, а он, эмир, просто мелким завистником, и это выводило из себя Алимхана. Надо было наградить его больше всех, но змей-искуситель оказался выше здравого смысла, оттого так откровенно смеялись глаза европейцев.

Можно найти немедленно любой повод и завтра же обезглавить Ширина, и никто не сможет предотвратить казни. Но и в жизни всесильных повелителей бывают минуты, когда они чувствуют себя бессильными. Уничтожить сейчас Ширина бессмысленно — его творение уже видели

сотни людей. Уничтожить и его творение вместе с ним? Еще более глупо, и не только потому, что он вложил в него столько денег: эмир так богат, что может построить еще сотню таких Мохи-Хоса. Глупо потому, что это его собственное чудо, расстаться с которым у него нет сил.

Странно, что природный ум и европейское образование никак не повлияли на этого человека. Они существовали как бы отдельно от него, как светская улыбка, искусственно напускаемая на лицо. А на деле проявлялось низменное, порочное, жестокое нутро. Вольный решать вопросы жизни и смерти любого из своих подданных, он все же хотел безмерной, безграничной власти над их мыслями, чувствами, желаниями, чтобы они помнили только о нем, беспокоились только о его благе и его славе, чтобы он был единственным для них светочем в этом мире. И хотя эмир отчетливо знал, что представляет собой каждый из его окружения, все равно их лесть была уже ему просто необходима, без нее все становилось слишком пресным. И сейчас, мчась в сопровождении эскорта к Бухаре, он впервые подумал, что пора сменить многих из своих приближенных. Слишком привычны для них его внимание, его забота об их благоденствии.

Жажда власти и зависть — раздираемый этими чувствами, эмир въехал в Арк, прошел в свои покои такой взвинченный, что слуги и царедворцы, зная его неукротимый характер, прятались от его взгляда и ждали грозы, а он метался по кабинету, расшвыривая вещи, выискивая объект, на котором мог бы разрядиться.

Он ушел в покой отдохновения, и к нему привели трепещущую от страха девочку из гарема. С остервенением набросился на нее эмир, истязал, а она только бледнела, сдерживала крик и загнанно глядела иногда в его лицо, молча моля о пощаде. Насытившись болью другого человека, он приказал евнуху:

— Увезти в гарем и завтра отдать в жены любому... Нет, я скажу, кому! Нет, пусть пока останется в гареме. Держать ее подальше от моих глаз и никому не показывать! Чтоб я никого не видел...

Девушку почти без сознания на руках унесли обратно, а эмир потребовал кальян. Только гашиш смог несколько успокоить нервы. Он затягивался все глубже и глубже.

Умиротворение наступило в мыслях и теле эмира. Вновь перед глазами встал Белый зал. Радостен, добр теперь взгляд повелителя. Все равно Мохи-Хоса — это его резиденция, и Белый зал — тоже его собственность.

И построены они не иностранцами, а его, эмира, людьми. Да, чужеземцы до такого не додумаются. Они могут сделать хуже или лучше, но так не смогут.

Самодовольно ухмыльнулся эмир. На память пришли русские мастера, с которыми хотел договориться о возведении загородной резиденции.

«Как их там... Сидоров, Самойлов и еще этот... который что-то о религии говорил... Питиримов, кажется.— Эмир отдал должное своей памяти, вот ведь не забыл их фамилии, а встречался всего один раз.— Да, они правильно поступили, что отказались от моего приглашения. И деньги, что на дорогу дал, вернули, и сами не приехали. Я еще хотел на них обидеться, а они-то оказались умными, наперед знали, что не смогут построить то, что мне нужно».

Лукавая улыбка появилась на лице эмира: «Вот возьму и приглашу этих троих мастеровых в Бухару — пусть посмотрят на мой прекрасный дворец. Они — на дворец, а я посмотрю на них. Интересно, что будет отражено на их лицах?»

Когда отворилась дверь его комнаты, он не повернул даже головы, полагая, что это слуга. Но вошедший не двигался и молчал. Эмир обернулся. В дверях стоял Фархад. Странным влиянием на окружающих обладал этот человек, его старший брат.

— Что привело тебя ко мне,— через силу спокойно произнес эмир.

— Я пришел поговорить с тобой о твоих делах,— тихо ответил Фархад.— Почему ты так ожесточаешь свое сердце? Ведь ты в детстве был совсем другим.

— Что? Я неправедно живу? Не исправно молюсь аллаху? Не раздаю свои богатства бедным? Не освобождаю народ от налогов? Не выслушиваю их жалобы? Что вы все от меня хотите?— эмир распалялся. Желваки заходили на скулах. Лицо налилось кровью, глаза грозно блестели.— Хватит с меня. В конце концов я эмир. И сел на этот трон не по своей воле. А по желанию отца и по воле аллаха. И буду делать то, что считаю нужным. Хватит и без тебя мне советчиков. Мать советует, муллы советуют, русский резидент чуть не приказывает... Ты учишь. Что же остается мне, эмиру?

— Один глупец вошел в воду и захотел перейти на другую сторону, но течение подхватило его и понесло,— словно не заметил гнева Фархад.— Разумный на его месте подчинился бы реке, и она сама бы вынесла его на берег. Но этот неразумный стал гневаться на реку и

упорно искал ногами дно, чтобы самому перейти ее течение.

— Ну и что?— ожесточенно, не понимая, спросил эмир.

— Он так и остался на дне реки,— холодно отрезал Фархад.

— Что ты хочешь этим сказать?— эмир избегал смотреть прямо в глаза собеседнику.— И что за река, о которой ты так туманно говоришь?

— Река эта — сама жизнь, которую ты не хочешь знать,— все так же тихо говорит Фархад.— Ты пытаешься не видеть ее, но она поглотит тебя и твою шаткую власть.

— Моя власть крепка моей волей!— выкрикнул в гневе эмир.

— Все цари думали так же,— не отступал Фархад.— Вспомни императора Каллигулу!

— Что мне этот римский император?

— И его власть была безграничной. Но власть всегда сильна доброжелательством и справедливостью. Ты на это не способен, да и никто из царей и ханов не был до конца справедлив.

— Тогда эти слова не имеют смысла! Значит, нет в мире ни добра, ни справедливости и тогда я тем более не виноват ни в чем.

— Они есть — и добро, и справедливость.

— Где же они тогда?!

— Там,— Фархад показал далеко за стены Арка.— Там, где народ, люди.

— Ты чего пришел?— уже устало спросил эмир.

— Посмотреть на тебя после пира в Мохи-Хосе. Ты очень несчастлив, Алим, и я не знаю, будешь ли ты когда-нибудь счастливым. Так будь хотя бы справедливым.

— К кому?

— К своим подданным, Алимджан. Людям живется трудно, и хотя война никак не коснулась Бухары, людям ее становится все труднее.

— Я не могу ничего изменить, я обещал всяческую помощь императору, мне для этого нужно много денег.

— У тебя их много. Не оскудеет твоя казна!

— Богатство эмира должно не убывать, а приумножаться. Так мне говорил мой и твой отец Ахадхан. Что будет, если мои придворные увидят, что богатства эмира тают, что власть и сила уходят от нас. Они меня просто схвнут и уничтожат.

— Бойся, как бы тебя не скинул простой народ. Бойся, чтобы его терпение не лопнуло.

— Что народ! Это стадо? Эти скоты? Ну уж нет, я сумею удержать их в повиновении.

— Я был сегодня в Мохи-Хосе, Алим.

— Я тебя что-то там не видел.

— Я не хотел, чтобы меня там вообще кто-то узнал. И я знаю, почему ты так зол.

— Почему? Говори же!

— Потому что в твоем сердце поселились злоба и зависть. Потому что Белый зал, хоть и принадлежит тебе, но он и не твой. Он творение мастеров, а ты в нем просто гость. Почти такой же, как и те, кто был на приеме.

— Я могу повесить замок на Ситораи, и никто там не будет бывать.

— Ты попытаешься закрыть луну полой халата. Белый зал уже есть.

— А вот возьму и сожгу его. Что ты на это скажешь?

— Тогда я скажу: Белый зал уже был. И ничто его не уничтожит в памяти. Ты гневаешься оттого, что твой Белый зал — не твой, он никогда не будет твоим до конца. Любой самый малый твой раб, который принесет тебе таз для омовения твоих ног, будет чувствовать, что какая-то частица зала принадлежит и ему. И с этим ты ничего не поделаешь, Алим. И мастера Ширина ты подачкой не унизил, хотя именно этого ты хотел добиться. Он выше твоих наград.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что выше всего земного?

— Сейчас, когда его труд свершен — выше. И не ты воздашь ему.

— Так зачем же ты все-таки пришел, Фархад?

— В России зреют волнения, мятежи, фронт разваливается. Скоро грянут большие события.

— Меня они не коснутся, я не воюю с Германией.

— Они коснутся всех — России, Германии, а значит, и Бухары.

— Что же я должен делать по-твоему?

— Быть готовым, Алимджан. А пока отпусти заключенных из зиндана. Пусть казненные останутся на твоей совести, хотя бы отпусти тех, кто гниет в колодцах. Их посадили туда твои неправедные слуги, судьи и сборщики налогов. Ты забываешь о течении реки, которая забрала глупца! Отпусти невинных, эмир. И люди благословят тебя.

— Я подумаю, Фархад,— чтобы как-то отделаться от брата, сказал Алимхан.— А ты все лечишь?

— Да. И впусти меня в узилище,— я окажу хоть небольшую помощь несчастным.

— А ты не боишься, что тебе не откроют обратно дверь зиндана?

— Нет, не боюсь. Я знаю, что я тебе неприятен, но ведь мне ничего не нужно. И еще я знаю, что где-то в душе ты меня понимаешь, хотя в этом не хочешь, боишься сознаться.

— Хорошо, я распоряжусь.

Фархад вышел. Алимхан всегда удивлялся тому, как Фархад спокойно заходит к нему, как он минует стражу, как он не обращает внимания на самых важных придворных. Видимо, в нем была какая-то сила, сила ума и духа, которая раздвигала секиры стражи, барьеры слуг. «Ничего не поймешь»,— в сердцах подумал эмир. И чтобы забыться, чтобы ни о чем не думать, он попросил принести еще кальян.

А Ширин, не обласканный лукавой судьбой, был счастлив любовью своей юной Саодат и обществом Ибада. По-домашнему скромный ужин ждал их. И мастер, сбросивший заботы целых двух лет, чувствовал себя бесконечно умиротворенным. Что ему все богатства и почести? Что ему милость эмира, когда он в кругу тех, кто ему дорог и близок, кто понимает его до конца. Разве это не самое большое богатство в жизни?

Около полуночи у ворот их дома остановился гонец на коне. Слуга с фонарем освещал путь гонцу и теперь стучал в дверь.

— Усто Ширин! К вам от святейшего Ходжи Латифа с приглашением. Откройте же!

Неизвестно, от своего имени или по приказанию хозяина гонец был предельно дружелюбен с Ширином.

— Салом аллейку-ум, усто! Да продлятся ваши дни во славу аллаха! Наш господин Ходжи Латиф просит вас пожаловать к нему завтра сразу же после первой молитвы или в иное время, когда вам будет угодно. Приятные новости, усто!

Ширин, вернувшись в дом, прочитал письмо, состоящее из нескольких слов: «Дорогой усто Ширин, ваше искусство затмевает разум и возвеличивает дух. Во славу аллаха! Аминь!»

— Что там, Ширин?— забеспокоился Ибад.

— Плата за Белый зал,— ответил Ширин и показал письмо тестю.

— Ты должен пойти к уважаемому Ходжи Латифу! Это очень почтенный человек,— внушительно сказал Ибад.

— Не знаю,— беспечно ответил Ширин.— Мне сейчас хочется быть дома и никого не видеть. Я устал, и я хочу отдохнуть. От всего отдохнуть. Могу же побыть хоть немного времени около своей жены и дочери или нет? Да пусть весь мiр ополчится против меня, но лишить меня счастья быть дома никто не имеет права.

Трудно себе представить Ширина таким веселым, озорным, таким беспечным, и Ибад удивлялся, что его всегда замкнутый, немного нелюдимый зять может оказаться таким приятно дурашливым и беззаботным. Что это с ним? Или в него вселился сам шайтан?

Ширин и в самом деле несколько дней наслаждался покоем и любовью жены, даже пел под дутар, а потом собрался в чайхану. Ибад пошел с ним.

И здесь Ширин повел себя не как обычно.

— Салам аллейкум, добрые мусульмане! Джура, дорогой друг, угости всю чайхану за мой счет! Угощайтесь, о жители Бухары! Оббо, Джура, ты стал еще толще! Раньше твое пузо было, как самовар, а теперь, как два или даже три твоих самовара!

Много ли надо весельчаку Джуре, чтобы покатиться со смеху. Его лицо стало красным, как помидор, в горле булькало:

— Вай, Ширин! Как ты сказал? Как три самовара? Ха-ха-ха!

И вся чайхана ходила ходуном. Восхищенными глазами смотрел Ширин на этих лепешечников, водоносов, гончаров, сапожников, дувальщиков, и его сердце переполнялось любовью к ним. Они и внешне были приятнее, чем эмирское окружение. Сильные, широкоплечие, с мускулистыми торсами, лишенные и намека на ожирение, они умели твердо держать в руках кетмень, вожжи, топор, не в пример эмирским прихвостням, у которых толстые и дряблые души, не знавшие никакого дела, кроме подсчета денег.

— Пейте же, добрые мусульмане, и воздавайте аллаху за его бесконечные милости, которые он дарует нам гораздо чаще, чем мы видим! И пусть всегда полнится счастьем ваша жизнь, как эти чайники у Джуры! И никому не отнять у вас простого счастья мирно делать свое

дело и отдыхать в степенной беседе, да пребудет над вами аллах!

Вдалеке, в стороне Арка, взвились красочные фейерверки.

— Что это?— недоумевал гончар Хашим.

— Разве ты не знаешь, несчастный, что эмир празднует окончание строительства Мохи-Хосы? Говорят сведущие люди, что такого чуда не знал даже сам царь Соломон!

Ибад искоса посмотрел на Ширина. Тот сразу сник, ушел в себя.

— Тебе грустно, сынок?

— Обидно, вернее сказать, отец.

Джура сегодня оказался на редкость щедрым. Он достал совсем новые чайник и пиалу, заварил свежего чаю и торжественно поставил перед Ширином.

— Послушай меня, Ширин, сынок. И вы все, друзья, послушайте! Мы знаем, кто истинный виновник этого торжества. И пусть наполнится твое сердце покоем, потому что Бухара знает, кто воздвиг настоящую красоту и кто своими руками выложил в Окхоне каждый узор. И да будет тебе самой высокой наградой наша общая благодарность за твой воистину огромный труд!

— Воистину! Аминь,— ответила чайхана.

Ширин слушал Джуру, низко опустив голову, и две слезы прочертили свой след на его лице.

— Спасибо вам, люди,— только и нашелся мастер.

— Да будет так,— за всех ответил старик Хамидулла.

Глава II

ХОДЖИ ЛАТИФ

Ходжи Латиф был на открытии Ситораи Мохи-Хосы и в волшебном Белом зале, предмете особой гордости Алимхана. Он видел торжествующее лицо эмира, но видел и другое. Создатель этого зала Ширин остался в тени. Более того, он все больше убеждался, что Ширина попросту обворовали и никак не мог признать такое положение нормальным. И уже на приеме у эмира он решил пригласить Ширина к себе. Для чего, он пока сам четко не знал, но одно понял: Алимхан и его окружение намерены вообще умалчивать труд Ширина и именно поэтому,

не боясь гнева эмира, послал ему приглашение. Будучи настоящим торговцем, Ходжи Латиф пристально следил за политикой, отчетливо понимая, как зависит успех торговли от международного положения, и сейчас он внимательно просматривал не только газеты, но и телеграммы, которые открывали ему больше, чем газеты: его агенты в разных странах были людьми добросовестными. Но когда слуга доложил, что усто Ширин ждет в приемной, он отложил бумаги. А когда вошел мастер, сам направился ему навстречу с протянутой рукой.

— Позвольте поздравить, дорогой усто, с исключительным успехом. Ваш Белый зал поистине чудо рук человеческих. Поздравляю.

— Рахмат, рахмат,— поклонился зодчий Ширин, не совсем понимая, зачем он здесь.

— Вы создали поистине жемчужину для Бухары,— Ходжи Латиф сознательно подчеркнул «для Бухары» и внимательно смотрел на реакцию мастера

— Такова была воля эмира,— уклонился Ширин.

— Воля повелителя не может создать творца,— улыбнулся Латиф.— Но не будем об этом. Вы что-нибудь знаете о художниках Европы?

— Откуда мне знать, почтенный Ходжи?— удивился Ширин.

— Вы хотите сказать, что ничего не видели из их произведений?— не поверил Ходжи Латиф.

— Мои родственники ревностные мусульмане,— уважительно сказал Ширин.

— А вы сами не хотели бы кое что посмотреть?

— Но как можно увидеть то, что так далеко? И не противит ли это законам шариата, домулло?— удивился Ширин, который хорошо знал о репутации Латифа, как истинного правоверного.

— Идемте сюда, друг мой,— сказал Латиф, и сам направился в дальние комнаты.

Ширин прежде всего отметил для себя необычную планировку дома. Его фасад, ворота, дувал вполне соответствовали сложившейся бухарской традиции, так что самый фанатичный мусульманин не нашел бы в них ничего противозаконного. Но за домом, стоящим впереди, стоял второй, оба они соединялись внутренним переходом, и этот, второй, не похож ни на типично бухарский, ни на европейский. Большие комнаты,— а их довольно много,— были разные: прямоугольные, квадратные и даже пятиугольные, большие окна с цветными стеклами Ширин

видел впервые. Назначение комнат определить было трудно, но все они заставлены какими-то предметами, книгами, картинами, скульптурами. Это был своеобразный домашний музей, хотя самого слова «музей» Ширин еще не знал.

— Вот здесь,— остановился хозяин дома,— вы увидите, уважаемый мастер, постройки из разных стран и городов. Это, конечно, только картины и фотографии, но есть немало чертежей. В этой комнате лежат и некоторые ваши чертежи, усто. Пожалуйста, посмотрите.

Ширин в течение нескольких часов рассматривал рисунки и снимки египетских, греческих, римских построек, потом перешел к зданиям Франции, Германии, Голландии, России. Готический стиль поразил его воображение. Сколько ухищрений вложили меъморы неизвестных ему стран, чтобы возвести эти стрельчатые, устремленные ввысь здания! Каких усилий от мастеров потребовали эти постройки!

Петербургские ансамбли просто пленили его, он никак не мог оторвать глаз от Петродворца, его фонтанов, видов, залов.

— И вы, Хожди Латиф, понимаете все это?— робко спросил Ширин, чувствуя себя в который раз учеником.

Латиф засмеялся:

— Давайте посидим вот здесь.

Им принесли чай, угощения.

— Видите ли, усто, знания, даже если они не совпадают с учением шариата и ислама, не могут угрожать истинной вере. Человек должен знать, чем живут иные народы и страны. Мы должны, усто, изучать все, что есть на свете, но отбирать для себя полезное, нужное. Согласитесь, что Бухара дряхлеет под грузом глиняных великанов, которые так скоро приходят в упадок, стареют, разрушаются. Может быть, нам смелее нужно отказываться от глины? Вы же сами знаете, что необожженный кирпич долго не стоит. Возьмите наши минареты! Вот Калян — наша гордость, весь сложен из жженого кирпича, облицован отожженными плитками. И он будет стоять долго. А вот старые хонако, караван-сараи, сделанные из глины, разрушаются сразу же после постройки. Материал, усто, материал определяет архитектуру. Вы еще не видели замки и крепости Армении и Грузии. Они прочны, вечны, устремлены вверх. Потому что там основой архитектуры является камень. У нас камня много, но мы берем то, что ближе и легче. Вы видели по дороге древние

ворота, уже почти разрушенные? Кто их строил, в какие века? При каком эмире? А может быть, еще до эмиров? Никто не знает! Не исчезнет ли в веках и наша Бухара? Вам, вам, усто, надо думать об этом больше всех!

Ширин ничего не понимал. Ходжи — святой человек и очень набожный, известный своей приверженностью исламу, говорит о недолговечности Бухары, убежища ислама?

На сомнения Ширина Ходжи Латиф ответил улыбкой:

— Вы приходите сюда чаще, я буду рад еще кое-что показать вам. А пока у меня для вас есть заказ. Мне нужно реставрировать мечеть, которую закладывал мой прадед Ходжи Мамед-Али. Она недалеко от моего дома, мы посмотрим ее, и вы скажете свое решение. А пока я вам выделю аванс на начало работ.

Мечеть Мамед-Али стояла совсем ветхой, стены оплывали под дождями, кровля просела. Внутренние росписи почти все пропали. Изречения из корана, сделанные на стенах, невозможно прочесть. Эта совсем небольшая мечеть в гузаре уже забыта, верующие теперь ходят молиться в другую, новую мечеть.

— Но она очень стара и слишком мала, Ходжи,— усомнился Ширин.— Сколько же верующих она вместит? Стоит ли вам расходовать деньги на ее восстановление?

— Это наша родовая мечеть,— только и заметил Латиф.

Когда Ширин покинул дом, Латиф долго сидел с печальной улыбкой. Конечно, зачем она, эта старая мечеть, нужна ему? И восстанавливать, пожалуй, не стоит. Но как иначе он мог выразить свое уважение и доверие Ширину, судьба которого так его беспокоила?

А эмир забыл на некоторое время о своей новой жемчужине. Его люди из Петербурга сообщили, что русский царь наконец-то решил побывать в Туркестане и Бухаре. Алимхан не поверил этому, но тем не менее начал деятельную подготовку к встрече своего великого брата.

На совете высказывались самые разные мнения: где поселить императора? Что ему показывать? Куда свозить? Какие зрелища устроить и какие подарки ему готовить?

— Мы думаем,— с лукавой улыбкой говорил эмир,— что поселить императора следует в Ситораи Мохи-Хосе.

— Вы, светлейший эмир, как всегда правы,— склонился в поклоне верхний кушбеги.— Но мы озабочены возвеличиванием вашей славы, хотели бы напомнить о садах Кермине. Ваш благородный отец, да будет светоносной его могила, — принимал там многих высоких гостей. Все богатство Кермине осталось на месте, послать туда несколько сот человек, и привести дворцы в порядок недолго.

— Кермине слишком далеко от Бухары,— напомнил эмир.

— Опять ваша правда, мой повелитель. Я только хотел сказать, что императору надобно знать, как велики и прекрасны наши владения бухарского эмирата,— кушбеги приложил руки к сердцу.

— Мы думаем, что наш великий, равный в своем величии солнцу, эмир мог бы встречаться с императором в предгорных дворцах Нуратау. Там сейчас царят тишина и покой,— напомнил кази-калон.

«Вот так всегда, — зло оскалился эмир, глядя на своих придворных,— во всем у них разнобой, никогда нет единого мнения только потому, что хотят насолить друг другу. Они не видят государственных интересов, а озабочены только мыслью, как бы выслужиться. Опять ему самому думать обо всем!»

Впрочем, эмир и не нуждался в их мнении. Все равно он поступил бы по-своему. А совет придворных нужен для того, чтобы напомнить и им, этим набивателям карманов, чтобы они тоже готовили подарки царю.

Адъютант шел по толстому ковру, и его шагов не было слышно, но эмир обладал особым чутьем: этой его способности даже пугались приближенные. Не поворачивая головы, эмир протянул руку и принял от адъютанта телеграмму. Умеют все-таки русские офицеры незаметно, но четко выполнять свои обязанности.

«Ввиду обострения обстановки на фронте и брожения в войсках, государь откладывает на неопределенное время поездку в Бухару»,— значилось в телеграмме. Эмир прочитал ее два раза, потом ухмыльнулся. Он решил не говорить об ее содержании дивану. Пусть готовятся, волнуются. А он пока совершит поездку по южным бекствам своего эмирата.

— Вы свободны,— отпустил своих министров эмир.

Глава III

ПОЕЗДКА

Деньги, выданные Ходжи Латифом, придется, наверное, вернуть, подумал Ширин. Его заказ не удастся выполнить в ближайшее время: эмир замыслил поездку по своим бекствам и посылал впереди себя множество людей — поваров, врачей, хабарчи, — чтобы встреча в городах соответствовала церемониалу. Отправляется в поездку и Ширин.

— Тебе, усто, надлежит оформить помещения, где будет останавливаться эмир, обставить их, придать им достойную повелителя пышность,— говорил Ширину Абдурауф, ставший комендантом Ситораи Мохи-Хоса, и попрежнему благосклонный к Ширину.— Тебе выдадут необходимое: шелка, парчу, бархат, ковры, зеркала.

— А как я должен ехать?— спросил растерянный Ширин.— И когда?

— Ты поедешь с общим караваном, вот что я знаю. И выезжаете вы завтра в полдень.

— А на что я поеду?— уже встревожился Ширин.

— На этот счет ничего не приказано,— еще тише сказал Абдурауф.

Все было ясно. Эмир, отправляя Ширина впереди себя для оформления торжественных залов и покоев, не вспомнил, что мастеру нужны деньги на собственные расходы. Именно поэтому и подумал Ширин о деньгах Ходжи Латифа.

У Ширина остался всего неполный день, нужно было многое сделать, но первым делом он отправился к Ходжи Латифу. Латиф принял его сразу.

— Я очень огорчен, уважаемый Ходжи, но я не могу принять вашего заказа,— удрученно сказал Ширин, когда они обменялись вежливыми приветствиями,— я выезжаю по велению эмира и надолго. Прошу принять обратно ваши деньги.

Латиф выслушал Ширина, чему-то улыбнулся, мягко похлопал Ширина по руке.

— Подождите, усто Ширин. Я понимаю, повеление эмира вы выполнить обязаны. Но не спешите с деньгами. Я не настаиваю, чтобы вы начали выполнять мою просьбу. Но я хотел бы быть уверенным в том, что как только вы освободитесь, то возьметесь за мечеть. И только. Я

никогда не буду думать, что вы просто не захотите за нее взяться, даю вам слово. А деньги вам понадобятся в дороге, да и дома вы должны что-то оставить, не так ли?

Ширин неопределенно развел руками. И тогда Латиф, все также улыбаясь, спросил мягко:

— А сколько вам дал на поездку эмирский казначей?

— Он нисколько не дал мне,— тихо ответил Ширин.

— Я так и думал,— встал из-за стола Латиф.

— Почему вы так подумали?— поднял голову Ширин.

— Странный вы человек, усто Ширин. Вы не можете за себя слова молвить, постоять за себя. Почему вы такой... беззащитный? Или вы не хотели бы жить чуточку посвободнее в средствах?

Ходжи Латиф выражался тем немного сложным языком, смысл которого Ширину приходится постигать с трудом. Посвободнее в средствах... Это значит, он говорит о деньгах. Но эмир никогда не платил Ширину, никогда, хотя другим платил и довольно хорошо.

— Я не умею просить,— виновато улыбнулся Ширин.

— Великий аллах! — воскликнул Латиф.— Вот так всегда, так всегда! Тот, кто поистине достоин самых больших даров, остается в нищете...

— Я не нищий, Ходжи,— обиделся Ширин.

— Да вы не так меня поняли! Вы могли бы за свои труды получать столько, что жили бы много лучше, чем сейчас. И это было бы только справедливо, ведь вы столько делаете прекрасного, а вознаграждение получают другие. Почему настоящий творец должен прозябать, а ничтожество купаться в богатстве? И так всюду и во все века. Настоящий творец, подлинная гордость нации умирает в нищете. Идемте, идемте, Ширин. Я вам что-то должен показать!

То, что увидел Ширин, сбило его с толку. Такого он не видел и не предполагал увидеть в доме человека, чья святость и приверженность исламу не вызывали ни у кого сомнения. В одной из просторных комнат он увидел картины, на которых изображены живые существа, люди, что строго запрещено исламом. Он не мог даже смотреть на эти картины, испуганный самим фактом присутствия картины в доме правоверного.

— Нет, Ширин, не пугайтесь. Эти картины нарисовал человек не нашей истинной веры.

— Тогда почему они у вас? Почему?

— А потому, Ширин, что это тоже искусство, такое как и ваше. Только искусство не запрещенное их верой

Здесь ведь есть святые: богоматерь, по их вере, даже сам Иисус, которого признает и наша вера. И они, иноверцы, поклоняются таким изображениям, которые называют иконами. И стены в их мечетях расписаны картинами из библии, которая является их священной книгой. Как наш коран. Но дело не в этом. Вот картина, вернее, копия, но тоже очень дорогая. Этот великий художник сделал очень много картин, и они вызывали восхищение у его земляков, но он умер в нищете, позабытый даже теми, кто восхищался его картинами. Вы видите, как много сходного в судьбах истинных талантов, если даже они принадлежат разным верам! Где же, где же справедливость? Почему так несправедливо все в этом мире, вы знаете?

— А вы, почтенный Ходжи, знаете?— робко спросил потрясенный Ширин.

— Я?— устало провел ладонью по лицу Ходжи Латиф. —Я тоже не знаю. Но это я так, усто Ширин. И пойдемте отсюда. Вижу, вы испугались. Идемте же, это зрелище пока не для вас.

И когда они вышли из этой комнаты и снова сели в обстановке, которая уже не смущала Ширина, Латиф сотворил молитву, за ним повторил ее и Ширин, а потом Латиф негромко продолжал:

— Я стараюсь постичь силу искусства, Ширин. Я много об этом думаю, и чем больше вижу, тем сложнее для меня его тайна. Какие законы им движут и почему творцы часто бывают забыты еще при жизни?

Ходжи Латиф посмотрел на Ширина. Тот сидел, как обычно, опустив глаза в пиалу и думал о чем-то своем. Может, о том, что вот он, бедняк, сидит в доме богатейшего человека, миллионера, который живет по своим законам и высказывает мысли, неугодные мусульманину.

Из этого состояния их вывел слуга. Он принес телеграмму от петербургского агента. Ходжи Латиф прочитал: «Беспорядки нарастают, надо сворачивать дела здесь и за границей».

Ходжи Латиф примерно знал политическую обстановку в мире, знал историю французских революций и догадывался, что России, а вместе с ней и Бухаре, предстоят серьезные потрясения, в которых может погибнуть многое из того, что ему дорого и близко.

Ширин почему-то мялся, порывался что-то сказать и удерживал себя.

— Вы что-то хотите спросить, друг мой?— выручил его Латиф, откладывая телеграмму.

— Да, Ходжи, но я не знаю... Как зовут того мастера?— краснея от собственной дерзости, спросил Ширин.

— А, этого, который умер нищим?— сразу сообразил Латиф.— Его звали Рембрандт.

— Рембрандт,— задумчиво повторил Ширин.

Он не должен был спрашивать этого, не имел права даже вспоминать об этой еретической картине. Воспитанный на канонах корана и ислама, Ширин сейчас испытывал тяжесть на душе, словно на него заживо навалили могильную плиту, из-под которой выбраться он не находил сил. Все установления ислама воспрещали ему смотреть на эту живую картину, и, сотворив молитву, он, казалось, должен был забыть о ней, не вспоминать, как о страшном грехе. А он никак не мог от этого отделаться.

— Вы хотите еще посмотреть?— тихо спросил Латиф.

— Может быть, в другой раз,— не смог преодолеть себя Ширин.— В другой раз... Рембрандт...

Ширин покинул дом Латифа в полном душевном смятении. И чтобы ни о чем не думать, он просидел несколько часов в чайхане Джуры. Он даже не обратил внимания, что чайхана непривычно пуста, а Джура молчалив. Но вскоре стали появляться посетители, чем-то возбужденные, шумные.

— Что-то случилось в гузаре?— спросил Ширин у Джуры.

— Вай, усто, в Бухаре творится такое! Сегодня эмир отправил под топор Каландара, а народ отбил его у стражников. Такая драка была на площади... Неужели вы ничего не знаете, усто?

Ширин осмотрелся. Люди, которых он видел здесь, ему уже немного знакомы, но какие же они сейчас другие. Каждый словно плечи расправил, словно впервые увидел небо. Все они возбуждены, взгляды веселы и упрямы, без тени смирения, так свойственного им еще совсем недавно. А кто такой Каландар, хотелось спросить Ширину, но ему помешали. На улице закипела драка, и все бросились из чайханы. Ширин видел, что сарбазы пытаются схватить и утащить кого-то, но слишком неравны были силы, и жители гузара отбили схваченного.

Ширин стал собираться домой, но его тут же на улице остановили сарбазы.

— Подожди, несчастный!— прикрикнул на него свирепый воин со старым ружьем в руках.

— Что? Ты смеешь так говорить со мной?— вдруг тонким голосом закричал на него Ширин и показал значок караулбеги.— Стой как положено перед караулбеги!

Он ненавидел сейчас себя за то, что кричал на человека, но еще больше ненавидел этих сарбазов, их жадные лица, помеченные пороком алчности.

В конце улицы на коне показался юзбаши Сухроб. Конь наметом шел прямо на Ширина. Но Ширин, вскинув голову, не двигался с места.

— Что здесь происходит? А, это ты, Ширин? Что случилось?— дыхание Сухроба срывалось.

— С каких пор сарбазы останавливают караулбеги и допускают непристойности?— зло спросил Ширин, не желая даже поздороваться с другом.— Или мне сообщить коменданту Мохи-Хосы Абдурауфу, что меня задерживает сарбаз, когда я должен ехать в Керки и выполнять поручение эмира?

Упоминание имени эмира повергло в ужас сарбаза, скривился и Сухроб.

— Не надо сообщать,— Сухроб вытянул плетью сарбаза,— у, собака, не знаешь, на кого кидаешься!

— А за кем вы гоняетесь, Сухроб?— все-таки спросил Ширин.

Сухроб соскочил на землю, а сарбаз почел благоразумным удалиться.

— За кем говоришь? Да за смутьянами! Посмели отбить у сарбазов смутьяна и бунтовщика Каландара, когда его вели на площадь для внушения.

— Но ты же говорил о своем несогласии с эмирскими порядками, Сухроб, а теперь гоняешься за несогласными. Как же так?

— Бунт есть бунт,— высокомерно поучал Сухроб.— Несогласие с эмиром можно высказать ему через своих руководителей, которые бывают во дворце, а мутить народ не позволено никому. А что ты здесь делаешь?

— Я был у Ходжи Латифа, а теперь иду домой.

— Да хранит тебя в пути аллах, а значок караулбеги все-таки прикрепи на виду. Да, Ширин, а ты вправду едешь с эмиром в Керки? Мне была обещана должность начальника личной охраны эмира, но пока дело не решено, а то бы поехали вместе.

...Монотонная, сонная жизнь бухарского города Керки неожиданно нарушилась. Быстро разнеслось известие, что город посетит его величество эмир Алимхан.

Медленно ползут против течения стремительной Аму-Дарьи два речных парохода. На первом из них хазрат эмир Алимхан в окружении диванбеги — министра финансов, кази-калона, раиса — блюстителя шариата и чистоты нравов. На втором пароходе остальная часть свиты, чиновники помельче.

Вся керкинская набережная сплошь устлана коврами, выстроен ряд нарядных арок, стоят палатки, шатры, даже белые юрты, все в дорогих коврах и шелковых тканях. Волнуется и громко обсуждает события тысячная толпа, отчасти согнанная насильно усердием властей, отчасти добровольно сбежавшаяся от нестерпимого любопытства. Носятся обезумевшие от радости мальчишки, ловко шарят в поясах и карманах воры, которых и приглашать не нужно на такое скопище людей.

Шпалерами стоят линейный батальон, казачий полк, чуть в стороне разместилась батарея с пушками на конной тяге. Здесь же выстроилась рота сарбазов. Ничего более комического и жалкого представить нельзя. Оборванцы самых разных возрастов от шестнадцатилетнего юнца до согбенного аксакала собраны в это воинство. Одеты как попало. На ногах у одного русские сапоги, у другого стоптанные опорки, третий — в ичигах, четвертый — в галошах, а некоторые босиком. На головах тюбетейки, чалмы, засаленные каракулевые шапки и драные фуражки русских солдат. Одни в грязных и старых мундирах и шароварах, другие в халатах. На плечах погоны и даже эполеты, скупленные старьевщиками у русских солдат и офицеров. Можно увидеть на одном плече сарбаза унтер-офицерский погон, а на другом — погон военного врача. Вооружены старинными мультуками — фитильными ружьями, отбракованными трехлинейками и берданками.

А перед войском, перед толпой черни — сливки Керки, купцы с традиционным хлебом-солью. Русское офицерство во главе с полковником Петуховым, начальником гарнизона, держится особняком, здесь сверкают ордена, парадные пояса и ленты, палаши и шашки. Дамы, все в белом и с зонтами, в окружении своих почитателей и русских чиновников держатся отдельно.

По-дурному гудя, причаливают пароходы. Грянул русский военный оркестр. Спустя минуту в его размеренные такты врываются резкие звуки карнаев и сурнаев, глухие удары огромных барабанов. Жуткая смесь звуков оркестра и национальных инструментов оглушает.

Поданы сходни. Эмир в форме русского генерала спускается на пристань. Командующий русским гарнизоном полковник Петухов, отдав честь, рапортует о том, что гарнизон Керки для встречи его высочества построен. За полковником подходит уже немолодой и тучный бек Миршакир, падает ниц перед эмиром, касаясь лицом земли. Эмир осторожно ставит ногу на его голову — таков обычай. Бек на верху блаженства — значит, эмир к нему благоволит. Пусть он сейчас перед всеми повержен в прах, пусть все видят, что его борода в пыли, но зато он неограниченный властелин в Керках, вольный над жизнью и смертью своих подданных. Ради такой власти можно потерпеть на своей голове ногу эмира.

Усто Ширин, уже неделю живший здесь, успевший к прибытию эмира оформить в нарядное убранство дворец бека, наблюдал сейчас из толпы за церемонией. Ему не было дозволено находиться вместе с именитыми людьми. Да, он и не скорбел об этом — суета вокруг власти, вся эта помпезность претили ему. Но он ясно разграничил всю чопорность высших представителей власти и безудержное любопытство толпы. Это были два полюса одного общества, которым никогда не сомкнуться. И эта незримая, но четко проведенная граница прошла с болью через его сердце — даже здесь, на пристани, несправедливость всячески подчеркивалась.

Дворец керкинского бека раскинулся на высокой скале, нависающей над мутной Амударьей. Это был, по существу, замок, крепость. У начала лестницы, в самом низу, у входа, вырублены в граните пещеры, похожие на звериные логова. Здесь содержат заключенных, большинство из которых заковано в кандалы. Тюрьма не кормит осужденных, они живут подачками сострадательных горожан да приношениями родных. Тяжел удел обитателей этих пещер — страдают они от голода, зимних морозов, от мириад паразитов, которыми кишат эти обители. И погибают чаще от нестерпимого зуда, который ведет к бессоннице и потере крови.

Эмира и его свиту торжественно проводили во дворец бека, туда же устремилась вся местная власть. Ширин, постояв еще немного на пристани, вернулся в отведенную ему комнату, он надеялся немного отдохнуть, так как эмир собирался остаться в Керках на несколько дней, и Ширин явно будет никому не нужен. Но уже к вечеру его призвали к эмиру.

Алимхан был в хорошем расположении духа. Принял Ширина наедине.

— Мы довольны тобой, усто Ширин,— сказал с улыбкой эмир, — ты очень хорошо украсил дворец и пристань. Но мне ведь еще ехать в Карши и Термез. Ты же видел теперь, в какой грязи живут мои беки, а нам хочется, чтобы было все нарядно к нашему приезду, Ширин. Тебе надлежит сегодня же выехать в Карши, а затем и в Термез, дабы и там было все готово к нашему приезду. Мы дадим тебе десять всадников, которые будут сопровождать тебя в пути и охранять, времени у тебя в обрез.

Ширин в молчаливом поклоне склонил голову.

Всадники действительно уже были готовы, и Ширин уселся в седло. Благодарность эмира не пошла дальше слов. Нет, все расходы по оформлению, все ковры и украшения, конечно же, поставляют беки. Так заведено. Не об этом речь. Но люди эмира не выделили Ширину ни одного таньга хотя бы на неотложные расходы, не снабдили его даже лепешками. Милость эмира и на этот раз ограничилась лишь поручениями. Ширин горько усмехнулся: что он мог сказать эмиру на такую его щедрость? Великие мира сего не любят, когда им напоминают об их скупости.

Через несколько дней Ширин был уже в Карши и Бек Хасан встретил эмирский обоз у ворот города и очень огорчился, что никого из высокопоставленных людей здесь не оказалось. Он повелел разместить всех приехавших вблизи своего дворца, а сам пришпорил коня и ускакал, раздосадованный — всякую челядь встречать беку не с руки.

Ширин остался совсем один. Ни одного человека из знакомых с ним в этот раз не оказалось. Он отобрал штуки атласа и шелка для драпировки, прошел по запущенному саду, прикидывая, как привести его в надлежащий вид, украсить въездные ворота. Во дворце чувствовалась тревога, все метались, орали, суетились, хотя до приезда эмира оставалось еще несколько дней.

Незнакомый город почему-то портил настроение Ширину, делать ничего не хотелось, а тут еще заискивающе заговаривал бек, узнав, что Ширин является мехмором самого эмира и носит чин караулбеги. Ведь этот маленький молчаливый человек может многое приметить и потом доложить эмиру о непорядках

— Но почему, уважаемый усто, не приехал никто из высших чинов, а?

— Приедут. Будут,— загадочно отвечал Ширин, понимая, что при той смуте, что заварилась в Бухаре, никто не покинет город без воли эмира.

Бек почти через каждый час заглядывал в покои, отведенные для эмира и все выспрашивал, не нужно ли чего еще, не поставить ли дополнительно людей. Ширин злился: угодливый дурак и прохвост старался соблюсти пристойность при встрече. Его громадная фигура по сравнению с Ширином была поистине богатырской, но страх затаенно проступал в его нахальных, не озаренных отблеском мысли глазах.

— А скажи мне, усто Ширин,— вопрошал бек,— что же такое случилось в Бухаре, что не приехал для встречи ни один из визирей эмира? Может быть, какое-то торжество у эмира?

— Смута. В городе смута,— коротко ответил Ширин, примеривая полосу атласа на айване.

Бек откровенно испугался этого слова:

— Неужели смута? А что же произошло в Бухаре?

— Не знаю, бек, я не интересовался,— все также кратко ответил Ширин.

— Да, надо предусмотреть,— озаботился бек.— Не приведи аллах, если к приезду эмира случится и у нас нечто подобное.

Ширин был рад подпустить страху этому тугодумному правителю. Как же все они суетливы и угодливы? Поистине рабы своих страстей.

Теперь Ширин благодарил Ходжи Латифа, который снабдил его деньгами. Бек иногда забывал покормить Ширина, а требовать не в его правилах, и он ходил в ближайшую ошхону, ел лапшу, плов, пил чай. Разговоры в чайхане настораживали: шпионы бека выискивали недовольных и прятали их на случай приезда эмира. Это и есть предусмотрительность бека, усмехался Ширин.

Ко дню приезда эмира все было готово. Дворец и сад приведены в надлежащий порядок.

Эмир побыл в Карши всего три дня. Он был в восторге от той обстановки, которую создал его мастер Ширин. Все было исполнено безукоризненного вкуса и чувства меры. Сопровождающие эмира тоже обратили внимание на обстановку особой праздничности, которую [illegible] создать этот удивительный человек.

В последний день пребывания в Карши Алимхан был в очень хорошем настроении. Всю неустойку по налогам в казну бек Хасан восполнил. А кроме того сумел поднести эмиру такие подарки, что эмир остался доволен и приемом, и беком, и всей встречей. В свою очередь эмир одарил всех видных чиновников бекства, бека Хасана наградил орденом, чему бек был безмерно рад. Готовился в дальнейшее путешествие весь эмирский выезд. Впереди был Термез.

— Послан ли вперед усто Ширин?— спросил эмир своего адъютанта.

— Так точно, ваше величество,— склонил голову с четким пробором адъютант, и снова эмир порадовался расторопности адъютанта. Говорят, он был без ума от Ксенинской? Бедняга, он и сейчас, видимо, переживает ее смерть. Но ведь все мы ходим под аллахом, смерть может унести в любой момент каждого из нас. У русских, очевидно, из-за однолюбия, из-за запрета на многоженство слишком острое восприятие женской любви. А женщины только женщины. Каждая из них может в эту минуту покорить и быть царицей нашего сердца, а завтра сердце уже холодно к ней.

— Что вы скажете о поездке в Петербург, капитан?— игриво подмигнул эмир адъютанту.

— Как прикажете, ваше величество,— вытянулся в струнку офицер.

— Мы подумаем об этом,— кивнул Алимхан, потеряв всякий интерес к этому непробиваемому человеку.

В Термезе эмира поразило, что весь город убран в такой праздничный наряд, какой редко можно устроить в сумбурных древних городах Азии. На улицах, по которым ехал эмир, были ровными рядами высажены цветы, полотнища с изречениями корана висели на городских воротах, карнаи гремели с высоты городских крыш. Все, все продумано, до мелочей подготовлено к приезду эмира. Мимолетно вспомнил эмир во время торжеств о мастере Ширине: старается, но держится независимо. Ладно, подумаем, что с ним делать?

Каждая встреча бывает последней, хотя участники встречи об этом не всегда догадываются. Даже люди, обладающие всесильной властью, не всегда способны изменить ход событий, не вольны над течением реки жизни. Иногда случайная смерть, иногда всесильный Случай вторгаются в наши с вами, читатель, желания

и планы, и тогда мы только вспоминаем о том, что есть еще на свете и Судьба.

Эмир призвал к себе Ширина. Встретил его милостиво, улыбался покровительственно.

— Ты очень постарался для нас, усто Ширин, мы рады видеть твое рвение в исполнении наших желаний.

— Я всегда рад послужить своим скромным ремеслом нашему великому эмиру,— склонил голову Ширин.

Они были вдвоем в большом зале: маленький, тщедушный мастер и солидный, тяжелый, самоуверенный властелин — яркий восточный халат, поверх него портупея, украшенная бриллиантами, на которой висела вся усыпанная драгоценными камнями сабля. Под халатом мундир генерала русской армии — создавали какую-то раздражающую глаз дисгармонию. И Ширин мысленно стал убирать лишнее в одеянии эмира и во всем его облике. И уже представил он его себе в простом халате, в рубашке на одну пуговицу, в галошах на босу ногу. Что же тогда осталось от эмира? И чем отличается он от тех, с кем Ширин встречается ежедневно на улицах, в чайхане? «О, аллах, прости меня за столь глупые мысли».

Неужели этот человек не испытывает трепета от разговора с самим эмиром бухарским, повелителем правоверных, защитой ислама, раздраженно думал Алимхан и едва сдерживал в себе желание оскорбить и унизить мастера. Да, как быстро меняются времена. Что-то сломалось и в Российской империи и в эмирате, слишком громко стал звучать голос недовольства и смуты. Малейший неосторожный шаг правителя может обернуться той самой искрой, которая взорвет пороховую бочку гнева народа. Недаром эпиграфом к газете одной политической партии, выходящей в России, стоят слова: «Из искры возгорится пламя». Эмир знал, что эти слова Пушкина сказаны были по поводу восстания декабристов и посланы ссыльным дворянам в Сибирь. Но как современная политическая партия со странным для уха названием «большевики» могла так к месту использовать эти и в самом деле пророческие слова для своих политических лозунгов?

Эмир хлопнул в ладони и около него оказался казначей.

— Принесите то, что мы повелели приготовить для нашего мастера,— сквозь зубы процедил эмир, так

чтобы не слышал Ширин, стоявший в отдалении.— Мы очень довольны вашей работой, усто, и в знак признания ваших особых заслуг дарим вам халат,— снова улыбаясь, промолвил эмир.

Казначей кивнул слуге, слуга подошел к Ширину, надел на него халат, перехватил в поясе шелковым платком и надвинул на голову тюбетейку.

— Благодарю светлейшего эмира за столь щедрое вознаграждение за мои скромные, недостойные великого властелина труды,— ответил Ширин, и эмиру послышалась ирония в голосе мастера.

Эмир держал в руке расшитый золотом кошелек, но он был пока пуст. Эмир пристально смотрел в непроницаемое лицо мастера. Нет, не почувствовал эмир раболепия в голосе этого молчаливого и непокорного человека. В нем была усталость, безразличие и какая-то отрешенности. Отрешенность, уже знакомая эмиру по тем временам, когда он отправлял на плаху бунтовщиков. Обреченные на смерть, но они не сдавались. Палачи им клали голову на плаху, но они сами не склоняли головы перед эмиром.

И где-то в закоулках памяти эмира возник петушиный крик. Он издевательски звучал все отчетливее, так что эмир даже посмотрел за окно. Но ночь была тиха. Весь напрягшись, Алимхан сверлил теперь глазами мастера, а тот просто стоял и ждал позволения идти.

«Ты ждешь вознаграждения, недостойный раб, и ты его получишь. Ты получишь столько, сколько я плачу мойщику ног»,— подумал эмир. Он сам бросил в кошелек горсть золотых, затянул шнурок, подержал кошелек в руке, словно взвешивая его. А Ширин только ждал конца этой томительной аудиенции.

— Возьми, мастер,— эмир кинул кошелек, чтобы он упал на пол, а не попал в руки Ширина. Но от гнева не рассчитал, и кошелек ткнулся в грудь мастера и оказался в руках Ширина.

— Безгранична милость эмира Алимхана,— Ширин приложил кошелек к груди и вышел по принятому этикету, пятясь спиной к самым дверям.

Нет! Нет, не покорил эмир Алимхан этого человека и поэтому запустил богатым бокалом с вином в окно. Испуганно метнулись лица придворных.

— Немедленно, сейчас же выезжать в Бухару!— гневно заорал эмир.

В ночь эмирская кавалькада в сопровождении уси-

лежного эскорта двинулась в сторону Бухары. Эмир сидел в крытом экипаже в глубоком молчании. Вместе с эмирским обозом уезжали и все, кого направляли для оформления резиденций эмира. Среди них усто Ширина не было.

Глава IV

ПОВОРОТ

Юзбаши Сухроб ворвался в размеренный, устоявшийся штат эмирской охраны неожиданно для многих. С почетного поста начальника личной охраны был снят Рустамбек, и на его место пришел Сухроб. Рослый, поджарый, угрюмо нелюдимый, он был крайне недоверчив к малейшим поползновениям завести с ним какие-либо отношения. Эмир еще на козлодрании заметил этого человека, который, как ему показалось, совершенно лишен нервов. А после уже сознательно наблюдал за ним на площади, когда казнили смутьянов из Зиатдина и Нураты. Слишком расчетливо он отправил на плаху своего пленника. Вся дальнейшая служба проходила под пристальным наблюдением эмира. Алимхан стал подозрителен, недоверчив к своим приближенным. Рустамбек служил эмиру верно, как пес, но в последний год стал слишком уж пристрастно относиться к своему кошельку.

О принадлежности Сухроба к партии Ходжи Икрама эмир знал, но смотрел на это иронически. По мере того, как Сухроб все рос на поприще служебном, он все больше охладевал к учению своего учителя и не так охотно являлся на собрания в доме Икрама. А в последнее время все чаще свободное время проводил в доме усто Нишана. Да и к самому Сухробу отношение заметно изменилось. В узком кругу Ходжи Икрам както сказал:

— Мы живем в очень напряженное время, господа. Вы видите, что делается в России? Нам надо быть готовым к большим переменам, а один донос — и мы все погибли. Сухроб стал [illegible], поэтому при нем [illegible] быть очень осторожными. Не говорить лиш-

Среди приближенных Ходжи Икрама появился новичок, которого все звали просто Хабибуллой. Молодой, энергичный, человек резких решений, он теперь подолгу беседовал наедине с Ходжи Икрамом, а о чем, можно было только гадать.

— Я предлагаю убрать Сухроба!— как приговор, произнес Хабибулла, даже решительный Султанбек настораживался при столь резких высказываниях новенького.

— Убрать Сухроба? А вы знаете, что сделает эмир? Он уничтожит всех нас, устроит погромы, полетят десятки, сотни голов.

— Может быть, ему и не придется принимать таких мер,— зловеще улыбнулся Хабибулла.

Много таинственного окружало этого высокого стройного юношу с узкой черной бородкой и стремительной походкой. В его одежде уже проявлялась та смесь традиционной и европейской одежды, которую стали предпочитать представители части интеллигенции Бухары, среди которых реформаторские настроения были особенно сильны.

Ходжи Икрам попытался сгладить впечатление от резких слов Хабибуллы:

— Будем надеяться на милость аллаха, о достойные! И Сухроб нам еще понадобится.

Хабибулла неуважительно хмыкнул, явно не соглашаясь с мнением учителя.

Под самый вечер Ходжи Икрам и Хабибулла остались вдвоем. Хабибулла, как всегда, был настроен решительно:

— Я ничего не имею против Сухроба. И если вы, учитель, считаете, что он нам еще может понадобиться, то пусть будет по-вашему. А в отношении эмира у меня вполне твердое мнение. Вы должны поддержать нас, и тогда может быть вы станете во главе бухарского правительства.

— Мои силы скромны, дорогой Хабибулла,— уклонился от прямого ответа Ходжи Икрам.

— Все в руках аллаха.

Каждый волен по-своему истолковывать слова собеседника, и Хабибулла, все также загадочно улыбнувшись, поклонился учителю.

Продолжить разговор им помешал Сухроб. Он, как и положено большому начальнику, приехал в сопровождении всадников. Оставив их у ворот, прошел к

Ходжи Икраму быстрым решительным шагом, коротко поклонился, воздав короткую молитву, присел в ответ на приглашение Ходжи.

— Сухроббек, хочу представить вам нашего нового активного члена Хабибуллу-муллу,— приятно улыбнулся Ходжи обоим. Сухроб слегка поклонился в сторону Хабибуллы. Тот ответил также сдержанно.

— Я привез приятную весть, учитель,— без принятых предисловий начал Сухроб, чем-то возбужденный,— Вы, учитель, можете гордиться, что ваше обращение к эмиру дало приятные плоды. Только что оглашен фирман эмира Алимхана. Сарбазам и всем командирам эмир повелел увеличить жалованье! Поистине вы достойны давать эмиру Алимхану советы, учитель.

Хабибулла чуть заметно скривил губы.

— Кроме того, учитель, я женюсь! Да, я решил обзавестись женой и жить, как пристойно истинному мусульманину. Когда я был простым сарбазом, я не мог обеспечить себе денег даже на той. Теперь я могу пригласить на свою свадьбу всех своих друзей и знакомых! И я прошу вас, уважаемый учитель, и вас, достойный Хабибулла, быть моими гостями на свадьбе, которая состоится в первую пятницу следующего месяца. Должен сказать, что наш несравненный эмир очень благосклонно отнесся к моему желанию жениться и намекнул, что, может быть, почтит нас своим присутствием!

При этих словах Хабибулла весь насторожился и стал внимательнее слушать Сухроба.

— Из какой же семьи вы берете себе будущую жену, дорогой Сухроб?— вежливо осведомился Ходжи.

— О, это дочь почтенного усто Нишана,— очень довольным тоном ответил Сухроб.

Ходжи Икрам всего на минуту задержал ответ, а потом стал поздравлять Сухроба:

— Вы можете гордиться таким родством, мой дорогой Сухроб, это очень почтенная семья, очень. Мы непременно посетим вас.

Довольный собой Сухроб покинул учителя и уехал во дворец. Ходжи Икрам сидел, глубоко задумавшись. Хабибулла только искал повод, чтобы уйти, но Ходжи вдруг заговорил.

— Эмир Алимхан проявил мудрость, вняв нашим требованиям и значительно улучшил положение сарбазов. Это очень приятно сознавать, мой друг.

— Эмир Алимхан укрепляет свою армию и безопасность своего трона,— не разделяя довольства учителя, сдержанно отозвался Хабибулла.

— Он выполнит все наши требования, но только не сразу,— успокаивал себя Ходжи Икрам.

В этот же вечер Хабибулла был в другом конце города и беседовал с другими людьми. Жирный светильник скупо освещал комнату в медресе, где сидели несколько молодых людей, окружив Хабибуллу.

— Я так считаю, друзья, что Ходжи Икрам только претендует на место поближе к эмиру, чаяния народа и требования времени далеки от него,— резко говорил Хабибулла.— Эмир издал фирман об отмене смертной казни? Нет. Да, от верных людей я знаю, что будут снижены налоги, отменена и торговля людьми. Но одни налоги снимут, зато введут другие. Если раньше людей продавали открыто, то теперь это делается тайно. Эмир не торопится покончить с отсталостью и забитостью народа. Надо помнить и другое, пока не будут открыты школы нового типа, люди будут знать только одну грамоту — коран. А он не дает знаний истории, искусств, политики, финансов. Мы толчемся вокруг вечных проблем, которые одним повышением жалованья сарбазам не исчерпаешь.

— Что ты предлагаешь, Хабибулла?— перебил его один из присутствующих.— Свои требования мы знаем. И надеяться на Ходжи Икрама не будем. Этот богослов нам не по пути. В лучшем случае он станет советником эмира и будет добиваться реформ по мелочам, а о главном даже не заикнется. Но что ты предлагаешь?

— Пока потребовать от эмира манифеста, текст которого мы обсудим. Но нужно иметь в виду и более высокую цель,— продолжил Хабибулла. Все ждали последнего слова в полной тишине. Нелегко было даже в среде единомышленников произнести это, потому Хабибулла долго молчал. Стоит только кому-то проболтаться и конец всем здесь присутствующим.

Лица говорящих почти невидимы в густой душной темноте, но Хабибулла узнавал единомышленников по голосам. О Ходжи Икраме сейчас говорил Эркин, молодой муллобача, изучивший русский язык и читающий русские газеты. Этот юноша подчеркнуто тянулся ко всему русскому и следовал европейской моде, хотя дома у него из-за этого большие нелады с отцом.

— Если мы будем одни, нашим мечтам придет

конец под ножом палача,— серьезно и без тени страха сказал Эркин.

— Я не понимаю, почему мы боимся выходить к людям новой Бухары?

Это спросил молодой человек по имени Камилджан. Его голос Хабибулле кажется совсем мальчишеским, хотя Камилджан уже закончил учебу и работает писарем в закотхоне.

— Я тоже не верю в искренность Ходжи Икрама,— продолжал Камилджан.— И мне уже не хочется ходить в его дом и слушать его долгие речи.

— Ходжи Икрам теперь хмурится, если его не называют учителем,— усмехнулся Эркин.

Хабибулла был смел в поступках, но осторожен в словах, справедливо полагая, что только это спасает от палок или ножа палача. Даже то, что он сейчас вынашивал, не мог открыть своим единомышленникам. Все зло Хабибулла видел в самом эмире. Эмир Алимхан казался ему носителем всех пороков и их насаждателем. Хабибулла видел сейчас свою главную цель — убрать эмира. Убрать, как убирали царей русские народовольцы. Весь, как клубок нервов, порывистый, горячий, он не спешил с исполнением задуманного возмездия, понимая, что один не справится со своей задачей. Эмир осторожен, недоверчив, он никогда не забывает, что любой фанатик может поднести ему бокал с ядом или вонзить нож. Да, эмир сейчас, после поездки по эмирату, стал чаще появляться на людях. Он разъезжает по городу в фаэтоне, ему можно передать письменную жалобу, но близко к нему не подойдешь, он всегда в сопровождении афганской охраны, нанятых специально в соседней стране, недоверчивых, настороженных, ловких воинов. Десятки пар глаз наблюдают за людьми, которые приближаются к эмиру. Тут с ножом на него не кинешься, потому что еще раньше сам повиснешь на копьях охраны.

Хабибулла нашел путь к личному парикмахеру— сартарошу эмира, хитрому и жадному Эргашу. Исподволь, день за днем обхаживал Хабибулла осторожного слугу, пока не смог заговорить напрямую. И Эргаш затребовал десять тысяч таньга. Десять тысяч за голову эмира Алимхана. И еще Хабибулла дал клятву, что сразу же после исполнения дела спрячет Эргаша в далеких городах, где с таким богатством сартарош откроет свое дело и будет жить спокойно.

Эргаш понимал, что он страшно рискует, и когда вошел с приборами в комнату эмира, не мог совладать с предательской дрожью пальцев, ему казалось, эмир обо всем уже знает, и он сейчас же будет разоблачен и сожжен.

Алимхан уже сел в кресло, завезенное из Франции, стал рассматривать свое лицо и случайно увидел в зеркале отражение Эргаша. Повелителю не понравилась бледность лица парикмахера. Внимательно пригляделся к брадобрею и еще новость: у него дрожат руки, взгляд блуждает, весь какой-то потный.

— Что с тобой, Эргаш? — настороженно спросил эмир, напрягшись. — Уже не заболел ли ты?

— Нет, ни-чего, мой повелитель, я просто... это... сам не знаю — глаза Эргаша бегают, голос садится, весь он какой-то испуганный...

При всем благодушии, даже иногда беспечности, Алимхан не утратил способности понимать тайные движения души людей. Вот сейчас этот жалкий трус, почему-то подумал эмир, всадит бритву мне в горло и тогда конец.

Алимхан порывисто встал из кресла:

— Говори, что с тобой? Стража! А ну поговорите с ним, как следует. Пусть все расскажет...

Эргаш рухнул на колени:

— Пощади, великий эмир! Милости прошу за черные мысли! Все скажу, только, ради аллаха, пожалейте меня.

Эмир выпытал у безвольного Эргаша все подробности заговора и имена злоумышленников. Потом сказал Эргашу:

— Встань и удались с моих глаз, презренный раб. Я мог бы сейчас же отрубить тебе голову или посадить на кол, но за признание дарую тебе, недостойному, жизнь. И повелеваю тебе немедленно покинуть Бухару и исчезнуть навеки. Если я узнаю, что ты объявишься в эмирате, то пеняй на себя. Уйди из эмирата в иные пределы и никому нигде не говори, что ты был удостоен милости брить и стричь самого эмира бухарского. И если ты нарушишь мои условия, то я сожгу твой дом, казню всех родных до седьмого колена, а тебе самому вытащу кишки.

Жалкий, мокрый от страха, Эргаш, пятясь и бормоча слова молитвы, удалился из дворца, а поздно ночью двухколесная высокая арба с пожитками и членами

семьи Эргаша покинула город. Он исчез, словно растворился в знойном мире.

Зная имена заговорщиков, эмир не спешил с возмездием. Он повелел установить за каждым тщательную слежку, выявить всех сообщников. Никто не должен скрыться, каждого постигнет кара. Но это потом, пусть немного еще порезвятся.

Глава V

ОТРЕЧЕНИЕ

Алимхан был осведомлен о брожениях в народе, о революционных настроениях в Новой Бухаре, о крепнущем влиянии джадидов, но пока особых признаков беспокойства не испытывал. Еще сильна власть эмира, наместника аллаха на земле. Он теперь особо подчеркивал свою приверженность истинной вере. Два раза в год он устраивал массовые хождения на моления в кишлак Баховаддин, каждую неделю весь его двор выезжал в пятничную мечеть в Мохи-Хосу, и раисы особо ревностно сгоняли мусульман на эти моления. Муллы не устают от этого повторять, что Алимхан — опора ислама.

А штат придворных теперь насчитывает почти шесть тысяч человек. Многие месяцы просиживали они в дагонхоне, ожидая вызова эмира, заодно плели интриги друг против друга, доносили эмиру о нерадивых мусульманах, ожидая для себя подачки. Мало кому теперь можно доверять, продажные и низкие получили доступ к подножию престола. Эмир метался в поисках твердости в поступках.

Сильная власть дервишей тоже пугала Алимхана, и ему пришлось вести с ними нелегкую игру. Одним из самых влиятельных ишанов дервишеского ордена стал в это время Ишани Коканди, который одним движением пальца мог поднять тысячи истинно верующих и бросить их против самого эмира. И Алимхан, следуя традициям бухарских эмиров, стал называть себя мюридом Ишана Коканди, сам ездил к нему за советом и опорой и хотя бы внешне следовал его советам, в невежестве которых никогда не сомневался. Еще два от-

шельника-девона также считались советниками эмира, и один из них, живущий в Вабкенте, принимал в своей келье Алимхана и давал ему наставления в истинной вере.

А в России творилось непонятное. Война затянулась, начались волнения, о которых Алимхан не мог не знать. И он решил ехать в Петербург. Все повторилось: и пышность приемов, и дорогие подарки и ордена, которыми одарили друг друга оба престолодержателя, и особое, действительно, братское отношение царя к эмиру, и обсуждение серьезных для обоих государств проблем, и шахматные баталии, в которых Алимхан был особенно опасен, так как играл вопреки всем правилам, неожиданно и коварно для противника. По многим вопросам внутренней жизни России и Востока, по отношению к зарубежным странам их взгляды совпадали. В беседах с послами иностранных держав Николай любил ссылаться на своего «друга и брата», приводил его в пример, отмечал его работу по просвещению своего народа, не забывая при этом подчеркнуть и большой вклад России в это доброе и богоугодное дело.

И все же Алимхан обратил внимание, что взгляд Николая какой-то отрешенный, весь в себе. Он порой даже не слышал эмира. Это настораживало и беспокоило.

Покидал эмир Петербург в этот раз совсем без настроения. Тяжко было у него на душе, хотя он и не знал, что это предчувствие.

И вот сообщение — царь отказался, отрекся от престола! Эмир уже немного забывал о своей поездке в Петербург, забывал о своих тревогах и своем беспокойстве по поводу государя. Ведь прошло два месяца — и вдруг отречение. Да что же это такое? Цари земные сами, добровольно отрекаются от своих законных прав на престол! Эмир нервно ходил по кабинету, почти бегал. Ему хотелось принимать какие-то немедленные меры. Может быть, послать в Петербург своих сарбазов, пусть сотни три, или сформировать пару полков и самому повести их в столицу на поддержку царя. Но чем больше он метался и думал, тем больше негодование сменялось полной растерянностью. Он был вполне трезвым человеком и понимал, что ход истории там, в России, изменить ему не удастся. Там [illegible]

дило нечто такое, что не подвластно, не подчинено обычным меркам. Рушилось то, что казалось вечным, неколебимым, прочным. Брат и друг, как же это так? Алимхан испытывал даже некоторую досаду, словно своим отречением Николай нанес большую обиду лично ему. Ведь и сам Алимхан чувствовал себя увереннее от того, что там, в Петербурге, у него такой оплот и надежда на безбедное царствование на бухарском престоле. И вот что-то произошло, что он не совсем понимал. Русский престол рухнул. Это не укладывалось в сознании.

И все-таки надо подумать о себе. Тут же был издан фирман об усилении охраны эмирского дворца. Эмир лично проверил схему постов и усилил их. Главному фискалу Хайрулло дал указание усилить работу его шпионов, в случае особо важных событий докладывать лично ему. Подозрительных немедля отправлять в зиндан для проверки.

Еще эта Новая Бухара! Сколько беспокойства от ее соседства! А как подступиться к ним? Там в основном русские подданные, там большевики, с которыми лучше вообще не связываться. Тут свои, джадиды. Теперь у них нет учителя. Разгадали, что его приручил эмир и теперь у них другой вождь. На плаху бы, палачу бы в руки. Это упоительное зрелище казни! Палач вставляет пальцы в ноздри жертве, задирает голову, обнажая шею, и нож полосует по горлу противника престола! Но где они и сколько, кто они?

И еще удар. Николай не смог спрятать свои дневники. Как они попали в редакции газет? Можно ли царю быть таким беспечным? Теперь газеты каждый день печатают с продолжением дневники царя. О великий аллах! Неужели он, Алимхан, стал бы записывать, чем он занят в течение дня, что он делает в гареме? Такого идиотизма он не допустил бы никогда!

И Алимхан вчитывается в строки дневника своего старшего брата, иногда даже читает вслух, чтобы лучше осознать напечатанное.

«23 марта 1917 года. Четверг.

Ясный день, после двух часов и оттепель. Утром погулял недолго. Разбирался в своих вещах и книгах и начал откладывать все то, что хочу взять с собой, если придется уезжать в Англию. После завтрака погу-*

* [illegible] в дневнике сделаны самим Николаем II.

лял с Ольгой и Татьяной и поработал в саду. Вечер проводил как всегда.

27 марта. Понедельник.

Начали говеть, но для начала не к радости началось это говение. После обедни прибыл Керенский и просил ограничить наши встречи временем еды и с детьми сидеть отдельно: будто ему это нужно для того, чтобы держать в спокойствии совет рабочих и солдатских депутатов. Пришлось подчиниться во избежание какого-нибудь насилия. Погулял с Татьяной. Ольга спать слегла, так как у нее заболело горло. Остальные чувствуют себя хорошо. В 9 часов 45 минут спустился к себе; Татьяна посидела со мною до 10 часов 30 минут. Затем почитал, выпил чаю и лег спать на своей тахте.

30 марта. Четверг.

Дул сильный ветер и днем разогнал тучи. В 10 часов пошли к обедне, за которой много наших людей причастилось. Недолго гулял с Татьяной, сегодня происходили похороны «жертв революции», у нас в парке против средины Александровского дворца, недалеко от Китайского. Слышны были звуки похоронного марша и марсельезы. К 5 час. 30 мин уже все кончилось. В 6 часов пошли к службе. 12 Евангелий: О. Беляев, молодцом, прочел все их один. Вечер провел, как все последние.

7 апреля. Пятница.

Погода поправилась и потеплела. Долго гулял утром, так как было хорошо. Днем с Татьяной и Алексеем на работе. Лица солдат и их развязная выправка произвели на всех отвратительное впечатление. Много читал. С 10 час. 15 мин. у себя внизу.

8 апреля. Суббота.

Тихо справляли 23-ью годовщину нашей помолвки. Погода простояла весенняя и теплая. Утром долго гулял с Алексеем. Узнали, почему вчерашний караул был такой пакостный: он был весь из состава солдатских депутатов. Зато его сменил хороший караул от запасного батальона 4-го стрелкового полка. Работали у пристани, из-за [illegible], и наслаждались теплым солнцем. Вечер провел по-прежнему.

18 апреля. Вторник.

За границей сегодня 1-е мая, поэтому наши болваны решили отпраздновать этот день шествиями по улицам с хорами музыки и красными флагами. Очевидно, они вошли к нам в парк и принесли венки на могилу.

Погода как раз испортилась во время этого чествования. Пошел густой мокрый снег. Вышли гулять в ... час. 15 мин., когда все кончилось и выглянуло солнышко. Поработал полтора часа с Татьяной. Вечером начал читать вслух детям.

1 мая. Понедельник.

Чудный теплый день. Утром хорошо погулял. От 12 час. был урок географии с Алексеем. Днем опять работал над нашим огородом. Солнце здорово пекло, но работа успешно продвигается. Читал до обеда и вечером вслух. Вчера узнали об уходе Корнилова с должности главного командующего Петроградским военным округом и сегодня вечером об отставке Гучкова, все по той же причине безответственного вмешательства в распоряжения военной власти совета рабочих депутатов и еще каких-то организаций гораздо левее.

3-го июня. Суббота.

После утреннего чая неожиданно приехал Керенский на моторе из города. Остался у меня недолго, попросил прислать следственной комиссии какие-либо документы или письма, имеющие отношение до внутренней политики. После прогулки и до завтрака помогал Коровиченко в разборе этих бумаг. Днем он продолжал это вместе с Кобылинским. Допиливал стволы деревьев первого места. В это время произошел случай с винтовкой Алексея: он играл с ней на островке. Стрелки, гулявшие в саду, увидели ее и унесли в караульное помещение. Потом оказалось, ее отослали почему-то в Ратушу. Хороши офицеры, которые не осмелились отказать нижним чинам. Был у всенощной. Вечер — по обыкновению.

. . . .

30-го июня. Понедельник.

День стоял великолепный. Наш хороший комендант полковник Кобылинский попросил не давать офицерам поручений при посторонних и не здороваться со стрелками, до этого было несколько случаев, что они не отвечали. Занимался с Алексеем географией. Спилили громадную ель недалеко от решетки за оранжереями. Стрелки сами пожелали помочь нам в работе. Вечер окончил чтением.

6-го июля. Четверг.

Все утро шел дождь, а к двум часам погода поправилась, к вечеру стало прохладнее. День провел как всегда. В Петрограде в эти дни проходили беспо-

рядки со стрельбой. Из Кронштадта вчера прибыло туда много солдат и матросов, чтобы идти против Временного Правительства. Неразбериха полная. А где же люди, которые могли бы взять движение в свои руки и прекратить раздоры и кровопролитие? Семя всего зла в самом Петрограде, оно во всей России.

6-го июля. Четверг.

К счастью, подавляющее количество войск в Петрограде осталось верно своему долгу, и порядок снова восстановлен на улицах. Погода была чудная. Сделал успешную прогулку с Татьяной и Валей. Днем успешно поработали в лесу, срубили и распилили четыре ели.

8 июля. Суббота.

Хороший жаркий день. Обошел парк с Татьяной и Марией. Днем работали в тех же местах. И вчера и сегодня караулы были исправны в несении службы и отсутствием шатания по саду во время нашей прогулки — от 4-го и 1-го стрелковых полков. В составе правительства совершились перемены: кн. Львов ушел и председателем совета министров будет Керенский, оставаясь вместе с тем военным и морским министром и взяв еще министерство торговли и промышленности. Этот человек положительно на своем месте в нынешнюю минуту: чем больше у него будет власти, тем лучше»...

Алимхан отшвырнул от себя кипы газет, прищурившись, посмотрел перед собой. Да, большевики не такие уж дураки, что опубликовали эти дневники царя.

Эмир Саид Алимхан был почти своим человеком в семье Николая II, знал всех членов его семьи. Каждый, о ком упоминал царь в своих записках, вставал сейчас перед глазами эмира: Алексей, Таня, Ольга, Мария... А сам царь? Сколько раз эмир встречался с ним! И каким же ничтожеством предстал сейчас Николай после этих записок! Великий аллах, такая узость мысли! Ходил, гулял, пилил, погоду записывал каждый день... Как будто в этом высокое назначение царя. И как же слепы были все, кто окружал и почитал его. Если в дни потрясений и смуты он только и способен спать на тахте да проводить вечера «как обычно». Встать во главе верного войска, драться за свой наследственный престол, пустить реки крови, но доказать, что ты венценосец, или погибнуть, и то потомки хоть как-нибудь вспомнят. Чем можно вспомнить этого вялого, безвольного, ничтожного человека? Этими

записками? Нет, большевики не так глупы. Они напечатали их совсем не зря. Обыватель стоял во главе России, безвольный и вялый.

Эмир представил себе один из эпизодов последней встречи с государем. В этот день они были уже несколько часов вместе. Невольно зашел разговор о конях, и Алимхан кстати напомнил:

— Мой отец Ахадхан — да пребудет милость аллаха над ним! — держал прекрасного белого коня с пушистым хвостом по кличке Джамшед. Он ездил на нем первые годы, а потом поставил в конюшню на особый пансион, ежедневно добавлял в ячмень по пятнадцать сырых яиц.

— Белый породистый конь с пушистым хвостом — это благородно и по-царски, — доброжелательно заметил Николай. — Поистине такие кони предназначены для сильных мира сего.

— Ваше императорское величество, не соизволите ли посмотреть коней, которых уже привели в Петродворец? Вы, несомненно, узнаете потомков благородного Джамшеда.

Вышли во двор. Царь сдерживал волнение. Одиннадцать самых благородных коней из Локая и Гиссара предстали перед его глазами.

Да, это были прекрасные животные. Тонконогие, с маленькими головками на высокой шее, с горячими беспокойными глазами, они не могли стоять спокойно, вскидывали головы, переступали нетерпеливо, всхрапывали.

Каждый из одиннадцати коней был убран по-особому. Среди них выделялся белый, без единого пятнышка красавец-конь, который был убран белой, расшитой золотом попоной. Седло из слоновой кости, стремена украшены рубинами, которые особенно ярко горели на белом фоне. На лбу коня вырезанный из листового золота тюрбан с высоким венчиком, который скреплен у основания золотым обручем и увенчан крупным изумрудом. Вся сбруя также изукрашена драгоценными камнями.

Но и остальные кони убраны не беднее. Каждому подбирались в тон и сбруя, и седло, и тюрбан. На головах были прикреплены эгреты, хвосты пропущены сквозь золотые обхваты, к шеям привязаны особые золотые подвески, звучащие при движении.

Каждого коня держал один из высоких сановников

эмира. И одет был сановник в тон расцветки убранства коня. Ни один цвет, ни один оттенок не повторился, ни один узор из камней не копировал другой. Бухарские умельцы показали здесь свое непревзойденное мастерство.

Царь был бесконечно рад такому подарку. Его голубые глаза светились от восторга, улыбка не сходила с лица. Он все ходил вокруг коней, гладил их маленькие морды, трепал по гривам:

— Так какой же из них потомок легендарного Джамшеда? Вот этот?

Царь остановился около белого коня.

Эмир склонился в молчаливом поклоне, отдавая должное проницательности государя.

— Конечно, конечно, этот! А как его кличка?

— Его имя Тулпар,— почтительно ответил раис Мумин по-русски, за что был пожалован величайшей улыбкой.

— Тулпар, Тулпар... Вы, мой брат, умеете давать удивительно романтические клички коням. Искренне благодарен, мой брат эмир, за такой подарок!

Уже в этот вечер все сановники эмира были пожалованы орденами Российской империи, а сам эмир жалован золотой табакеркой, украшенной бриллиантами.

И сейчас после дневника царя эмир вспомнил, как говорил Николай о белом коне с пушистой гривой и хвостом: «Поистине такие кони предназначены для сильных мира сего». Тебе белого коня с пушистым хвостом, потомка Джамшеда? Ишака тебе, посадить тебя лицом к хвосту и возить по всей твоей стране и показывать, что ты за ничтожество!

Алимхан еще мальчиком видел позор одного сборщика налогов из штата нижнего кушбеги. Слишком он много воровал, хотя все воровали тоже. Но он перешел все границы, и тогда отец, эмир Ахадхан, приказал раздеть его догола, обрить, вывалять в смоле и провезти на ишаке по всему городу. Алимхан помнит, что это был высокомерный, величественный, сановитый человек с пышной бородой и громким голосом. Но когда его обрили, то перед людьми встало совершенное ничтожество с маленькой головкой, совсем как у дурачка, и маленькими бегающими глазками. Алимхан хорошо помнит, как отец прикрыл глаза рукой и даже застонал:

— Уберите его, уберите его поскорее!

Вот примерно таким предстал сейчас перед ним и царь. Да, но кто обрил его? Большевики. Кто такие большевики? Алимхан не встречал человека, который был большевиком. Кто это такие? Цыгане какие-то, что ли? Рабочий класс, пишут в газетах. Что такое рабочий класс? Ну, работает и работает человек, какой еще класс из него?

Надо выбирать, Запад или Россия... Но ведь теперь такого вопроса нет больше. России, той России, о которой он столько знал и которой верил, уже нет. Она рухнула. На его глазах рухнула империя, что пережить и увидеть выпадает не каждому. Было падение Римской империи, империи Наполеона. Но там хоть стояли у кормил выдающиеся люди. О Наполеоне и сейчас говорят как о великом человеке. Можно ли сказать, что Николай — великий человек? Какой уж там великий человек! «Вечер провел как всегда»... И это самодержец, столп государства...

Алимхан сейчас словно сбросил пелену с глаз и увидел, насколько мелок, ничтожен был человек, которого он боготворил. Ореол императора, государя был содран всего-навсего публикацией этих документов, в которых и проявилось его подлинное величие. «Был у всенощной... Вечер — по обыкновению»... О аллах, кому же даруешь ты безграничную власть над людьми!? Разве одно то, что царь записал: «А где же те люди, которые могли бы взять движение в свои руки»,— не говорит о полной безответственности перед историей этого человека?

Алимхан снова схватил газету, нашел эти строчки. Оббо! Что за ишак! Он ищет людей, которые смогли бы взять движение в свои руки! Да они уже нашлись! Те самые, которые так раздели царя перед всем миром и пустили голым, как когда-то отец пустил мздоимца обритым наголо перед всей Бухарой.

Но Алимхан теперь хотел действия. Немедленного, скорого. Чернь Бухары потянется за Россией, они тоже захотят подробнее знать, кто такой их великий эмир. Но эмир — не даст разгореться их страстям. Он немедленно примет меры. Собрать диван, издать фирманы, по которым власть будет еще более централизована и упрочена. Нужно срочно увеличить армию, сделать смотр войскам. По царскому вердикту армия эмира не должна превышать десять-двенадцать тысяч человек. В таких рамках она и держалась. Теперь

Алимхану царь не указ, надо было царю о своей армии больше думать. Он увеличит армию до пятидесяти тысяч. И чтобы солдаты были преданы, установит для них новые льготы, повысит жалование, создаст соединения добровольцев, а не только подневольных сарбазов.

Нужна решительность! Времена наступили грозные. Власть во многих странах пошатнулась, но он в центре Азии, закрыт от прямого вторжения. С Англией и другими державами нужно вести дипломатическую игру, но он не даст им таких привилегий, какие получил русский царь. Только на равных началах, только паритетные отношения, а на прямое вторжение у них не хватит сил. Он отсидится здесь, среди пустыни, укрепит свое государство, а до того, что происходит с Россией, ему скоро дела не будет.

Одного он не учел. Он остался в зависимости от революции. А тут не всякий политик сообразит сразу, что делать и куда податься. Одно было ясно — эмиру с революцией не по пути. Вернее, ей, революции, не по пути с эмиром.

Глава VI

СВЕРШЕНИЯ

Все эти месяцы Ширин провел во дворце эмира. Зачем его вызывали и держали здесь, непонятно. Делами заниматься он не мог, приходил с утра, отсиживался в излюбленном месте, даже спал, а ночью уходил к семье.

Очень быстро в жизнь двора вошел Сухроб, увенчанный теперь званием тахсаба, ставший властным и недоступным, он почти не замечал старого товарища по скитаниям. Его боялись, потому что он был вхож к эмиру напрямую, как начальник его личной стражи. Говорили, что эмир дал ему какие-то особые права и теперь ему оказывали знаки внимания даже те, кто раньше сарбаза Сухроба не пустил бы и на порог своего дома. Был он неподкупен, умел молчать и все видеть, за это-то его и боялись.

Говорили, что он женился на дочери дяди Ишана. И даже
Пусть. Ширину теперь до всего этого нет дела.

дядя с его неожиданным возвышением и обогащением уже не занимал Ширина. Ширин был крайне доволен своей собственной жизнью и единственное, что омрачало ее, так это отсутствие интересной работы. Он, простой меъмор и ганчкор, испытал неповторимое ощущение творца, создавшего нечто свое, неповторимое.

Звезда и месяц эмира — Ситораи Мохи-Хоса — больше не повторялась, да и нелепо было бы ждать повторения таких заказов. А работать хотелось. Ох, как хотелось. Заказ Латифа-ходжи был выполнен, а эмир не собирается еще что-либо строить. Его отец Ахадхан и то строил больше, все украшал свое любимое Кермине. Что теперь там, в Кермине, делается? Многое из начатого остановлено на половине, и теперь, конечно, постепенно приходит в запустение. Строить возле Мохи-Хосы больше нечего, а в городе все одно и то же: дом купца, дом чиновника, дом ремесленника. Ибад, тесть Ширина, более свободный человек, не отказывается от таких подрядов, и Ширин сделал для него много чертежей, по которым Ибад построил немало таких домов, на эти скромные доходы они пока и жили. Им хватало, и в доме царило взаимное понимание, особое расположение и спокойствие, свойственные только по настоящему счастливым семьям. Саодат наконец вошла в роль жены, матери и хозяйки, любила и всегда ждала своего Ширина, а вечерами, когда собирались все в доме, звучали шутки, а то и домра, на которой очень хорошо играл Ширин.

Иначе складывалось у усто Нишана. Сухроб почти не бывал дома. Махсура не собиралась грустить по этому поводу и тоже частенько исчезала. Отец попытался сделать дочери очередное внушение, но она так двинула его однажды, что сухонький старик отлетел в угол:

— Помолчи, старый ишак. Ты сам хотел для меня такой судьбы, вот и радуйся. А мужу моему ты не скажешь, ты же за него держишься, золото свое растерять боишься. Вот и трясись над проклятым золотом. Тебе золото дороже человека. Ты племянника своего из-за золота...

— Молчи, молчи, нечестивая, пусть будет проклят тот день и час, когда я зачал тебя! Греховодница, вот подожди, джинны уволокут тебя однажды в самую преисподню и поджарят тебя! Стыда у тебя нет...

Дочь расхохоталась и вскоре, покрывшись паранджой, ушла. Старик долго сидел в одиночестве, потом ре-

шил утешить себя пиалой чая. Он успокаивался понемногу, обдумывая создавшееся положение, и пришел к выводу, что оно не так уж и плохо. Ну гуляет дочь, так ведь теперь это забота мужа, а не отца. Отец стар, болен, смотреть за ней у него сил и времени нет. Но зато положение Сухроба давало ему самому несомненные преимущества, это так, аллах тому свидетель. Среди золотоскупщиков у него теперь крепкие знакомства, иной раз и совсем редкий товар ему попадается. А сейчас лучше, если будет в доме некая толика запасов металла, ценного в любое время и при любом правлении.

А времена смутные, смутные времена пошли. Каждый что-то знает и о чем-то молчит. Уже год, как прошла революция в России, потом в Ташкенте, но Бухара остается Бухарой. А вот покоя нет. Уже совсем близко подошла война. Слышал усто Нишан непонятные слова «Туркестанский фронт». Потом появилось совсем непонятное имя «Фрунзе», которое произносилось на узбекский манер «Прунзе». Голытьба начинает поднимать голову, грозить:

— Вот погодите, кровопийцы, прийдет Прунзе, он вам покажет, как обижать бедных!

Сам, сам усто Нишан слышал эти слова на базаре, когда продавец дынь хлестнул плеткой голодного мальчишку, слоняющегося в поисках куска лепешки или дыни. Тогда-то и сказал толстый водонос эти страшные слова.

Искали того водоноса сарбазы эмира, но его и след простыл, а слово сказанное осталось.

В эти самые дни пришел к Нишану его бывший ученик Сафар, изгнанный когда-то за попытку рисовать живые фигурки. Усто Нишан уже забыл его, признаться, и только когда тот многословно напомнил о себе, Нишан закричал:

— Что же тебе нужно, о недостойный рисовальщик запрещенного исламом?— и поглядел на калитку, не покажется ли Сухроб, чтобы упрятать нечестивца в зиндан. Но с чего бы это Сухроб показался днем дома, когда он и ночами-то пропадает на эмирской службе?

— Не стоит вспоминать прошлого, о достойный домулло,— усмехнулся Сафар.— Да я теперь и совсем не рисую ничего, работаю на станции Каган. На железной дороге работаю. Я к вам по делу, усто. Только вы можете мне помочь.

— Что же тебе нужно, о осквернитель веры?

— Вы напрасно так ругаетесь, учитель,— усмехнулся Сафар.— А вот вам бы поостеречься нужно. Поговаривает народ, что вы ростовщиком стали. И в случае чего кое-кто намерен потрясти ваши чувалы.

— Что? Что ты слышал, Сафар?— сразу испугался Нишан.

Сафар только пожал плечами.

— Пойми, сынок, не со зла я тогда изгнал тебя,— ловил взгляд Сафара Нишан.—Ну побаловался, да кто же не баловался в юности. А что было бы, узнай тогда эмирские шпионы о твоих шалостях? Меня бы обвинили в укрывательстве и бросили бы в зиндан, да. А я стар и болен, да. Так что ты слышал обо мне, сынок? Не держи сердца на старика, говори.

— Говорят, на слезах вдов и сирот наживаетесь, деньги под большие проценты даете, а если что, своему зятю Сухробу на должников жалуетесь. Я, конечно, не хочу угрожать вам, но вы бы поостереглись

— Хоп, хоп, спасибо, сынок, я поостерегусь. А тебе не деньги ли в долг нужно? Может, ты поэтому и пришел пугать меня? Так мой зять...

Сафар осуждающе покачал головой:

— Вы все такой же, досточтимый учитель. Нет, мне ваших денег не нужно ни в долг, ни просто так.

— Так чего же пришел? Попугать меня?

Сколь же велика власть денег над душами людей, когда даже в лучших твоих побуждениях видят они только выгоду и корысть.

— Нет, учитель, мне нужен Ширин, ваш племянник,— все еще горестно покачивая головой, сказал Сафар.

Вот еще напасть, подумал Нишан, встретить одного нечестивца, чтобы услышать от него имя другого! Но как бы поскорее отправить подальше этого Сафара, дабы грех миновал твой дом?

— Не знаю, ничего о нем не знаю,— поспешно заметался Нишан.— Откуда мне знать, где этот сын греха? Я изгнал его из своего дома, дабы он не осквернил стен моего жилища. Откуда мне знать, в каком из притонов он теперь?

— О каком притоне вы говорите, усто? Разве что о дворце самого эмира? Ведь Ширин когда-то работал на Ситоран Мохи-Хоса и отмечен многими милостями нашего благословенного, дарованного нам самим аллахом эмира!

Усто Нишан, конечно, знал, что Ширин был приближен к эмиру, но не предполагал, что об этом знает Сафар.

— А, да-да, я слышал... Мне говорили... Конечно. Но я ничего о нем не знаю, где он и что с ним, — оправдывался усто.

— Когда-то вы говорили нам, недостойным ученикам, что Ширин будет вашим зятем, усто,— скрыл улыбку Сафар.

Было что-то совершенно новое в этом человеке, а что, старик так и не смог понять. Слишком уверен, слишком спокоен. И даже не так, как бывают высокомерно спокойны вельможи, а спокоен каким-то внутренним убеждением, хотя, если судить по его словам, то работает он в новом Кагане на железной дороге, а кем именно, даже трудно сказать. Но уж не начальником каким-нибудь, конечно.

— Хоп, усто,— попрощался Сафар.— Попробую найти Ширина сам. Да, дело-то пустяковое, когда-то брал деньги в долг, вот отдать пришел срок.

— Деньги? — тут же переспросил, но сразу же сдержался старик. Ясно, что Сафар деньги Ширина здесь не оставит.

Сафар Низамов шел по городу, соблюдая осторожность. Это не Каган, тут эмирские ищейки в момент могут напасть на след. Стареет его любимая Бухара, ветшает. А может быть, она уже давно такой стала? И беден, беден ее народ. На иного посмотришь, давно его халат нужно сжечь,чтобы хоть блох уничтожить, потому что ваты и той не осталось. И чалма, такую чалму даже под ноги не бросишь. И улицы грязны, и даже около Арка грязь и вонь. Там, на железной дороге, хотя и бегает по рельсам шайтан, которым еще и сейчас пугают детей, порядок, чистота, даже у них в мастерской чистота...

Сам уроженец Бухары, неужели же он не сможет найти нужного ему человека? Сафар спросил одного, второго, посидел в чайхане, перебросился словом с чайханщиком, и вот он — на, пожалуйста,— дом Ибада Турсунова. Тут, оказывается, живет его друг детства или скорее юности, Ширин. Сафар постучал в калитку и ему открыл сам Ширин. Так вот просто все оказалось. Все такой же щупленький, незащищенный от пакостей этого грозного мира, и такой же суровый, замкнутый, он все же узнал Сафара сразу, хотя не виделись лет

двадцать. Осмотрел крепкую шею, глянул в глаза и словно только вчера виделись, сказал просто:

— Салам, входи,— и провел гостя на летний айван под виноградником.— Садись, Сафар, рассказывай.

Такая встреча, признаться, озадачила гостя. Он и сам-то не очень склонен придерживаться традиций, но все же Ширину вначале следовало спросить о здоровье Сафара, о здоровье его родственников и здоровье родственников их родственников, а Ширин просто усадил и потребовал «рассказывай». Сафар улыбнулся про себя: Ширин стал еще более немногословным, чем был.

— Что же тебе рассказывать, эмирский мастер?— Сафар шутливо развел руками, выражая недоумение.

— А вот зачем пришел, об этом и рассказывай,— отшутился Ширин.— Как ты жил эти годы? Я долго думал, почему тебя дядя убрал из мастерской и решил, что не только из-за рисунков.

— Из-за чего же?

— А ты был даже по виду непокорный. А сейчас еще больше,— Ширин еще раз оглядел прочную фигуру Сафара.

— Как жил, говоришь? По всякому жил. Потом попал в Новую Бухару, нашлась работа на железной дороге, прижился, теперь вот рабочий железной дороги.

— И не тянет больше рисовать?

— Тянет,— откровенно признался Сафар.— Очень тянеть. Но пока для этого время не подошло. Работаю, семью кормить надо. Да и условия не очень хорошие. Своего дома нет, живу на казенной квартире. Но и на том спасибо, как-нибудь проживу.

— И все годы на железной дороге?

— А что мне оставалось, Ширин? Дядя твой меня прогнал, но это полбеды. Но кое-кто узнал, за что меня выгнал усто Цишан, и мне всюду закрыли двери. Ни один мастер не брал меня в ученики. Я и водой торговал на базарах, и улицы подметал, и мусорщиком был, чтобы прокормиться. Тогда-то я и видел, как тебя на площади наказали. А потом ты в зиндане был, это я знал. Но потом надолго потерял, ничего о тебе не знал. Вот когда вы Мохи-Хосу построили, услышал твое имя снова. Неужели кто-то помог выбраться из зиндана?

— Не весь мир зол и жесток, Сафар,— уклончиво ответил Ширин.

— Это так, это так, Ширин,— быстро согласился Сафар.— И ты стал известен, как я слышал.

Не знаю, не знаю, но богаче не стал. Эмир не смилостивился подумать о моих доходах. Вот начинаю восстанавливать старую гузарскую мечеть. Мусульмане собрали по крохам деньги, а того не знают, что для такого дела денег нужно втрое, а то и вчетверо больше. Отказаться не могу, они добрые люди, а на такие деньги я ничего и до половины не сделаю. Вот пока по пятницам приходят на хашар кто сможет, но скоро понадобятся искусные мастера, а прихожане мечети могут делать только самые несложные работы. Можно, конечно, поднять мечеть и без хитростей. Но мне хочется украсить ее ганчем, росписью. Пусть и простые люди полюбуются на красоту,— Ширин говорил тихо, спокойно, но теперь Сафар слышал за этим тихим голосом большую внутреннюю силу, уверенность, убежденность.

— Это очень хорошо, Ширин, что ты думаешь о простых людях,— растроганно сказал Сафар.— Это зачтется тебе аллахом!

— Аллах и эмир не часто утруждают себя благодарностью,— усмехнулся Ширин.— У них дела поважнее, чем заботы о меьморе.

— Ширин, Ширин,— укоризненно покачал головой Сафар.— Побереги ты свою голову. За такие речи могут лишить языка, а заодно и головы.

— Это может случиться по любому другому поводу и даже без повода. Наш великий эмир,— да хранит его аллах во втором и даже третьем колене!— щедр на милости такого рода.

— Вот как раз я и пришел к тебе по этому вопросу, Ширин,— нашел возможность изложить свое дело Сафар.— Ожидаются серьезные события, Ширин, и вот мы подумали, что неплохо бы тебе поостеречься, поберечь себя. Ну, скажем, на время поменьше появляться во дворце эмира. Милости повелителей подобны ветру в пустыне, то тишина, то срывается такой смерч, что сметает на своем пути целые селения. Не приведи аллах оказаться на пути такого урагана...

— Что-то я не пойму, Сафар, кто это «мы»,— тут же насторожился Ширин.

— Ну, я думаю, большой беды со мной не случится, если я тебе открою истину. Ревком, вот кто мы.

Ширин внимательно посмотрел в глаза Сафара:

— Расскажи мне, что такое ревком, и почему вас волнует моя судьба.

— Может быть, лучше начать в обратном порядке, а? Сначала о твоей судьбе, а потом о ревкоме?

— Если ты ребенка поставил вместо ног на голову, он будет кричать, потому что все равно останется ребенком,— усмехнулся Ширин.

— Скажи, Ширин, кому принадлежит Ситораи Мохи-Хоса, которую вы построили, и Белый зал, который оформил ты?— задал отдаленный вопрос Сафар.

— Всему свету известно, что это собственность эмира, о чем и название говорит само за себя,— усмехнулся Ширин.

Жена Ширина принесла лепешки, чай. Беседа идет неторопливо, степенно, как и подобает истинным мусульманам. Только не до конца пока понимают они друг друга.

— Название чаще скрывает сущность вещей, нежели раскрывает их,— не согласился Сафар.— Но пусть пока остается «Звезда и месяц эмира». Но кому по праву принадлежит вообще все, что мы видим вокруг?

— Как кому? Истинным владельцам. Арк принадлежит эмиру, а дом кази-калона принадлежит кази-калону, но не Сафару. Почему ты спрашиваешь столь очевидные истины?

— Хорошо, спрошу еще вот что. Кому принадлежит небо над нашей головой?

— Конечно, самому аллаху.

— Ну вот так, Ширин. Я тебе немного по-другому все попытаюсь растолковать. Подлинный хозяин вещи, сделанной твоими руками, кто?

— Конечно, тот, кто заказывал ее и заплатил мне за нее,— недолго думая, ответил Ширин.

— Так вот, все немного не так,— покачал головой Сафар.— По закону все, сделанное тобой, принадлежит тебе, а все, сделанное народом, принадлежит народу. Вот сколько людей участвовало в строительстве Мохи-Хосы? Тысячи три? Все там были, русские, армяне, таджики, узбеки, были мастера и рабочие, подсобники и устозы, все были. Значит, и принадлежать Мохи-Хоса должна всему народу. Не только тем, кто там работал. Вас же кто-то кормил, кто-то на полях выращивал рис, кто-то в степи пас баранов, которых вы ели, кто-то выращивал хлеб, который вы преломляли. И поэтому даже подпасок в стаде, из которого вам притащили барашка, тоже имеет свою долю в вашем строительстве. И так во всем.

— Как же ты определишь долю этого подпаска, если

он ее потребует? Отрезать ему от потолка часть плафона, на которую он претендует, что ли?

— А он не потребует части, он потребует, чтобы весь дворец был сохранен для всех. Кто захочет, пусть приходит и смотрит на красоту, вот так, Ширин.

— Пустит ли этого подпаска эмир, вот что осталось только решить нам,— усмехнулся невесело Ширин.

— Сейчас, может быть, и не пустит, но настанет время, когда и спрашивать эмира не будем.

— Уж не ты ли сядешь на трон вместо Алимхана?— не без ехидства спросил Ширин.— Тогда мне придется построить и для тебя дворец. Может, ты заранее выдашь мне деньги? Я их на мечеть пущу.

— С мечетью ты погоди. Ты спросил, что такое ревком, Ширин. Ревком — это революционный комитет большевиков.

— Большевики — это русские, причем тут Сафар?

— Большевики — это разные люди разных народов, но это рабочие люди, которые хотят справедливости на земле, Ширин.

Нелегок и непрост был этот разговор. Ширин, уже наделенный немалой житейской мудростью, в политике был сущий ребенок, и Сафар терпеливо, как мог, рассказывал о революции, о борьбе классов, о скорых изменениях, которые придут в Бухару. Недоверие Ширина постепенно проходило, он слушал, а слушающий уже наполовину убежден.

И только под конец Сафар высказал мнение ревкома:

— Наши товарищи решили тебя предупредить, Ширин, и еще некоторых людей, чей талант дорог народу, чтобы вы были поосторожнее. Ваши руки и ваши головы нужны революции.

— Что же ты прикажешь, Сафар? Если меня снова призовет эмир, мне не идти к нему? Тогда моей головы недосчитается ваш ревком сразу.

— Ну, пока спокойно можно идти, но могут быть такие времена, когда выходить будет небезопасно, вот тогда лучше посиди дома. Когда на базаре драка, благоразумный сидит на айване,— вздохнул Сафар, не уверенный, что убедил мастера.

— Где же будет Сафар, когда базар будет шуметь?— поинтересовался усто.

— Сафар будет среди дерущихся,— снова вздохнул Сафар.— Он сам будет среди зачинщиков драки на базаре.

— Да, мне там делать нечего,— признался Ширин,— мои кулаки не годятся для драки.

— А мы и не зовем тебя на такое дело, ты должен себя уберечь.

Сафар покинул дом Ширина, когда синие бухарские сумерки уже окутывали город. Подал с минарета голос один муэдзин, за ним другой, и вот протяжные голоса понеслись над Бухарой, призывая правоверных к молитве. А Сафар сторожко шел по улицам и любовался. Сады уже подернуты синевой вечера, прохладой потянуло от арыков, мир снизошел на утомленную землю, мир, который он сам готовился взорвать, ибо его такой мир не устраивал. Он хотел перекроить мир по другим меркам, меркам своей партии.

Долго не спал в этот вечер Ширин, долго думал, отложив чертежи. Приход Сафара взволновал его. Еще никто вот так напрямую не говорил о нужности Ширина как человека и мастера. Сам эмир не забывал о нем, нет, но так не забывают о слуге, которого можно в любой момент призвать к себе. Сафар пришел от людей, незнакомых Ширину, но эти незнакомые люди беспокоились о благополучии Ширина на случай каких-то беспорядков в городе, и это трогало больше всего. Потом ведь важно, кто и как тебе говорит. Сафар говорил настолько убежденно и уверенно, что за ним невольно чувствовалась некая могучая сила, может быть, более весомая, чем сила самого эмира.

И Ширин решил принять к сведению совет Сафара, хотя трудно решить, в какой момент нужно проявить необходимую осторожность, а когда нет.

А пока Ширин понемногу работал на восстановлении мечети, хотя ее состояние было таким, что проще бы сломать и поставить новую. Но не принято у мусульман сносить старые мечети. Если она уже пришла в негодность, то ей дают спокойно доживать свой век, принимая знаки уважения, как принимает их старик от молодежи. Старость не всегда ветхость, старость еще и память в сердцах людей...

Ширин реставрировал. Вначале он делал это по просьбе чайханщика Джуры и его посетителей, чтобы не обидеть соседей. Старенькая небольшая мечеть не производила особого впечатления. Слишком бедна она, как бедны и ее прихожане. Но потом Ширин понял, почему она так дорога людям: сюда они носили свои печали и заботы, здесь они шептали аллаху свои скромные мольбы о кус-

ке хлеба, о здоровье своих детей, о даровании работы, которая прокормит семью.

Ширин старался понять структуру помещения; способы кладки стен и купола, молитвенного возвышения супы. Все было очень просто: каркас из стволов тополя, заполненный дувальными кругляшами, которые лепили в специально вырытых ямах из глины, замешанной здесь же. Купол выводился на глазок. Как тут восстановить, если даже по крыше ходить опасно? Ширин пока надеялся на то, что сам он не провалится, потому что легок весом. Добровольцы постоянно предлагали свои услуги, но он их пока не подпускал, может случиться беда. Кровля слишком ненадежна. И тогда он решил укрепить кровлю подпорками снизу в виде колонн, вырезанных из стволов деревьев. Конечно, Ширин понимал, что точно высчитать высоту колонн ему не удастся, но рассчитывал клиньями подбить колонну или кровлю. Он впервые взял на себя смелость работать по дереву. Видел он много раз, как резчики по дереву делали узоры, и решил, что справится.

Скоро весь столярный инструмент был у него под руками. Дерево несколько иной материал, чем ганч, но мастер понял и его. Конечно, с непривычки болели руки, но дело двигалось. Он был упрямым человеком.

Работы на мечети надолго отвлекли его от других мыслей, а в городе творилось невиданное. Ибад рассказывал, что вспыхивали частые столкновения между какими-то смутьянами и эмирскими сарбазами, немало смуты вносили и джадиды. Но эти все больше осаждали эмира своими планами и предложениями реформ, хотя и тут не обходилось без стычек. Ибад приходил домой с новыми и новыми рассказами, и, слушая их, Ширин вспоминал о приходе Сафара и о его словах. Неужели начались те самые времена, о которых он предупреждал?

А Бухара тем временем забурлила всерьез. Поднялись низы, требуя лучшей жизни. Военная полиция эмира хватала правых и виноватых, тюрьмы переполнены. Новая Бухара вообще вышла из повинования эмиру. В городе слышались звуки перестрелки. Что-то величественное и непонятное происходило на глазах изумленных людей.

В мечети Калян шло богослужение. Эмир сам соизволил посетить эту мечеть, потому что был мюридом шейха Ибодуллохона и для поднятия авторитета иногда приходил в его мечеть. Теперь эмира сопровождало не менее трехсот человек. Мерно и точно в соответствии с предписаниями шариата шло богослужение. Группа джадидов

во главе с Хабибуллой тоже пришла в мечеть Калян. Они хотели подчеркнуть перед эмиром свою приверженность исламу и в то же время склонить его на свою сторону, убедить в необходимости реформ.

Когда окончилось богослужение, один из джадидов выкрикнул из толпы своих приверженцев:

— Да здравствует эмир Алимхан — покровитель подлинного просвещения и прогресса!

Этот возглас был неожиданным в степенной тишине мечети: тут не принято кричать. Но джадиды, вдохновленные примером, громко зашумели в поддержку своего товарища.

— Мусульмане,— выкрикнул какой-то мулла, высокого роста и в белой чалме,— мусульмане! Это неверные! Осквернители святилищ. Бейте их!

У муллы оказалось довольно много единомышленников, фанатиков ислама, они не заставили призывать себя дважды, кинулись на джадидов. Свалка завязалась прямо под священными сводами. Всего несколько минут задержался эмир, наблюдая потасовку, потом воины Сухроба окружили его плотным кольцом и вывели из мечети.

— Скажите этим идиотам, пусть выбираются в Арк, иначе фанатики их разорвут,— процедил Алимхан, указывая на джадидов, которые едва отбивались от толпы фанатиков.

Это уже походило на то, что произошло в России. Эмир сохранял спокойствие и даже чувство юмора.

— Не отпали ли хвосты у моих новых друзей джадидов? — спросил он у военного министра, прибывшего в Арк немедленно после начала смуты.

— Они собрались в подсобном помещении на совещание,— сообщил кушбеги.

— Пусть сначала промоют ссадины, которыми наградили их мои верные подданные,— посоветовал эмир.— А вы, господин министр, введите войска в город. Пока стрелять в людей не разрешаю, но несколько выстрелов в воздух могут успокоить горячие головы. И тех, и других.

Лашкарбоши кинулся выполнять приказание.

Эмир повернулся к верхнему кушбеги. Нет, это не невозмутимый Бадреддин — дипломат, хитрюга, ловкий царедворец. Пожалуй, поспешил эмир сменить своего премьера. И при своей почти феноменальной памяти эмир вспомнил, что Бадреддин после назначения главным министром Бухары был при дворе всего один раз. Видимо, оби-

женный милостью эмира. Немедленно вызвать Бадреддина. Нет, эмир не станет извиняться, он просто снова назначит его премьер-министром. А этого подальше, этот ненадежен, он играет с джадидами, ведет сложную интригу с духовенством, этот слишком хорош для премьера, но совсем в другие времена.

Эмир поднял глаза на Сухроба. Тот, понимая своего повелителя с самого легкого движения бровей, подошел сзади.

— Слушаю, мой пресветлый...

— Завтра утром, к шести часам, бывший кушбеги Бадреддин должен быть здесь.

Сухроб отошел.

— Что будем делать, кушбеги,— прищурился Алимхан.

Кушбеги пожал плечами:

— За воротами Арка целая толпа.

Алимхан глянул на него, вышел из зала и направился к стене цитадели.

Громадная толпа фанатиков во главе с дервишами, муллами колыхалась и вопила. Несколько нищих рвали на себе одежды. «Этим-то, что дал ислам, кроме нищеты?» — презрительно подумал эмир.

Завидев эмира, площадь пришла в волнение.

— Смерть джадидам! Смерть джадидам!— раздались выкрики.

— Пришел конец исламу! Конец исламу!

— Сам эмир — джадид! Позор эмиру!

Резко повернувшись, эмир зашагал обратно.

— Собрать диван! Немедленно. Толпу разогнать! Вызовите войско, наконец. Вы министр или... или тряпка?

Кушбеги побледнел и вышел.

Сейчас соберется диван. На диван он пригласит и членов большого совета. Пусть послушают джадидов. Пусть узнают, что они натворили, какие волнения произошли в городе и перед Арком. Народ еще не созрел для таких реформ. Или им это непонятно?

Никаких сведений из Кагана нет. Там велико влияние большевиков. Но это спокойствие настораживающее. Такая тишина наступает перед порывом урагана, который способен укрыть целый караван, застигнутый в пустыне.

Алимхан застыл в глубоком раздумьи. Неужели все? Неужели революция проникла и сюда, в центр ислама? В его эмират, который всегда стоял на крепкой власти? Что это? Или сам ход истории подвел его к краю пропа-

сти и нет никакой силы спасти все то, чем он жил и что вершил на правах монарха?

Скоро соберется диван. Что скажет он своим верноподданным? Тоже, как и Николай, отречется от престола? Ну нет, этого от него никто не дождется. Сам свою власть он не отдаст.

Народ на площади еще гудел. Сарбазам, видимо, разогнать толпу не удалось. Или они и не собирались разгонять?

Эмир почувствовал, что он остался совсем один. Рядом несколько сот самых приближенных [illegible], министров, а он одинок. Неужели это удел всех царей? Вон за стенами цитадели еще кипит толпа, [illegible], а он не может, как раньше, одним движением [illegible] уничтожить крамолу. Ведь даже фанатичные мусульмане, осмелившиеся кричать хулу в его адрес, тоже [illegible]. Еще год назад он устроил бы такое кровопускание, что Бухара содрогнулась бы. А сейчас он такого сделать не может. Кто ему помощник? Кушбеги? Да, утром нужно назначить верхним кушбеги Бадреддина, старого, умудренного опытом, а этого убрать. Кази калон ему помощник? Кази-калон уже давно перевел капиталы за границу. Кто, кто? Духовенство? Эти всегда гнули свою линию, как жрецы при дворах египетских фараонов. Не смогли бухарские эмиры освободиться полностью от их засилия. Недаром когда-то отец сказал русскому царю: «Бухара принадлежит не мне. Бухара принадлежит муллам». Есть у него один-два человека, которые служат ему с душой. Приблизил он к себе бывшего сарбаза Сухроба, этот пойдет за ним не ради денег или карьеры, а чтобы постоянно выражать благодарность за доверие. Большую ошибку сделал Алимхан, не обставил себя такими, как Сухроб, такие служат самозабвенно, а люди из знати всегда предадут и продадут.

Но есть, есть у Алимхана еще сила. Эта сила — богатство, его почти неисчислимое богатство, о котором даже в напыщенном Петербурге, теперь Петрограде, и поныне, верно, ходят легенды. С этим богатством, с этой силой он не только не пропадет, он доживет свои дни спокойно. Только нужно вовремя его упрятать.

Эмир хлопнул в ладони. Давно уже стоят звонки, но эмир так и не привык к ним, вызывал слуг хлопком ладоней.

— Нижнего кушбеги ко мне. Немедленно!

Нижний кушбеги Мирзошукур, который принял дела

после смерти старого, склонился почти до земли. Тоже косо смотрит, руки погреть надеется. Убрать, как только отчитается, чтоб и духу не было.

— До завтрашнего вечера подготовить списки драгоценностей! И все упаковать в кожаные мешки. Если узнаю, что украдешь хоть крупицу золота — отрублю сначала руки, а потом и голову! Ну!

Когда Мирзошукур вылетел из зала, потер лоб. Почему он отдал приказ уложить драгоценности в кожаные мешки? Он же вовсе не думает перевозить казну из Бухары! Почему же это вырвалось у него так непроизвольно? Неужели?.. Эти проклятые газеты! Нашел дневники Николая. Вот она запись: «...если придется уехать в Англию». Вот, вот что засело в голове, оказывается! Эмир пинком отбросил ворох газет.

Казна... Но есть и еще ценности, с которыми ему будет больно расстаться. Ситораи Мохи-Хоса! Белое его чудо, гордость на все времена. Ее в мешок не упакуешь и не спрячешь в горах. Гарем, мальчики — все будет при деньгах. Мохи-Хосы второй не будет и быть не может. Ни один мастер не повторит себя даже в лучших образцах...

Ни один? Есть, есть у него такой мастер! Этот мастер сможет сделать невозможное. Этот мастер — тоже жемчужина в его короне. Он сделает по памяти любой завиток рисунка, он сделает ему пять — десять новых Ситораи Мохи-Хоса! Есть у него такой мастер, есть, есть, есть!

— Да преклонит великий эмир свой слух к моим словам, великий диван собрался.

Эмир поднялся и быстрым, решительным шагом направился в зал приемов.

Глава VII

ГОРОД МАСТЕРОВ

Диван походил на драку базарных торговцев. Эмир в гневе молча наблюдал, как стороны были готовы вцепиться друг другу в бороды.

— Наши требования остаются в силе, о опора просвещения и света,— твердил Хабибулла.— Мы ждем открытия новометодных школ, требуем уменьшения власти духовенства, мы требуем снятия с государственных постов тех, кого мы называли в списке! Это продажные люди.

реакционеры, воры! Они и тебе врут и тебя обманывают, эмир!

Смелый, однако, этот человек, подумал эмир. Когда и откуда он появился у джадидов? Куда легче было с прежним учителем, с Икрамом. Этот смел и прям. Вот кого надо было приблизить в свое время, а теперь придется рубить тайно голову.

— Да простит мне великий эмир, равный своим величием солнцу!— выступил вперед шейх Абдусаттар.— Да позволит мне сказать слово повелитель правоверных, чьими стараниями Бухара остается убежищем ислама!

Ислам, ислам... И ислам сейчас не опора эмиру. Притихли бы, не поджигали фанатизм, а эмир умиротворил бы и тех, и других, а потом рубил бы головы всем непокорным, но и эти, поборники ислама, тоже требуют немедленных решений.

— Говори, Абдусаттар,— кивнул эмир и покосился на Сухроба. Тот медленно прикрыл глаза. Эмир понял: Бадреддин уже во дворце.

— Мне дайте только позволение, и эти нечестивцы, надругатели над святыми, да пребудет над ними проклятие аллаха и да сожрут их кишки шакалы, эти ничтожества джадиды будут все уничтожены и их дома сожжены, и проданы в рабство их родные и даже родные их родных! Позволь, великий эмир, и да воцарится мир и спокойствие в Бухаре! Позволь, эмир!

— Позволь, позволь, эмир!— закричали хором сторонники Абдусаттара.

Нет, и этого он позволить сейчас не может. За джадидами тоже есть сила, и резня в городе станет неизбежной. Эмир напряженно выжидал.

Твердым шагом вошел в зал приемов Бадреддин, постаревший, но еще сильный и уверенный в себе старый воин. Он припал к полам халата эмира:

— Твой недостойный слуга слушает, о великий эмир.

Можно ли теперь верить и ему? Не затаил ли он обиды за отставку, с которой так поспешил в свое время эмир? Но именно он сохранил трон для Алимхана, когда умирал отец. Неужели и эта сабля дрогнула?

— Мы когда-то даровали тебе право сидеть в нашем присутствии, кушбеги Бадреддин. Садись справа от меня, старый воин ислама.

Бадреддин окинул взглядом диван, встал справа от эмира, положив руку на эфес своей простой, не украшенной никакими драгоценностями сабли.

— Мы не позволяем тебе, Абдусаттар, лишать жизни наших подданных. И вам, Хабибулла, мы еще ничего не обещаем. Все свободны.

Зал словно был создан для таких событий, он имел несколько выходов. Случись так, что выходили бы через один выход и джадиды и муллы — миром бы это не окончилось, но они вышли через разные выходы. Однако эта схватка неизбежна. Эти две силы так ненавидят друг друга, что ножи и сабли вот-вот пойдут в ход.

Когда зал опустел, эмир поднял глаза на Бадреддина:

— Что будем делать, Бадреддин?

— В городе уже идет резня, эмир. Целые гузары охвачены волнениями. Жгут дома смутьянов. Дервиши, кази, ученики медресе, сарбазы вырезают семьи джадидов и русских. Эмир, ваш трон колеблется!

Эмир снова вышел на стену цитадели. В нескольких концах города пылали дома, доносился гул голосов, скраденный расстоянием.

— Скажите шейху Ибодуллохону, что мы остаемся верным мюридом ислама,— тихо сказал эмир.— Нужно прекратить... это.

Кушбеги склонил голову.

А еще через полчаса эмир разговаривал с Хабибуллой джадидом.

— Нет, сейчас не время для реформ. Единственное, что я могу сделать для вас, это дать выйти из Арка. Если вы не исчезнете сегодня, завтра вас зарежут в моем дворце. Вам выдадут женские чачваны и выпустят из Арка под охраной моих телохранителей. Вот все, что я могу сделать для вас, Хабибулла.

Увидев, как побледнел Хабибулла от позора при мысли, что им придется скрываться под чачваном, эмир взорвался:

— Сейчас не время для самолюбия, Хабибулла! Взгляни на город! Взгляни на город! Горят ваши дома! Вырезают ваши семьи! Ты скажешь, что же смотрит эмир? Да, и эмир сейчас не в силах остановить толпу! Ты знаешь, что такое толпа?

Хабибулла опустил голову.

Через час приоткрылись створки тяжелых ворот Арка. Вооруженные телохранители встали по обе стороны ворот. Толпа еще более ожесточенно завопила.

— Джадидов! Дайте нам джадидов! О позор эмиру, он скрывает врагов веры! Джадидов!

— Расступись! — заорал Сухроб и выстрелил из ре-

…львера вверх.— Выпустите гарем эмира! Мы должны …править женщин в загородный дворец.

Ни один правоверный не посмеет коснуться покрывала женщины, которая является собственностью другого, а тем более самого эмира. За это покарают свои же приверженцы ислама. Толпа расступилась.

Тихо, медленно выходили робкие женщины из Арка, садились в фаэтоны и в сопровождении телохранителей отъезжали с площади. Трепещущее пламя факелов освещало чачваны этих женщин. Из всей охраны один только Сухроб знал, кто скрывается под чачванами.

Утром к эмиру на прием пришли шейхи [illegible] орденов. Шейх, хатип пятничной мечети Калон Ибодуллохон, и пятьсот его мюридов осадили вход в Арк, исполненные жаждой крови. С ним шейх Шонахси, также имевший под рукой шесть тысяч мюридов по эмирату, готовых по одному его слову обнажить ножи. При дворе у каждого из них есть их мюриды. Мюридами Ибодуллохона были кази-калон, нижний кушбеги, мюридами Шонахси были бай Абдулатифходжа и Юсуф. Одно только слово своих шейхов, и они предадут эмира. Шейх Коканди был также здесь. Они вошли в рубище, подпоясанные веревками, босые. Актеры, дрянные актеры, они изображают скорбь по исламу, а сами мечтают только добиться еще большей власти над своим эмиром. Но этому маскараду верит толпа, которая не знает, что вакфные доходы каждого из этих святых порой превышают доходы самого эмира, толпа верит веревке вместо пояса, но не знает веса кошелька каждого из этих святых!

— Эмир!— выступил вперед шейх Ибодуллохон, впервые, вопреки этикету, обращаясь к эмиру в первом лице.— Эмир, мы требуем выдачи джадидов для предания их казни. В противном случае мы даем сигнал к разгрому Арка!

Это не просто требование, это ультиматум. Что, что тут можно сделать? Покарать святых даже эмир не посмеет, иначе его труп будут таскать по улицам, привязанный к хвосту лошади.

— Почему ты требуешь выдачи джадидов, шейх?— строго, но не повышая голоса, спросил эмир.— Они были здесь вчера, а где они теперь, я не знаю.

— Мы обыщем весь Арк, эмир,— вступил шейх Шонахси,— и берегись, если ты укрываешь этих шакалов, да сгниют их вонючие кишки в арыках!

Сухроб выставил около эмира пятьдесят вооруженных

телохранителей. Но эмир понимал, насколько эфемерна такая охрана перед толпой в несколько тысяч фанатиков, которые полезут на ножи и штыки ради святой веры.

Два часа толпа рыскала по Арку в поисках джадидов, но и в самом деле джадидов нигде не нашли. Однако подчиненные железной воле шейхов, люди не тронули ничего во дворце, не тронули и людей эмира. К эмиру вошел теперь один шейх Ибодуллохон.

— Да, ты прав, джадидов во дворце нет, эмир. Но мы найдем их и предадим смерти! По всему эмирату встали наши верные люди на защиту ислама и его святынь, так и знай, эмир! Бухара останется оплотом веры!

Фанатики покинули дворец. Эмир велел запереть все входы и выходы в Арк. Он никогда не был уверен в собственной безопасности, а теперь в особенности.

[illegible] выслал в город отряды сарбазов для наведения порядка. Но предотвратить гибель многих и многих людей уже никто не смог. Фанатики убили несколько сот мусульман, пострадали многие русские.

Некоторое затишье не принесло спокойствия эмиру. Теперь он совсем никому не доверял. Сухроб был в его покоях неотлучно и пристально следил за каждым, кто порывался попасть к эмиру по делам: это мог оказаться фанатик-убийца, подосланный шейхами. Боялся эмир и своих министров, каждый из которых мог при помощи своих людей захватить трон и немедленно заручиться поддержкой духовенства, объявив газават — священную войну против неверных.

Усто Ширин теперь не мог, конечно, продолжать работы в мечети. Да и помощники его заняты другим. Он просто ходил по городу и смотрел, смотрел и думал. Что стало с тобой, священная Бухара, оплот и упование ислама? Только и слышишь, избили одного, убили другого. Многие покидают город. Сосед учитель под покровом ночи бежал, бросив семью и имущество, и только соседи под руководством чайханщика Джуры не дали расправиться с его семьей. Что с тобой, Бухара? Неужели же тебя коснулась порча и ты гибнешь, как погибли города, занесенные песком пустыни?

Видел мельком Ширин и своего бывшего друга Сухроба. Несется на коне в сопровождении целой сотни всадников, грозный, стремительный, увидел Ширина и только взгляд отвел, даже коня не придержал. Слышал, слышал Ширин, что Сухроб теперь почти первое лицо у эмира.

Неузнаваемый, отпустив седеющую бороду и переодевшись в лохмотья, появился Сафар. Озабоченный, нервный, но и непонятно почему веселый.

— Слушай, эмирский мастер,— напустился он сразу на Ширина,— почему ты не выполняешь того, что сказано? Почему бродишь по городу. Или ты хочешь, чтобы тебя растерзала банда этих безумцев? Я тебя серьезно предупреждал, Ширин. Я запрещаю тебе выходить дальше своего гузара. Здесь-то тебя знают и в обиду не дадут. Но и то, если фанатики захотят, никто их не удержит.

— Сафар, что делается в городе, а? Что стало с Бухарой, Сафар?

— Революция, Ширин. Еще не сама революция, но ее начало. Ты еще ничего не видел. Это брожение, это темные силы, мы еще своего слова не сказали. Но так продолжаться не может. Эти фанатики вырежут половину города, а твой друг эмир будет тихо выжидать за стенами Арка.

— Но почему никто не работает, Сафар? Ты смотри, нигде нет работы, даже подметальщики не выходят по утрам.

— Вот что, Ширин, мне некогда. Я тебя найду, как придет время. А сейчас молю тебя, возвращайся к себе, да и дома бы ты поменьше бывал. Могут и домой за тобой прийти.

—Кто может прийти за мной домой?— наивно удивился Ширин.

Сафар только крякнул:

— Ие! Какой ты! Спрячься, тебе говорят! Ты же скоро понадобишься.

— Кому я могу понадобиться?— только махнул рукой Ширин, но послушался, вернулся в свой гузар, устроился в чайхане Джуры.

Чайхана теперь почти пуста.

— Вай дод! Вай дод! Что будет?— жаловался Джура, раздувая малый самовар.— То врываются стражники и спрашивают, где учитель. То врываются и ищут джадида. У меня выручки совсем нет, скоро чайхана рухнет. Сборщик налогов-то приходит, давай закот. А где я возьму деньги? Вай, что делается! С ума сошел наш город. Или аллах отвернулся от него за наши грехи.

— Какие же у тебя грехи, Джура?— засмеялся Ширин.

— У каждого из нас есть грехи, но когда их в городе накопится слишком много, аллах насылает чуму. Или хо-

леру. Или джадидов. Или стражников. Но жить-то надо, Ширин?

— Да, жить надо,— вздохнул понимающе мастер.

Посоветовавшись с тестем, Ширин переселился в мечеть. Не раз в своей жизни жил он прямо там, где работал. Эта привычка осталась еще с молодости, с первых его домов в Бухаре. И сейчас он взял подстилку, чайник, сосуд для омовения и несколько лепешек, инструменты и отправился в мечеть. Выбрал там уголок, подмел, застелил подстилку, расставил немудреную свою посуду, стал понемногу работать. Кетменем подбирал землю с фундамента, [illegible] стены тешой, выбивал слабо державшиеся [illegible] обвалившиеся части стены.

[illegible] растревоженный город, а мастер спал [illegible] песчинка в людском море. Свернувшись [illegible] ладони, спал тот, кому еще [illegible] свой народ. И если сейчас его [illegible] бухарец, то скоро о нем узнают еще [illegible] страны. Потому что он был [illegible]

[illegible] здесь-то как раз он и был менее [illegible] превратностей злой судьбы. Но кто [illegible] Ширина в полуразваленной мечети [illegible]?

Уже на третий день он обнаружил, что около входа в мечеть кто-то положил узелок с лепешками и кишмишом. На второе утро он обнаружил кислое молоко и лепешку.

Люди узнали, что в старой мечети продолжает работать мастер, и несли ему то немногое, чем владели сами. Ширин только печально улыбался: не привык он к такой заботе от эмира, хотя делал ему не старую мечеть, а дворцы и чорбоги. И поэтому внимание простых, даже не всегда знакомых людей особенно трогало и подкупало.

Когда-то старый мудрец Пифагор сидел над своими чертежами, хотя в его родные Сиракузы уже ворвались враги. Город горел, умирали люди, воины противника поджигали дома и уводили пленных, а старый мудрец чертил на песке свои чертежи. В его двор ворвались враги, и Пифагор возмущенно закричал:

— Что вы делаете? Мои чертежи!

Старый мудрец погиб от копья озлобленного врага, и в истории не осталось имени этого варвара. Но имя Пифагора, возвеличенное в веках, понеслось от поколения к поколению и дошло до наших дней. В любой войне и в любом народе находится такой чудак, который под стре-

гами осаждающих чертит на песке свои чертежи. И слава его перерастет имена правителей и воинов, переживет темных, невежественных современников, готовых растоптать его чертежи на песке. Это чудак. Но скажи, о мой благочестивый читатель, не тебе ли дороже всего имя такого чудака, которому наплевать на стрелы, летящие над головой? Не ты ли с удивлением и благоговением внимаешь этой странной, но такой целеустремленной личности, сущность которой не меняется от времени, ибо он рожден созидать, и он созидает.

Может быть, крутит свой круг [illegible] гончар из Гончарной слободы, или чеканщик выбивает своим молоточком в слободе Чеканщиков. Это Мастера. Пройдут годы и века, сменятся поколения, а [illegible] чеканщика, круг гончара или андава строителя все будет вершить свое дело. Над головами этих мастеров шумят ветры истории, но и они сами творят историю, ибо история человечества — не только летопись войн и сражений, но и скрижаль, на которую вечным чеканом наносятся имена Мастеров — Устозов, чьи творения тоже становятся частью истории и ее стержнем, хотя имена властелинов занимают еще в истории больше места, нежели имена мастеров.

Ширин делал небольшое дело, может быть, и не совсем достойное его высокого мастерства, но его руки просили работы. И он работал. Он родился в Бухаре, городе мастеров, и сам был одним из ее мастеров.

В одну из ночей, в самую полночь, кто-то осторожно позвал его:

— Ширин! Ой, Ширин...

Ширин проснулся сразу, приподнялся:

— Кто это?

— Я, я это,— услышал он голос тестя Ибада.— Где ты?

— Сейчас зажгу светильник,— отозвался Ширин. У него был припасен жировой светильник.

Робкий огонек занялся над фитилем, тени заметались под куполом мечети, полоснули черные молнии летучих мышей. Где-то посыпался песок. Ухнула ночная сова. Ибад пробирался через горы битого кирпича:

— Как ты, бедный, тут ютишься?— проворчал Ибад.

— Здесь никто не мешает,— отозвался Ширин.

Родственники обнялись, сели. Ибад протянул узелок с пищей:

— Это тебе жена наготовила, ешь.

— А мне каждое утро еду приносят,— признался ве-

село Ширин, но узелок тут же стал развязывать, потому что пахло горячим и вкусным.

— Тут тебя и в самом деле никто не найдет,— повел плечами Ибад.

— А кто меня искать станет?— беззаботно отмахнулся Ширин.

— Не знаю, Ширин, не знаю,— встревоженно заговорил Ибад.— Но два раза уже приезжали за тобой. Сначала днем, а сегодня и вечером.

— Кто же приезжал за мной?— обеспокоился Ширин, откусывая горячую самсу.

— Люди от эмира. Приказывали тебе немедленно явиться в Арк.

— И что же ты сказал?

— Я сказал, что тебя нет дома.

— Но ты же был прав, меня и в самом деле нет дома,— негромко рассмеялся Ширин.

— Но вечером сегодня снова приехали за тобой и были рассержены, что ты еще не выполнил волю эмира и не явился к нему!

— Зачем я буду спешить к своей погибели?— удивился Ширин.— Я еще успею в зиндан или на площадь к палачу.

— Было велено, как только ты появишься, идти тебе во дворец к эмиру под его руку. Эмир гневается, что ты не идешь.

— Подожду я,— подумав, сказал Ширин, принимаясь за вторую самсу.— Мне никто не говорил, что эмир ждет меня. Так же, Ибад?

— Так, так, сынок,— закивал головой Ибад.— Истинно так. Но что будет, когда рано или поздно ты предстанешь перед эмиром?

— А, зачем мне думать, что будет завтра? Меня пока нет дома. А когда вернусь, еще неизвестно, что будет с Бухарой, с эмиром и со мной!

— О чем ты, Ширин?— встревожился окончательно Ибад.

— Откуда я знаю, о чем? Время успокоит страсти и эмира и поборников истинной веры. Зачем мне рисковать головой? Она у меня всего одна.

— Хорошо бы, если днем тебя здесь никто не увидел. Могут сказать стражникам, что ты работаешь здесь, и они придут за тобой сюда!

— Днем они не найдут, а ночью я просто обвалю на их головы кусок стены.

— Ты беспечен, сынок. Может быть, тебе переменить место?

— Что может быть надежнее, чем покровительство святого Мухтара? Оббо! Здесь я чувствую себя совсем спокойно.

— Я буду приходить к тебе через ночь, чтобы не навести на твой след эмирских шпионов, Ширин.

— На одну ночь я буду меньше беспокоиться о тебе. Ходить ночами не менее опасно. Береги себя.

— И ты береги себя.

Ширин вывел Ибада из мечети, а сам долго стоял на пороге. Не зря ищет в такое время эмир своего ганчкора, не зря. Пожалуй, и в самом деле следует поостеречься.

Ширин вернулся в свой угол, нашел свою подстилку, поправил ватную подушку, задул светильник и уснул беззаботно. Кто найдет его в этих развалинах?

Глава VIII

СОКРОВИЩА ЭМИРА

Нижний кушбеги Мирзошукур целые дни теперь проводит в хазине эмира. С ним мрачный, молчаливый, волосатый Юсуф, главный хранитель казны, бессменный ее часовой. О Юсуфе рассказывают страшные истории. Как-то ловкий вор пробрался в хазину и хотел поживиться, но попал в лапы Юсуфа. Своими руками Юсуф сдавил вора так, что у того переломился позвоночник и уже мертвого, с переломанными костями, Юсуф выбросил его через дверь, как пустой мешок, а потом только омыл руки и сел есть мясо, поджаренное на луке и масле. Другой пищи этот человек не признавал. Известно также, что сам он жил прямо здесь, в город никогда не выходил, семьи у него, кажется, не было, на женщин он даже внимания не обращал. И было непонятно, ради чего он стоит на этой должности, если для себя ничего не выгадывает, даже пушинки утаить не может, потому что и спрятать ее тут негде.

Нижний кушбеги сам боялся этого человека, и если удавалось иной раз что-то утаить для себя, то только в том случае, если Юсуф заведомо находился где-то в другом конце хазины да еще не видит стража, которую сюда подбирают особенно тщательно. Набиралась эта стража

[illegible] бы́ла неподкупна и жестока не меньше, чем Юсуф.

Для Мирзашукура зрелище этого неисчислимого богатства было мучительным. Золото, бриллианты, кольца, украшения, браслеты, камни, горы таньга и рублей — все это вызывало болезненные судороги в животе. Хотя бы часть, хотя бы малую часть урвать для себя! Но лучше гнать эти мысли. А сейчас, когда нужно все заново пересчитать да еще упаковать, эти мысли лучше гнать [illegible] дальше. Тем более, что Юсуф не отходил ни на шаг.

Золото в [illegible] песке перевешивали на весах, [illegible] мешочки, а мешочки укладывали [illegible] купленные на базаре. Червонцы [illegible] сначала считали, но убедились, что [illegible] долгие недели, и тоже стали [illegible] ссыпали прямо в хуржумы. Мелочь [illegible] мешком...

Что [illegible] проверяет казну, не удивительно [illegible] упаковывать в хуржумы? Неужели [illegible] казну в другое место, тревожные [illegible]. Что это может означать для него самого? [illegible] сопровождать казну или отправит [illegible]? Но тогда все утечки могут обернуться [illegible] ему самому.

Каждый хуржум кушбеги опечатывал сургучной печатью и ставил вес. Конца этой работе не видно, а впереди еще камни, изделия, жемчуг. Нелегкая все-таки это работа. Совок за совком на весы, ставишь гири, записываешь, снова набираешь совок... Но почему все-таки упаковывать хазину в мешки для перевозки?

Были случаи, когда эмиры прятали свои богатства при смутных временах, а всех причастных к их сохранению уничтожали. Холодок прошел по шее кушбеги, как от прикосновения ножа палача. Были и такие случаи, когда казначей пытался упрятать малую толику неисчислимых богатств. Говорят, одному казначею за такое злодеяние содрали заживо кожу. Оббо, сколько же он мог взять, если за это поплатился собственной шкурой? Но в этом случае не важен вес украденного, а сам поступок, за который карал эмир...

С золотом управились, теперь настала очередь драгоценностей и камней. Каким образом перечислить все это несметное богатство, ведь тут нет и двух одинаковых вещей или камней, нужен учет каждой в отдельности.

Да, но почему все-таки упаковывали в хуржумы? Неужели эмир собрался спрятать казну в некое тайное место? А где могут сейчас быть тайные места, когда все вокруг сдвинулось и пошатнулось? Куда он может упрятать все немыслимое свое богатство?

— Кольца взвешивай все вместе, кушбеги, а браслеты тоже вместе,— вдруг подал голос дотоле молчаливый Юсуф.

Мирзошукур даже дар речи потерял, в руках появилось дрожание оттого, что впервые услышал этот густой утробный голос Юсуфа.

Но дело и в самом деле пошло быстрее намного, хотя страх перед этим мрачным человеком еще больше увеличился.

С первого же дня Мирзошукура не выпускали из хазины, пищу приносили сюда, по нужде выводили под присмотром сухробовских шайтанов с саблями наголо, так что несчастный сто раз на день прощался с жизнью и стал даже худеть. Будь оно проклято, это чужое богатство! Из-за своего собственного столько страха не натерпишься, как из-за чужого, да еще столь несметного и уже бессмысленного, когда его слишком много.

На третий или на четвертый день, когда нижний кушбеги уже совсем ослабел даже для молитвы аллаху, среди ночи вдруг появился сам эмир в сопровождении этого аллахом проклятого Сухроба, да сгниет он сам и все его поточки от чумы, и да лопнут его кишки. Алимхан придирчиво осмотрел хуржумы, печати на них, оглядел оставшееся, потом присел на один из хуржумов:

— Да, все не упакуешь, все не увезешь... Мирзошукур, нужно уложить несколько тюков халатов, одежды и обуви, а также поясов, дорогих тканей. Все должно быть хорошо упаковано, чтобы не занимало слишком много места.

— Да услышит мои ничтожные слова великий эмир, но одному не под силу столь большая работа,— дрожащим голосом пожаловался Мирзошукур.

— Что?— грозно спросил эмир, но тут же кивнул головой,— это, пожалуй, справедливо. Хорошо, ты получишь помощь сегодня же.

Велик аллах, всемогущий и всемилостивый, кажется, пронесло. А то ведь при первых его словах этот горбоносый шайтан уже взялся за свою проклятую саблю.

— Нужно увязать в тюки также дорогое оружие,—

напомнил эмир.— Несколько тюков ковров сделать,— напомнил он еще спустя несколько минут.

«Все в руках твоих, великий аллах,— подумал Мирзошукур,— но если эмир берет и оружие, и ковры и ткани, то, значит, он сам покинет Арк!»

Эта догадка была слишком опасна, настолько опасна, что несмотря на густую темень, среди которой свет от нескольких свечей казался еще более бессильным, Мирзошукур спрятал глаза, дабы не вызвать подозрения у эмира или Сухроба.

— Так ты поспеши, кушбеги,— процедил эмир, поднимаясь.

Мирзошукур был очень тонким придворным, чтобы не уловить малейшие изменения в настроении своего повелителя, и поэтому сейчас, даже в темноте душного подвала не мог не заметить какую-то вялость, нерешительность, даже растерянность у эмира. Он и встал-то, чтобы уйти, как-то неуверенно, словно он и сам не знал, уйти ему или еще остаться здесь.

Эмир как-то неопределенно махнул рукой и вышел в сопровождении Сухроба, а Мирзошукур еще раз уверился в правоте своей страшной догадки. Эмир уйдет из Бухары вместе со своим богатством! Никак иначе нельзя истолковать его распоряжения. Эмир еще не решил окончательно, в противном случае он бы торопил кушбеги, а сейчас торопит как-то неопределенно, видно, только решает, покидать ему Бухару или нет, но эта мысль, несомненно, терзает эмира.

Но тогда... Тогда, значит, что всему конец...

А эти богатства... 1.148.380 кружков бухарского золота... На 4.635.100 рублей русского золота... Золота гамбургского — 1.108 пудов... Серебра гамбургского — 2.844 пуда... Серебра русского — 1.385 пудов... Золотого песка — 16 пудов... Лично эмирские бриллианты... Сколько их? Крупных на 3. 482 карата, в изделиях — на 966 каратов, других драгоценных камней — на 8.617 каратов, изумруды, рубины... жемчуга... кольца.... золотой лом... Почти на 100 миллионов рублей. А ценных бумаг в Бухарском банке — на 33 миллиона. А российских денег — около 100 миллионов. О аллах!

А кто сможет оценить все меха, каракуль, ковры и прочее имущество? И все золотошвейное производство принадлежит эмиру. Кто сможет сосчитать расшитые золотыми нитками тюбетейки, сумочки, кошельки, конские сбруи, уникальные халаты, сработанные мастерами-зар-

рвами? Это ведь еще на многие сотни миллионов рублей. Да разве все сочтешь?

Эмир шагал по темным переходам Арка, заложив руки за спину, мучительно решая неразрешимую проблему, вернулся в свои покои, у входа в которые теперь стояло около десятка телохранителей.

Войдя в кабинет, эмир почувствовал, что он здесь не один. Сухроб положил руку на рукоятку кинжала, но этот невидимый вышел из темного угла и властно приказал Сухробу.

— Оставь нас одних.

Алимхан только согласно кивнул головой, и Сухроб вышел.

— Ты как всегда, Фархад, проходишь сквозь стены и даже усиленная охрана тебе не помеха,— криво улыбнулся Алимхан.

— Я законный наследник престола, и у меня во дворце есть свои люди. Но ты их не должен бояться, вреда тебе от них не будет,— ответил Фархад.

Братья стояли друг против друга, один в прочной, скромной одежде простолюдина среднего достатка, второй во всем величии эмирских регалий.

— Давай посидим, брат,— предложил Фархад.

— Давай посидим,— вяло согласился Алимхан.

— Неспокойно в твоем государстве, эмир Алимхан?— спросил без тени иронии старший брат.

— Неспокойно, ака,— как-то безразлично отозвался Алимхан.

— Большевики во главе с Фрунзе уже идут на Бухару?

— Двигаются,— согласился Алимхан.

— Что же ты намерен делать?

— Я буду защищать Бухару, Фархад! Я буду защищать ее до последнего человека! У меня много войска. Я вооружу всех жителей города. Мне помогут шейхи, они поднимут своих мюридов, муллы объявят газават. И мы еще посмотрим, возьмут ли красные аскеры мой город.

— Похвальное стремление монарха — защищать свое царство. Но есть ли уверенность у тебя самого, Алимхан, что ты устоишь против армии большевиков, против армии Фрунзе? Почему ты молчишь? Ты боишься сам себе задать такой вопрос, Алимхан, а такие вопросы нужно задавать. Слеп тот правитель, который боится таких вопросов.

— Что же ты предлагаешь? Отречься от престола, как Николай? Или сдаться красным аскерам?

— Будет пролито много крови, Алимхан. Ты об этом подумал?

— Ты задаешь непосильные вопросы, Фархад. Но без крови не бывает войн, а на меня идут войной.

— Тебе предлагали мирные переговоры? Почему ты молчишь? Тебе предлагали?

— Я запретил своим министрам говорить на эту тему. Какие могут быть переговоры с крамольниками и анархистами? С ниспровергателями веры? С врагами аллаха?

— Или с твоими врагами, Алимхан?

— Ты [illegible] пришел, Фархад? Чтобы показать мне, какой я [illegible] правитель? Какой я слабый поборник [illegible]? [illegible] своего трона? Ты что мне предлагаешь? [illegible] без боя? На милость победителя? А [illegible] скажут обо мне мои подданные? Муллы [illegible] скажет, что эмир не [illegible] оплот ислама и отдал его кяфирам. [illegible] священную веру. Что я достоин [illegible] и мое имя будет покрыто позором, а [illegible] своими же рабами.

— [illegible] всегда есть выбор, ты хо[illegible] подумай еще и еще, Алимхан. Будет про[illegible] крови. Погибнет много людей.

— Это разговор бесконечный, Фархад. Люди гибли во все времена и во всех войнах.

— У каждой войны есть свои цели, хотя война вообще не должна иметь места на земле. Я, как и ты, много учился и читал, много думал и никак не могу понять, почему человек — венец творения аллаха, его подобие и его воплощение! — может убивать себе подобных. Неужели только разные веры могут стать причиной убийства? И ли возмущение несправедливостью может служить поводом для уничтожения? Несправедлив мир будет до тех пор, пока люди будут убивать людей, Алимхан! Даже зеленое знамя газавата не может покрыть позора убийства людей. Не может быть священной войны, в которой люди убивают людей только потому, что у них другие порядки, обычаи. Ты слушаешь меня, Алимхан?

— Но я не могу уступить Бухару без боя. Мне этого не простит ни один мусульманин.

— Но ты же сам не надеешься на победу. И даже если победишь, победа будет временной, через некоторое время тебя сомнут, сотрут. Ведь за ними идет сила, народ. Они говорят и делают справедливые вещи, и скоро твои верноподданные сами поймут, что эти люди несут более

[illegible]справедливые порядки, и тогда тебя не поддержит [illegible]го.

— Что ты предлагаешь, Фархад?

— По-моему, ты собрался покинуть Бухару, Алимхан. А это говорит о том, что ты сам не уверен в своих силах и в своей правоте.

— А почему ты решил, что я собрался покинуть Бухару? Кто тебе мог это сказать? Кто? Я отрублю ему голову! Скажи, кто? Кто?

— Никто этого мне не говорил, но имеющий глаза да видит. Я знаю тебя, и этого мне [illegible]. Но еще хуже, что ты растерян, а значит, [illegible] в себе.

— Так что ты предлагаешь, ака? Зачем ты пришел? Посеять сомнения? Или дать совет?

— Я хочу, чтобы ты крепко подумал, прежде чем делать тот или иной шаг, Алимхан. [illegible] истории, Алимхан. В мире происходит нечто [illegible] примеров в прошлом нет. И только поистине [illegible] правитель поймет, как ему поступать при этом.

Наступила долгая тишина. Обеспокоенный Сухроб неслышно приоткрыл дверь и снова закрыл ее.

— Чем занимаешься ты в это время, Фархад?

— Я? Я один раз избрал свой путь и следую им. Я врачую людей. Это мой долг, Алимхан. Кто-то из нас должен искупать вину эмиров перед народом.

— Ты считаешь, что эмиры слишком виноваты перед своим народом?

— Не задавай наивных вопросов, Алимхан, ты не меньше моего знаешь об этом.

— Не претендуешь ли ты на святого? Может быть, праведной жизнью ты добиваешься того, чего не мог бы добиться на троне?

— Я просто хочу лечить людей и хочу это делать хорошо. Может быть, мне удастся открыть лечебницу.

— Тебе помочь деньгами? Я прикажу, тебе дадут столько денег, сколько нужно.

— Золото — самое худшее из всех лекарств. Я надеюсь, что лечебница будет рано или поздно.

— Не на новую ли власть ты уповаешь, ака?

— Я уповаю на здравый смысл людей. Болезни разъедают людей, Алимхан. Ришта, трахома, пиндинка, глисты, оспа — все это последствия грязи, отсутствия нормальных человеческих условий.

— Ты говоришь так, как табибы — народные лекари — не говорят.

— Я учился вместе с тобой, но разным наукам, Алимхан.

— Ты надеешься переделать людей? Они выросли в этом, в этом и умрут.

— Ты не любишь свой народ, Алимхан. Но ты не ответил мне, что ты намерен делать дальше? Уйти в изгнание?

— Мусульманский мир велик, а кровь эмиров бухарских — не вода.

— Вообще кровь людей — не вода...

Сухроб уже догадался, кто сидит и разговаривает с эмиром, но беспокойство не покидало его. Кто знает, с какими мыслями пришел старший брат эмира? И как он проник во дворец? В кабинет? Но не было никаких тревожных признаков, эмир разговаривал с братом попросту, и Сухробу впервые пришла в голову мысль, что эмир такой же человек, как все остальные люди, не лишенный слабостей и сомнений. Но преданность Сухроба эмиру столь высока, что он тут же прогнал эти мысли, как недостойные и даже пагубные.

Брат поднялся, собираясь уходить:

— Храни тебя аллах, Алимхан, но предчувствую, что тебя ждут великие испытания.

На какую-то минуту слабость взяла верх над эмиром, и у него вырвалось:

— Но что же делать?

Что мог ему ответить брат? На вопрос Алимхана он только пожал плечами и вышел.

Никто бы не осмелился остановить этого человека, такова была сила его натуры. Под его суровым взглядом расступались охранники, сделал шаг назад и опустил голову Сухроб. Пожалуй, отдай сейчас эмир приказ убить этого человека и не нашлась бы рука, которая бы выполнила такой приказ.

Он растворился во тьме переходов, и в Арке его больше не видели. А в подвале казны теперь под присмотром Мирзошукура работало несколько невольников. Вначале он удивился, что они даже словом не перемолвились между собой, а потом ужаснулся, когда узнал причину. Все они были безъязыкими. Слышал Мирзошукур эту страшную историю, о которой во дворце рассказывали под большим секретом. От прежних эмиров остались в тюрьмах и даже на свободе люди, лишенные языка. Эти несчастные были лишены языка за богохульство по приговорам казиев. Эти люди всегда привлекались к самым

тайным делам, когда от исполнителей требовалось неукоснительное соблюдение тайны.

И кушбеги еще больше проникся убежденностью, что эмир готовится к отъезду из Бухары. Чем это может грозить ему?

Но не только это беспокоило нижнего кушбеги. Были и мысли запретные, опасные. Они приходили, как ни старательно гнал он их от себя, как ни совершал тайные молитвы аллаху. А все понимающий глаз Юсуфа следил за ним, за каждым движением его души. Когда уходили на короткое время спать в пристройке немые невольники и сам кушбеги, Юсуф запирал ключом на громадные замки, а ключи носил на шее. Этот человек спал так чутко, что встать по нужде без его всевидящего глаза было невозможно.

Но и Юсуф имел тайные мысли. Никогда не возникало в его душе вожделения, но и он, видимо, почувствовал, что эмир собрался прятать в дальние места всю казну, поэтому во сне ворочался беспокойно, часто вскакивал и щупал ключи на шее. А когда снова возвращались к упаковке хуржумов, держал подолгу иной мешочек и словно извешивал его на руке.

Одно вожделение рождает второе, и из них возникает замысел. Они еще не говорили друг другу опасных слов, каждый ждал, чтобы заговорил другой, но мысли одного уже рождали отзвук в мыслях другого. Поднимет кушбеги глаза и вдруг видит перед собой понимающую ухмылку Юсуфа. Но Юсуф тут же отводит глаза, а за ним опускает глаза и кушбеги.

Уже больше сорока хуржумов были упакованы и опечатаны сургучными печатями эмира. А золото и драгоценности еще не кончались, еще не дошло дело до дорогих одежд и оружия.

И Юсуф сказал первое слово. Он выждал, когда безъязыкие отправились к обеду, который им приносили из эмирской кухни, потом, словно мимоходом, сказал:

— Почтенный кушбеги уже давно не был в своем гареме. Не тоскует ли кушбеги по своим женам?

И в его глазах не было обычной ухмылки, а была настороженность и ожидание.

— Есть ли нечто подобное у уважаемого Юсуфа?— вопросом на вопрос ответил кушбеги.

— Как у всякого мусульманина, у Юсуфа тоже есть дом и жена,— негромко ответил Юсуф.

Но было бы крайней неосторожностью идти домой да-

же среди ночи, когда приказ эмира был столь суров. Но уйти и в Арке есть куда и спрятать необходимое, чтобы вдруг же вернуться к делу, можно.

Кто-то первый должен сделать такой шаг. Кушбеги понимал, что ему такой шаг делать первому никак нельзя. Ведь Юсуф может завести такие разговоры для погибели его, кушбеги.

Два вора в одном доме не смогут не воровать, и первым не выдержал Юсуф. Он утаил кольцо и отлучился на четверть часа. Кушбеги сделал вид, что даже не заметил отлучки.

А горы хуржумов все росли и росли. Юсуф распорядился, чтобы несколько немых встали на упаковку одежд и [illegible]. Кушбеги сразу оценил мудрость этого презрен[illegible]. И свидетелей меньше и дело будет двигаться. [illegible] очередь кушбеги. Он ушел под покровом [illegible] с горстью золотых червонцев и вернулся вскоре [illegible] незамеченный. Юсуф копался над бриллиантами. Но [illegible] камни не прельщали обоих, и не потому, что [illegible] цену. Просто такие камни в их домах вызовут сомнение в их происхождении, а иметь золото не так подозрительно. Оно безлико, и в таких здесь количествах, что некая толика, уплывшая мимо хуржумов эмира, не может стать заметной.

А в городе произошло восстание.

Организованные группы вооруженных людей овладевали ключевыми точками города, вводили свои порядки. Кто оказывали стойкое сопротивление войскам эмира. Кто они, эти люди, кем организованы, чего хотят, обыватели не знали, но зловещие слухи ползли из улицы в улицу, из чайханы в чайхану, с площади на площадь.

— Большевики пришли! Всех резать будут!

— Почему всех? Им что, мертвый город нужен?

— Всех мусульман резать будут! Жен наших, богатства наши заберут!

И говорит-то эту фразу нищий и от рождения обобранный человек в драном халате, больше похожем на хлопковое поле после уборки урожая, да и на жену его, такую же жалкую и худую, не польстится ни один завоеватель.

Войска эмира отстреливались, даже пытались перейти в наступление, но настоящего порыва у них не было и выбить большевиков из занятых точек им не удавалось.

А слухи раздирали город.

— Большая война начинается!

— Оббо! Что делать будем, мусульмане?

— В Каган посланы войска и большая пушка! Большевикам конец скоро!

— Да-да, войска эмира загородили дорогу в Бухару, не волнуйтесь!

— Говорят, сарбазы погнали большевиков!

— Э, никакой войны нет и не будет, это джадидам кровь немножко пускают!

— Вай дод, кто такие джадиды?

— А две сотни сарбазов [illegible] без боя. С ними говорил какой-то [illegible] послушали его.

— Э, все это чепуха! Сар[illegible]ся! Они только пьянствовать умеют!

Ибад, встревоженный [illegible] в городе, и слухами, которыми [illegible] чайхана, кинулся к мечети, где [illegible].

— Ширин! Ой, Ширин! [illegible] Не, куда делся мой зять?

Растерянный, испуганный Ибад [illegible] рано домой, уже боясь заранее встречи с [illegible], но во дворе увидел Ширина.

— Ты зачем пришел в дом? Почему не сидишь в мечети?

— Вай, там много мышей! А тут шум какой-то, я узнать пришел.

— Беда будет, Ширин! Тебе спрятаться нужно!

— Тогда всем жителям города прятаться нужно, а всем спрятаться негде, мечетей не хватит. Что в городе творится?

Зять и тесть все-таки сели на супу, Саодат принесла им чай и лепешки.

— Что делать будем, Ширин? — с надеждой спросил Ибад. — Я уже стар, что я смогу решить? Разное говорят в городе и на базаре.

Ширин думал, склонив бритую голову, потом лукаво улыбнулся:

— Давай ишака, отец. Поеду и сам все узнаю.

— Оббо, тебя убьют, Ширин, и твоя жена останется вдовой, а дочь сиротой! Подумай, что ты хочешь делать?

— Но сидеть в неведении еще хуже, Ибад! Я еду!

Ишачок медленно вез Ширина по знакомым, но опустевшим улицам. Навстречу ему попался совсем растерянный, бегущий с большим трудом чайханщик Джура.

— Ты откуда бежишь, Джура? И что там в городе?

— Оббо! Я пошел искать сборщика налогов, ибо он обещал закрыть мою чайхану за неуплату налогов. Я собрал немного денег и пошел его искать, но там никого нет. И стреляют, усто Ширин! Там сильно стреляют.

В это время из боковой узкой улицы вынеслось несколько всадников с пулеметными лентами крест-накрест и гранатами на поясе. Они летели от Самаркандских ворот, и горячим коням их было тесно в узких путаных бухарских улицах.

— Эй, правоверные! А где тут путь покороче к Арку,— спросил один из всадников, весело оскалившись белыми зубами.

— Туда, туда скачите!— показал Ширин.

— Я побегу, пожалуй, дальше! Как бы беды не было!— поспешил озабоченный Джура.

Над городом прокатился гулкий пушечный выстрел и упал где-то возле Арка, в квартале богачей. Клубы черного дыма медленно потянулись кверху.

Толпа жителей, напуганных событиями, кинулась к Имамским воротам в надежде покинуть город и пережить смуту в безопасном отдалении от Бухары. Вопли женщин и крики испуганных детей перекрывались пушечной пальбой. «Э,— подумал Ширин,— тут делать нечего, надо возвращаться».

Его встретил еще больше испуганный тесть:

— О аллах, услышь мои молитвы! Ширин, за тобой приезжал на коне эмирский телохранитель Сухроб. Спрашивал тебя и страшно ругался! Велел немедленно пробираться в Арк! Тебя сам эмир призывает к себе!

— Разве что ему понадобилось сейчас строить новую Мохи-Хосу,— усмехнулся Ширин.— Пойду я в свою мечеть. Пусть Сухроб не ищет меня.

Он ушел, а тревога осталась. И Ибад с постоянным испугом посматривал на небо над Бухарой и на калитку, словно оттуда должен появиться сам Азраил, повелитель джиннов.

Ночь прошла без сна. Под утро около калитки остановились несколько всадников. Заколотили в ворота. Ибад долго не решался подать голос, но колотить стали еще сильнее.

— Кого послал мне аллах в такую ночь?— спросил он наконец, приоткрыв калитку.

— Где усто Ширин сын Ахмада, старик?— заорал на него Сухроб.— Где отсиживается этот осквернитель веры?

— Его нет, господин!— горячо заверил Ибад.

— Обыскать дом! Ищите этого труса в ичкари, он прячется среди женщин, подлый трус!

Стражники обыскали весь дом.

— Нет никого, кроме женщин, тахсаба,— доложил старший.

— А, проклятый мусорщик!— грязно выругался Сухроб и с места пришпорил коня. За ним ускакали остальные.

Надо уходить, надо немедленно уходить. Говорили соседи, что Имамские ворота повреждены и не закрываются, через них можно покинуть город. Иначе эти псы эмира убьют их всех.

Ибад споровисто упряг в тележку ишачка, сложил пожитки, усадил сестру, дочь и внучку:

— Благослови нас, аллах...

Пробирались темными в сумерках улицами в толпе таких же жалких, испуганных жителей. На плоской крыше одного из домов одинокий старик молился и все время повторял:

— Бухара горит! Бухара горит!

— Слезай, почтенный, убьют тебя,— позвал его Ибад, но кто-то рядом негромко сказал:

— Не трогайте его, он сошел с ума...

Ухали пушки, зарево над центром города разгоралось. Имамские ворота в самом деле оказались открытыми, стражи тоже не было. И людской поток хлынул из города: Саодат тихо плакала, прижимая к груди ребенка:

— Пропал мой Ширин!

А эмир метался по дворцу. Его войско — стая трусливых шакалов! Они бегут при одном виде врага, половина разбежалась! Трусы, проклятые трусы!

Шейх Ибодуллохон пытался внушить эмиру:

— Мои мюриды вышли на улицы с ножами! Они вырежут всех неверных!

— А, шайка грабителей!— отмахнулся эмир.

Шейх стушевался и отошел в сторону. Вбежал разгоряченный Сухроб, нагнулся к эмиру, сказал тихо:

— Мой повелитель, усто Ширина нет нигде.

— Вой!— эмир выругался. Все свое богатство собрать не удалось. Золото и драгоценности, оружие и богатая одежда уже отправлены за город и ждут его. Но он хотел держать около себя и мастера, который, в случае чего, построит ему новую Ситори Мохи-Хосу. Ушел, ушел между пальцев, проклятый...

— Да преклонит великий и всемогущий...— вошел велеречивый кази-калон.

— Говори коротко,— оскалился эмир.

— У ворот сорок всадников с белым флагом. Парламентеры из Кагана.

Эмир, оттолкнувшись резко от подлокотников, встал:

— Что?

— Делегаты от красных, мой эмир,— тихо повторил кази-калон.

Глава IX

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Сорок всадников осадили горячих коней перед воротами Арка.

— Вам придется спешиться,— предложил эмирский есаул.— В Арк на коне может въехать только его высочество эмир. Все остальные люди входят сюда пешком.

Старший из делегатов по фамилии Уткин повернулся к своим, улыбнулся запекшимся ртом:

— Ну что ж! Мы пока не эмиры, пойдем в Арк на своих двоих.— И уже тише, обращаясь только к Абдурахманову и Маркарову, продолжил.— Я думаю, что всем в Арке делать нечего. Пусть двадцать товарищей останутся здесь ждать нас, а двадцать пойдут с нами.

Тем временем люди эмира бросили коням охапки сена.

— А что, встречают по-людски,— заметил боец по фамилии Борщов.

Двадцать человек спешились, пошли пешком следом за Уткиным. Ворота за ними не стали закрывать. Значит, намерений темных у эмира нет, и люди успокоились.

Делегацию около мечети встретил важный сановник, в котором Маркаров узнал кази-калона.

— Самый главный гад у эмира, товарищ Уткин,— негромко сказал Ашот.

Да, рядом с Уткиным в красноармейской форме шагал Ашот Маркаров, друг Ширина Ахмадова еще по строительству дома купца Абду-Кадырбая. Не узнал бы сейчас усто Ширин своего старого товарища, хорошего каменщика из армянской слободы.

Казн-калон церемонно поздоровался и на хорошем русском языке объявил:

— Господа делегаты, только трое из вас, руководители, могут войти в кабинет его высочества эмира, остальным придется подождать вот в этом помещении. Это приемная нашего верхнего кушбеги,— показал кази-калон на распахнутую дверь.— Вы сможете отдохнуть там, вас примут, как гостей.

Трое делегатов прошли в приемную эмира, их попросили подождать. Ашот Маркаров с восхищением осматривал зал:

— Сколько строил в Бухаре, а такой роскоши не видел!

— Еще построишь и не такое,— пообещал Уткин,— еще сам в такие дворцы на экскурсии ходить будешь, товарищ Маркаров.

Уткина не оставляло предчувствие какого-то подвоха от эмира, но пока вроде все шло по х[illegible]

— Я вот, товарищ Маркаров, Зимний [illegible], когда мы его взяли! Куда там! Хорошо [illegible] что там!

А в это время приближенные уговаривали эмира принять делегатов.

— Я не хочу встречаться с этими людьми!— рубил эмир обозленно.— Что это за люди? И почему с ними должен говорить сам эмир? У меня разве нет министров?

— Да будет наш высокородный эмир столь милостив,— начал кази-калон, но эмир прервал его

— Вы будете говорить короче, наконец?!

— Делегаты от большевиков хотят встречи именно с вами, о повелитель!

Эмир колебался. Он знал, что превосходство в численности на его стороне и что надо выиграть немного времени, пока еще подойдут войска из дальних вилайятов

— Мой эмир,— наклонился к его уху Бадреддин,— среди делегатов один такой, Уткин. Очень опасный человек. Это он свергал царя, он арестовывал Временное правительство.

Эмир покосился на кушбеги недоверчиво. Откуда могут быть у него такие сведения? Но теперь не время проверять их. А если здесь такой человек, то нужно проявить необходимую гибкость.

— Пусть войдет один. И без оружия,— согласился наконец эмир.

Когда условия были переданы делегатам, Уткин вынул из кобуры револьвер:

— Возьми, Абдурахманов. Парламентер должен быть без оружия.

Ашот побледнел и шагнул было за Уткиным, но тот остановил его движением руки:

— Спокойнее, товарищ Ашот...

Эмир сквозь прищуренные веки изучал большевика. Не очень новое обмундирование, потертые сапоги. Кобура пуста... Не может быть, чтобы этот простоватый мужик свергал царя, арестовывал правительство,— не похож.

— Говорите, эмир вас слушает,— сказал кушбеги Бадреддин.

Уткин удивленно огляделся. Неужели эмир не говорит по-русски? Это было необычное для Уткина рандеву. В зале полно народу. Все в широких золотошвейных халатах, в чалмах. Муллы стоят сторонкой и внимательно изучают русского солдата. А он один против всех, один посередине большого зала, сплошь наполненного придворными эмира. Сам эмир сидел недвижно, прикрыв глаза ладонями, но сквозь пальцы Уткин чувствовал его пронизывающий взгляд.

— Говорите. Так у нас принято, за эмира говорят его министры,— вежливо улыбнулся кази-калон.

— Потери за последние дни большие и с вашей стороны и с нашей стороны, господин эмир. Не будем сейчас обвинять стороны. Мы не могли вести переговоры из-за нежелания эмирского двора. Я прибыл для мирных переговоров, господин эмир. Нужно кончать по-хорошему, лишняя кровь не нужна, а город страдает...

Эмир задыхался от гнева. Он встал, жестом руки остановил солдата.

— Вы внезапно напали на нас! Сколько моих славных джигитов полегло под вашими пулеметами! А теперь вы говорите о мирных переговорах?!

Это было действительно так. Но все имело свою историю. Эмир враждебно воспринял Октябрьскую революцию и с первых же дней возненавидел Советскую власть. Больше того, Алимхан связался с контрреволюционными элементами внутри Туркестана и внешними врагами за пределами страны, готовился к нападению.

Эмирская Бухара объявляет себя «независимым» государством, она переходит на путь откровенной агрессии против Советского Туркестана, прекращает всякие связи с Советским правительством. Эмир заговорил о присоединении к своим владениям восточного Туркестана и других мусульманских земель. Местные жители, запо-

дозренные в сочувствии Советам, подвергались издевательствам и казням.

Эта обстановка требовала от правительства Советского Туркестана энергичных мер. Однако бухарский эмир не реагировал на письма, отказывал даже в аудиенции представителям Советского резиденства.

В марте 1918 года между Советским Туркестаном и эмирской Бухарой произошло вооруженное столкновение, спровоцированное младобухарцами. Воспользовавшись проездом через Каган председателя Совнаркома Туркестана Ф. Колесова, возвращавшегося в Ташкент из Ашхабада, руководители младобухарцев заверили его в готовности народов Бухары к восстанию против эмира и настаивали на необходимой помощи со стороны Советского Туркестана.

Колесов поддался на эту провокацию. Правда, прежде чем начать боевые действия, он предъявил Саиду Алимхану ряд требований: объявление в эмирате полной свободы слова, печати и собраний, смещение чиновников эмирата, отмена казней, палочной дисциплины, наиболее тяжелых налогов. Колесов добивался встречи с Алимханом, но тот всячески уклонялся от нее и тем временем подтягивал войска, укрепляя свои позиции.

Чтобы вырвать инициативу, Колесов, несмотря на малочисленность своих войск, отдал приказ о наступлении. Примерно в километре от Старой Бухары произошло первое крупное столкновение. Навстречу наступавшим из стен крепости вышли ополченцы из мулл, которые с ножами в руках и с именем аллаха на устах бросались на пулеметы. Советские части подошли вплотную к стенам Бухары.

Тогда эмир схитрил. Он направил Колесову делегацию, которая приняла ранее предъявленные требования. Эмир даже согласился, чтобы в Старую Бухару была направлена Советская делегация во главе с Уткиным для контроля за выполнением обещаний эмира. А тем временем к Бухаре стягивались войска. Эмир укреплял свои силы за счет наиболее фанатичных элементов. И когда Уткин, который возглавлял эту делегацию, вел беседу с Саидом Алимханом, последний мог разговаривать с ним, что называется, с позиции силы — теперь перевес был на стороне эмира.

— Да, было излишнее кровопролитие,— не мог не согласиться Уткин, оставляя без всякого внимания непе-

[illegible] взгляд эмира.— И мы, и джадиды, помогавшие нам, допустили немало ошибок. Но согласитесь, что грабежи и резня в городе были спровоцированы не нами!

— Были случаи, когда и ваши люди грабили, господин большевик! — Опять не сдержался эмир.

— Были,— спокойно согласился Уткин.— Мародеры по приговору революционного трибунала расстреляны.

— Вас в Бухару никто не звал! Вы решили, что презренные [illegible] — народ, и поверили им? А народ идет за мной! Вы сами видели, как шли безоружные на [illegible] со словами аллаха на устах.

— [illegible] элементы, подбитые вашими муллами. [illegible] мы не видели ни одного муллы, а [illegible] действительно шел прямо на пушки.

— [illegible] нет границ! Вы упрекали царя [illegible] Востока, но вы сами пришли как [illegible]

— [illegible] правительство в Москве и Туркестанское правительство в Ташкенте подтверждают в депешах, что от царской политики мы ничего не оставляем. Переговоры приказано вести на равных условиях. Мы выступаем за мирное решение всех спорных вопросов.

— Это слова. Поезжайте и передайте наш гнев и наше возмущение. С беспорядками в городе мы справимся сами, виновные будут наказаны.

— Вы накажете восставшую бедноту, а мы как раз стоим за бедных, господин эмир,— твердо ответил Уткин.

Презрительная гримаса исказила лицо эмира.

— У нас нет больше времени говорить с вами. Передайте, что мы просили, и покиньте нас.

Этот солдат глуп, он не понимает, что эмиру разговоры только на руку. Муллы уже поднимают весь эмират на священную войну. Но гяуры дождутся кары аллаха. Все, кто поднялся против эмира, понесут страшное наказание — и узбеки, и русские, и армяне, и татары, и все прочие. Всех ждет нож, их семьи пойдут в рабство по копейке за голову. Да, священная война против неверных! И он, эмир, сам встанет во главе воинов аллаха, он сам поведет войска против большевиков. Да, этот Уткин... Очень жаль, что он уже не сможет передать своим вожакам его эмирский гнев, очень жаль... Эмир посмотрел на белую от соли гимнастерку выходящего солдата, чуть заметно кивнул кушбеги...

— Да, товарищи, переговоры не состоялись,— сказал Маркарову и Абдурахманову Уткин, выйдя из зала приемов.— Эмир злой, как сатана.

А эмир в гневе повернулся к своим придворным:

— А вы надеялись, что я пойду у них на поводу? Нет, видит аллах, я еще в здравом рассудке! Наша обида слишком велика, мы не пойдем на переговоры.

Эмира тут же поддержал кази-калон.

— В коране сказано: «И хитрили они, и хитрил аллах, а аллах лучший из хитрецов». Эти люди, опоясавшиеся поясом вражды, не достойны переговоров с нашим эмиром. Хвала аллаху, что вы дали такую отповедь этому большевику Уткину! Пусть аллах накажет неверных!

— Пусть аллах накажет неверных!— подхватили все окружающие.

— Да будет так,— эмир сел на трон, прикрыв глаза.— Все свободны.

Двадцать человек не могли покинуть Арк. Ворота оказались запертыми. Двор полон воинов эмира, смотрят волками, и своим дать знать уже нет никакой возможности.

А остальные двадцать человек за воротами уже нервничали. Для переговоров прошло слишком много времени, а от товарища Уткина ни слуху ни духу. Что там с ними?

—Старшой,— обратился к Селезневу Борщов,— не нравится мне эта канитель. На погибель мы пришли. Прорываться бы к своим.

— «Не нравится»,— передразнил его Селезнев.— А своих там бросим?

— Оно-то верно, да только смотри. Возле мечети что?— тихо сказал Борщов.

Около мечети уже появились вооруженные отборные воины эмира, видать, его гвардия.

— Держать оружие наготове,— тихо приказал Селезнев.

Время шло час за часом, а из дворца никто не выходил.

— Просим пройти и пообедать, господа делегаты,— появился около делегатов какой-то мелкий чиновник эмира.— Верхний кушбеги приглашает вас.

— Мы не обедать сюда приехали,— отрезал Уткин.

— Как можно, как можно так говорить?— засуетил-

с[illegible]овник.— Уехать и не преломить хлеб — дом оскорбить. Вы — наши гости.

— Слушайте, товарищи, что-то недоброе затевается,— шепнул своим Уткин.— Маркаров, попробуй позвонить в Каган по телефону, видишь — вон аппарат стоит. Н[illegible]о успеть предупредить, что эмир что-то затевает!

Как ни странно, на просьбу воспользоваться телефоном отказа не последовало. Чиновник разрешил сообщить, что делегаты скоро возвращаются и передадут условия [illegible]ира.

— Скажите только это — и ничего больше,— оговорился впрочем, чиновник.

Ашот медленно подошел к аппарату, соединился с Каганом.

— Каган слушает. Каган слушает,— тут же ответил Каган.

— Мне Аванесова, срочно,— выдохнул Ашот.

— Соединяю с Аванесовым,— тут же ответила телефонистка.

Какое везение, что Аванесов на месте! Надо все сказать [illegible] полминуты!

И Ашот заговорил по-армянски:

— Слушай, Сурен! Эмир не хочет вести никаких переговоров! Нас удерживают, пока вежливо...

Чиновник кинулся к аппарату, нажал на рычаг, гневно посмотрел на крепкого, рослого, с тяжелыми рабочими руками кавказца.

— Ва, дорогой! Почему ты такой невоспитанный, а? С другом не даешь поговорить, а?

— Говорите на понятном мне языке, тогда мешать не буду,— чиновник явно не знал, как ему поступить.

— Е, разве армянский язык — непонятный язык?— добродушно удивился Ашот.— Хорошо, я буду говорить по-узбекски. Я хорошо знаю узбекский, ты тоже знаешь узбекский, а?— все еще улыбался Ашот.

— Нет! Нет, больше нельзя!— обозлился чиновник, поняв, что его хотят обмануть.

Ашот сел около Уткина, взялся за пиалу.

— Что успели сказать, товарищ Ашот?— тихо спросил Уткин.

— Успел сказать, что эмир уходит от переговоров, а нас удерживают...

— Пейте чай, товарищ Ашот, нас слушают,— показал глазами на чиновника Уткин.

— Пригласите сюда кого-нибудь из ваших минист-

ров,— потребовал Уткин, вставая и вкладывая револьвер в кобуру, который ему вернул Абдурахманов.

Вскоре гостей слушал кази-калон.

— Чем могу служить, господа?

Около делегатов уже кружили несколько чиновников эмира.

— Мы требуем выпустить нас из цитадели, господин министр? Парламентеры всегда неприкосновенны, а вы задерживаете нас! Вы ответите за это перед революционными властями.

— Да убережет нас аллах от такой немилости!— вскинул руки кази-калон.— Вы — наши гости, гости великого эмира бухарского, и ни один волос не падет с вашей головы. Но вы обратите внимание — вся площадь наполнена сторонниками ислама, они требуют вашей выдачи. Мы предлагаем вам остаться здесь до темноты, иначе фанатики ворвутся в Арк, и за ваши жизни не поручится сам эмир. А ночью мы переоденем вас в халаты и чалмы и тайно отправим в Каган. Только вам придется сдать оружие. По этикету во дворце никто не имеет права находиться с оружием.

Словно случайно, позади Уткина оказался один из высоких сановников эмира, но кто он по должности, ни Уткин, ни Маркаров не знали и что ему нужно не понимали.

Опустив лицо, сановник сказал негромко, чтобы слышали только Уткин, Маркаров и Абдурахманов:

— Ни в коем случае не сдавайте оружие.

Кази-калон заподозрил что-то и тяжелым взглядом проводил сановника.

С площади послышались крики, выстрелы.

— Что там происходит?— резко спросил Уткин.— Там наши товарищи!

— На все воля аллаха,— с улыбкой поклонился кази-калон.

А в эти минуты с двадцатью товарищами Уткина заканчивалась расправа. Думболаппуры эмира неожиданно кинулись на бойцов и стали в упор расстреливать их. Бойцы схватились за оружие, несколько человек вскочили на коней.

— Измена!— вскрикнул Селезнев, разряжая револьвер в ближайших сарбазов.

Несколько бойцов с саблями наголо пытались прорваться из кольца, но их перехватили сарбазы, порубили на месте. Через несколько минут все было кончено...

— Вас приглашают в комнаты для отдыха,— поклонился кази-калон.— Вот халаты и туфли.

Слуги и в самом деле внесли халаты и туфли.

— А это вам чалмы, чтобы ночью вы вышли спокойно к Кагану,— успокаивал кази-калон.— Проходите, пожалуйста. И оружие...

— Оружие не сдадим,— отказал Уткин, уже уверившись, что они в ловушке.

У входа в полуподвал исчезла последняя надежда [illegible].

— [illegible], товарищи! Измена!— Уткин выхватил револьвер. [illegible] оказались почти все члены делегации, и [illegible] выпрыгнули через окна во двор, один [illegible] пулей стражника. Но двое выскочили на [illegible] за уступами.

[illegible] расстреливали через окна, но вести [illegible] не решались. Бойцы отбивались из ре-[illegible].

— [illegible] патроны, товарищи!— предупредил Уткин. [illegible] в каменном мешке. Помещение боль-[illegible] один, и он под прицелом.

[illegible], потирая руки от удовольствия, доклады-вал [illegible]:

— [illegible] у нас в руках, мой эмир. Вы знаете, кто у нас в руках? Сам Уткин, председатель коллегии Турк-фронта по бухарским вопросам и председатель Новобухарского совдепа! И этот, который назвался Абдурахмановым — Агиев, командир интернационального отряда. Среди них и Галимзанов — самаркандский военный комиссар. Ашот Маркаров — начальник военных сообщений... Мы всех опознали, повелитель!

Осажденные ждали. Сзади не слышно никакого движения.

— Влипли мы, товарищи,— сказал Уткин.— Надо что-то решать.

— А что решать?— пожал плечами Ашот.— Три ступеньки вверх — и все. Но мы попадем под выстрелы сарбазов, это я вам точно говорю. У нас есть патроны, кинжалы, ножи. Будем держаться. А вот без воды нам не продержаться! Эй, вы! Принесите воды и пищи,— крикнул он через приоткрывшуюся дверь. Но оттуда грохнул выстрел. Правда, стреляли пока преднамеренно поверх голов.

— Ого, уже так с нами заговорили,— негромко сказал кто-то.

Наступила ночь. Делегация большевиков оказалась в западне. За дверью слышалась какая-то возня, потом дверь привалили чем-то тяжелым, похоже — каменной плитой.

Из-за этой брони с большевиками заговорил кази-калон:

— Слушайте наши условия! Они окончательные. Вы сдаете оружие и выходите по одному. Мы обещаем вам жизнь. Вы проберетесь в Каган под покровом ночи. В противном случае мы оставляем вас здесь.

— Наши условия — выпустить всех и с оружием, — ответил Алиев.— В противном случае ваш Арк подвергнется артиллерийскому обстрелу. Наши знают, что мы должны вернуться к вечеру. Если не вернемся — значит, здесь измена! Вы понесете всю ответственность за наши жизни.

— За ваши жизни с нас спросит аллах, не вам ставить условия!— последовал насмешливый ответ.— Вы в каменном гробу. Спокойной ночи!

До утра их больше не трогали. Спали по очереди, не выпуская из рук оружия. Ашот негромко рассказывал Уткину:

— Когда мы ехали сюда, я не верил в эту затею, но подчинился решению руководства. Слову эмира верить никогда нельзя. Скорее всего, он будет держать нас как заложников. Нельзя поддаваться на провокации. Они будут держаться за нас, чтобы выторговать выгодные для них условия, товарищ Уткин. А перебить нас они бы давно сумели.

— Маху мы дали с этими переговорами,— согласился Уткин.— Кому поверили! Сначала сами попросили выслать делегацию, а потом заарканили.

— Им это необходимо, чтобы выиграть время,— вступил в разговор Алиев.— Они еще надеются, что к ним подойдут силы извне и тогда они расправятся с восставшим Каганом.

— Да и все это — хорошая провокация мулл,— негромко отозвался Ашот.— Они хотели вырезать не только джадидов, но и всех недовольных, а когда народ зароптал, выставили войско. Да и мы поспешили с выступлением.

— Восстание нельзя было пустить на самотек. Мы обязаны были возглавить его, даже если оно обречено, иначе какие же мы большевики,— заключил Уткин.

Все замолчали, и только дежурные держали оружие

наготове, но в такой темноте даже щели в двери не видно. Так прошла ночь.

На второй день стояла тишина. И только к вечеру из-за плиты послышался голос:

— Слушайте меня! Я шейх дервишей Коканди, моя святость известна всей Бухаре. Я обращаюсь к мусульманам. Вы прощены эмиром и можете выйти и оставить ваших бандитов. Эмир гарантирует вам прощение и милости! Если кто из вас захочет вступить в воинство ислама — будет зачислен в думболанпуры и пойдет против неверных. Узбеки, таджики, киргизы — это я к вам обращаю свои молитвы о спасении ваших жизней.

— Самый главный гад из них,— покривил пересохшие губы [illegible],— этот святой не одного бедняка по миру пустил!

— Обращаюсь к вам, мусульмане! Эмир дарует вам прощение и милость!— продолжал бубнить шейх.

— Ну, [illegible],— не выдержал Садыков и выстрелил в дверь. Голос за дверью утих.

— Обработочка начинается,— протянул Ашот.— А может, кто хочет, товарищи? Мы держать не будем.

Бойцы из национального отряда зябко повели плечами, кто-то махнул рукой. Эти люди в свое время каждый испытал милости эмира, то палкой, то плетью из бычьих жил, а то в зиндане. Их агитировать за Советскую власть не нужно. Они сами кого надо сагитируют.

Уткин объявил собрание. Собственно, все так и остались на своих местах.

— Товарищи, мы оказались в дрянной истории. Мы фактически осаждены здесь, и живыми нам не выбраться. Атаковать наличными силами из Кагана сейчас нет возможности, выручки ждать неоткуда. Но и расправиться с нами сразу не рискуют, сами видите. Нам нужно держаться. Худо, что нет пищи и воды, и на этом наши дорогие хозяева со своим гостеприимством хотят сыграть. Я от имени штаба восстания предлагаю, кто не находит сил держаться, может выходить, оставив нам оружие. Мы не будем считать никого предателем, такое вынести не каждый способен. На подход наших в ближайшие три дня надеяться нельзя, они пробиваются с боями через эмирские заслоны. Не сомневаюсь, что дорога разобрана и ее по ходу движения нужно восстанавливать. От нашей стойкости тоже многое зависит, ведь мы удерживаем эмира от решительных действий. Он трусит, товарищи!

Каждый пусть сейчас решает для себя, как ему поступить, каждый волен в выборе.

На пятый день плита отодвинулась, и к делегатам проскользнул какой-то юркий вертлявый человек.

— А, привет честной компании!— бойко заговорил этот человек.— Вот и я среди вас! Называйте меня Маджид Кахкашони. О профессии пока молчу, а должности у меня при эмире и вовсе быть не может. Я вольная птица, хотя часто оказываюсь совсем не там, где хотел бы быть.

Одет неважно, по-русски говорит довольно бойко, и не трус, настроен весело.

Маджид прошелся по подвалу:

— А вы устроились не лучше, чем я! И это ваше светлое будущее, за которое вы воюете?

— С чем ты, чижик, пожаловал к нам?— грубовато спросил Уткин.

— Я с чем? Вы мне совсем не нужны, как и я вам, да... Наш уважаемый кушбеги избрал меня своим... послом. Ха-ха-ха, Маджид Кахкашони — посол самого кушбеги! Но у меня нет иного выхода, как исполнять его волю, да... Условия кушбеги таковы. Вы все выходите отсюда, и вас обменивают на достойных людей эмира, попавших к вам в руки в Кагане. Условия, как видите, честные.

— Н-да, условия — что и говорить,— почесал затылок Уткин.— Но где гарантия, что они будут выполнены?

— Гарантия, гарантия... Что за слово такое, а?

— А вот что, малый, — пояснил Уткин.— Мы выходим отсюда только с оружием, раз. Второе: за нами приезжает представитель из Кагана, которого мы хорошо знаем, два. Иначе получится, что сами на расправу идем.

— Мне ничего такого не говорили. Кушбеги только сказал, что у вас все равно нет выхода, в подвале вас ждет смерть, поэтому — обмен.

— Нас уже один раз обманули, теперь ты хочешь нас, малый, обмануть.

— Э, зачем мне вас обманывать, а? Для меня, что они, что вы — все равно все мои клиенты,— отмахнулся Маджид.

— Да кто ты такой?— удивился Алиев.— Парикмахер, что ли?

— Я кто такой? Не, я карманный вор. Очень знатный вор в Бухаре, но вот на свою голову оказался в руках этих собак, они в зиндане меня держали, а сегодня выта-

[illegible]цили и говорят: иди и говори, что мы тебе скажем. Вот и швырнули меня сюда. А чем здесь лучше, чем в зиндане?

— Не, так это ты знаменитый Маджид Кахкашон? — [illegible]ился один из бойцов-таджиков.— Так у меня к [illegible] счет, братец!

— Какой счет? — удивился Маджид.

— Приехал я однажды в Бухару на базар, только расторговал дыни, уложил деньги в пояс, когда смотрю — [illegible] разрезан и денег нет. Мне тогда дехкане сказали, что К[illegible] крутился на базаре. Говори, твоих рук дело?

— [illegible], сколько у меня таких дел, одному аллаху [illegible]! [illegible] наверх идти мне не хочется. Скажут, плохо я [illegible], давайте-ка лучше в карты сыграем, а?

[illegible] в карты так, что и при двадцати очках на р[illegible] все равно выигрывал. Крапленные, видимо, карты [illegible]. Бойцы играли с ним часа два, но ни один из них [illegible] не смог выиграть. Играли на мелочь, на пуговицы [illegible] даже на щелчки по носу, все равно выигрывал.

— [illegible] не похоже, что провокатор,— задумчиво наблюдая [illegible] Уткин.— Не крутит. А вот из-за нас пропадет. Не сумел сагитировать, вот беда.

— По-моему, тоже не врет,— согласился Ашот.

Только к вечеру вышел из подвала Маджид:

— Жаль, что больше, наверное, не увидимся, такие бы вам фокусы показал с картами! Пора... А вы крепкие люди.

Вскоре осажденные услышали вопли Маджида и хлопанье палок. Его и в самом деле крепко наказал кушбеги. Под конец он распорядился:

— Выбросьте эту собаку из Арка! Пусть подыхает там, за стенами.

Все последующие дни провокации не прекращались. Осажденных уговаривали, соблазняли милостями эмира, только бы выходили, в ответ было молчание.

А в ту ночь по темным улицам шел, шатаясь как пьяный, падал и поднимался человек. Он до боли сцепил зубы, чтобы не стонать, но стоны все равно срывались с его губ. Он припадал к арыкам, жадно пил и снова шел. Голова у него горела, сама смерть уже шла за ним по пятам, но он выбирался все дальше и дальше от Арка. В квартале ганчкоров его кто-то окликнул:

— Кто тебя так, несчастный? И кто ты?

Ответ обескуражил Джуру-чайханщика.

— Я вор Маджид Кахкашони... Мне в Каган... Срочно в Каган... Сообщить большевикам...

— Тебе в потусторонний мир пора, а не в Каган. Берем его, правоверные,— подхватил под мышки вора чайханщик. Ему помогли соседи.

Здесь группы самообороны следили за улицей, чтобы перехватить сарбазов, которые свирепствовали по городу.

При слабом пламени жирового светильника рассмотрели лицо: и в самом деле оказался Маджид-карманник. Уложили, смочили спину влажными тряпками. А он все метался и просил:

— Отведите меня в Каган....

На вторую ночь он умер, так и не успев сделать единственное доброе дело, которое он хотел: сообщить большевикам в Кагане, что их товарищи томятся в подвале Арка.

В ту ночь состоялась еще одна казнь в Арке. Эмир — приказал:

— Введите Ходжу Закарийя.

Сановника ввели со скрученными за спиной руками, уже избитого, в крови: он прошел пытки палача.

— Ты подлый и неблагодарный, поганая собака! — сорвался эмир.— Ты подсказал большевикам, чтобы они не сдавали оружия. Ты грязь! Ты предал веру, предал нас, своего эмира. А ведь недавно только мы одарили тебя новым халатом и золотым поясом, шакал!

— Эмир, с парламентерами так не поступают, как ты!— еле выговорил разбитым ртом сановник.— Ты черен, как могила, тебе не может верить ни друг, ни враг!

Эмир махнул платком. Ходжу Закарийю вывели во двор и тут зарубили саблями стражники из личной охраны эмира...

...Еще несколько дней из подвала доносились слабые стоны. Кушбеги приказал пустить в подвал «царскую водку»— серную кислоту...

Вскоре о расправе с большевиками радостно доложили эмиру.

— С паршивыми собаками покончено, мой повелитель!

Но не увидели даже тени улыбки на лице эмира его придворные. Злая гримаса перекосила его лицо:

— Идите все! Идите.

Истребив делегацию, посланную Колесовым, Алимхан отказался выполнить свои же обещания. По его указанию во многих местах была разрушена железная дорога,

что поставило красные отряды в тяжелое положение. К этому прибавилась еще одна беда: никаких войск у джадидов, как они об этом говорили Колесову, не было. Вместо 30 тысяч, которые якобы горели желанием принять участие в вооруженном восстании, под их знамена встало лишь несколько десятков человек из числа богатых слоев Бухары.

Бухарские войска перешли в наступление. Колесов вынужден был отступить в сторону Самарканда. Началось уничтожение русского населения, а также узбеков и таджиков, заподозренных в сочувствии советской власти. Шло массовое истребление людей, этим занималась специальная команда «ширбачей»—«львят».

Был создан «скорый» суд, который без разбора выносил смертные приговоры ни в чем не повинным людям.

Реакция распоясалась. Но в бухарском народе зрели гнев и возмущение правлением эмира, его деспотизмом и мракобесием. Наступали решающие дни.

Глава X

КАРАВАН УХОДИТ В ГОРЫ

Ширин вернулся домой, ведя ишачка на поводу. Но его никто не встретил. Он обошел дом, окликая близких, но никто не отозвался. Дом был пуст.

Сердце оборвалось у Ширина. Что с ними случилось? И первая мысль: эмир взял их как заложников, чтобы выманить Ширина в Арк. И он собрался идти в Арк, и передать себя эмиру. Но его остановил Джура:

— Ты куда, усто? Твоих родных взяли стражники? Но в эти дни и ночи никого не было на наших улицах. Сарбазы теперь боятся лазить по Бухаре! Никто не забирал твоих родных. Может быть, они сами покинули город?

А над городом уже гремела настоящая канонада. Орудия красных взламывали последнюю цитадель эмира.

По городу ходил неприкаянный, совсем осунувшийся усто Ширин в поисках своих родных. Как его не нашла случайная пуля? А когда он вернулся снова к дому, то увидел, что ворота распахнуты и одна половина висит на одном гвозде.

— Усто, усто, уходи,— тянул его за руки Джура, все тот же вездесущий Джура,— только что проскакали собаки из Арка, все тебя окликали!

— Меня? Меня?— ошалелыми глазами смотрел на чудака-чайханщика Ширин, — почему ты не прячешься, ведь такая стрельба! Чего ты все бегаешь по улицам?

— Оббо, прятаться!— вскинул руки Джура. - У нашего соседа Юлдаша был единственный конь, и спрятал его Юлдаш в конюшне от случайной пули. По именно на конюшню упал снаряд, и конь погиб. Так скажи мне, сосед, что лучше, прятаться или бегать?

— Но ты же не лошадь, Джура!— почему-то счастливый Ширин ткнул его в грудь сухим кулачком и пошел быстро прочь.

— Я, конечно, не лошадь,— бормотал растерянный Джура,— но чему он так радуется? Или тронулся от войны, а?

«Значит, моих не арестовал эмир под залог, билась одна мысль, если еще раз присылал солдат, то, значит, их там нет!»

И снова он пришел в свою нишу в старой гузарской мечети, встряхнул свою подстилку и улегся спать, оставив заботы о себе аллаху.

А гром сражения все нарастал. Наутро красноармейцы устремились на штурм Арка.

Эмир покинул Арк накануне штурма ночью через тайный ход в стене. Его конь рвался из рук телохранителей. Эмир вдел ногу в стремя. Все, надо уходить. Теперь большевики ему ничего не простят и переговоров никаких вести не будут.

Конный караван уже ушел в горы в сопровождении самых надежных людей Сухроба. Сам Сухроб теперь скакал рядом с эмиром. За дни боев он ни разу не завернул домой, не справился, как там дела, не попрощался перед отъездом. И теперь ему оставались только конь, сабля, винтовка да воля эмира, которому он вручил свою судьбу.

Мало кто из сановников сопровождал эмира в его бегстве. По одному, по одному исчезали они из дворца. Последним видел эмир кушбеги Бадреддина. Он должен был уйти вместе с эмиром, но случайная пуля поразила старого воина прямо в самое сердце, и он упал как подкошенный.

Кони уносят эмира и его охрану все дальше и дальше в горы одному ему известным путем. Черные мысли не

дают покоя. Нет, не таким виделся ему эмират, когда он принял выпавшую из ослабевшей руки отца власть.

Эмир вспоминает свое восхождение на престол. Он все-таки, несмотря на свои упования на грамоту русского царя, не миновал его, ибо сказали дервиши и шейхи: «Не будет тебе полного счастья и полной власти над миром, если ты не вступишь на престол по обычаям наших предков». Это были счастливые минуты в его жизни. Нужно было, конечно, предусмотреть заговоры и устранить возможных претендентов, но и это было сделано. И вот улемы и церемониймейстеры возвестили:

— Да дарует аллах на здравие эмиру Саиду Алимхану милость свою и справедливость!

— Да сделает аллах господина нашего эмира Саида Алимхана победоносным над врагами корана и ислама!

И вот все присутствующие на этой торжественной церемонии и сам Алимхан проводят обеими ладонями по бородам. Затем имя эмира провозглашалось на пятничном намазе во время «хутбы», и при возвращении процессии из мечети Калон у входа в Арк его встретил торжественный гул больших барабанов и нагара. Ему уже показали первую монету-таньга с его именем. Это увековечит его и создаст авторитет у верноподданных.

А сколь торжественна была сама церемония! Астрологи вычислили для этого самое благоприятное расположение звезд. Зал был украшен лучшими мастерами Бухары. В передней части зала был установлен тахт — трон эмира. Самого Алимхана облачили в златотканые одежды, надевавшиеся для такого случая его предками. Эти реликвии бережно хранились в казне и извлекались при жизни каждого эмира только один раз. Эгрет — тодж, что подобен королевским коронам, весь из золота и усыпанный драгоценными камнями, уже прикреплен к чалме золотыми цепочками.

И вот в назначенный час, более других обещающий успех и благоденствие, собрались в это утро главные сановники эмирата. Все помещения уже окурены, сначала чадильницами из трав, изгоняющих злых духов и болезни, а потом дымом алоэ для благополучия и процветания эмира.

На полу зала постелен белый войлок поверх дорогих ковров, на войлок постелили бумажную бежевого цвета ткань, а поверх нее еще один коврик.

Когда все было готово, в зал вошел Алимхан, его под локти подвели к войлоку и усадили на коврик. Четверо

самых знатных и самых старых представителей духовенства и знати взялись за края коврика. Тотчас им кинулись помогать остальные сановники, и было их числом не менее семидесяти: таков обычай. Подняв Алимхана на коврике, опустили на тахт. Затем один из самых старых зопцов эмира и один мулла прочитали молитву, а в четырех углах войлока, на котором лежал коврик, было сделано по ямке, наполненных золотом. Каждому, кто участвовал в церемонии, была выдана одна памятная монета.

Затем Алимхану с поклоном вручили перо и бумагу, и он стал одаривать народ милостями. Написанное передавалось кушбеги, который тут же громко объявлял присутствующим, а глашатаи немедленно передавали их со стен дворца толпе, собравшейся перед Арком.

Алимхан явил народу великие милости. Он сбавил по одной таньга налога на каждый ман зернового хлеба, наполовину снизил налоги с садов, велел выпустить из зиндана невинно заключенных и возвратить из ссылки невинно сосланных. А еще он повелел: не подносить ему самому и его придворным тарбуки подарок при обращении с просьбами, установил судьям твердую ставку за рассмотрение дел и составление документов, увеличил оплату за службу в армии и жалование гражданским властям. Собравшиеся тогда воздали заключительную молитву — фатиху — благодаря аллаха и эмира за эти новые милости.

Неужели этого всего оказалось мало корыстной черни? Знал он, что сборщики налогов все равно превышали установленные им размеры налога и судьи драли гораздо больше, чем он им позволил, и подарки принимали все, да и сам он порой забывал о своем законе. Но видит аллах, он-то был милостив и щедр, одаривая свой народ.

И вот теперь Саид Алимхан, великий эмир благородной и священной Бухары, повелитель правоверных, наместник аллаха на земле, генерал-адъютант русского царя, обладатель еще многих и многих титулов и званий, потерял свое царство, и что его ждет впереди — неизвестно. Да, он успел отправить впереди себя караван с казной. Он даже отпустил нижнего кушбеги и Юсуфа, хотя была мысль уничтожить их, чтобы тайна казны ушла вместе с ними, но в последний момент передумал.

На третий день эмир соединился со своим караваном. Вот она, его казна, с которой он не пропадет. Но куда идти? Какой путь выбрать? В Афганистан? А как там его встретит шах? В Иран? Но путь туда слишком далек, без

долгого отдыха его караван выбьется из сил, падут кони, не привыкшие к переходам по горам.

А может, уйти в горы и начать священную войну?

Молчит эмир, не откроет рта, слова никому не скажет. Разбежались его верные министры, пригретые и одаренные им. Кто куда поразбежались, презренные, никто не пошел с ним в изгнание. Да, в изгнание, иного слова не найдется для него: эмир в изгнании... Одна верная сабля около него, Сухроб. Его хоть бы сберечь, иначе останется совсем один. А вся остальная охрана — люди низкого звания, неизвестные ему, сговорятся и порубят своего эмира, чтобы завладеть казной.

Караван уходит все дальше и дальше в горы. Куда ведет этот путь? Что ждет в конце пути? Министры теперь [illegible]. А ведь они шипели, как гюрзы, когда прибыла делегация большевиков насчет перемирия и переговоров. Кто знает, на каких условиях они предложили бы прекратить войну? Они могли оставить ему его капиталы и разрешили бы жить как частному лицу. Пусть не в самой Бухаре, но в каком-то из загородных дворцов. Могло так быть? А эти навели его руку на делегатов, сами фактически расправились с ними, а гибель парламентеров большевики ему бы уже не простили, судили бы своим трибуналом. Одним этим его мудрые визири отрезали эмиру всякие пути возвращения. Теперь он в глазах всего мира только военный преступник, нарушивший закон о парламентерах. Крутили, крутили, а теперь как провинившиеся псы жмутся к его ноге и повизгивают, заглядывают в глаза. Один только Ходжа Закарийя рискнул сказать правду эмиру и поплатился головой, хотя по существу он один и был прав.

Казна едет за эмиром, хотя это только часть его богатства. Что не успел попрятать или увезти, досталось большевикам. В его дворцах теперь будет шляться чернь, большевики разместят свои ревкомы. В Ситораи Мохи-Хосе устроят какую-нибудь школу. Вот и еще одна боль. Его гордость, звезда его короны, Мохи-Хоса осталась, и увезти ее было бы несподручно самому пророку.

Эмир требовал, настаивал, чтобы хотя бы мастер, чьи руки способны создать новую Ситораи Мохи-Хосу, был доставлен в Арк. Эмир был готов держать его на цепи или в зиндане, но иметь его при себе, а если бы мастер взбунтовался или оказался неспособным создать еще одно такое чудо, то уничтожить его.

Стало холодно, и снежок присеял дорогу эмирского

каравана. Уже скоро, скоро они оторвутся от преследования и затеряются в кишлаках Карши и Душанбе, спрячутся в высоких горных ущельях. Мрачнел и мрачнел Алимхан и даже не развлекался с женщинами на временных стоянках по ночам. Тяжелые думы угнетали его, ложились на плечи чугунным грузом. И как бы ни успокаивал он себя, что едет не нищим бездомным, с ним и казна и его двор, слуги и наложницы, и все-таки даже у этого человека сжалось сердце, когда он подошел к последним рубежам своего бывшего эмирата.

Снег уже прикрыл всю землю, метет поземка. Люди надели теплую одежду, укутали коней в попоны. Сухроб согнулся в седле, прикрывая лицо меховой шапкой от ветра, задувающего в глаза. Вышибает ветер слезу из глаз, которая застывает на лице.

Алимхан откинул меховую полость, остановил коня. В такие минуты нужно говорить что-нибудь историческое, чтобы эти слова потом повторялись потомками, выдавались за озарение мудрости в исторические минуты. Его окружили сановники, разделившие с ним изгнание. Он медленно переводил взгляд с одного лица на другое, и никаких слов у него для этого момента не находилось. Только горечь, бессильные упреки судьбе да молитвы к аллаху. Но и они бы прозвучали здесь неуместно. Он не был глупцом и понимал, что счастье и власть покинули его. Покинули навсегда и вряд ли когда-нибудь вернутся к нему.

Вряд ли? Как бы не так. Он еще покажет себя. Он еще объявится, чтобы свести счеты со всеми, с кем не успел, с красными, вероотступниками, джадидами, со всеми, всеми. Он еще соберет под зеленое знамя несметные войска, объявит «священную» войну, огнем и мечом пройдет по земле, по своей земле, каковой она была и останется даже в десятом колене.

Глава XI

ГОЛУБЫЕ КУПОЛА

Бухара провожала мучеников эмирских застенков, обманом затянутых в Арк и убитых эмирскими прихвостнями. Хоронили людей, положивших свои жизни ради сво-

боды Бухары, ее нового пути отныне и во веки. Толпы, толпы людей шли следом за гробами и носилками, и каждого убитого хоронили по обычаю его родины. Русского хоронили по-русски, мусульманина хоронили по-мусульмански. Со скорбью узнал Ширин, что среди убитых находится и его старый товарищ, хороший строитель, отменный каменщик Ашот Маркаров. Откуда было знать Ширину, что Ашот был большевиком? Никогда они не говорили на эту тему, никогда Ашот не пытался агитировать его за свои убеждения. Слишком занят усто собственными мыслями, чтобы еще политикой заниматься. Да и нужно ли трогать его? Важно, чтобы он мог полностью отдаться своему любимому делу, а там сам поймет, на кого ему легче и свободнее работается. Это и будет лучшей политикой.

Впервые Бухара видела, как хоронят с музыкой. Печально играет оркестр похоронные марши, медленно идут за убитыми красные аскеры и бойцы интербригады, несут венки. Притихла Бухара. Злобно сверкнет глазами мулла из толпы, скроется в узких улочках вчерашний доносчик и поджигатель. Жутко и им. Странна молчаливая скорбь этих толп народа.

Был и еще один покойник, которого решили похоронить вместе с парламентерами, бухарский вор Маджид-Кахкашони. Не в братскую могилу вместе с революционерами он ляжет, но несут и его носилки среди замученных эмиром бойцов. Джура рассказал, как он рвался в Каган, чтобы сообщить о замурованных в подвале руководителях бухарского восстания, и тогда было решено похоронить его в один день со всеми павшими.

Необычны такие похороны для жителей Бухары, необычно видеть, как салютуют залпами из винтовок над могилами героев. Необычны эти пламенные речи на могиле. И смотрит Бухара, молчит...

Сафар Низамов остановил коня возле знакомой калитки, придерживая саблю, направился к входу. На стук вышел седой Ибад Турсунов, старый бухарский усто. Сафар почтительно приветствовал мастера.

— Правильно ли я попал, отец? Мне нужен усто Ширин сын Ахмада.

— Ты правильно попал, сын мой, но я сам хотел бы знать, где он.. Да ты пройди в дом, недостойно встречать гостя на пороге.

Сафар вошел во двор, и старик проводил его к супе.

— Ты правильно попал, сынок, но я и сам не знаю,

где пропадает этот бездельник, да пощекочет его шайтан, когда он будет спать. Только сегодня мы вернулись из дальнего кишлака, где пережидали беду, которая разразилась над нашей Бухарой. Приехали мы домой, а его нет дома. Ну, думаю, сидит он еще в мечети, которую он взялся восстанавливать, иду туда. Нет его в мечети! И где, ты думаешь, он пропадает? Мне говорит чайханщик Джура, кого вы ищите, усто Ибад? Я говорю, ищу своего зятя мастера Ширина! А он смеется. Чего, спрашиваю ты смеешься, о глупец? Может быть, его давно убили, а ты смеешься. Твой зять Ширин, говорит этот зубоскал, жив-здоров и явится домой, как [illegible], как только узнает, что вы вернулись. Обиделся я на Джуру, что не указал, где именно этот бездельник. А зачем тебе мой зять Ширин? Ты, я вижу, аскер красный. Зачем он тебе? То сарбазы эмира его искали, то теперь красные аскеры его ищут. В чем тут дело, скажи мне? Или он и перед новой властью успел провиниться, а? Горе на мою старую голову с этим Ширином! И всю жизнь он вот так, всем он нужен и всем неугоден.

— Нет, нет, отец,— улыбается Сафар,— не виноват он перед новой властью. Я просто заехал узнать, не упрятал ли его эмир перед бегством из Бухары. Беспокоился я за него, ведь он такой беззащитный, наш усто Ширин. А эмир мог просто угнать его с собой. Были у нас такие сигналы...

— А скажи мне, сынок, ты сам мусульманин, да не обидит тебя мой вопрос?

— Я сам уроженец Бухары и сын честного мусульманина и честной мусульманки. Я был когда-то учеником усто Нишана вместе с Ширином; потом меня мой учитель изгнал от себя. Сафар Низамов мое имя.

— Но ты же красный аскер? Что же получается? Ты против веры идешь, а?

— Почему против веры? Вера от человека зависит. Мы за справедливый порядок на земле, отец.

— Так, так... Ты, конечно, прав, Сафар. Что вера? Хороши люди — и любая вера хороша. Дурные люди — и вера станет плохой. Это так, сынок. Но зачем тебе меъмор, Сафаржан? Говорят, большевики ничего строить не будут, а будут ломать все, что раньше построено.

— Не слушайте никого, отец. Вот закончим войну, установим свою власть и начнем строить! И еще как начнем строить, усто! Мы такие города построим на земле, мы поднимем совсем новую Бухару.

— А старую сломаете?

— Зачем ее ломать? Пусть стоит. А вот новые города понадобятся. Какие они будут, я еще плохо знаю. Но это будут красивые, чистые города с голубыми куполами.

— Почему с голубыми?— заинтересовался Ибад.

— У нас в Бухаре всегда любили голубой цвет. Это хороший, мирный цвет. И тогда я сниму шашку, оставлю коня и пойду строителем к Ширину, чтобы самому построить хоть один голубой купол.

— Счастья тебе, сынок.

Сафар распрощался со стариком, вскочил в седло. Ему нужно уже возвращаться в штаб, а хотелось бы увидеть этого чудака Ширина, за которого он так беспокоился.

Проезжая мимо чайханы, Сафар не удержался и спросил, не видел ли почтенный Джура, где найти Ширина.

— А зачем он тебе, аскер?— хитро прищурил один глаз чайханщик.— И почему ты его ищешь?

— Я хотел сказать ему свой салам. Его тесть говорит, что он где-то пропадает. А мне теперь вряд ли придется заехать к Ширину в ближайшее время.

— Так ты просто хочешь ему сказать свой салам?— переспросил Джура.

— Ну да! А что еще?

— А ты не будешь в него стрелять из своего нагана? Не будешь намахиваться своей шашкой?

— Йе, зачем я буду стрелять в него? И зачем мне махать шашкой?

— Тогда слезай с коня, джигит, и передай повод вот этому мальчику. Эй, Турсун, прими повод у аскера да подсыпь этому тулпару овса, да принеси в ведре холодной воды. А ты пройди сюда, аскер,— заговорщически проговорил чайханщик, указывая на вход в чайхану.

Придерживая улыбку, Сафар вошел.

— Скажу тебе так, дорогой,— продолжал хитрить Джура,— трудные времена мы пережили за эти месяцы. Ох, трудные! А тут снуют эмирские собаки, то одного человека уведут, и потом он исчезает, то другого. Как тут жить? Мы устроили дежурства на своей улице. Как же мы могли иначе спасти своих дорогих соседей? А скажи, аскер, не будет ли нам за это какой-нибудь награды от Красной армии? Ну не денег, об этом я не говорю, а медаль какую-нибудь не дадут, а? Как ты сам думаешь? Понимаешь, чайханщик с медалью! Я был бы один такой на всю Бухару! Знаешь, сколько ко мне людей приходили

бы чай пить? И каждый бы просил, покажи, Джура, свою медаль. И я бы с гордостью ее показывал всем. А? Неплохо придумал?

Сафар от души смеялся наивной хитрости этого человека, но потом осерчал:

— Ты мне скажешь, где Ширин или нет, лукавый старик?

— Оббо, я только два слова спросил, а он уже и ругается. Так и вовсе немым скоро станешь, не с кем словечком переброситься. Я думал, при новой власти хоть наговорюсь досыта, ведь теперь никого бояться не надо, говори сколько хочешь. А ты стал серчать на меня за это. Вай, как нехорошо получается...

Сафар уже сам решил, куда ему идти и шагнул за дверь, ведущую на задний дворик чайханы.

А во дворике, маленьком, тесном, но с обязательным кустом роз, как в любом бухарском дворике, сидит несколько человек. Сафар даже не поверил своим глазам. Его тихоня, молчун Ширин, что-то весело рассказывает своим друзьям, а все от души хохочут.

Увидел Сафара, обрадовался, встал из-за дастархана, шагнул к нему, обнял.

— Сафар! Дорогой! Здравствуй! Как я рад тебя видеть! Проходи, садись с нами. Ты знаешь, Сафар, удрал наш дорогой эмир, совсем из Бухары удрал, вот мы на радостях и отмечаем это событие. А собрались тут люди, которым есть что вспомнить об эмирских благодеяниях.

Они насторожились, когда вошел аскер, но, увидев, как по-братски обнимается с этим бравым воином их сосед Ширин, оставили опасения.

...Чуточку хмельной, провожает Ширин Сафара, ведущего на поводу коня.

— Вот закончу своим соседям мечеть. Или новая власть запретит мне делать эту работу, а? Говорят всякое: прямо тебе скажу. И Мохи-Хосу сожгут большевики, говорят. И Арк взорвут.

— А тебе жаль стало? — прищурился Сафар, глядя на друга.

— Откровенно? Конечно, жаль. Не эмиры все это сделали, а мастера, вроде нас. Они-то при чем, эти мастера?

— Никто ничего ломать не будет, Ширин! Мы все сохраним, чтобы детям нашим показать мастерство наших славных меъморов, и твое мастерство тоже, Ширин!

— Ну уж мое...— смутился Ширин.

— И нового много построим, да. Построим новые города под голубыми куполами. Я часто вижу перед собой эти будущие города и все почему-то под голубыми куполами.

— А ты не знаешь, почему мечети, минареты, башни покрываются голубыми куполами?— удивился Ширин.— Это не каприз мулл и шейхов, нет! Голубой купол олицетворяет небесную сферу! Ты посмотри на небо в ясную погоду, Сафар. Это его скопировали мастера прошлого и воссоздали в своих творениях. Я вот уже думаю после твоих слов, а какой самый большой голубой купол мог бы возвести над твоим городом будущего?.. Ты знаешь, я хотел бы увидеть эти твои города.

— Ты еще увидишь, будущее начинается уже сегодня, Ширин. Но вот еще у меня к тебе какое дело,— понизив голос, сказал Сафар.— Работаю я в особом отделе. Не понимаешь? Про ЧК слышал? Ну вот...

— Обо! А я тебе все открыто говорил, что думаю! Пропала моя голова!

— Это хорошо, что о голове подумал. Скажу коротко, чем мы занимаемся. Ты думаешь, если эмир сбежал, то на этом власть его кончилась? Много в городе его людей осталось, не все они забудут свою службу эмиру, которые на коране клялись ему в верности перед его отъездом. И есть у меня некоторые подозрения, что не зря он тебя искал перед бегством. Не стал бы он тебе мстить, Ширин, руками тех, кто притаился в узких щелях, каких немало в нашем славном городе. Будь осторожен, береги себя. Скоро ты понадобишься нам, усто. И мы позовем тебя.

— Кому это нам?— тихо спросил Ширин.

— Нам, большевикам. Народу твоему.

Друзья обнялись на прощанье. Ширин еще долго смотрел вслед Сафару сквозь пыль, поднятую его конем. Густа и тяжела бухарская пыль, так и лезет в глаза, проклятая. Даже слезы закапают, если она попадает в глаза. Такая пыль у нас в Бухаре...

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Азан — призывы муэдзина к молитве.
Айван — веранда, терасса.
Ака — старший брат.
Алла иль алла, Мухаммад рахмон алла! — слова молитвы.
Амир-аль-мумин — религиозный титул правителя (*букв.* «эмир прововерных»).
Арба — двухколесная повозка.
Арус — женщины, торгующие вразнос по домам.
Аския — состязание острословов.
Бедана — перепелка.
Бельбаг — поясной платок.
Вакф, вакуф — доход мечети.
Газы — локтевая мера длины.
Ганчкор — резчик по ганчу.
Гузар — квартал, оживленное, бойкое место.
Гульзор — цветник.
Дарвазхона — ворота с пристройкой.
Дарвозы — канатоходцы.
Дастархан — *букв.* скатерть для угощения.
Дервиш — нищенствующий мусульманский монах.
Дивана — полоумный, сумасшедший.
Домулло — учитель.
Дос, баракалла — возгласы восхищения.
Дукон — лавка.
Думбирачи — домбрист-сказитель.
Закот — налог.
Заргар-паккош — ювелир.
Зиндан — подземная тюрьма, темница.
Имам — духовный наставник, духовное лицо, руководящее молениями в мечети.
Ишан — духовное лицо.
Ичкари — женская половина дома, недоступная посторонним мужчинам.
Йигит — юноша, парень, молодой человек.
Қазий — судья.
Қалам — карандаш.
Қаландары — орден нищенствующих дервишей.
Қали — плешивый.
Қандалат бодоми, дапаги, нахути, пистаги, чормагзи, холваи кунджути, пашмак, оби набод — восточные сладости.
Қараулбек, мирохур — звания дворцовой прислуги у эмира.

Карнай — узбекский медный духовой инструмент, представляющий собой длинную трубу, по регистру близкую к тромбону.

Каса — чаша.

Кибла — направление в сторону Мекки, куда обращается молящийся.

Кизяк — вид топлива.

Кичкина — маленький, малыш.

Кокбари — козлодрание.

Курпача — ватное одеяло.

Кутубхона — библиотека.

Лабейк; аллахума лабейк!— Вот я перед тобой, аллах!— (слова поломника, представшего лицом к богу во время хаджа в Мекку).

Лаган — большое блюдо с плоским дном, поднос.

Лаббай — Что прикажете? Что вы сказали? Я здесь.

Маджлис — собрание.

Майдон — площадь.

Ман — единица веса, до 34 кг.

Мардикер — поденщик, чернорабочий.

Махалля — квартал города.

Махау, песхо — больные проказой и экземой.

Махрам — придворная должность в Бухарском эмирате.

Мехмонхона — комната, зала для приема гостей.

Меьмор — зодчий, строитель, созидатель.

Мирза — писарь, секретарь, в переносном смысле грамотный человек.

Мильтик — ружье.

Муазин, дахияк — звания низшего духовенства.

Муллобача — ученик медресе.

Мухандис — инженер, воплощающий замысел зодчего.

Мюрид, муслих — последователь, приверженец, ученик ишана.

Нонпаз — пекарь.

Оббо — восклицание.

Окхона — белая комната.

Ошпаз — мастер по приготовлению плова.

Памаранд — пояс, надеваемый по праздничным, торжественным случаям.

Парварда — вид местных сладостей.

Паттаха (*искажен.*)— фаттиха — краткая молитва, приуроченная к какому-либо случаю.

Пырмай!— восклицание; выражает удивление, восхищение, возмущение.

Раста — торговый ряд.

Растаи халвогор — ряды торговли халвой.

Рахмат — спасибо.

Сагона — склеп.

Саламгосы — произносящие приветствие от имени эмира.

Сандал — низкий квадратный столик, который ставится над углублением в земляном полу с горячими углями и сверху накрывается одеялом.

Сарбоздунболапуры — эмирская гвардия.

Саркарда — полковник, полководец.

Селяу — взятка.

Ситора — звезда.

След колесницы аллаха на небе — одно из по-восточному высокопарных названий Млечного Пути.

Сурнай — музыкальный инструмент, напоминающий флейту.
Табарча — посох дервиша.
Табиб — лекарь.
Такбир — прославление, произнесение слов «аллах велик».
Талак — ритуальное слово, после которого жена уже не считается законной.
Танури-калон — печи для выпечки лепешек.
Тафтан, фатир, кульчаи шимоль, кульча назараки, нони забони гав, нони хонаги — сорта лепешек.
Тахмин — алебастровые доски, на которых чертили в натуральную величину узор и выкладывали «лицом» вниз керамические облицовки, которые потом заливали ганчем, отделяли от тахмина и закрепляли на месте.
Тахсаб — лицо, наблюдавшее за исполнением религиозных обрядов.
Теша и андава — инструменты мастера, теша — молоток с поперечным лезвием, андава — мастерок для штукатурки.
Товба! — восклицание, выражающее удивление: бог мой! о боже! вот тебе на!
Той — свадьба.
Ураза и курбан-байрам — мусульманские праздники.
Хабарчи — глашатай.
Хадж — паломничество в Мекку.
Хазина — казна.
Харам — гарем.
Хауз — водоем.
Хоп — ладно.
Хорманг — не уставать вам!
Худжра — келья.
Чайла — временные летние навесы.
Чорбог — дача, загородная усадьба.
Чуби чормангз — чаша из кокосового ореха для подаяний.
Шаманли — род икон на темы исламского богословия, запрещенных ортодоксальным исламом.
Шоир — поэт.
Эски сарой — старый дворец.
Яхши, зор — хорошо, прекрасно.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I. В северной столице 6
Глава II. Посвящение в мастера 21
Глава III. Первое творение 32
Глава IV. Зиндан 46
Глава V. Суд на площади 53
Глава VI. Сарбазы 69
Глава VII. Кермине 77
Глава VIII. Аудиенция у царя 85
Глава IX. Ганчкоры 97
Глава X. Судьба трона 104
Глава XI. Сарбаз Сухроб 116
Глава XII. Новое пристанище 126

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I. В ожидании суда 138
Глава II. Петухи 147
Глава III. Замысел 160
Глава IV. Этот непонятный Восток 168
Глава V. Что есть истина? 194
Глава VI. Зеркала 205
Глава VII. За дастарханом 219
Глава VIII. Гарем эмира 230
Глава IX. Воплощение замысла 247
Глава X. Во славу эмира 257
Глава XI. Свобода 266
Глава XII. Белый зал 270
Глава XIII. Кокбари 286
Глава XIV. Саломат 301
Глава XV. Дядя Нишан 305
Глава XVI. Накануне 315

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I. Горькое счастье 326
Глава II. Ходжи Латиф 334
Глава III. Поездка 339
Глава IV. Поворот 351
Глава V. Отречение 357
Глава VI. Свершения 366
Глава VII. Город мастеров 380
Глава VIII. Сокровища эмира 389
Глава IX. Предательство 402
Глава X. Караван уходит в горы 416
Глава XI. Голубые купола 421
Пояснительный словарь 427

Рубен Акопович Сафаров

УСТО И ЭМИР

Роман

Рецензенты: *ЧЕБОТАРЕВА В. Г.*, доктор исторических наук, *ПАРМУЗИН Б. С.*, член СП СССР, *КУЛИШ С. Л.*, член СП СССР

Редактор *Р. Москалева*
Художник *И. Кириакиди*
Художественный редактор *А. Бобров*
Технический редактор *В. Барсукова*
Корректоры *Л. Лебедева, О. Багдасаров*
ИБ № 3104

Сдано в набор 21.08.84. Подписано в печать 11.02.85. Р01811. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типографская № 3. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 22,68+0,84 вкл. Усл. кр.-оттисков 24, 36. Уч. изд. л. 24,53+1,57 вкл. Тираж 60000. Заказ № 1714. Цена 2 р., на мелованной бумаге цена 3 р. 50 к.

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 700129. Ташкент, ул. Навои, 30.

Г. П. ТППО «Матбуот» Государственного комитета УзССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ташкент—700129, ул. Навои, 30.

Сафаров Р. А.

Усто и эмир: Роман.— Т.: Изд-во лит. и искусства, 1985.—432 с.

Широкая панорама жизни старой Бухары в романе Р. Сафарова «Усто и эмир» служит фоном, на котором прослеживается трагический, полный лишений и унижений путь народного мастера-усто Ширина, чей труд прославил Бухару. Главная тема романа — противостояние таланта и власти, гения и тирана, усто и эмира.

Р2